Александр
ВАМПИЛОВ

Александр
ВАМПИЛОВ

Я С ВАМИ, ЛЮДИ

Рассказы,
очерки,
статьи,
фельетоны
Одноактные
пьесы
Из записных
книжек
Воспоминания
друзей

Александр
ВАМПИЛОВ

Москва
«Советская Россия»
1988

Р2
В16

Составление, послесловие
и примечания *В. Ю. Поповой*

Вступительная статья *В. Распутина*

Художник *М. К. Шевцов*

В $\frac{4702010200-240}{М-105(03)88}$ 108—88

ISBN 5—268—00560—х

О ВАМПИЛОВЕ[1]

В поэзии Николай Рубцов, в прозе Василий Шукшин, в драматургии Александр Вампилов...— кажется, самую душу и самую надежду почти в единовременье потеряла с этими именами российская литература... И кажется, сама совесть навсегда осталась с ними в литературе...

Народ наш на удивление чуток к таланту; едва ли где-нибудь еще, у другого какого народа можно отыскать подобную чуткость. У нашего читателя (если говорить о литературе) она связана чуть ли не с личной надеждой; он относится к таланту не как к явлению, явившемуся и существующему независимо от него,— нет, он чаял и ждал, он словно бы часть доли своей отдал для его рождения, и он дождался. Талант еще и не признан, он только набирает силу, ничто вслух не отличает его покуда от неталанта, но читатель какими-то неведомыми токами и подводными течениями уже знает о нем и жадно ловит каждое его слово, отыскивая податливым, необыкновенно развитым к ней сердцем истину о себе самом и о своем времени, ту святую и нелукавую истину, без которой, как без труда, человек в здоровье и нравственности существовать не может.

И потеря таланта, гибель его воспринимается нашим читателем и зрителем как личная трагедия. Мы забываем, к сожалению, что он, талант, вобрав в себя художественный дар многих и многих людей, наделенный, казалось бы, огромным сердцем добра и понимания, для собственной жизни имеет это сердце в одном экземпляре и обычных размеров — да и то с самого начала больное болью тех же многих и многих людей.

Сердце Александра Вампилова не выдержало всего в нескольких метрах от берега, к которому он плыл, после

---

[1] См. послесловие и примечания в конце книги.

того как, натолкнувшись на скрытый под байкальской водой топляк, перевернулась лодка...

О Вампилове теперь пишут много и охотно; критики, перебивая друг друга, спорят о его героях и говорят настолько разное, что появилось даже выражение «восторженное непонимание Вампилова». Непонимание это идет от предпосылок искусства, а не от предпосылок жизни, с которыми всякий раз начинал творить свое искусство Вампилов. Его герои вечерами выходят на сцену чуть ли не каждого большого театра страны, и его же герои, не всегда ведая, что это они и есть, смотрят на себя из зала и смеются... Впрочем, не только смеются, этого было бы слишком мало: Вампилов писал пьесы отнюдь не для того, чтобы зритель со спокойной душой отдыхал в театре, он не признавал искусства, создаваемого для отдохновения. Зритель, приходя в театр на Вампилова, невольно попадает под нелегкое нравственное испытание, своего рода исповедь — его, зрителя, исповедь, в которую он, один раньше, другой позже, так или иначе вовлекался еще во время спектакля и которая долго продолжается после спектакля,— в этом незаменимая, но удивительная сила и тихая страсть его таланта. И когда говорят о «театре Вампилова», следует, очевидно, иметь в виду не только то, что предлагается зрителю, но и то, что случается с ним, сторону глубокого психологического воздействия его пьес, которую театральная условность словно бы даже еще и увеличивает, а не снижает. К тому же вампиловские пьесы, похоже, сами диктуют свою постановку и не допускают разночтений.

Вместе с Вампиловым в театр пришли искренность и доброта — чувства давние, как хлеб, и, как хлеб же, необходимые для нашего существования и для искусства. Нельзя сказать, что их не было до него — были, конечно, но не в той, очевидно, убедительности и близости к зрителю; до последнего предела раскрылась перед нами наивная и чистая душа Сарафанова в «Старшем сыне» и стоном застонала, уверяя старую истину: «все люди — братья», которая в повседневности часто превращается почти в смешной парадокс. Вышла на сцену Валентина («Прошлым летом в Чулимске»), и невольно отступило перед ней все низкое и грязное — вышла не просто героиня, несущая в себе черты добродетели, вышла сама страдающая добродетель. Слабые, незащищенные и не умеющие защищаться перед прозой

жизни люди, но посмотрите, какая стойкая, какая полная внутренняя убежденность у них в главных и святых законах человеческого существования. И в слезах, и в отчаянии не перестанут они веровать, как фанатики, в лучшую человеческую сущность, не замечая, как слепые, сущности худшей. Можно гадать, что будет с Валентиной дальше, там, за границами пьесы, как сложится ее судьба в житейском смысле, но в том, что веры она не изменит и в добродетели своей не ослабнет и не сдастся, сомневаться нельзя. Эту уверенность Вампилов оставляет в нас без всяких оговорок.

Казалось бы, и в рассказах, и в пьесах (и даже в газетных очерках, когда Вампилов работал в газете) — старые, знакомые истины. Он не пытался выдумывать новые, их нет, он ставил лишь их в нынешние условия, и они начинали звучать по-новому. Вечные, как день и ночь, нетускнеющие, нестареющие темы искусства, которые никогда не перестанут волновать человечество,— жизнь и смерть, любовь и ненависть, счастье и горе, совесть и долг. Каждое новое время приносит в эти понятия свои отличительные признаки, они-то и метят время, но сами эти понятия при всей их сложности и хрупкости остаются неизменными. Любить одним человеком другого значило тысячу лет назад то же самое, что и теперь. Но как любить? Что несет в себе это первое и самое чувствительное чувство? Чем оно обогащает? Что заставляет терять? Насколько оно долговечно? Пока будет жив хоть один человек, он станет любить и ненавидеть по-своему, он будет бояться и желать смерти, как никто до него не боялся ее и не звал.

Истины старые, но вечные, не знающие во времени ни морального, ни физического износа. У Вампилова они имеют еще и ту важную особенность, что получают в каждом читателе и зрителе некое личное, собственное озарение. Как, каким образом удается ему внушить каждому из нас, что это относится именно к нам (к нам, стало быть, ко мне), в первую очередь касается нас и обращено именно к нашим чувствам, остается загадкой, но прямое обращение, с одной стороны, и личный отзыв, личное соучастие — с другой, тут налицо. И не один из нас, выйдя из театра или прочитав пьесу, ловит себя на детском и наивном желании превратиться в того же, скажем, старшего сына Сарафанова, чтобы помочь этому доброму, до старости сохранившему светлую душу человеку в нашей сложной и донельзя запутанной жизни.

Искусство может только мечтать о подобном его восприятии.

Кажется, главный вопрос, который постоянно задает Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь все то лживое и недоброе, что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно различимы даже и противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение... Тут нельзя не вспомнить Зилова, который, не имея сил сопротивляться, позволил, чтобы все первые названия перешли в нем во вторые...

Но, читая Вампилова, снова и снова с надеждой возвращаешься к старому убеждению Достоевского: «Мир спасет красота».

ВАЛЕНТИН РАСПУТИН

Рассказы
Очерки
Статьи
Фельетоны

СТЕЧЕНИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ

Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека.

Если хотите знать, какую заветную шутку сыграло стечение обстоятельств на самом заветном чувстве Катеньки Иголкиной, то садитесь в центре города на автобус, сойдите на третьей остановке, сверните на тихую безавтобусную улочку. Кажется, на правой стороне вы увидите промтоварный магазин и уютно прислонившийся к нему домик с двумя окнами, в одном из которых вы, может быть, и заметите Катеньку, которую теперь горькие раздумья то и дело отвлекают от ее обыденных занятий и гонят к окну в позу грустной и нежной девицы из старинных баллад.

Немного дальше вы найдете парикмахерскую, зайдите туда, разговоритесь с парикмахером, на общительность которого всегда можно положиться, и он расскажет вам если не эту, то какую-нибудь похожую на нее историю.

Катенька Иголкина — особа счастливой наружности и той молодости, когда хочется уже быть еще чуть моложе. Катенька от полных поэтического смысла, но ничего не дающих слов «где мои семнадцать лет!» перешла к делу, в котором быстро преуспела и которое так заполнило ее душу и время.

Тем утром она возвращалась из парфюмерного магазина, где приобрела сезонный эликсир молодости. Дорогой Катенька думала о том, что ей не везет, и мечтала о счастье. В этих мечтах она залетала не выше уютной квартиры в строящемся четырехэтажном доме, мимо которого она проходила. Ей нужно было удачно выйти замуж. Неудачно она выходила уже два раза. Раз она пробовала работать, но тоже неудачно.

У своего дома, когда мысли об одиночестве стали уже невыносимо мрачными, она вдруг столкнулась с мужчиной, для которого это столкновение оказалось тоже неожиданным. Катенька кокетливо ахнула и, споткнувшись, запрыгала было с тротуара, но мужчина со вкусом поддержал ее за локоть, извинился, улыбнулся и пошел дальше. Катенька успела взглянуть ему в глаза продолжительным откровенным взглядом. Входя в свой двор, она обернулась, мужчина обернулся тоже, но имитировал безразличие, делая вид, что рассматривает что-то в окнах магазина. Он был замечательно красив, высок, недурно одет. Катенька зашла домой и в волнении присела к окну.

С четверть часа она сосредоточенно и мечтательно осматривала всех прохожих мужчин и уже было хотела отойти к своему рабочему столику, где ее ждал вновь приобретенный эликсир с многообещающим названием «Розы на щеках», как вдруг заметила виновника своего возбуждения. Он двигался по другой стороне улицы грациозным прогулочным шагом и лишь скользнул («хитрец!») взглядом по Катенькиному окну, задержав его на витрине магазина. Поравнявшись с магазином, он замедлил шаг. Сообразительная Катенька поняла это как приглашение выйти на улицу. Но из деликатности и девической гордости, появившейся у нее, видимо, вследствие действия омолаживающих косметических средств, она не вышла, решив, что он еще вернется. «Такой мужчина зря бродить под окнами не будет»,— подумала она и ограничилась тем, что влюбленным взглядом проследила исчезновение с поля зрения его драповой стати.

Она не ошиблась. Было время обеденных перерывов, когда он появился снова. «Забегал»,— подумала Катенька, злорадствуя.

На этот раз он шел с другой стороны, остановился, немного не доходя до Катенькиного окна, и, также косвенно взглянув в его сторону, осторожно зашел в магазин. «Это уже наивно»,— подумала Катенька. Потом в ней, перебивая друг друга, закопошились сложные человеческие чувства. После неравной и короткой борьбы женское благоразумие взяло верх над девической жестокостью, и Катенька решила выйти. Не теряя времени, она уселась за свой столик, и начался захватывающий процесс. Незнакомец был смугл, она решила стать блондинкой.

Но когда через полчаса она выпорхнула из дома, смуглого незнакомца на улице не было, а магазин, куда он заходил, был закрыт на обеденный перерыв. Катенька в отчаянии вернулась и заняла исходную позицию у окна.

Незаметно для добросовестных ночных сторожей кончился полный жизни, яркий, солнечный день, и улицы, просеянные от малых детей и стариков, зажили веселой вечерней жизнью горожан в возрасте от 17 до 30 лет. Катенька много перенесла за это время. Против обыкновения она провела бессонный день. Кроме того, она провела вторую его половину не отрываясь от окна. Она подивилась усидчивости царицы Тамары, которой довелось провести у окна своего замка лучшую часть своей жизни. Катенька была человеком совсем иного характера. Ей нужно было двигаться хотя бы от окна к зеркалу и обратно.

Было уже безнадежно поздно, когда в небе вдруг вспыхнула и замерцала, интимно подмигивая, маленькая звездочка Катенькиного счастья. Тень киоска, находящегося напротив Катенькиного окна, раздвоилась, и кто-то легкими шагами стал пересекать улицу. Катенька с удовольствием узнала своего незнакомца и, думая о том, что она много уже страдала, что довольно страданий, что она выбежит сейчас и бросится к нему на шею и повиснет на ней, быстро стала одеваться.

Через три минуты, изнемогая от нежности, со слезами счастья на глазах она открыла свою дверь, но незнакомца не увидела, а услышала в соседнем дворе шум и чей-то страстный крик: «Не уйдешь!», на который соловьиными трелями отозвался милицейский свисток. Движимая встревоженным любящим сердцем и подстрекаемая любопытством, Катенька вошла в соседний двор. В глубине его, у складов промтоварного магазина, уже собралось небольшое общество из нескольких милиционеров и двух-трех любознательных граждан. В центре этого избранного круга Катенька увидела своего незнакомца в объятиях ночного сторожа Степана Христофоровича. Степан Христофорович обнимал его неистово нежно и крепко, и Катенька поняла, что она бессильна перед этой верной и прочной привязанностью.

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ ИНТЕРМЕДИЯ

Пассажирский поезд прибыл на станцию Сачки неестественно точно, как щепетильный влюбленный на свидание,— ни минутой раньше, ни минутой позже. Был август, и перрон в одно мгновенье превратился в филиал городского рынка. Поезд атаковали торговцы жареной рыбой, огурцами, помидорами и просто луком.

Поезд стоял здесь только десять минут. Лишенные, таким образом, профессионального наслаждения поторговаться, продавцы холодной закуски сердито выкрикивали готовые уже цены.

Пассажиры, напротив, выходили веселые и бодрые. Им нравилось после безысходного лежания и сидения прогуливаться на свежем воздухе и покупать свежие овощи.

Однако два молодых человека сошли на перрон без всяких признаков удовольствия. На их лицах менялись нерадужные цвета досады, сожаления и беспокойства. Тесный и накуренный вагон имел одно преимущество перед изобилующим солнцем, свежим воздухом и холодной закуской перроном: вагон двигался со скоростью тридцать пять километров в час, перрон оставался на месте.

Молодых людей сопровождал железнодорожный служащий Иван Карпович Пеших, который любезно указывал им дорогу к небольшому желтого железнодорожного цвета домику против первых вагонов стоящего поезда.

— Влипли? — сочувственно спросила их женщина с корзинкой дозревающих помидоров и тут же посоветовала: — Купите помидорчиков.

Молодые люди остались к этому, как и ко всему происходившему вокруг, отсутствующе-безучастными. В программу их поездки, как видно, вовсе не входило приобретение помидоров и посещение железнодорожной администрации на станции Сачки...

В вагон № 10 ревизор вошел перед станцией Сачки. Был он весел, вежлив и предупредителен. Казалось, его работа заключалась не в том, чтобы вылавливать безбилетников, а в том, чтобы убеждаться, что все пассажиры едут в этом поезде с билетами.

Такая постановка дела смутила, сбила с толку и с головой выдала двух цветущих молодых людей с верх-

ней полки. Быстро выяснилось, что они едут без билета в первый раз, что на уплату штрафа они по неопытности не захватили денег и что, если товарищ ревизор так настаивает, они могут сойти через три остановки. Сдержанный ревизор не стал спрашивать, почему именно через три, он высадил молодых людей при первой возможности, поручив представить их станционной администрации Ивану Карповичу Пеших, который оказался в этом вагоне и который сам ехал на станцию Сачки.

Это не входило в обязанности Ивана Карповича Пеших — курьера из областного управления дороги, но он согласился. Иван Карпович был уже очень стар и мог работать только курьером. Был он очень добр. И можно было подумать, что два здоровых парня, которых он вел по перрону, не сбегут от него только из уважения к его сединам.

— Хотите железную дорогу превратить в трамвайную линию? — строго начал он.— Ничего не выйдет. Здесь штраф посолиднее.

Молодые люди заметно осунулись. Иван Карпович заметил бедственное состояние их духа и сменил тональность:

— Что же это вы? Такие представительные и... без билета. Стыдно вам! Это мальчишка, сорванец, ума своего нету или безобразия одни на уме, ну тот — ладно, а вы? Стыдно вам!

— Стыдно,— согласился один из юношей, потупив взор.

— Еще ладно,— продолжал Иван Карпович с увлечением,— еще ладно, что не стали болтаться на подножках и бегать по вагонам, а то ведь... Вот рассказывал мне Петр Петрович, был случай недавно. Парень, тоже молодой, вроде вас, по вагонам бегал и... нет его. И все из-за какого-то билета. Да самая непутевая жизнь дороже билета хоть на край земли!

Иван Карпович многозначительно осмотрел аудиторию и остался доволен впечатлением, произведенным своими словами. Оба лица выражали скорбь по человеческой жизни, которая во много раз дороже любых железнодорожных тарифов, раскаяние в собственном легкомыслии и торжественное обещание не подвергать себя больше опасностям и штрафам.

— Нам денег не жалко,— твердо сказал один из молодых людей.

— У нас их нет,— скорбно добавил другой.

Искренность интонаций ранила доброго старика. Он посмотрел снова на мученические лица своих невольников. Эти, недавно еще цветущие юноши увядали у него на глазах.

Ему вдруг пришло на ум, что и сам он — высохший до неузнаваемости цветок, и у него только заныла берцовая кость и к горлу подступила теплая волна сентиментальности.

— Дети! — выдохнул старик.— Берегите, дети, свою молодость прежде всего! Я вот...

Иван Карпович сказал, что он не какой-нибудь деспот или формалист, что он видит: они славные ребята, что вышло нехорошо, но что все может выйти, что молодости многое прощается, что...

В конце концов Иван Карпович предложил им денег для телеграммы, пригласил пообедать с ним в буфете, «где не грех взять по маленькой» или «грех не взять».

— Людей надо понимать и жалеть,— закончил он,— люди всегда это оценят.

Все трое, растроганные и отуманенные живительными карами добра и благодарности, стояли у входа в станционный буфет. И в это время раздался паровозный сигнал. Компания замерла. Потом все трое переглянулись, и... молодые люди молча бросились к отходящему поезду. Они успели.

НА СКАМЕЙКЕ

Никто не возьмет на себя смелость утверждать, что ссоры между влюбленными необходимы. Но с тем, что ссоры эти неизбежны, согласится всякий. Влюбленные ссорятся редко и часто, на мгновение и надолго, неожиданно и заранее обдуманно. Часто, затевая ссору, влюбленные уже предвкушают сладость примирения. Один мой приятель рассказывал, что самый лучший вечер в его жизни следовал за днем, в который он жестоко поссорился со своей возлюбленной. Они раздули ссору до бури, вырывающей из их душ любовь, и, чтобы не оскорбить друг друга, распрощались навсегда и разошлись по домам одинаково гордые и взволнованные. Поздно вечером они встретились. Она шла к нему, чтобы сказать, что она его ненавидит. С тем же спешил к ней и он.

Но все, о чем здесь будет рассказано, произошло в то время, когда влюбленные ссорятся нехотя и ненадолго. Весна не любит расходиться с радостью. А был май — великолепный и достойный венец лучшего времени года.

Убрав с земли снег, растормошив заснувшую реку, весна освободила людей от теплой одежды, разбросала под ноги зеленые ковры, развешала повсюду зеленые портьеры и занавески, снизила цены на живые цветы и мертвые улыбки,— словом, распорядилась так хорошо, так ловко и так заботливо, что не ценить всего этого невозможно.

Когда ласковый майский день сменяется нежным майским вечером, когда воздух, приправленный острым вечерним запахом тополей, делается чище и слышней становится музыка из ближайшего парка, когда так приятно сидеть у открытого окна, тогда не ищите ваших молодых знакомых дома. Идите в парк — туда, где в такие вечера бьется пульс городской жизни. Знакомых вы, возможно, там не найдете, зато до конца вечера не потеряете надежды встретить их среди многочисленного собрания ценителей майских вечеров.

Именно в такой вечер в парке своевременно появились Вирусов и Штучкин — два человека, равно интересных и молодых. У них приятные лица, а из одежды можно составить один мощный щегольской костюм.

Это была подходящая компания: Вирусов любил шутить. Штучкин любил смеяться. Вирусов должен был нравиться гордой и чуть надменной осанкой. Штучкин подкупал добродушием и смешливостью. С его лица не сходил румянец отдыхающего человека. Держались они с той свободой, которую, присмотревшись, можно назвать самоуверенностью. Окаменев даже в самых академических и самых серьезных позах, эти молодые люди представляли бы собой скульптурную группу «Два шалопая». На танцплощадке они побывали лишь для того, чтобы оживить давку при входе и выходе в узкую калитку; шутили с незнакомыми людьми и свободно безо всяких предисловий заговаривали о любви со скромными и беззащитными девушками.

Живость, с которою приятели провели начало вечера, утомила их наконец, и они решили отдохнуть и покурить в каком-нибудь тихом месте. Они свернули на безлюдную аллею, от одного вида которой веяло дворянской романтикой. Казалось, пройди эту аллею до

конца — и выйдешь тихим, строгим и мечтательным, как девушка без подруг. Молодые люди смиренно побрели по песчаной дорожке. Вирусов вдруг впал в бесскандальное элегическое настроение и, покопавшись в своих сведениях из школьных хрестоматий по литературе, высокомерно процитировал:

— Приют задумчивых дриад!

Штучкин хихикнул, но был назван пошляком и неучем. Уличив приятеля в незнании греческой мифологии, Вирусов перешел на невежество Штучкина вообще — тему более доступную и свободную, но вдруг замолчал.

На дальней скамейке сидела девушка. Любоваться можно было издали, ни один художник не отказался бы от этого сюжета: потемневшая зелень аллеи, кое-где просвечивающий сквозь нее закат и на скамейке — девушка в светлом. Все это и казалось бы созданием художника-романтика, если бы не легкий ветерок, существующий только для того, чтобы оживлять картину едва заметным движением листвы.

Вирусов был особенно растроган несложностью композиции — девушка сидела одна. Правда, на следующей скамейке расположился какой-то молодой человек, но он не вмещался в рамку этого полотна.

Молодые люди приблизились, и Штучкин тут же задал заведомо идиотский вопрос:

— Сидите, значит?

— Мне трудно вам что-нибудь возразить,— ответила девушка.

Вирусов на это тонко улыбнулся и спросил осторожно:

— Скучаете?

Девушка не ответила, а только взглянула на Вирусова, и он понял, что имел до этого смутное представление о красоте и выразительности человеческих глаз. Непостижимо красивые, они красноречиво выражали теперь равнодушие. Она перевела свой взгляд на молодого человека с соседней скамейки, потом быстро взглянула на Вирусова и Штучкина разом и едва заметно улыбнулась.

— Такая холодная улыбка в такой теплой компании,— заметил Вирусов, оживляясь и садясь на скамейку. Девушка рассмеялась чистым и ровным смехом. Тут же кощунственно раздался немелодичный смех Штучкина. Молодой человек с соседней скамейки вздрогнул, поднялся и быстро пошел в глубь аллеи. Девуш-

ка смеялась не уставая, все громче и громче. Потом вдруг сразу смолкла и спросила, сколько времени. Добродушный Штучкин убавил наступление майской ночи ровно на час и заявил, что в такое время из парка уходят только олухи, как их сосед по скамейке. Вирусов, которого сначала несколько тревожило это соседство, сказал, что этот тип, проходя мимо, взглянул, кажется, нескромно на девушку и что, если она пожелает, его можно вернуть, чтобы заставить извиниться на французском языке, снять полуботинки и удалиться бесшумно на цыпочках. Штучкин заметил, что после он эти полуботинки может не надевать, а выбросить в кусты, где им самое подходящее место. Потом Вирусов, как умел, заговорил о прелести майских вечеров, причем в особенно белом свете старался представить позднее темное время.

Девушка возражала, смеялась, поднимала одну бровь выше другой, но когда Вирусов дошел до игривого вопроса: «Как вас зовут?», вспомнила вдруг, что ее где-то ждет подруга, вспорхнула со скамейки и запрыгала вдоль аллеи.

Приятели растерялись. Бежать за ней было бы нелепо, в чем Штучкин хотел все же убедиться, но Вирусов схватил его за пиджак и крикнул ей вслед:

— Вы бываете здесь?

— Иногда! — легкомысленно отозвалась она и растворилась в сумерках.

Домой они возвращались молча, будто не замечая друг друга. Но если бы они захотели уединиться, то не смогли бы. Они жили на одной улице, в одном доме, в одной комнате.

Приближение следующего вечера застало приятелей за хлопотливыми сборами. Вирусов решил навестить своего дядю, у которого, по его предположению, именно этим вечером должен был начаться приступ малярии. По Штучкину стосковалась его добрая тетя, о существовании которой он до сих пор так постыдно забывал. Между малярийным дядей и тоскующей тетей было общее то, что они одинаково любили модные галстуки и безупречные прически у посещающих их племянников.

Собравшись, молодые люди вышли на улицу и разошлись в противоположные стороны.

Размышляя о том, что проще всего обманывать своего друга, Вирусов свернул к парку. Скоро он был там и,

придирчиво осмотрев себя в темном стекле киоска «Пиво — воды», пошел в глубь вчерашней аллеи.

Вечер был ничуть не хуже вчерашнего, декорации также великолепны. На дальней скамейке Вирусов заметил светлое пятно и, лишившись вдруг своей надменной осанки, устремился к этому пятну, как безрассудный мотылек к источнику света. Пятно увеличивалось и принимало прелестные очертания, но тут Вирусов обнаружил, что девушка сидит не одна. С другой стороны выглядывали чьи-то плечи и виднелись полуботинки, по которым Вирусов вдруг узнал вчерашнего соседа по скамейке.

Удар был неожиданным и жестоким. Вирусов почувствовал себя так, как будто его облили чем-то холодным и липким. «Черт возьми! — подумал он.— Неприлично показываться... засмеют, чего доброго...» И, терзаемый жестоким приступом самобичевания, Вирусов вспомнил Штучкина, и ему даже стало стыдно за то, что так бессовестно обманул своего наивного друга.

До скамейки было уже не больше десяти шагов, и Вирусову оставалось только пройти мимо, что он старался сделать как можно более бесшумно, надеясь, что его не заметят. Свой взгляд он стыдливо устремил в глубь аллеи и... усмехнулся.

С другой стороны шел Штучкин. Чувствовал он себя так же скверно, однако, по привычке, которая у него всегда брала верх над настроением, хотел было рассмеяться, но, разглядев выражение брезгливости на лице своего друга, все же раздумал.

Приятели встретились почти напротив пары, которая была теперь олицетворением любви, согласия и верности. Влюбленные сидели лицом к друг другу и чуть наклонив друг к другу головы. Молодой человек перебирал в своих руках ее пальчики. Никто не смог бы заподозрить их в том, что они ссорились вчера и могут поссориться завтра. Естественно, они были невнимательными, и потому Вирусову и Штучкину повезло — они удалились незамеченными.

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЙ РОМАН

Если вы беспредельно счастливы, начиная с того, что вам везет в любви, и кончая тем, что вам не жмут ваши туфли, и если кто-нибудь скажет вам, что страда-

ния украшают и возвышают человека, не слушайте и не верьте. Ходите с любимым человеком по дорожкам, залитым лунным светом, покупайте обувь размером больше. И не простуживайтесь, потому что у вас могут заболеть зубы.

Зубная боль — самое жестокое из человеческих страданий. Ада нет, но в каждой больнице есть дверь с табличкой «Зубной врач». Колю Ванечкина привела к этой двери только жестокая необходимость.

Коля — во всех отношениях интересный молодой человек и вполне бы мог быть героем серьезного романа.

В одно из недавно прошедших воскресений Коля проснулся и обрадовался своему пробуждению. Был он наполнен всеми мажорными сочетаниями своего возраста, и, казалось, ничто не могло его обеспокоить.

Он был убежден в этом сам, а когда почувствовал, что у него слегка ноет какой-то зуб, то не поверил этому и не обратил на это внимания.

Но прошел час, и зуб определенно заявил Коле Ванечкину о конце его физического благополучия.

Юноша не болел никогда. Он не болел даже в детстве корью и был перепуган новизной ощущений.

Он плохо и мало спал, а назавтра у него была вторая очередь к зубному врачу в ближайшей клинике.

Первым был ветхий старичок, для которого лечить что-нибудь стало уже профессией, и он никогда не опаздывал на прием.

Старичок вошел в кабинет, и его морщины легли сложными складками недоумения и недоверия. За столом вместо пожилого, хорошо знакомого врача сидела девушка.

Старик забеспокоился. Он был молод очень давно и помнил только, что в молодости он был героем. Теперь в его представлении все девушки были обязательно легкомысленны.

Но Верочка успокоила его вежливым обхождением, а продолжительным изучением его кусательных органов даже внушила ему уважение. Приемом он остался доволен и с сознанием выполненного долга покинул кабинет.

Если бы зубная боль не затмила Коле Ванечкину все светлые краски жизни, то он увидел бы, что Верочка была молода и хороша собой, что у нее удивительные глаза и нежные очертания губ и подбородка.

Но Коля взглянул на нее, как на средство, которое должно прекратить его мучения, и торопливо уселся на стул, с нетерпением ожидая действия этого средства. Зато Верочка смотрела на Колю долго и совсем по-другому.

Коля был молод и интересен. Верочка тоже была молода и никого еще не любила. И произошло то, что, несомненно, могло бы произойти в этом случае. В свободном сердце Верочки Беседкиной Коля вместился сразу и весь, начиная с непричесанных в это утро волос и кончая нечищенными в это утро туфлями.

Верочка покраснела и стала вести себя так, словно не он, а она пришла к нему в кабинет и застенчиво ждет, когда он обратит на нее внимание.

Коля же ничего не заметил, кроме того, что «девчонка почему-то тянет», и сказал нетерпеливо:

— Посмотрите же! Вот этот зуб.

Верочка встрепенулась и, затая дыхание, осмотрела больной зуб.

Зуб этот нужно было удалить, но он занимал такое видное место, что его отсутствие было бы большим пробелом в Колиной улыбке.

И без того взволнованная Верочка пришла в смятение. «Вырвать проще всего,— завертелось у нее в голове,— вот если вылечить и сохранить ему этот зуб, а вырвать... Он уйдет и... не вернется». Этой последней своей мысли она страшно устыдилась, нашла ее отвратительной, но зуб... «зуб все-таки вылечить». И она стала лечить. Лечить зубы — это значит причинять боль. Закончив, Верочка дрожащей рукой написала рецепт и слабым голосом попросила зайти завтра. Коля ушел, но боль не проходила. Прописанные порошки были более психологическим средством, чем медицинским, и через несколько часов Коля вернулся.

— Удалить! — заявил он категорически.

— Зачем же удалить? — спросила Верочка испуганно.— Его лечить надо. Завтра можно продолжить.

— Если все дни будут походить на сегодняшний, то я не хотел бы, чтобы их было много,— упадочно сказал Коля, но согласился терпеть до завтра и, не попрощавшись, ушел.

Весь вечер он метался по комнате, а ночью тихонько подвывал соседской собаке, у которой зубы болели, видимо, неизлечимо, потому что выла она каждую ночь.

— Нужно всего три дня,— думала Верочка вместо того, чтобы спать,— ведь вылечу же я.

Утром она, смущаясь, сделала праздничную прическу. Жиденький комплимент, прошамканный по этому поводу высыхающим старичком-пациентом, не был ей неприятен.

Коля снова был вторым. Верочка, страшно робея, приступила к продолжению спасительной процедуры.

Инквизиторские звуки бормашины острой болью отзывались в сердцах обоих.

— Завтра мы закончим, наверное,— сказала Верочка неожиданно для самой себя с сожалением и грустью.

— «Наверное?» — злобно перекосил Коля и вышел, снова не попрощавшись.

Быстро, почти бегом, он двигался по улице, словно хотел убежать от зубной боли.

— Куда ты так? — спросил его встретившийся приятель.

— К чертовой матери! — ответил Коля энергично.

На следующее утро прием к зубному врачу начался чуть раньше обычного.

В дверях клиники Коля обошел пунктуального старичка и первым, без вызова и без стука вошел в кабинет.

— Доброе утро,— робея, произнесла Верочка.

— Здравствуйте,— грубо ответил Коля, и, покосившись на сирень, стоящую на столе в стройной вазе, спросил нехорошим голосом:

— Цветочки?

Верочка неловко улыбнулась, приоткрыв вызывающе здоровые и красивые зубы.

— Чему вы смеетесь,— заговорил Коля, раздражаясь.— У вас сердца нет?

Верочка вздрогнула и, отвернувшись к окну, невнятно забормотала о том, что сердце у нее есть и что ноет оно сильнее тридцати двух больных зубов, что вылечить зуб пустяки, вырвать, например, и все, а...

— Что? — жутким шепотом спросил Коля, пристально всматриваясь в Верочкин затылок.— Что? — повторил он голосом, рассчитанным на запугивание двух встретившихся ночью грабителей.

— Разве вы не заметили? — прошептала Верочка, повернувшись и сверкнув влажными уже глазами.

— А-а-а...— издал Коля звук, который обозначал приступ зубной боли и то, что он вдруг нашел причину

своих мучений. Три дня молчаливых страданий дурно отразились на его манере разговаривать, и он стал кричать громко и с чувством:

— Вы с ума сошли! Вы шутите! Как вы могли! — И, судорожно цепляясь за край стола, он закричал полным голосом: — Палач! Чудовище!

«Чудовище», бледное и несчастное, сделало два шага и без чувств опустилось на диван.

Коля злорадно захохотал и, сопровождаемый пушечными хлопками дверных пружин, выскочил на улицу и бросился бежать в произвольном направлении.

Верочка от обморока очнулась, Колин зуб удалили кустарным способом, остальное было уже в области врачей психиатров и невропатологов.

СУМОЧКА К РЕБРУ

Рабочий день литературного консультанта Владимира Павловича Смирнова начинается с чтения рукописей. Разбор некоторых из них требует изрядных криминалистических навыков. В других — отклонение от грамматики мешает додуматься до смысла написанного. Иногда написанное вообще не имеет никакого смысла. Владимир Павлович хмурится и слегка нервничает. Часов с десяти начинают появляться авторы. По утрам любит приходить начинающий поэт Рассветов. Он раздевается и садится напротив Владимира Павловича. Рассветов страшно интеллигентен, но ходит всегда неприлично лохматым. Скептик ужасный. Даже собственные стихи он читает с пренебрежением. Пишет о полях и о деревьях, но больше о чувствах. Пишет плохо. Сначала Рассветов посылал стихи почтой и был неприятен Владимиру Павловичу как автор, но вот он стал приносить стихи сам и стал неприятен еще и как человек.

— Мелкотемье, товарищ Рассветов, и форма у вас неблестящая,— сдержанно говорит Владимир Павлович, пытаясь возвратить Рассветову стихотворение.

— Мелких тем нет. Есть мелкие авторы,— надменно говорит Рассветов.

Владимиру Павловичу хочется сказать Рассветову, что он и есть автор самый мелкий, что ему надо бросить писать и заняться поднятием тяжестей, но этого сделать нельзя, и Владимир Павлович подробно раз-

бирает стихотворение, советует, спорит, читает лекцию по литературоведению и очень вежливо дает понять, что стихотворение не может быть напечатано. Рассветов надувается и уходит создавать художественные ценности.

Следующий — молодцеватый стриженый парень, недавно демобилизовавшийся солдат, автор романа «Три года в строю». Автор требует напечатать «хотя бы главы». Роман лежит у Владимира Павловича в самом дальнем углу стола вместе со склянкой настойки из ландыша.

— Прочитали? — звонко спрашивает стриженый парень.

— Читаю,— хмуро говорит Владимир Павлович.— Зайдите дня через два.

— Сколько можно ходить! — нахально говорит парень.— Я не потерплю бюрократического подхода к моему творчеству!

Владимир Павлович тупо смотрит на посетителя, на его богатырскую грудь, украшенную четырьмя автоматическими ручками, и ему страшно хочется достать из стола роман, рвать его на глазах у автора и выкрикивать при этом оскорбительные отзывы, но Владимир Павлович спорит, убеждает, советует читать Тургенева и грамматику.

Приходит мастер короткого газетного жанра Коля Гонорарьев. Этот долго не задерживается, но все-таки оставляет неприятное впечатление.

Потом идут другие — молодые, старые, вежливые, заносчивые, сердитые и обидчивые. Попадаются нервные. Как-то после работы Владимир Павлович достал из стола два новых письма и хотел уже сунуть их в папку для того, чтобы прочитать дома, но машинально разорвал один конверт и вынул оттуда на редкость маленькую бумажку.

В этот день Владимир Павлович анализировал поэму Рассветова о боярышнике и был порядком утомлен. Кроме того, демобилизованный романист назвал его Бенкендорфом. К концу дня его нервы находились, кажется, вне всякой системы.

Владимир Павлович развернул бумажку. Неведомый автор предлагал стихотворение, которое начиналось так:

Из подворотни выбрел пес лохматый
И вдруг завоил, словно не к добру.

Подкрадывался сумрак бородатый,
Подвязывая сумочку к ребру.

«Что это? — подумал Владимир Павлович, чувствуя, что ему становится не по себе.— Какую сумочку? К какому ребру?»

Владимир Павлович прочел это еще раз, попробовал хихикнуть, но смех вышел таким, что он сам его испугался.

Он быстро оделся и поспешно покинул пустой кабинет. По дороге домой Владимир Павлович держался многолюдных и освещенных мест. Странное четверостишие не давало покоя. Темный коридор он прошел быстро и с таким чувством, что его вот-вот ударят по голове чем-нибудь жестким и тяжелым. Войдя в свою квартиру, он запер за собой дверь.

Жена сидела на диване и вышивала что-то болгарским крестом. Владимир Павлович заговорил шепотом:

— Маша, у нас никого нет?

— Никого. А что?

— Вот! — Владимир Павлович вынул из папки конверт и осторожно, словно это была бутыль с негашеной известью, передал его жене.— Прочти. Только... Ребенок спит? Спит? Тогда прочти... Нет-нет, не надо вслух.

— Ничего особенного,— сказала хладнокровная жена, прочитав.— «Сумрак бородатый» — хорошо, а вообще несколько туманно...

— Несколько? — перебил Владимир Павлович, нервозно вздрагивая.— Это черт знает что: «Завоил!» — какое адское слово. Все встречалось: поэтические вольности, охотничьи рассказы, шаманские могилы, но такого... Нет-нет! Это что-то жуткое... Я думаю, Эдгар По побледнел бы. А я все-таки человек рядовой, с ограниченным воображением, у меня ребенок, еще могут быть дети... Нет, я не могу! Я уйду с этой работы. Завтра же. Сегодня же! Займусь чем-нибудь другим... Буду менять собственную тень на шагреневую кожу — спокойнее...

Жена бросила вышивание и внимательно посмотрела на мужа. Только сейчас она заметила, что Владимир Павлович бледен и необычно суетлив.

— Послушай, Маша,— сказал Владимир Павлович вкрадчиво,— тебе никогда не казалось, что на тени ты похожа на Бенкендорфа? Да-да. Я все время думал, на кого, и вот сейчас...

Перепуганная жена увела Владимира Павловича в

спальню и уложила в постель. Потом она вернулась в комнату, подошла к телефону и набрала нужный номер...

Через неделю начинающий поэт Рассветов, прогуливаясь по улице с девушкой, встретил Владимира Павловича, который против обыкновения не свернул в сторону и не отвел глаз, а пошел прямо навстречу Рассветову так, что тот должен был остановиться.

— Вот что, молодой человек,— сказал Владимир Павлович не поздоровавшись.— Не ходите вы, ради бога, по редакциям и не пишите стихов. Чтобы нравиться девушкам, не обязательно писать стихи. Я вам это давно хотел сказать, но не мог. А теперь могу. У вас не то что талант, у вас здравый смысл отсутствует.

— Рехнулся! — сказал посрамленный поэт, глядя вслед уходящему Владимиру Павловичу.

Он был не прав. Владимир Павлович перешел на другую работу и был совершенно здоров.

ФИНСКИЙ НОЖ И ПЕРСИДСКАЯ СИРЕНЬ

Переполненный, раздираемый распрями автобус остановился, наконец, там, где высаживается большая часть пассажиров. Все отдыхающие солнечным летним воскресеньем за городом знают, сколько дерзости, сколько грубой энергии нужно для того, чтобы уехать к месту отдыха на автобусе. Но вот из автобуса выходят смущенные влюбленные, выходят семьи, счастье которых, казалось, могло быть омрачено лишь поездкой за город на автобусе, и небольшие группы приятелей-сослуживцев, приехавших сюда выпить и закусить. Гражданин лет девятнадцати сошел последним, но сделал он это не из вежливости, а случайно. Зато никто не мог бы отказать ему в красоте.

Лицо мужественное, но со следами каких-то происшествий и слишком дерзким взглядом. Одет с неподдельной небрежностью, что полностью гармонирует с его свободными манерами и развязной походкой. Вид самый независимый, но в то же время заметно, что этот человек постоянно ждет чего-то нехорошего. И действительно, он постоянно должен подозревать, опасаться, быть начеку. Этого требует его нервная профессия. Своей профессией он обязан исключительным

стечениям жизненных обстоятельств и редкому воспитанию.

Пяти лет он лишился обоих родителей и был усыновлен дядей. Одинокий дядя принял племянника неохотно. Одиночество больше всего ему подходило при его образе жизни и способах приобретения средств для этой жизни. У него, например, всегда были основания внезапно покинуть насиженное место с тем, чтобы не возвращаться туда даже за своими вещами. Впрочем, вещи эти не были его собственностью, а попадали в его руки без ведома их настоящих владельцев. Он вел пьяное существование, и уважать его можно было только за преклонный возраст. К своей свободе относился ревниво, но в конце концов так скомпрометировал себя перед обществом, что мог жить только далеко, в суровом малозаселенном краю. К несчастью, этот дядя имел педагогическую жилку. Личным примером и непосредственными поучениями он воспитывал племянника по своему подобию.

Конечно, люди вырвали бы восприимчивого мальчика из лап этого воспитателя, но мальчик в силу исключительных способностей, которые в нем открыл и развил дядя, успел угодить уже в детскую трудовую колонию, откуда несколько раз бежал. Растянув эти побеги до совершеннолетия, он попал на два года в тюрьму и вышел оттуда опытным и энергичным нарушителем законности.

Разумеется, он не был счастливым. У этого человека могли быть удачи, но не могло быть счастья. Чем больше он задумывался над своей жизнью, тем чаще ему казалось, что он не любит своей профессии. Он стал замечать, что ворует и грабит безо всякого увлечения, без любви к делу. К честным людям стал приглядываться с завистью и раздражением. Особенно раздражали его студенты. Ему уже девятнадцать лет, а его жизненная перспектива тянулась длинной вереницей бутылок и упиралась во что-то темное и безнадежное. Деньги между тем имели для него цену лишь тогда, когда их у него не было. Последнее время у него не было денег.

Воровать он не любил — ему больше нравилось грабить. Ограбив кого-нибудь, он получал сознание того, что он сильнее ограбленного, каким бы честным и умным ни был последний. И все-таки ограбленному он завидовал, и, может быть, для него быть счастливым

значило быть честным. Но он считал честную жизнь чем-то в высшей степени ему не свойственным и не подходящим. Тело у него было исписано эпитафиями и лирическими откровениями, которые должны были свидетельствовать о душевной обреченности и безнадежности.

Было воскресенье, граждане ехали за город отдохнуть, но его каторжная профессия, как видно, и не предполагала выходных дней.

В одном месте лес с городом соединял запущенный сад, который когда-то окружал чью-то дачу и был огорожен. Теперь забора не было, сад зарос, но остался садом, потому что там попадались акации, черемуха, сирень и кусты непривитых яблонь.

Поглощенный мрачными грабительскими мыслями, молодой человек незаметно для себя очутился в самом глухом уголке сада, где попадалась еще не истерзанная любителями живых цветов сирень. Уголок этот благоухал. Но из молодого человека формировался уже алкоголик, так что запахи он чувствовал смутно. Равнодушно взглянув на пышный куст персидской сирени, он уже хотел повернуть назад, как вдруг заметил по ту сторону куста белое платье.

«Снять часики»,— пришла ему в голову привычная мысль.

Оленька Белянина любила одиночество. Этот заброшенный сад привлекал ее всем: и тем, что он заброшен, и тишиной, и запахами, и еще многим, что находила в этом саду она одна. Забравшись в заросли, она читала писателей-романистов, любила Тургенева, и в ней самой было очарование Лизы Калитиной. Оленька прошла тихим ровным путем через школьные классы в студенческую аудиторию. Юность ее светла и спокойна, и все неожиданности были у ней впереди. Это была нежная, чуткая, отлично воспитанная девушка, и трудней всего она воспринимала какие-либо отклонения от нормального. Мысль быть ограбленной никогда не приходила ей в голову.

Молодой человек между тем подошел, остановился в двух шагах и стал ориентироваться. Часы ему понравились с первого взгляда, но их владельца он нашел унизительно беспомощным.

«Сразу же отдаст и будет плакать»,— подумал он.

— Который час? — спросил он, вкладывая в свою интонацию большую дозу грабительского сарказма, за

которым слышится, что хозяину часов, не имеющему высокоразвитого чувства времени, предоставляется возможность ответить на этот вопрос в последний раз. Но этот зловещий вопрос, который настораживал, приводил в растерянность, заставлял трусить всякого, кому он задавал его наедине, на Оленьку Белянину не произвел никакого впечатления. Это показалось ему странным. Между прочим, у Оленьки была та наружность, мимо которой нельзя пройти без зависти или без любопытства, и молодой человек неясно осознал, что ему было бы неприятно иметь такого голубоглазого врага.

— Без десяти пять,— любезно ответила она.

— Врут ваши часы,— решительно сказал молодой человек.— Снимайте их, будем чинить.

И он сделал к ней шаг, но только шаг. Его остановил ее взгляд. В глазах ограбленных им людей он привык видеть страх, осуждение, презрение. Но девушка смотрела на него весело и с любопытством. Это было ново и неожиданно и так не предусмотрено практикой, что молодой человек растерялся.

— Вы что — странствующий агент часовой мастерской? — спросила она, улыбнувшись.

— Да, я... странствующий...— пробормотал он и неловко опустился на траву.

Они молчали. Оленька с интересом продолжала его разглядывать. Этот молодой человек выглядел несколько необычно. Следы каких-то происшествий на лице придавали ему в ее глазах романтический оттенок.

— Неужели вы не нашли другого повода, чтобы заговорить со мной? — сказала она, продолжая улыбаться, и он понял, наконец, что предложение снять часы она принимает за шутку, а его считает честным человеком, и вдруг почувствовал себя во власти какого-то сложного непонятного состояния, которое делало его попытку снять часы у этой девушки попыткой страшно нелепой и несостоятельной. Она что-то говорила, что-то спрашивала, но прошла минута, прежде чем он стал понимать ее и отвечать на ее вопросы. Непосредственность была природной чертой Оленьки Беляниной. И они разговорились. Это был обычный для двух незнакомых молодых людей разговор, который состоит из шуток и отгадываний имен и рода занятий собеседников. Разумеется, этот разговор не мог быть для молодого человека приятным.

Что Оленька студентка, стало известно быстро и легко. А он...

— И уж, конечно, вы не артист,— гадала Оленька.— Вы только что так грубо и так неталантливо пытались изобразить разбойника.

— Разбойника...— повторил он,— вы видели его когда-нибудь?

— Не видела,— самоуверенно отвечала она,— но представляю его лучше, чем вы.

Он взглянул ей в глаза и улыбнулся. Может быть, потому, что в жизни ему приходилось редко улыбаться и невинная улыбка хорошо сохранилась у него с малых лет, у грабителя оказалась детская улыбка. Было это трогательно, как грустная любовь веселого юмориста, и Оленьку такая улыбка не могла не взволновать. Кроме того, она смутно почувствовала, что где-то близко около этого разговора бьется самое важное, самое сокровенное в этом человеке. Они отвели глаза, и оба, каждый по-своему, смутились.

— Какая это книга? — нарушил он паузу и протянул за лежавшей у ее ног книгой свою руку. Обшлаг рубахи скользнул к плечу, и тут Оленька увидела на его руке непринужденно начертанную каким-то опальным художником Венеру и одну из эпитафий — яркую грубую татуировку.

— Что это? — улыбка мгновенно улетучилась с ее лица.

— А это,— сказал молодой человек чужим голосом,— наколка. Я, между прочим, разбойник и есть.

В горле пересохло, а ему захотелось вдруг говорить и говорить.

Он взглянул ей в глаза. В них были страх, осуждение, презрение.

— Вам нужны часы? — проговорила она сухо. Он молчал. Через несколько мгновений послышался шелест травы под ее ногами. Шла она или бежала, он не видел. Он сидел на земле, опустив голову и беспомощно, как подраненная ворона крылья, расставив руки.

ДЕВИЧЬЯ ПАМЯТЬ

Альберт Дрынов, живой, модно одетый юноша, полвечера провертевшись вокруг Наденьки Накидкиной и

протанцевав с ней два быстрых танца, изловчился проводить ее домой.

Танцуя с Дрыновым и принимая из его рук свое пальто, Наденька молчала и только несколько раз неопределенно улыбнулась, что восприимчивый Дрынов истолковал так: «Вы мне нравитесь, но я вас совсем еще не знаю».

Дорогой он выказывал все признаки скоропостижной влюбленности: старался заглянуть Наденьке в глаза, упражнял свои легкие глубокими вздохами и говорил не останавливаясь:

— ...Вообще я против танцев ничего не имею. Если на то пошло, так и Ромео с Джульеттой на танцах познакомились. Это уж так заведено... Вы знаете, мне кажется, я вас где-то видел. Серьезно. Вы, наверное, учитесь где-нибудь? В институте? Девушка с вашей внешностью может смотреть на жизнь с легкой улыбкой. Лично я для вас бы все сделал... Вам, конечно, еще и двадцати нет. Можно сказать, возраст любви...

Не бегите так. Послушайте, вы мне серьезно нравитесь. Меня поразили ваши глаза. Мне кажется, я уже видел эти глаза... Знаете такое приятное и... возвышенное ощущение, даже мороз по шкуре идет. Я впечатлительный — я жениться могу. Вот до этого у меня никаких чувств: ни любить, ни радоваться — нехорошо даже. А сейчас в моей душе что-то вроде эпохи Возрождения, как это... э... Росинант. Да, Росинант! Я сам себя не узнаю. Вы не подумайте, что я это все так только говорю. Я гораздо серьезнее, чем вам кажется. Это я с виду только беспечный, а на самом деле у меня на душе, может быть, кошки скребут. Я чувствую, что и я могу всяких дел наделать, но знаете, мне не хватало стимула, э... предмета, который воодушевлял бы меня на что-то такое... Одним словом, я страшно рад, что встретил вас. Мне вас не хватало. Видимо, потому мне и мерещились ваши глаза. Мне сейчас даже удивительно — почему это судьба так медлила с нашей встречей... Вот мы идем с вами в первый раз, а мне кажется, что я уже сто лет здесь с вами ходил. Ваше имя...

Но тут Дрынов вспомнил, что не знает еще имени этой девушки.

— Топор! — воскликнул он с раскаянием.— До сих пор я не знаю вашего имени! Но это от волнения. Простите... как вас зовут?

— Мы с вами знакомы,— сказала девушка. Весь монолог она неопределенно улыбалась, но теперь по лицу ее скользнула убийственная насмешка.

— К-как знакомы? — удивился Дрынов.

— Да так. Вы провожали меня с танцев два месяца назад. За это время вы хорошо сохранились, если не считать, что у вас отшибло память. Прощайте. И запомните — Ренессанс, а не Росинант. Я и в тот раз вас поправляла,— проговорила она холодно и свернула вдруг в большие каменные ворота.

ШОРОХИ

Рассказ ночного сторожа

— Вам спичек? Пожалуйста. Чем я здесь занимаюсь?.. Да вот: кому спички понадобятся, кому время, кому, может, поговорить... Садитесь, вам, я вижу, не нужно точное время.

Видите напротив магазинчик? Так вот я в нем работаю. То есть не в нем, а около него. Я — ночной сторож. Для этого у меня все данные: возраст 64 года, борода 15 сантиметров, ружье 16-й калибр.

Когда-то я работал в этом магазине продавцом, а теперь вот караулю... Но что это за работа! Мне даже немного совестно деньги получать. Еще ни разу не было ничего такого... Воруют-то днем! За пять лет сменилось семь продавцов.

Вот сейчас опять новый. Молодой, вертлявый такой. Все ходит по магазину, насвистывает. Не зря насвистывает! Я его насквозь вижу. Наглый. Такие мало не берут. Не могу его терпеть. Вижу, что шаромыга, но нет у меня полномочиев. Надо мной, подлец, еще издевается. «Караулишь,— говорит.— Ну карауль, карауль...» Дескать, напрасный труд. А у меня нервы сдают и курок у ружья пошаливает. Все может быть. Я его спрашиваю: «Ты зачем, голубчик, в торговлю-то подался?» А он: «Я, говорит, стал продавцом потому, что не хочу загубить молодость в очередях». Я ему: «Скоро тебя уведут? И надолго ли?» Отвечает: «Ничего, вернусь — буду сторожем». Видали его? Возьми с такого!

Вот... А ночью что ж... ночью тихо. Даже скучно както. Я уж хожу смотреть кинофильмы, есть забавные.

Вот «Ночной патруль...», ну и другие. Хожу еще в суд слушать, да там все одно: растраты, разводы и хулиганство.

А насчет разбоя, так это только рассказывают. Брехня, устное, так сказать, творчество. Все, что тут было такого за пять лет, так все эти протоколы собрали и выпустили недавно книжку. Как же — читал, читал... занятно...

Ага! Уже час ночи... Этими часиками меня недавно премировали... Так я, пожалуй, сейчас лягу. Завтра рано вставать. Скамейка удобная и тулуп хороший — не жалуюсь.

А что касается шорохов — я шорохов не боюсь. В них нет ничего сверхъестественного. А сон на свежем воздухе, я вам скажу, самый крепкий и самый здоровый.

НА ДРУГОЙ ДЕНЬ

У маленького деревянного домика на скамейке в позе больного художника с известной картины Карнаухова сидел молодой человек.

Поднятый воротник пальто наполовину скрывал его бледное лицо, которое выражало крайнее нетерпение и бесконечное отчаяние. В его глазах была сосредоточена грусть целого объединения начинающих поэтов-лириков. И если бы вы заглянули в эту минуту ему в душу, то вам стало бы неприятно.

Дрожащими руками молодой человек полез в карман, закурил, но тут же с отвращением отбросил папиросу. «Даже курить не могу!» — с горечью заметил он.

Ничего светлого его настроению не могло противопоставить мрачное осеннее утро. Почти задевая скелеты тополей, по небу ползли грязные лоскутки туч. В маленьких лужицах всхлипывал мелкий и нудный дождик.

«Декорации для самоубийства,— думал молодой человек.— Вот люди торопятся по своим делам, у них отличное настроение — они хорошо позавтракали, им все легко и просто. А я? Вчера и мне было весело и легко. А сегодня — ужасно! Грудь давит, будто меня сунули под гидравлический пресс. Невыносимо! А ведь я мог себя вовремя сдержать! Не сдержал. Ну и поделом — околевай теперь!.. Но что же это?»

Молодой человек в сотый раз взглянул на часы.

«Где же она? Разве можно так мучить человека? Толь-

ко женщина может быть так жестока и так небрежна. Знает ли она, что такое депрессия души и тела? Нет. Женщинам это недоступно. Чтобы понять меня, надо все это почувствовать. Конечно, ее это не трогает, ей все равно. Женщины равнодушны к страданиям других, они ничего никогда не сделают, чтобы хоть чуть-чуть облегчить их, и даже наоборот — любят злорадствовать... Она не торопится, ей плевать на то, что у меня рябит в глазах и трясутся руки. Но она еще меня вспомнит! И ей еще будет неприятно! Впрочем, может быть, ей будет уже все безразлично. Нет! Это настоящая инквизиция! Кто ей дал право так издеваться! О, как тяжело! Как ужасно... Что ж, я уйду. Еще минута...»

Но здесь лицо его просветлело: он увидел ту, которую ждал с таким нетерпением. Он поднялся, облегченно вздохнул и быстро вошел в только что открытую толстой пожилой женщиной дверь под вывеской: «Пиво — воды». «Три пива!» — выкрикнул он на ходу.

КОММУНАЛЬНАЯ УСЛУГА

Работник коммунального отдела Валериан Эдуардович возвращался с заседания в двенадцатом часу ночи. Он шел по затихшей улице и придирчивым взглядом человека, благоустраивающего город, замечал, что ночью почти не видно призывающих к чистоте табличек и плакатов, что муссорные тумбы расположены несимметрично, что забор, побеленный известкой, имеет непристойный вид.

У перекрестка Валериан Эдуардович покосился на звезды, но его внезапно отвлек шум, который создала вывернувшаяся из-за поворота машина. Он метнулся в сторону, туда же завернула машина. Валериан Эдуардович бросился обратно — машина, взвизгнув, повернула за ним. Он попятился... Одна из улиц уже несколько месяцев была рассечена вдоль глубокой канавой. Неподготовленный к этому, Валериан Эдуардович испытал не только острое чувство неожиданности. Приятно, свалившись в четырехметровую яму, почувствовать себя живым и невредимым. Легкие ушибы только дополняют счастливое ощущение бытия. От сырых стен пахло сыростью. Валериан Эдуардович живо представил себя усопшим в этой яме, спина у него похолодела, он бодро вскочил и затрусил по длинному неблагоустроенному коридору.

— Там не вылезти,— вдруг услышал Валериан Эдуар-

дович хриплый голос. Навстречу ему шел живой человек. Он приблизился, и Валериан Эдуардович при лунном свете разглядел высокого мужчину: худого и нескладного, как лошадь Дон Кихота. Запах, сопровождавший этого человека, и запах сырой земли вместе составили аромат винного погребка.

— Здравствуйте! — тепло приветствовал он долговязого мужчину.— Вы давно здесь?

— Точно не знаю,— ответил мужчина.— Который час?

Валериан Эдуардович струсил.

— Уже двенадцать? Ого! Я вздремнул немного...— пояснил мужчина. Неизвестный гражданин приблизился на четыре метра к уровню моря тем же путем, что и Валериан Эдуардович, но без постороннего влияния.

— Черт подери! — говорил он. Свернул бы здесь шею хоть один из коммунальных работников! Полгода стоит эта ловушка открытой. Зачем они ее вырыли? Ну, теперь есть материальчик... Я это так не оставлю! Я их разнесу!

— Как вы их разнесете? — осторожно спросил зардевшийся работник коммунального отдела.

— Известно, как. Для этого есть периодическая печать,— сказал тот.

— Ну вы уж и рады стараться...— пробормотал обеспокоенный Валериан Эдуардович.

— Стараться я никогда не рад,— отвечал незнакомец.— Ну постояла бы эта траншея месяц, ну второй, а то ведь как будто ждут жертв...

— Но ведь мы с вами целы и невредимы. Ведь целы же вы? — сказал Валериан Эдуардович раздражительно.

— Это что значит, падайте на здоровье, милости просим, так, что ли? — зловеще спросил неизвестный.

— А что... Радикальный способ борьбы с алкоголиками... Хи-хи. Вытрезвитель в какой-то степени...

— Но-но! Ты! Будем называть друг друга на «ты», тем более я вижу, что мы друг друга не уважаем,— рассердился собеседник.

Общее несчастье делает друзьями людей разных профессий, разных характеров, разных степеней пользования коммунальными услугами. Валериан Эдуардович и неизвестный друзьями не стали. Они ужасно друг другу не понравились, смертельно разругались.

Когда они выбрались из этой ямы, была глубокая ночь.

Множеством неинвентаризованных фонариков мерцали звезды. Валериан Эдуардович оглянулся вокруг и вдруг

почувствовал, что жизнь прекрасна. Он бодрой походкой взял направление к дому, обдумывая на ходу, как лучше поставить завтра вопрос о траншеях и ямах в городском отделе коммунального хозяйства, чтобы не портить настроение горожанам.

НАСТОЯЩИЙ СТУДЕНТ

Старший преподаватель Лев Борисович Фениксов подозрительно относился к аудитории, перед которой выступал с курсом лекций о новом, недавно открытом, древнем языке. Ему казалось, что большинство студентов слишком молоды и несерьезны для того, чтобы заниматься этим необходимейшим предметом.

Сам Фениксов — мужчина лет тридцати, сухощавый, серьезный, холостой, принадлежащий науке. Аудитория же на его лекциях принадлежала самой себе.

С первой же лекции Фениксов выбрал среди физиономий, казавшихся ему безразличными и беззаботными, одно строгое, вдумчивое лицо и стал читать после этого, глядя на это лицо и обращаясь только к нему.

Студент Потехин в свою очередь каждую лекцию не сводил глаз с преподавателя. Если случалось, что Потехина на занятиях не оказывалось, Фениксов беспокойным и подозрительным взглядом скользил по рядам и, сбиваясь и нервничая, всю лекцию читал, обращаясь к проходу между скамейками.

Но Потехин ходил на его лекции часто, и Фениксов говорил о нем много хорошего там, где распределяются стипендии и назревают скандалы.

— Что ни говорите, на первом курсе, по-моему, разболтанный народ. Шуточки, невнимание... и, знаете, даже неуважение к предмету и преподавателю, а я, знаете, за это буду карать... Представьте себе, я вижу там одно только внимательное лицо. Сразу видно — серьезный товарищ. На него даже приятно посмотреть. Чувствуется настоящая пытливость, уважение... Уважение совершенно необходимо. Вот он — настоящий студент. Я говорю о Потехине.

До сессии было еще далеко, и Фениксов долго бы оставался при этом мнении, если бы не один досадный недостаток Потехина.

Студент Потехин был рассеян. Он обладал уникальной способностью, занимаясь одним делом, думать о другом.

Так, покупая папиросы, он думал о том, что надо бросить курить, или, отвечая на зачете, соображал о дне и часе пересдачи того же зачета. По рассеянности он, например, всю зиму проходил в осеннем пальто и «забывал» иногда пообедать.

Раз после лекции Фениксова, на которой преподаватель и студент вдоволь налюбовались друг другом, Потехин, чувствуя, что аппетит превозмогает в нем рассеянность, направился в студенческую столовую.

В столовой с подносом в руках туда-сюда сновали молодые самообслуживатели. Потехин накрыл стол, безотчетно склоняясь при этом к вегетарианству и думая о том, что этот обед неизбежно повлечет за собой ужин. Минуты две он ждал у маленького окошка тарелку с хлебом, потом получил ее и в задумчивости уселся... за чужой стол.

Даже наметанный глаз старого экзаменатора, принимавшего экзамены в разные времена и при разных освещениях, мог бы спутать эти два стола. Одинаковые, с равным количеством блюд. Накрытые на одну персону и одинаково сервированные, эти столы отличались только тем, что должно быть съедено.

Таким образом, студенту Потехину представилась возможность познакомиться со вкусом преподавателя Фениксова, к чему он без промедления приступил.

Сам Фениксов с недоумением остановился за спиной Потехина, чуть не выпустив из рук свою тарелку с хлебом.

К Потехину между тем подсел знакомый студент с другого факультета — высокий, длинноволосый пижон из тех, которые лазают через решетку в сад пить пиво. Фениксов ушел бы, если бы между приятелями вдруг не начался разговор, который до того ошеломил Фениксова, что он машинально опустился на ближний стул. Разговор был о нем, и не было на свете сил, которые могли бы помешать ему все выслушать. Чтобы это не слишком походило на подслушивание, Фениксов взял ложку и стал хлебать потехинские щи.

— ...Понимаешь, с первой же лекции уставился на меня,— говорил Потехин,— и так все время. А у меня, ты знаешь, привычка смотреть в одну точку...

— У меня тоже,— признался приятель.

— Ну так я на него и глазею. Не слушаю, конечно, а так, пыль в глаза пустить... Как-никак в мою зачетку требуется его автограф...

Фениксов чуть не поперхнулся. Щи, которые заказал студент, пришлись ему не по вкусу. Они отдавали очковтирательством.

— Он читает такую чепуху,— продолжал Потехин, не замечая того, что шницель немного пережарен.— «Рцы черноокая, любишь ли мя?..» Смех! Кому это надо? Вся эта наука состоит из примечаний и оговорок. Это, дескать, еще не окончательно так, еще может быть и по-другому, я, дескать, еще об этом парочку томов состряпаю. А о чем? Мелочь какая-нибудь, чепуха!..

Фениксов побагровел, но продолжал заниматься жареными макаронами. «Немыслимо! — думал он.— Какой нахал! Ест мой обед и говорит такие вещи. Подожди...»

— А вот же — надо сдавать,— вздохнул Потехин,— взял я у девчонок лекции, читаю сорок раз по одному месту — ничего не понимаю. Он сам тоже ни черта не понимает.

У Фениксова потемнело в глазах, он залпом выпил стакан чая и вскочил со стула...

Следующие лекции он читал, потупив взор в свои конспекты. Он целиком принадлежал науке.

ГЛУПОСТИ

Где и когда встретились эти молодые люди, вам знать вовсе не обязательно. Важно лишь знать, что встретились они совсем недавно и теперь шли рядом по тихой городской улице.

Сентябрьский вечер был необыкновенно хорош. Весь день шел дождь, и солнце выглянуло только перед самым заходом — забежало проститься — и теперь над низкими заборами, сквозь блестящую черную листву мелькал его розовый след. По мокрому асфальту скользили недавно зажженные фонари.

— Какой вечер! Какой воздух! Я даже не знаю... Мне хочется сделать сейчас какую-нибудь глупость! — Девушка остановилась и, повернувшись к молодому человеку, продолжала шутливо и капризно: — Почему вы молчите? В такой вечер неприлично молчать. В такой вечер надо говорить красивые и возвышенные вещи.

И в самом деле, настроение у нее было, если не возвышенное, то возбужденное, отчего она, хорошенькая и без того, делалась еще привлекательней.

Никитин, так звали ее собеседника, улыбнувшись и смутившись, проговорил:

— Я не поэт, Лиля... Но если вы хотите...

По лицу Лили скользнула неуловимая улыбка. Так может говорить только влюбленный, и, точно, Никитин уже был серьезно, беспросветно влюблен.

Никитин — студент, веселый, живой юноша, светловолосый и голубоглазый. Беспечный владелец бесценных сокровищ молодости, он не гонялся еще за счастьем сам, а наступал ему на пятки нечаянно. Встречу с Лилией он считал первой удачей своей жизни, второй удачей для него было бы поцеловать ее.

Никитина нетрудно понять, стоит только увидеть эту девушку. Волосы ее могли растрогать, глаза взволновать, улыбка оживить камень и произвести впечатление даже на мрачного сотрудника бракоразводного отдела.

Улицу пересекала другая — многолюдная, шумная, с трамвайной линией и с вереницей легковых машин. Никитин свернул было на нее, но Лиля вдруг сказала:

— Не хочу сюда. Знаете, что? Сядем сейчас в трамвай и поедем куда-нибудь на окраину, в незнакомое место, там сойдем и вернемся пешком. Что, легкомысленно?!

— Не очень,— ответил Никитин.— Я предлагаю на край света.

Но на трамвайной остановке собралась толпа, численностью напоминающая скопление поганых под древним Киевом, и Никитин остановил такси, за что Лиля остановила на нем взгляд, полный признательности и внимания.

Шофер, пожилой мужчина в ученической фуражке и с сигаретой в зубах, спросил не оборачиваясь:

— Куда?

— До Дерибасовской,— сказал счастливый Никитин.

Дерибасовской в этом городе никогда не было. Шофер повернулся, взглянул на Никитина, рассмотрел улыбающуюся Лилю, но ничего не сказал и тронул машину.

— Давай за город! — пояснил Никитин.

Машина пристроилась к цепочке «Москвичей» и «Побед», медленно миновала два перекрестка, свернула на третьем и стала набирать скорость. На улицах света становилось все меньше и меньше, мимо скользнул последний огонек какой-то сторожки, и машина выскочила на пустое и ровное шоссе, рассекающее темный ночной лес.

Никитин не отрываясь смотрел Лиле в лицо. Неизвестно когда появившаяся луна стремительно прыгала по верхушкам ближних деревьев, резала их темные силуэты или летела по воздуху. Лиля следила за ней, широко раскрыв глаза, с каким-то наивным вниманием, и по лицу

ее то и дело бешено струились тени. Шоссе чуть свернуло в сторону, луна стала отставать. Лиля, чтобы видеть ее, невольно потянулась в сторону Никитина, и тот, не в силах уже больше выдержать, взял ее за плечи и два раза поцеловал в губы.

— Разверните машину! — звонким, срывающимся от негодования и обиды голосом скомандовала Лиля.

Шофер усмехнулся и сбавил ход.

— Вы слышали? — повторила Лиля.

— Лиля, послушайте...— тихо начал Никитин.

— Я с вами не разговариваю,— быстро перебила она,— я вас больше не знаю.

Шофер остановил машину, повернулся и, нагло подмигнув Никитину, заговорил:

— Было у меня несколько таких случаев, так некоторые девочки пешком отсюда, извините за выражение, топали...

— Ах, вот как! Откройте дверцу!

И Лиля, вдруг всхлипнув, попыталась открыть замкнутую с ее стороны дверцу.

— Разворачивайся! — грубо приказал Никитин.

— Пропустите меня. Я сойду,— сказала Лиля, обращаясь к Никитину. Хотя в глазах у нее светились слезы, она сказала это гордо и надменно. Но машина уже разворачивалась, а Никитин сидел не шевелясь и глядел прямо перед собой.

Обратную дорогу весь экипаж хранил мрачное молчание, если не считать того, что Никитин указывал дорогу до Лилиного дома.

Выйдя из машины, Лиля молча направилась во двор. Никитин бросился за ней.

— Эй, парень! А заплатить! — испуганно залопотал шофер.

— Жди здесь! — крикнул Никитин. Он догнал Лилю и очутился в классической позиции влюбленного — между возлюбленной и дверью.

— Пустите меня,— сказала Лиля строго.— Вы ужасный человек. Мы едва еще знакомы, и вы... Пустите меня, я не хочу вас видеть.

— Не пущу,— заявил Никитин с отчаянием,— не пущу до тех пор, пока вы не скажете, что не сердитесь.

— Идите, вас ждет шофер,— сухо отвечала Лиля.

— Он будет ждать до тех пор, пока вы не скажете, что не сердитесь на меня,— запальчиво сказал Никитин.

— В таком случае вы будете разорены...

Диалог затянулся на полтора часа. Никитин говорил о том, что не хотел обидеть Лилю, что все вышло помимо его воли, объяснился между прочим в любви и продолжал «осаду крепости» с соответствующими случаю отчаянием и упорством. Лиля говорила о том, что еще никто в жизни с ней так не обращался и что она, наверное, никогда не простит Никитину эту грубость, а себе глупость и легкомыслие, с которыми она села в машину. Два раза в воротах появлялся шофер, кричал: «Эй, парень!» — и, неслышно ругаясь, исчезал. Появившись в третий раз, он крикнул: «Не меньше полбумаги»,— и погрозил пальцем.

— Идите, идите,— все еще насмешливо сказала Лиля.— Вы пустите себя по миру, а потом будете обвинять меня...

— Вам не надоело? — кипятился Никитин.— При чем здесь шофер и его такси? Я могу оплатить в таком случае самолет. Ясно это вам? Вы мерзнете — это другое дело. Скажите, что вы простили мне... и я уйду.

— Хорошо. Я все скажу завтра вечером.

И она насмешливо добавила:

— Только не приезжайте, пожалуйста, на такси. Таким образом можно вырвать даже признание в любви.

— До свиданья!

— До свиданья! — послышалось уже за дверью.

Шофер нетерпеливо прохаживался вдоль машины.

— Едем ко мне... или лучше к моим друзьям. Там расплатимся,— весело сказал Никитин и, с силой захлопнув дверцу, добавил: — Погоняй!

Назавтра было воскресенье, и Лиля с утра ушла гостить к своей тете, которая жила на окраине города. Там, помогая поливать капустные грядки, Лиля со всеми подробностями описала вчерашний вечер.

— Нахал,— заключила добродушная Надежда Ивановна,— самый натуральный нахал. Неделю как знаком с девушкой — и уже такие штуки...

Надежда Ивановна была женщиной пожилой, одинокой и доброй. Больше всего на свете она любила племянницу, чай с малиновым вареньем и разговоры о нравственности.

— Таких, милая, гнать надо,— продолжала она — Он случайно не Эдик? Мне почему-то кажется, что все Эдики ходят в узких штанах и все — негодяи. Ты, Лиля, будь начеку, ты совсем еще ребенок. Ты можешь наделать массу глупостей...

После обеда Лиля уснула на большой, как стол для

игры в пинг-понг, кровати Надежды Ивановны, Ей приснился вчерашний водитель такси. Он пришел к крыльцу ее дома с букетом цветов и, смущенно улыбаясь, бормотал какие-то нежности. Лиля проснулась и рассмеялась. Тотчас же в спальню вошла Надежда Ивановна.

— Ты уже не спишь? Ну, давай пить чай. И пригласим парня...

— Какого еще парня?

— А вон во дворе колет дрова. Тут недалеко живет студент. После обеда приходит и говорит: «Это вам, кажется, требуется дровосек?» Как же: мне давно требуется — привезли два кубометра чурок, кому у меня их колоть? Парень скромный, хороший, не какой-нибудь Эдик. Сколько, спрашиваю, за работу. Не знаю, говорит, сколько дадите. Я человек гуманный, мне бы, говорит, порезвиться. И вот уже три часа резвится.

Они вышли в другую комнату, окна которой выходили во двор.

Посреди двора, без рубахи стоял Никитин и махал тяжелым колуном. На его широких загорелых плечах играли солнечные зайчики.

Лиля вспыхнула и спряталась за Надежду Ивановну.

— Вот парень! Не то что катают там всякие на такси,— не унималась старуха.

— Не надо его звать пить чай,— еле слышно сказала Лиля.

— Как знаешь,— проговорила Надежда Ивановна и ушла в кухню. Прислонившись к подоконнику, Лиля продолжала смотреть во двор...

Вечером Никитин и Лиля снова бродили по красивым и тихим улицам города. О вчерашнем они почему-то не разговаривали, и только, прощаясь, Никитин спросил:

— Вы простили мне вчерашнее?

— Я простила тебя,— сказала Лиля тихо,— и боюсь, что, если это повторится, прощу еще...

РЕВНОСТЬ

Она некрасива. Я знаю это лучше других. Не сразу найдешь другое такое же круглое лицо и такие бесцветные глаза. Короткая прическа на ее голове выглядит тяжелым увечьем. Она неумна. Об этом говорят ее постоянный испуганно-вопросительный взгляд и могучее отвращение к толстым книгам и серьезным разговорам. Шутки оби-

жают ее, а смеется она обычно без всякой причины. Самые искренние ее мысли — это мысли, которые она высказывает нечаянно. При всем при этом она заносчива. Она уверена, что по жизни ее должны пронести на руках.

Она капризна, мелочна, злопамятна и т. д., и т. д. И то, что я хожу с ней под руку, дарю цветы и не могу прожить без нее ни одного вечера, жестокая печальная нелепость. Мне двадцать четыре года, я самый настоящий инженер-электрик, не пишу стихов, не толкаюсь за билетами на концерты заезжих теноров,— скажите, почему мне досталась такая жалкая, мальчишеская роль?

Наше знакомство, это роковое недоразумение, состоялось только потому, что однажды, желая насолить своему недругу, я проводил ее из театра вместо него. Дорогой она без конца трещала о нем, и я решил проводить ее еще раз. Не знаю, как это произошло, но незаметно для себя я с головы до ног был опутан ревностью. Самой, что называется, глухой и слепой.

Когда мы остаемся одни, мне с ней скучно. Мы молчим или занимаемся каждый своим делом. Я читаю или курю и думаю, она часами сидит на кушетке и, я уверен, часами ни о чем не думает. И молчит, молчит. А если что-нибудь скажет, то это будет такая глупость, что мне становится неловко, хочется уйти.

Но вот она поднимается с кушетки и, тряхнув своей мужской прической, говорит:

— Как я хочу танцевать! Пойдем сегодня на вечер.

И с этого мгновения она в моих глазах преображается. Слова ее становятся умными и многозначительными, глаза темными и бездонными, голос изумительным.

— Не пойдем, ни за что не пойдем,— твержу я. Но мы идем, и я говорю ей самые нежные слова, на которые способен.

В зале я ловлю каждый ее взгляд, каждое слово, слежу за каждым ее движением. «Кого она увидела? Кому улыбнулась? Кто этот красивый парень? Неужели он подойдет сюда?» Бывает, что он подходит, и она, улыбаясь самой прекрасной улыбкой на свете, просит у меня разрешения потанцевать, и самый ненавистный мне человек опускает свою руку на ее талию, и они исчезают в толпе. И тогда у меня кружится голова, пылает лицо, сердце вот-вот взорвется. Мне хочется расшвырять танцующих, вырвать ее из рук партнера, схватить ее и бежать с ней куда-нибудь далеко от этого множества глаз, улыбок и лиц...

КОНЕЦ РОМАНА

Вокзала никакого нет, потому что нет еще города. Есть обыкновенная станция — маленькая, деревянная, выкрашенная в желтый цвет. В зале ожидания всего три скамейки. На одной из них устроились две бойкие старушки с корзинами, на другой спит, свесив ноги и одной рукой касаясь пола, здоровенный дядя в телогрейке.

На третьей скамейке сидит девушка в синем плаще, хорошенькая, с большими серьезными глазами. В этих глазах — беспокойство и даже страдание. Ничего удивительного, если она вот-вот заплачет. Рядом сидит, развалившись и закинув ногу на ногу, широкоплечий парень. Надвинутое на лоб серое кепи бросает тень на его глаза. Хорошо видно только большой правильный нос и крупные расслабленные губы. Тяжелые руки брошены на скамейку. Такая поза существует специально для выражения усталости, небрежности и равнодушия. У его ног стоит громоздкий черный чемодан.

— Николай, ты не уедешь сегодня. Слышишь, не уедешь,— шепчет девушка, боязливо касаясь его руки.

— Почему я должен ехать завтра?

— Ни завтра, ни послезавтра ты не должен уезжать.

В ее голосе и просьба, и требование, и надежда. Он поднимает воротник, встает, берет чемодан.

— Выйдем отсюда.

Под ногами похрустывает лист облетевших тополей, с рельсов брызжут холодные лунные искры, дальше, за платформами и кустарником, чернеется зубчатый горизонт лесистой сопки. И вся тихая голубая осенняя ночь полна ожидания и беспокойства.

— Может быть, ты все-таки поедешь со мной?

— Нет, не могу. И ты не должен уезжать... Я перестану тебя любить. Я люблю тебя здесь... умного, сильного. А ты... Если ты уедешь, я не смогу тебя любить...

Он усмехается.

— Какая ты еще девочка... Ну что ж, оставайся. Конечно, оставайся. И вот что... Поговорим откровенно. Я хочу, чтобы ты поняла, что ничего не теряешь. Для тебя даже хорошо, что я сматываюсь... Мы с тобой разные, как сосна и береза. Ты вся какая-то голубая, розовая и... глупая. Поговорим откровенно. Я с тобой никогда не говорил откровенно. Я обманывал тебя. Виноват, конечно... впрочем, все мы друг перед другом виноваты... Сейчас, на прощанье, я хочу признаться тебе в том, что я люблю

себя. Люблю самого себя — и это самая искренняя моя привязанность. Мне нравится заботиться о себе, окружать себя вниманием, удобствами. Здесь мне мешают этим заниматься. И мне надоело. Меня не устраивает это ваше дурацкое «будет». Квартира будет, театр будет, город будет! Когда, я спрашиваю? Я сейчас молод, понимаешь, мне это все сейчас надо.

А она твердит:

— Ты говоришь неправду... Ты так не думаешь. Ведь ты приехал сюда...

— Сюда я приехал заработать, ну и... из любопытства. Денег здесь приличных нет, любопытство мое удовлетворено. Магнитная гора меня больше не притягивает. Счастливо вам оставаться, фанатики, романтики! Мошку, грязь и морозы я оставляю в ваше распоряжение. С собой я увожу только нежную память о них.

Мимо тащатся две старушки с корзинами. Громко зевая, проходит дядя в телогрейке. Пришел поезд.

— Ну вот, карета подана. Прощай, и если навсегда, то навсегда прощай, как сказал один хромой старик. Он писал упаднические стихи, много ездил, но нигде не прописывался.

Он делает к ней шаг и замолкает. Луна не в состоянии скрыть ее бледности, дрожат губы, влажные глаза блестят... Все вместе это — боль, горе, смятение. Он берет ее за плечи и быстро, ласково, настойчиво говорит:

— Ты поедешь со мной! Сейчас же! Будь умницей... Если ты любишь меня — ты поедешь. И не надо больше глупостей про воздушный замок у Магнитной горы. Подумай, чтобы быть счастливым, не обязательно строить новый город. Есть много готовых городов. Ну?..

Поезд вздрагивает и медленно ползет вдоль перрона.

— Нет... я не могу,— шепчет она.

Его лицо становится жестким и надменным.

— Тогда прощай,— говорит он и вскакивает в тамбур. Раскрытую дверь тамбура тотчас же заслоняет толстая фигура женщины-проводницы.

— Укатил соколик,— взвизгивает проводница,— ищи, девка, другого.

Быстро прогорел красный огонек последнего вагона, и вот уже замирает стук колес. И сразу делается невыносимо тихо. Слышно, как бьется сердце.

К луне крадется тяжелая черная туча. Становится темно. Девушка идет от станции в гору, туда, где светятся

окна поселка. Шаги сиротливо шуршат по сухой траве. В открытых глазах слезы, и сквозь их пелену растут и заполняют весь взгляд сплошным неясным заревом огни будущего города.

УСПЕХ

На этот раз мне предстояло сыграть негодяя. По ходу действия я должен был отказаться от матери, спекулировать шикарным бельем, клеветать, двурушничать, вскрыть два сейфа и обмануть нескольких девушек. В конце пьесы за мной приходило сразу три милиционера. Мой герой был такой мерзавец, что я сам сомневался в его правдоподобии. Но меня марьяжили на эпизодических ролях, а тут наконец дали солидную роль. Режиссер долго ко мне присматривался и вдруг сказал: «Из вас, по-моему, выйдет незаурядный подлец». И вот — роль моя!

Кому не нужен успех? Артистам он нужен в особенности. Без него артист чахнет, становится завистником и интриганом. Мне же, молодому, начинающему, успех нужен как воздух.

За два дня до премьеры я ходил по комнате и твердил свою роль. В двенадцатом часу пришла Машенька, наш декоратор. Она слушала меня за дверью и вбежала в мою комнату, смеясь и аплодируя.

— Браво! Браво! Ты бесподобен! Ты страшен! Браво... Только, знаешь, слишком уж... Твой герой — такое чудовище, что как-то... Бывают ли такие в жизни? Вечно тебе дают черт знает что! То проезжий, то прохожий, то хулиган, то пижон, а теперь — что-то умопомрачительное... Но хватит. Собирайся, тебе надо проветриться.

Глядя на Машеньку, на ее поблескивающие глаза, веселые лучистые волосы, слушая ее щебетание, я забываю все заботы и думаю только о том, как я счастлив. Машенька — моя невеста.

— И вот что! Приехала мама. Не отвиливай. Ты должен с ней познакомиться. Она хочет тебя видеть. Так что, живо!

Я не сопротивлялся. Был отличный день, и мне самому хотелось прогуляться по городу. Я надел галстук, прихватил пальто, шляпу, и мы выбежали на улицу. Ночью падал снег, но к обеду он почернел и подтаял. Было тепло, и, хотя был ноябрь, все очень походило на весну. Я бережно держал Машенькин локоть, и не все ли равно —

осень ли это была, весна ли — я был счастлив. Хотелось выкинуть что-нибудь легкомысленное и веселое.

— Ты будешь вежлив,— говорила Машенька,— старайся показаться солидным, рассудительным. Тебе это ничего не стоит — ты артист. Что-нибудь соври.

— Как! Еще одна роль? И, кажется, роль скромного, заведомо положительного молодого человека. Машенька, пожалей меня, я этого не репетировал.

Я уже представлял себе все неизбежные неловкости, заминки, паузы, как вдруг меня осенило. «Сыграю-ка я перед мамашей своего негодяя,— подумал я,— а потом объяснюсь. Будет весело, непринужденно, заодно прорепетирую и посмотрю, как оно — на свежего человека».

Я был доволен своей выдумкой, и мне заранее стало смешно. В таком настроении я предстал перед Машенькиной мамашей.

И вот я и Варвара Семеновна сидим друг перед другом в небольшой светлой комнатке, завешанной и заставленной этюдами.

— Смотри же,— шепнула мне Машенька,— я хочу, чтобы ты ей понравился.— И убежала на кухню.

Мамаша — еще нестарая миловидная женщина, похожая, впрочем, на гусыню. Длинная шея, узкие плечи, белая блузка и строгое, даже надменное выражение лица. Минуту мы молчали. Я бы давно уж смутился, но не таков мой герой.

— Я очень рада, что мы познакомились,— сказала, наконец, мамаша.

— Да,— отвечаю я,— это не лишнее.

И снова молчание. Слышно только, как Машенька бренчит на кухне кастрюлями. «Начну,— решил я,— ошарашу сразу».

Я откинулся на спинку стула, закинул ногу на ногу и начал:

— Мы, Варвара Семеновна, люди умные и не будем играть втемную. Я женюсь на вашей дочери. Не надо истерик, слез, восторгов тоже не надо. Обойдемся без междометий, восклицаний и прочих изъявлений чувств. Экономьте нервы... Вопросов вы мне тоже не задавайте. Я все сам объясню. Вы хотите знать, кто я такой. Вы, конечно, слышали, что меня считают здесь... как бы это вам сказать... непорядочным человеком. Это пустяки. Мне завидуют. Завидуют моему умению жить.

— Артистам всегда завидуют,— сказала вдруг мамаша. К моему изумлению, на ее лице не было смущения.

Строгость вдруг сползла с ее губ, а приподнятые брови означали лишь легкое удивление и любопытство.

— Да, я артист,— продолжал я,— почему бы не быть артистом, если за это неплохо платят? Но я могу быть и бухгалтером, и швейцаром в ресторане, и директором бани — только заплатите мне больше... Конечно, получать и дурак может. Я такой человек, что мне никогда никто не даст, если я сам не возьму. Но сам я возьму обязательно. Зачем я женюсь на вашей дочери? Ваша дочь мне, конечно, нравится. Она... ничего себе... шик, экстра, прима. Но дело не в этом...— Я нагло зевнул и искоса взглянул на мамашу. Мамаша сидела смирно. Она не собиралась падать в обморок, закатывать истерику и даже не перебивала меня. Мне показалось, что смотрит она на меня внимательно, с теплотой. Такие глаза бывают у доброго учителя, когда он смотрит на способного малыша. «Странно,— подумал я,— ее, видимо, ничем не прошибешь».

— Дело, разумеется, не в том, что я не могу жить без вашей дочери. Я могу без нее жить. Мы знакомы всего две недели, но этого вполне достаточно для того, чтобы почувствовать взаимную... выгоду. Машенька будет жить роскошно, модой будет заправлять. С другой стороны, мне необходима связь с культурными людьми... с запросами. Сейчас я и сам артист, но, как только мы поженимся, я уйду из театра. В театре не развернешься. Я перейду в какое-нибудь солидное учреждение с дебетом-кредитом. Например, в комиссионный магазин — на простор.

«Почему она меня не выгонит?» — недоумевал я.

— Я выкладываю вам все начистоту, потому что я уверен, что вы умная женщина и любите свою дочь. Нравлюсь я вам или не нравлюсь — это не имеет никакого значения. Машенька от меня никуда не денется. Я хотел, чтобы вы поняли, что ваша дочь находится в крепких руках.

Я помолчал, прошелся по комнате и сказал, гадко ухмыляясь:

— Между прочим, у нас с Машенькой все зашло очень далеко... Вы можете нас поздравить чисто формально... постфактум, так сказать,— вы меня понимаете...

Мамаша не побледнела, не вскочила, не затопала ногами, а странное дело, она улыбалась. «Бревно — не женщина... Ну, я тебя доконаю!» — обозлился я.

— Мне сейчас нужны деньги,— продолжал я как можно нахальнее,— для одного дельца. И вы мне их дадите... Если вы мне откажете, я могу не жениться на вашей дочери. Очень свободно... Я ведь все могу.

После этих слов я ждал чего угодно, только не того, что произошло. Я не поверил своим ушам. Мамаша спросила меня голосом, полным внимания и предупредительности.

— Сколько вам надо?

— Тысячу,— сказал я в замешательстве: я уже не мог больше играть.

— Конечно, я вас выручу,— улыбаясь, сказала она и засеменила в другую комнату. Вошла Машенька.

— Обед готов... Что такое ты ей говорил? Она в восторге от тебя. «Это, говорит, то, что тебе надо. С таким мужем, говорит, сто лет жить можно. Он — прелесть. Но скажи ему, чтобы он был осторожнее. Он, говорит, молод, горяч». Так чем же ты ее очаровал?

В глубокой задумчивости я опустился на стул. «Да, это успех»,— думал я, с тревогой вглядываясь в невинные Машенькины глаза.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

В конце Пригорской улицы происшествие. На высокой каменной стене строящегося дома стоит человек, жестикулирует и что-то говорит. Прохожие останавливаются и волей-неволей увеличивают собравшуюся уже у стены толпу.

— Что там?

— Наверное, мальчишка.

Но это не мальчишка. Это Семен Васильевич Жучкин, разнорабочий, увольняемый с разных работ за пьянство. На пятнадцатиметровую стену его загнал пьяный кураж.

Трезвый Жучкин — хмурый, замкнутый человек, заговаривающий лишь для того, чтобы ругаться и грубить. Ругаясь много и охотно, он вспоминает чужих матерей чаще, чем это делают сами чужие. Все остальное время Жучкин зловеще молчит. И, видимо, чтобы не угнетать общество своим тяжелым характером, он избегает быть трезвым. Хмелеет он быстро, и вместе с опьянением к нему приходят непринужденность и какая-то маниакальная общительность. Инстинкт самоохранения тянет его к незнакомым людям; тогда он с меньшим риском может навязываться в друзья, наживать врагов и вызывать участие в своей оплакиваемой пьяными слезами судьбе. Ему все равно: жаловаться, плакать, упрекать или угрожать — лишь бы быть все время на глазах у

людей. Эта болезненная потребность в обществе так велика, что, кажется, такой человек бросил бы пить, если б всякий раз после выпивки оставлять его одного. На этот раз он в ударе. При его фантазии каменная стена в людном месте — для него седьмое небо. Он сознает, что это кульминация, что ему никогда уже не собрать столько людей, заинтересованных его судьбой. Стоит он, придерживаясь одной рукой за торчащий из стены железный прут, с пьяной грацией и претензией на монументальность.

— Чего собрались? — говорит он надменно.— Не видели пьяного пролетария? Смотрите!

И он слегка надрывает на своей груди рубаху.

— Чего ржете, цыплята желторотые,— обращается он к двум молодым людям.— Что, смешно?

— Ты зачем туда залез? Ведь пьяный же, свалишься. Слезай! — говорит толстый дядя с портфелем.

— Смеются! — продолжал Жучкин.— Я их защищал, когда... когда их еще не было. Сражался... болезнь получил, а они зубы скалят... и-ых!

На самом деле Жучкин никогда нигде не сражался, если не считать, что был бит однажды бутылкой по голове.

Жена дяди с портфелем, полная чувствительная женщина, суетится и тараторит:

— Что же это, он упасть может, он ведь пьяненький. Мужчины, что же вы стоите, мужчины!

— Слезай, слышишь, слезь! Свалишься, дурак,— басят мужчины.

— Свалюсь,— дрогнувшим голосом говорит Жучкин.

На молодых людей, снова собравшихся было рассмеяться, шикают и выговаривают: «Все бы зубоскалили, тут, может быть, трагедия...»

— Свалюсь! — торжественно и плаксиво повторяет Жучкин.— Что мне! Боролся, ничего не щадил... смеются... свалюсь... А ну, расступись!

Внизу смятение. Женщины разбегаются.

— Бежите! — упивается Жучкин.— В свидетели не хотите!

— Довели человека! — раздается из толпы глухой анонимный голос.

— Мужчины! — восклицает жена дяди с портфелем. Происшествие так захватило ее, что она раскраснелась, похорошела и, может быть, даже помолодела.— Человек может погибнуть!

Молодые люди направляются к стене, к деревянному трапу. Но Жучкин кричит:

— Куда ползете? Не подходи — сразу прыгну!

Молодые люди отступают.

— А ну, спускайся! — строго командует подошедший милиционер.— Спускайся живо, а то...

— Послушайте, так нельзя,— набрасывается на милиционера супруга дяди с портфелем.— Он ведь бросится... так нельзя. Нужно учитывать состояние... Вы бесчеловечны. Его надо убедить.

— Надо убедить,— нагло повторяет Жучкин.— Они привыкли тут...

Милиционер, молодой, еще недавно застенчивый парень, приходит в растерянность и недоумение. И Жучкина убеждают. А он несколько раз порывается низвергнуться вниз, дорывает на себе рубаху, хнычет, воет, рычит...

В это время к стене приближается старшина милиции Василий Васильевич Милых. Жучкина он знает давно и хорошо знаком с его повадками.

— Прыгай! Давай прыгай! Ну! — кричит Милых. Заметив его, Жучкин втягивает голову в плечи, запахивается в рубашку, ежится и исчезает с авансцены.

— Да разве он прыгнет!— говорит Милых с сожалением.

Через минуту Жучкин внизу. Теперь его можно хорошо рассмотреть. Вблизи вид у него жалкий, трусливый, как у шкодливого кота, которого хозяйка не кормит, а только бьет. Он бормочет:

— Я, Василь Васильевич, ничего такого... это я так... проветриться.

— Мы тебя провентилируем,— обещает Милых и вдруг обращается к жене дяди с портфелем: — Гражданка, пройдите, пожалуйста... для освидетельствования хулиганского акта.

— Нам, знаете ли, некогда... Извините, возьмите кого-нибудь другого,— старается увильнуть женщина.

— Ничего. Это ненадолго. Пройдемте, пройдемте,— настаивает Милых и, обращаясь к Жучкину, цедит сквозь зубы: — Обрати внимание, порядочным людям неприятно с тобой идти.

Жена дяди с портфелем морщится, пожимает плечами и, ничего не поделаешь, идет вслед за Жучкиным и милиционером. К ней пристраивается недовольный муж.

— Хулиганов ведут,— говорит кто-то на улице.

СУГРОБЫ

Ни куста, ни пригорка, даже телеграфных столбов нет рядом. Только море снега, заунывно ровное, мертвое море. Узкая синяя дорога оцепенела, и кажется, что она никуда не приведет. Дорогу освещает маленькая тусклая луна. Озябшая, жалкая, она, кажется, ждет не дождется конца своего дежурства. А там, где сливаются небо и снег,— мрак. Попадите в такое место, пройдитесь по этой дороге ночью, и вы поймете, что такое одиночество. Резкий, неестественно громкий скрип собственных шагов будто подгоняет Верочку Фролову, учительницу, идет она быстро, почти бежит. Время от времени она оглядывается, дорога вязнет во мгле, и Верочке кажется жутким предположение вернуться, оказаться там, где она только что прошла.

Но и мороз, и волки, и три километра впереди — все это чепуха...

У Веры Андреевны горе. Ее обманули. Она долго не верила, что ее обманывали, но сегодня на станции, куда она приходила его встречать, она поняла все. В каждом письме он обещал приехать к Новому году. Правда, писем не было уже давно, но кто мог запретить Верочке надеяться. Теперь все кончено. «Дурочка, дурочка,— ругала она себя,— давно надо было понять. Таких, как ты,— много, и они там, рядом... Зачем ему куда-то ездить»... Особенно обидно ей становилось, когда она вспоминала, как он полгода назад провожал ее сюда, в Степановку. Ссора, нежности, уговоры,— все, что было тогда на перроне, все это, оказывается, обман. Нежных чувств хватило только на три письма...

Где-то в стороне послышались собачий лай и треск движка колхозной электростанции, дорога свернула туда, и через полчаса Верочка шла уже мимо первых домов Степановки.

Никто в деревне не спит, везде горит свет, но на улице пусто. Из большого дома с тополем-призраком над крышей кто-то вышел. В дверь вырвались нестройные голоса, над которыми взвился один пронзительно радостный, женский: «...Парней так много халастых...» — и снова тихо. Верочка вспомнила, что в этом доме живет ее ученик Коля Лохов, смешной большеголовый мальчик, у которого вторую четверть двойка по арифметике.

От крыльца клуба, украшенного еловыми ветками, яр-

ко освещенного, отделилась фигура. Громко скрипя бурками, фигура приблизилась, и Верочка узнала счетовода Федю. Разглядев, что Верочка проходит мимо, Федя загородил ей дорогу.

— Вот, пожалуйста, только вышел, стою, курю — и вы... Это, можно сказать, судьба. Зайдите, Вера Андреевна. Что характерно, танцы начались, музыка, общество культурное.

Федя — модник. Недавно он ездил в город и купил там черную папаху. Во всем колхозе существует только две пары бурок, у председателя и у Феди. Федя это сознает и носит их с достоинством, только по праздникам и выходным дням.

— Зайдемте, честное слово,— пристает Федя.

— Нет-нет, Федя, иди веселись. Я домой.

— Дружки мои все уже напились, а я вот... весь вечер искал вас. Если не секрет, где вы были, Вера Андреевна?

— Ходила на свидание. Прощай, Федя.

Через дом от клуба — небольшая деревянная школа. Светится только одно окно. Это не спит Михаил Зарипович, школьный сторож, грустно-старый, давно одинокий. Верочка живет тут же, в школьной пристройке.

В своей комнатке, не раздеваясь, она садится у теплой голландки и долго смотрит в серебряные окна. На столе бутылка вина, две лучистые рюмки. Двенадцатый час. «Наверное, он сейчас в белой сорочке, в красивом галстуке, кого-то слушает, кому-то улыбается. Где он сейчас? Мало ли где... Город большой... а я маленькая... Позвать кого-нибудь... Зарипыча позвать?»

Верочка сбегала и пригласила сторожа.

— Вы один, и я одна,— сказала она,— встретим Новый год вместе.

— Кому новый, а кому, может, последний,— сказал старик, но, конечно, согласился. Через пять минут он явился, чинно разделся, пригладил бороду и сел прямо к столу.

— Чего же ты одна? — спросил старик, наблюдая за Верочкой ласковым внимательным взглядом.— В клуб тебе надо. Федор тут цельный вечер крутился. Все интересовался.

— При чем тут Федор? Обманули меня, Михаил Зарипович. Обещали приехать сегодня и обманули.

— Как же так?

— Да так...

Зарипыч сочувственно насупился, Верочка не выдержала, прерываясь и всхлипывая, она рассказала старику о своем несчастье. Тот слушал, переспрашивал, выпил рюмку, налил другую.

— Так ведь нельзя, может, было приехать,— сказал он.

— Я не верю, что нельзя было. Не утешайте меня, я и вам не верю.

Верочка отвернулась от стола, положила руку на спинку стула, уронила на руки голову и затихла. Зарипычу стало ее жалко. Как успокоить человека, он знал хорошо, потому что сам он нуждался в утешении.

— Чего убиваться? — начал он строго. — Со всяким бывает. Бывает и проходит. И у тебя пройдет. Еще, гляди... свидитесь... А куды вы денетесь? Звезды, к примеру взять, над вами одни и те же... Куды денетесь. — Старик увлекся и стал рассказывать про свою жизнь. Когда он взглянул на часы, было уже без двух минут двенадцать. Верочка молчала. Зарипыч забеспокоился.

— Андреевна! — позвал он. Она не ответила. Зарипыч поднялся и заглянул ей в лицо.

— Вот тебе раз! Спит девка-то... Господи, чокнуться будет не с кем!

Она в самом деле спала. Светлая прядь шевелилась на щеке от ровного дыхания. Неизвестно, что снилось Верочке,— она улыба́лась. Старик хотел разбудить ее, но раздумал.

— Ишь ты какая...— пробормотал он,— намаялась... Пущай спит, что уж...

Старик долго смотрел Верочке в лицо, потом, будто спохватившись, выпил рюмку, покосился на часы, оделся и тихо вышел.

Мгла рассеялась, луна, в матовом венчике, пронзительно яркая, висела почти над головой, появились звезды. У калитки маячил уже подвыпивший Федя.

— А, лунатик! Все крутишь тут... Ну-ну. Ишь, вырядился... А не мерзнешь ты в этим колпаке, а? Не холодно тебе?..

— Вы, Михаил Зарипович, старый человек, а то бы я из вас за такие слова что-нибудь сделал такое... Ни один инженер по чертежам не собрал бы. Но я относительно не этого... Вера Андреевна в настоящий момент чем занимается?

— Дурак ты, Федька. Спит она.

— Как это спит? Девушка грустит, а вам все «спит». Никаких вы тонкостей не понимаете.

— Спит, говорю... Спит, и только.

Старик вздохнул, запахнулся в полушубок и пошел прочь.

ЭНДШПИЛЬ

Над территорией дома отдыха висит свирепое послеобеденное солнце. Жарища. Сосны потускнели, их зелень не лоснится своим здоровым, молодым блеском. Ветви берез совсем сникли, свернулись и похожи сейчас на потрепанные веники.

Отдыхающие, полураздетые, прикрывая головы газетными колпаками, спасаются от духоты и зноя бегством на озеро, в рощу. Любая из комнат деревянного корпуса представляет собой пекло, душегубку, орудие пытки. Никому не придет в голову в этот час искать кого-нибудь в комнатах.

Но тем не менее корпус не пуст. В девятой комнате бухгалтер Козьмин и столяр Крикунов распивают бутылку «можжевеловой», в семнадцатой комнате, кажется, кто-то спит, а в коридоре на подоконнике играют в шахматы администратор Ильин и студент Сомов. «Можжевеловая» и сон в данном случае слабость, страсть, потребность организмов. Другое дело шахматы. Можно с шахматной доской пойти на воздух, куда-нибудь в тень, к воде. Но Ильину и Сомову взбрело в головы играть именно здесь и, изнывая от жары, поминутно прикладываясь к стоящему в коридоре бачку с водой, они тянут свою партию.

— Федор Акимыч, я вижу, вам жарко. Вы плюньте — идите купаться. На ничью я согласен. Идите, честное слово, мне совестно даже...

— А вы?

— Вы на меня внимания не обращайте. Я сгоняю вес... И вообще не люблю себя распускать. Угнетаю, извините, свою плоть.

Сомов парень с манерами, с небрежностью в голосе и движениях. Он то застегивает, то расстегивает свою темно-красную рубаху. Рубаха модная, уже поношенная, слегка залитая дорогим вином. Его партнер мужчина лет тридцати пяти, высокий, с заметной внешностью. Имеет красивый, вкрадчивый баритон.

— Искупаться не мешало бы. Но тащиться до озера... Лень. Убейте меня, лень!

Студент, обыгрывая Ильина, который из настольных игр более всего преуспел в преферансе, деликатно зевнул и спросил:

— Ну как, Федор Акимыч, вы не жалеете еще, что приехали сюда? Скучно ведь, а?

Ильин сочувственно поморщился.

— Да, пожалуй, скучно... Ну ничего. У всех у нас есть здесь занятие: разлениться, поправиться килограммов на пять и года на два помолодеть.

— Э! Мне все это ни к чему...

— Вот вам и скучно.

— Вам шах, Федор Акимыч... Да, уж полнеть-то в домах отдыха принято. Почти каждый считает долгом чести поправиться. Возвращается потом домой — кичится. Неприлично даже — будто бы люди приезжают специально отъедаться. Еще туда-сюда пожилым и ответственным. Но девушкам-то! Заплывут, обленятся. Безобразие, как хотите! Вот та... как она... Вербова, по-моему, имеет такую тенденцию... Кстати, как вам она, Федор Акимыч?

Ильин отвечал нехотя, стараясь не отрывать мыслей от доски:

— Вербова... Вербова. Ах да! Вербова! Это белокурая, все в ситцах щеголяет? Да как вам сказать... Хорошенькая. Колоритная даже... так сказать, в определенном жанре... Но ничего особенного я не вижу. Она как-то слишком, знаете... Мне кажется, в ней есть что-то не очень... что-то отталкивающее... впрочем, я не знаю. У вас, конечно, имеется по этому поводу свое мнение.

— Да-да,— обрадовался Сомов,— именно что-то отталкивающее. Я тоже сразу это заметил. И ведь далеко не красавица, а? А заметили, как держится? Как прима-балерина. Понимаете? Утром выходим из столовой, она впереди идет. Ну шутки тут, конечно, намеки, аллегории... специально. Она, видите ли, повела плечиком — вот так... и свернула в сторону. А ей надо было прямо идти. Понимаете? Терпеть не могу заносчивых женщин. Это ведь вредное явление. Парадокс. И потом у нее глаза, кажется, зеленые, вы заметили?

— Нет. Знаете, меня такие мало интересуют. Не люблю таких... Объявляю шах.

Сомов закинул ногу на ногу и заговорил опять:

— Во внешности этой самой Вербовой все как-то, я бы сказал, утрировано. Приятно, конечно, когда нос чуть вздернут. Чуть! Ведь приятно, Федор Акимыч? А у ней это слишком. Как у куклы.

— А вы представьте ее через двадцать лет! Старухой представьте. Ужас. Того и гляди, сядет на метлу — и... фьють! Или дерево грызть... Ха-ха-ха!

— Да! Вчера, когда все собрались здесь поболтать, она два часа просидела в библиотеке! Скажите, что женщине там так долго делать!

— Учиться. С ее внешностью — учиться. Это единственный выход...

Партия между тем приближалась к концу. Партия выходила неблестящая. Но партнеры были друг другом чрезвычайно довольны и невольно улыбались, как это делают люди, вдруг почувствовавшие друг к другу уважение.

— Она, я слышал, диссертацию пишет. Надо же!

— Ну, для женщины это последнее дело.

В эту самую минуту дверь семнадцатой комнаты отворилась, и в коридоре появилась Вербова, веселая и вызывающе хорошенькая.

Партнеры изменились в лице и почему-то оба вскочили на ноги.

— Вот, пожалуйста,— сказал студент,— взгляните... Я подойду к ней сейчас и скажу что-нибудь... дерзость какую-нибудь.

И он направился было к ней. Но Ильин схватил его за руку.

— Нет, это я скажу ей дерзость.

Вербова тем временем замкнула свою комнату и побежала по коридору. Заметив Сомова и Ильина, она улыбнулась.

— Шахматы! В такую погоду! Вы чудаки.

— А вы...— начал Сомов.

— А я иду кататься на лодке.

— Возьмите с собой меня,— вдруг сказал Ильин,— я гребу, как пират.

— О! Я взяла бы вас, но меня там ждут.

Она взглянула на часы.

— Уже лодка взята. Счастливо!

И она помахала сумочкой.

— Вы, Федор Акимыч, шулер,— сказал Сомов после ее ухода.

— Мальчишка! — прошипел Ильин, собирая шахматы.

И они расстались с тем, чтобы уже больше никогда не встречаться.

ТОПОЛЯ

Я видел ее только раз. Может быть, потому я люблю ее всю жизнь.

Совсем такой же, как сейчас, был вечер. Такой же пронзительно синий воздух, так же сверкали вмерзшие в лужи огни фонарей, эти же самые тополя — корявые черные гиганты, навсегда увязшие в синеве. Старая садовая решетка и сам сад — темные пятна сосен, серые паутины берез, незаметные акации, немая улочка. И над всем этим — тополя.

Тогда я был беззаботный студент, сейчас мне сорок три. А тополя все те же, и, кажется, никогда они не могли быть тонкокожими, бледно-зелеными саженцами. Тот же от них запах — сладкая, прилипчивая горечь. Только ветерок — и ноздри раздуваются от этого запаха и непонятно сильно стучит сердце.

Я был беззаботный студент. Голова кружилась от весны, от молодости, от удач. Я не гонялся тогда за счастьем, а наступал ему на пятки нечаянно, как наступаю сейчас на эти лужицы.

В тот вечер я шел к своей невесте. Ничто не мешало мне считать себя счастливым. И только в запахе тополей, в их торжественных фигурах было предчувствие чего-то необыкновенного. И необыкновенное случилось. Она быстро шла навстречу. Она не остановилась, не замедлила шага. Она промелькнула мимо. Но я видел ее улыбку! Видел! И вижу сейчас. Улыбка говорила: «Как странно! Я предчувствовала, что я сейчас тебя встречу... Как странно. Но меня ждут. Я спешу...» «Куда!» — закричал я беззвучно. «Куда!» — кричали тополя.

Но она не слышала, и синь, вот эта мутнеющая синь, затянула ее.

А сейчас под этими тополями я бреду домой, к жене, к десятилетнему сыну. Женился я по любви, моя жена умная, красивая, добрая женщина. Я люблю сына, люблю жену, не могу представить себя без них.

Но все летит к черту, когда приходят эти жуткие весенние вечера. Крадучись, как вор, непреодолимо, как лунатик, я прихожу сюда и шатаюсь здесь, под этими тополями. Здесь, именно здесь, когда таким вот безумно синим сделался воздух и так торжественно застыли тополя — она быстро шла навстречу. Я видел ее! Я видел похожие на этот вечер глаза! Я видел ее улыбку!

Такая тоска! Такая тоска! Где-то в груди боль, острая, страшная, вечная боль. Хочется закричать, хочется заплакать. Такая тоска!

И потому хочется закричать и заплакать, хочется потому, что я ее никогда не видел. Ее не было. Были и есть только тополя.

СТУДЕНТ

Молодые листья на ветру трещат, металлически блестят на солнце. На окно ползет пышное белогрудое облако, ветер рвет из него прозрачные, легкие, как бабьи косынки, клочки и несет их вперед. В бездонную голубую пропасть.

— Молодой человек! Вам не кажется, что вы присутствуете на лекции? Да, да, вы — у окна. Вы, именно вы! Надо встать. Я спрашиваю: вы где находитесь?

— На лекции.

— Слышали ли вы, о чем я только что говорил?

— Нет.

— А когда-нибудь вы об этом слышали?

— Не знаю.

— Товарищи, сколько раз вам повторять: я на свои лекции ходить никого не принуждаю. Неужели это так трудно усвоить? Вы, молодой человек, свободны... Нет, нет! Можете идти. Идите, идите! Не смею задерживать. До свиданья!

Он сбежал по лестнице, быстро прошел прохладный сумеречный коридор, толчком распахнул дверь и на мгновение ослеп от резкого майского солнца.

День не жаркий, ветер ровный, бодрый, с запахом реки и черемух, без конца идут быстрые плотные тени. Напротив в сквере струится зеленый поток березовой листвы, за ней качается серебряная челка фонтана. Ветер бросает струи воды мимо каменной чаши, далеко на асфальт стелется белый водяной дым, под ним визжат, носятся голоногие девчонки.

Студент перешел улицу, в лотке у сонного небритого дяди купил сигарет и побрел вдоль сквера, лениво ступая на черную узорчатую тень чугунной ограды.

Он уже забыл про лекцию, про психоватого доцента. С самого утра в голове сидело одно и то же — строчки своего вчерашнего письма: «...Поклонников у вас много, но люблю вас один я. Для того, чтобы вы мне поверили, я сде-

лаю все. Что дальше — решаете вы, но это свидание неизбежно».

Он не спешил. Доцент позаботился о том, чтобы он не спешил. Но лучше бы он торопился — тогда не исчезла бы та шальная самоуверенность, которая пришла к нему на лекции, у окна.

На набережной немноголюдно. Молоденькая мать катит по улице синюю коляску. У воды, будто лунатики, туда и обратно ходят, трещат рулетками рыбаки.

Он спустился к самой воде, присел на бетонную ступеньку.

Река несется навстречу облакам, темная у того берега, здесь, под ногами, неправдоподобно прозрачная. С той стороны уютно-зеленое предместье, обросшее садами и аллеями, сползает к реке желтыми тропинками улиц. «Люблю вас один я...» Это, видимо, глупо и, кажется, сентиментально. А что делать? Любовь — не моя затея... Она — знаменитость,— вот в чем дело... Черт дернул ее быть артисткой, да еще знаменитой! Все было бы проще. И эта записка не казалась бы глупой. А что делать? Надо встретиться. Надо сказать слова, которые не скажет ей никто, кроме меня.

Река слепит солнцем, сияет голубизной. И шумят над головой молодые тополя. Но река — сама собой, ты — сам собой...

Она пришла. Она остановилась в десяти шагах, яркая, беспощадно красивая.

Она не одна. Рядом высокий в белом. Он безучастен, он смущен. Он прикуривает папиросу, дает понять, что явился сюда помимо воли и ему все это ни к чему. Студент поднялся. Может быть, подниматься было рано. Может, надо было подождать, когда они подойдут ближе.

— Это, конечно, вы. Явились, значит. Очень приятно.

Она разглядывает его в упор, подробно, с откровенным пренебрежением.

— Слава богу, вы, я вижу, человек взрослый и коечто, видимо, поймете... Вы пишете, что готовы на все. Вот что, молодой человек. Сделайте вы мне две услуги. Во-первых, не ходите больше в первый ряд — вы меня раздражаете. Во-вторых, не присылайте мне ваших сочинений. Они мне не нужны. Написали одну записку — хватит... Зачем же четыре?

— Ну-ну, пустяки. Зачем же так резко? Кто из нас не писал посланий? — Высокий показал зубы, сочувственно подмигнул.

— Нет! С меня хватит разных дурацких писем. Они мне надоели! Молодому человеку надо дать понять, что его письма не приведут ни к чему, кроме скандала.

— Ну, это лишнее. Молодой человек, не придавайте этому большого значения. Она актриса трагическая, ничего не поделаешь. К тому же сегодня она не в духе.

Надо крикнуть, надо выругаться, надо разбить эту фальшивую улыбку. Но руки скрутила противная, гипнотизирующая слабость. В голове шум тополей. Он взглянул ей в глаза — вот они, совсем рядом, злые, чудесные,— и деревянным, унизительно чужим голосом произнес:

— Все это забавно... Но вы меня с кем-то путаете. Я вам писем не писал... Все это очень забавно...

Он видел только, как дрогнули ее брови. Слышал уже за спиной ее голос...

Потом он ходил по горячим пыльным тротуарам, пересекал веселые скверы, стоял на мосту и снова шагал по серым улицам, завороженный тоской, стыдом и отчаянием.

«...Что делать? Все изменилось. Все совсем изменилось...» Что-то надо делать, какая-то сила настойчиво и дерзко стучала в висках: что-то надо делать.

Вечером, когда он снова оказался у реки, он почувствовал себя непонятно. На том берегу была уже темнота. Деревья и крыши торчали сплошным черным частоколом. Над ним, между рваными синими тучами, опоясанными малиновыми лентами, зияли бледно-зеленые просветы, ошеломляюще обыкновенные, виденные на закате тысячу раз, минутные и вечные следы прошедших дней. Внизу в заливе плескались три лодки. Парни без устали махали веслами, слышался счастливый визг. Одна из лодок наткнулась на малиновую дорожку заката, дорожка оборвалась, по всей по ней прошла сверкающая дрожь. И все это ему неожиданно показалось неотделимым от его тоски.

Нагрянула вдруг жажда пережить такую же пустую визгливую радость, хотелось без конца видеть этот минутный малиновый свет, оказаться на том берегу, в темноте, легким и быстрым шагать в гору мимо сада, задевая висками прохладные черные ветки.

Он жадно всматривался в огни, вспыхивающие на том берегу, ежился от холодка реки и думал и чувствовал. Через час он вошел в маленькую комнату на окраине. Глянул в окно, в глубокую, невысказанную ночь, сел

к столу и, не отрываясь, черкая, комкая и выбрасывая листы, писал.

Кончил он утром. Встал, распахнул окно, с мучительным наслаждением вдохнул пахучую утреннюю сырость, сделал по комнате два шага и, не раздеваясь, рухнул на жесткую узкую кровать.

Ветер тихо постукивал раскрытыми оконными створками и смахнул со стола несколько исписанных энергическим почерком драгоценных листов.

СТАНЦИЯ ТАЙШЕТ

Мы бежали от заката. По синим холмам он гнался за нами, в кровь рассекая свои розовые колени. Он ловил нас в свои малиновые сети. Он бросил нам вдогонку своих рыжих собак. От его яростной нежности мы бежали в темную летнюю ночь.

В нашем купе — дым и разговоры о женщинах. Ночь прильнула к нашему окну, и мы ждем чего-то от ее черной неизвестности.

Говорит Сема, задумчивый солдат:

— Они любят таких, какие валяются у них в ногах и гоняются за ними с ножами.

— Надо спать,— говорит Витька, медлительный, самоуверенный Геркулес. Он сидит у окна, он скрестил на груди руки, к стене откинул голову. Под гимнастеркой каменеют тоскующие его бицепсы.

— Пашка пятый час травит,— говорит Сема. На средней полке он стучит своим костлявым телом.

— Надо спать,— говорит Витька, но не двигается.

— Я говорю, Пашка какой способный. Слышь, студент, сколько прошло?

В купе едут два сержанта и один рядовой. Они везут с собой звонкое слово «дембиль». Они возвращаются домой.

Я еду с ними шестые сутки. Я пил с ними водку, я говорил с ними о любви. Мы обожжены одним закатом.

— Прошло четыре часа двадцать минут,— говорю я.

— Видал! — говорит Сема с восхищением.— Профессор. Павел-то!

Они служили в одном взводе. Но Сема не знал, что Пашка может говорить четыре часа подряд.

Пашка Белокопытов стоит в тамбуре с девчонкой по

имени Валя. Он стоит с ней пятый час. Она вошла в вагон, когда исчезло солнце и вспыхнул на западе этот красный, нестерпимо красный закат. Тогда Пашка остановил его в коридоре.

— Пятый час травит,— говорит Сема завистливо.

— Бесполезно,— говорит Витька и тянет с каменных плеч гимнастерку.

Пашка едет к Семе в деревню. Об этом они договорились давно. Семнадцать месяцев назад, осенью, на марше. Сема сказал тогда: «Как в Сочи. В баню тебя свожу, наденем белые рубахи. Как в Сочи». Они обдумали все там, на марше. Витька шел тогда впереди, и он спросил: «У тебя, случаем, нет третьей белой рубахи?» — «У меня их как раз три»,— ответил Сема. «Не ври,— сказал Витька,— ни черта у тебя нету! Ни одной!.. И не нойте здесь под ухом!» И сентябрьская дорога жирно зачавкала под сапогами, грязные, как дорога, облака тащились над самой головой. И серая Витькина спина качалась перед глазами. Впереди неожиданно запевала закричал песню. И эту песню взвод поволок по грязной сентябрьской дороге. Тогда они поссорились.

Теперь ночь липнет к окну, и дикие зеленоглазые полустанки отскакивают с нашего пути. Витька заедет к Семе. И наденет белую рубаху. Сема написал матери, чтобы запасла. Три белые рубахи.

— Белоснежные,— говорит Сема,— с запонками — по всей форме.

Неожиданно, как пожар, возникла на нашем пути станция Тайшет. Ночь отпрянула от окна и остановилась под тополями.

На перроне мы увидели Пашку. Девчонку он держал за руки, будто на афише. У ног их валялись чемоданы. Пашка что-то говорил. Она слушала и вытягивала шею испуганно и беспомощно, как птенец, выпавший из гнезда. Потом Пашка перестал говорить и взял ее за плечи. Мимо бежали, запинаясь за чемоданы.

— Витя, ты посмотри, сейчас Паша целоваться будет,— сказал Сема.

— Бесполезно,— сказал Витька и лег на нижнюю полку.

А Пашка не целовался, Пашка застыл, как на афише. Тогда мы открыли окно, и Сема крикнул:

— Давай! Целуй — не успеешь!

Пашка махнул рукой и отвернулся от вагона. Девчонки Вали из-за его спины не стало видно вовсе.

— Дава-ай! — закричали из других окон. Там ехали солдаты.— Помочь тебе, что ли?

Пашка нагнулся, и мы увидели ее голову — подснежник на выгоревшей поляне.

— Ура-а-а! — заревели солдаты.

Пашка поднял чемодан, усадил на него девчонку и бросился к вагону.

Девчонка Валя сидела на чемодане. Она ждала. Ждали мы. И ночь, застывшая над тополями, ждала, что будет дальше.

Пашка вбежал и, растопырив руки, заметался по купе. Он искал чемодан.

— Ты что, Павел? — сказал Сема и положил на чемодан руку.

— Все! Приехал я, ребята! — сказал Пашка и засмеялся и вырвал чемодан.

— Чокнулся,— сказал Витька.

— Приехал! — повторил Пашка, глупо улыбаясь.

— Где тебя ждать? — спросил Сема.— В Чите догонишь?

— Ждать, не ждать,— сказал Пашка с той же улыбкой,— простите, ребята, письмо напишу.

Поезд тронулся, Пашка взглянул на нас дико и бросился целоваться.

— Письмо,— бормотал он,— напишу...

Он расцеловал Витьку, схватил Сему, тяжело и громко чмокнул его в нос, в щеку, в подбородок и выскочил в тамбур.

— Письмо напиши! — злобно крикнул Сема.

И станция Тайшет, воспоминание о закате, гасла на западе.

— Вот так,— сказал Витька и сплюнул.

Ночь сомкнулась за нами. Из ее темноты на нас глянуло вдруг сто тысяч разлук и сто тысяч встреч. И колеса стучали свою столетнюю песню. Колеса стучали на великой Сибирской магистрали, вынесшей на своем просмоленном горбу новейшую историю.

— Правильный его поступок? — сказал Сема, подступая ко мне и свирепо прищуриваясь.— Правильный?

Я не отвечаю, и мы ложимся.

Завтра в десять вечера я приеду. Завтра в десять вечера раскаленный добела закат остановится за моей спиной. Я засыпаю и, засыпая, слышу голос:

— Пашка-то, а?.. Даже не выпил!.. Друг был...

Сема выругался. И мы уснули. Мы, сбежавшие от заката.

СОЛНЦЕ В АИСТОВОМ ГНЕЗДЕ

Что думает человек, который не видел ни одного живого слона, никогда не ездил в поезде, ни разу не был в театре? Что думает он, сидя на крыльце сельского клуба нежным майским вечером? Чувствует ли он себя несчастным? Ничуть.

Он сидит на крыльце вполне счастливый, весь наполненный любопытством и удивлением прекрасным этим миром. Он готов поверить чему угодно, готов что угодно понять. Знакомый мир кончается за дальними вербами, пыльная дорога через поле ведет прямо к чудесам и открытиям.

Он подставляет теплым лучам свою белобрысую голову и ждет, не закатится ли солнце в аистово гнездо.

Он сидел здесь вчера. И вчера он ждал этого чуда. Но солнце прокатилось над полем и село где-то в дальнем лесу. Может быть, сегодня оно сядет в гнездо? Вчера он спросил:

— В гнезде солнцу будет тесно?

Ему ответили:

— Дурак! Иди вымой руки.

Ему ответили:

— Солнце далеко. Оно никогда не сядет в аистово гнездо.

Ему ответили:

— Солнце само по себе, земля сама по себе. Если бы солнце село на землю, то все сгорело бы. Понял?

Он понял, но ему очень хотелось верить, что солнце может сесть в аистово гнездо. И он надеялся, что когда-нибудь это случится.

Так сидит он на крыльце в ожидании необыкновенного, не похожего на все то, что он видел.

Когда солнце подожгло аистово жилище, к клубу подкатила машина. Витька поскакал к ней. Набежали такие же, как он, засверкали желтыми пятками.

Тихим этим вечером чуда ждали все кормапайковские ребятишки: в село приезжал театр.

Машина попятилась к крыльцу, открыли борт. Из кузова появились фанерный дом, потом складной стог сена, забор, печка, прожекторы, целлофан, живописный сучок, лестница и многое другое. В конце на крыльцо шлепнулась свернутая в рулон лунная ночь. Все это унесли на сцену и закрыли занавес...

Через полчаса на пыльную дорогу выскочил красный

автобус. Приехали артисты. Они покурили, взглянули на рыжий закат и исчезли на сцене.

С полей приходили зрители. Пришли девчонки из Новоельников, на машине приехали из Драготыни. Из совхоза механизатор Сашка прикатил на мотоцикле.

Небо темнело, невидимые, реяли в воздухе жуки. За клубом на траве механизаторы перестали различать масти карт.

Это был час тоски и обиды всей босоногой публики. Витька узнал, что в клуб его не пустят, отправят спать. Но скажите, разве можно спать, когда через дорогу совершается чудо? В дырку в занавесе Витька подсмотрел нарисованную на стене луну. Он слышал на сцене таинственный, как крик ночной птицы, стук. Мог ли он теперь не увидеть всего остального?

Открыли двери. Вошли и сели в первом ряду десятиклассницы.

В их руках цвели черемуховые ветви.

Артисты тем временем метались в комнатушке за сценой: гримируются, с испуганными лицами бубнят роли.

Когда все было готово, вдруг погас свет. В зале было тихо, но артисты нервничали. Появился моторист и объявил, что амперметр показывает не в ту сторону. Началось исследование проводки.

— Если что,— разглаживая приклеенные усы, сказал Лобановский, режиссер и исполнитель главной роли,— покажем при керосинке.

— А лунная ночь? Она же пропадает,— испугался зав. постановочной частью.

— А грим? А нюансы? — зароптали исполнительницы женских ролей.

Тогда несколько слов сказал Иван Григорьевич Велюга, учитель и артист народного театра.

— В вашем возрасте,— сказал он и пыхнул трубкой, на мгновение в темноте серебряными искрами сверкнули его седые волосы,— в вашем возрасте я играл преимущественно при керосиновых лампах.

А в зале было тихо. В зале терпеливо ждали начала. Зрители просидели в темноте полтора часа. Никто не ушел спать. Любопытно было в этом переполненном бревенчатом театре вспомнить разговоры о том, что театр отживает свой век.

В половине одиннадцатого Витька сбежал со своей постели и через минуту занял место у окна, среди таких же, как он, готовых зареветь от любопытства зрителей.

Витька прильнул к стене клуба. В зале было темно, а на сцене он увидел необыкновенный стог, необыкновенного человека, необыкновенное ружье. Человек вел себя необыкновенно. Все это было освещено необыкновенным ядовито-синим светом. И Витькино сердце запрыгало от предчувствия чуда.

Солнце село в аистово гнездо.

Шло второе действие. Витька и его друзья попали в зал. Завороженные, они сидели на полу у самой сцены. Зал смеялся, зал сердился. Что же будет с этим пройдохой Левоном? Что сделает Лушка? Левон ловчит, запирается, строчит доносы. Лушка не знает, что делать.

— Бросай ты его! — вдруг советуют ей из средних рядов.— Ну его, сопатого, мучиться с ним!

Припертый со всех сторон, Левон исправляется.

В середине последнего действия опять погас свет. Тут же кто-то осветил сцену электрическим фонариком.

Потом появился второй фонарик. Потом третий. Поучительную эту историю о несознательном колхознике Левоне закончили при свете электрических фонариков.

Ночь заковала в безмолвие хаты и ивы над хатами. В небе над черной землей застыл строгий месяц и замерли чистые звезды — самые совершенные декорации в самом большом, самом прекрасном, самом правдивом театре. В клубе открылись двери, переборы гармоники проткнули тишину. Запели, загалдели, ударили в бубен.

— Звезды приклеены к небу? — спросил Витька, пожиратель чудес. Он не спал.

МОЯ ЛЮБОВЬ

Пять лет назад на перроне маленькой станции я прощался с любимой девушкой. Мне было тогда восемнадцать лет, и я ехал в город учиться.

Единственный пассажирский поезд останавливался на этой станции глубокой ночью. И это было так кстати. Мы сидели на моем громоздком чемодане и говорили о будущем. О том, что мы будем любить друг друга всю жизнь, что я буду приезжать, что в разлуке будем писать письма, а через пять лет, окончив институт, я вернусь в наше село, и мы будем вместе. Повторяю, мне было тогда восемнадцать лет, и все то, что мы друг другу обещали, казалось мне нашим будущим.

Начиная со школьного возраста, я постоянно был в

кого-нибудь влюблен. Когда из шестого класса уехала вдруг моя соседка по парте, я впал в задумчивость и остался в шестом классе на второй год. Потом я последовательно был влюблен в преподавательницу истории, пионервожатую и в двух своих одноклассниц. По-настоящему я влюбился тотчас же, как пришло время. Это была Вера, та самая девушка, которая, не спросившись дома, ночью ушла на станцию провожать меня. Ей оставалось учиться в школе еще год, она собиралась стать учительницей и через пять лет непременно работать в своей школе.

О том, что мы друг друга любим, мы говорили тогда в первый раз и говорили потому, что мы расставались. Пришел поезд. Мы поцеловались, и Вера заплакала, уткнувшись головой в мое плечо и всхлипывая совсем как моя десятилетняя сестренка. Я взял ее за плечи, поднял голову и долго смотрел ей в лицо. Прямые светлые волосы, нос чуть большой и чуть в веснушках, мокрые серые глаза, жалкая улыбка... Я не знал тогда, красива ли она.

Поезд тронулся. Я поцеловал Веру еще раз, вскочил в тамбур, вошел в вагон, сел лицом к окну и просидел так всю ночь. «Ты не забудешь меня!» — вспоминались мне ее слова и лицо. Она повторила это несколько раз, и трудно было понять, кого она убеждала в том, что я ее не забуду — себя или меня. «Разве возможно забыть!» — думал я в отчаянии...

И забыл. Забыл легко и быстро. Я попал в компанию веселую, шумную и безалаберную. Институт мне показался большим скоплением бойких молодых людей и легкомысленных девушек, у меня закружилась голова, и уже через две недели было назначено свидание с некоей Лидой. Лида в самом деле оказалась такой легкомысленной, что в нее трудно было как следует влюбиться. Через месяц мы разошлись в разные стороны, шутя и посмеиваясь. Потом была Эля, потом ее подруга Катя.

Я изменился. Завел себе усы-шнурочки, выучился танцевать и, выбиваясь из своих студенческих возможностей, волочился за модой. Одним словом, внешне я сделался то, что называется «стиляга». Вообще-то я уверен, что стиляг никаких нет. Есть модники, шалопаи, жулики, нахалы, есть мальчики, которым невтерпеж быть взрослыми и быть мужчинами, а стиляг нет. Отрицание авторитетов, желание пожить в свое удовольствие, перепродажа модных вещей — все это, конечно, не оригинально, не

ново и сводится в конце концов к мелкому хулиганству. А все эти ценители и коллекционеры плохой эстрадной музыки, разные Бобы Бондаренко и Джоны Сапожниковы — это же только смешно и пошло. Впрочем, многие из поклонников гнусного саксофона в восторге от этой музыки и не признают никакой другой только потому, что спекулируют ею по воскресным дням на толкучках.

Конечно, я далек был от увлечения напоминать собой lovelas, но меня все это тогда забавляло, а главное, это нравилось девушкам, которым хотел нравиться я. Шутя и посмеиваясь, я знакомился и забывал свои знакомства четыре года. Бывало, сижу где-нибудь в саду, жду девушку и скучаю. И мне нравилось, что я скучаю, что я могу встать и уйти, не дождавшись этой девушки, и завтра назначить здесь же свидание кому-нибудь другому. Мне нравилось интриговать, водить за нос, пускаться в рискованные приключения и выходить из воды сухим и со свободным сердцем.

Кончилась моя учеба в институте. Товарищи мои почти все переженились и стали уже мне не товарищи. Я по-прежнему балансировал между флиртом и низкопробными романами и был доволен собой. И вдруг мне стало грустно и беспокойно. Я сделался задумчив, все чаще уклонялся от выпивок и стал уединяться. Как-то я вспомнил Веру, но вспомнил с грустной усмешкой, как что-то трогательное, смешное и безвозвратное. Скука взялась за меня основательно, и я решил жениться.

Я бросил свои ловеласовские повадки и стал ухаживать за Лизой, строгой, умной и милой девушкой, с которой познакомился в театре. Лиза была красива, я привык к ней, и иногда мне казалось, что я люблю ее, но я чувствовал, что в то же самое время я готов к чему-нибудь новому. Через полгода у нас было все решено: я кончу институт, и мы поженимся. Лиза кончала музыкальное училище, но со мной собиралась ехать куда угодно.

И вот я получил диплом агронома и назначение, разумеется, в село. Направление оказалось именно в то село, откуда я уехал пять лет назад. Лиза еще сдавала экзамены, и устраиваться я поехал один.

Ночью в вагоне мне не спалось. За окном набегали и исчезали огни станций и мелькали встречные поезда. Я сел у окна и раздумался. На вокзале меня провожала Лиза, но мне не было грустно от того, что мы расстаемся. «Я не люблю ее»,— подумал я. Потом я вспоминал своих прежних знакомых, и, странное дело, ни одну из них я не

мог вспомнить как следует, я не мог ясно представить ни одного лица, ни одного значительного слова, ни одного запоминающегося пустяка. И я понял, что молодость моя проходит мимо счастья — мимо тех радостей и печалей, которые дает человеку одна любовь. «Как известно,— подумал я,— для души и сердца прошли эти пять лет...» И я вдруг ясно вспомнил свой отъезд в город, маленькую станцию, Веру и ее милое, заплаканное лицо. «Как было хорошо, и как все это сейчас далеко от меня... Где теперь Вера? Если бы люди выполняли все свои обещания и клятвы, то она должна сейчас ждать меня в том селе»,— я усмехнулся и, опустив голову на руки, стал засыпать.

Был звонкий майский полдень, я спустился с железнодорожной насыпи и пошел к селу маленькой черной тропинкой. Кругом было столько света, воздуха и зелени, было так хорошо, что хотелось упасть в высокую пахучую траву и пролежать в ней как можно дольше, ни о чем не думая, ничего не вспоминая.

Я прошел половину длинной улицы села, никто мне не попадался. И только у другого конца улицы двери нового двухэтажного дома вдруг распахнулись, и оттуда вырвался целый ручей белоголовых ребятишек. Я остановился и смотрел на них, пока они не выбежали из школы все и их радостный галдеж не удалился по обе стороны улицы. Потом из школы вышла девушка, легко сбежала по белым ступенькам и быстро пошла в мою сторону. Неожиданность, растерянность, радость — все, что я испытал в эту минуту, можно только испытать и совсем невозможно представить. Это была Вера. Она остановилась передо мной, долго на меня смотрела и, проговорив: «Ты не забыл меня...»,— бросилась ко мне на грудь. Вот и все.

Потом мы бродили за селом по лугу, пили шампанское в ее квартире, и, когда она была на уроках, я с нетерпением ждал ее в шумной учительской. Я смотрел на нее, слушал ее голос, и мне казалось нелепым и диким то, что я мог ее забывать. Я понял, что я не смог полюбить ни Лизу, ни всех остальных, которые будто причудились мне в плохом сне только потому, что все они не похожи на Веру, и потому, что любил я всегда только ее одну. Я не оспариваю ни опыта, ни мудрости, ни правоты тех, кто утверждает, что любовь к одному человеку не может быть беспрерывной и беспредельной, но я твердо убежден, что моей единственной любви хватит на всю мою жизнь. Мне стыдно. Я так виноват перед Верой, перед своей

любовью. Но Вере я ничего не рассказываю. Я боюсь оскорбить нашу любовь, и я прощаю себе эту трусость. Моя любовь искупает мою вину.

Я едва смог поехать в город, чтобы объясниться с Лизой, которая уже собиралась ко мне приехать. Входя в ее дом, я услышал фортепьяно. Лиза играла Шопена. Я вошел в комнату. Она сидела ко мне спиной и не заметила моего прихода. Я тихо уселся у двери и стал слушать. Раньше я не любил Шопена, его музыку я считал слишком сложной и сентиментальной. Но теперь я был заворожен... И тут, слушая Лизу, я думал о Вере и о своей любви. И мне казалось, что это тонкое и глубокое чувство, которым жила и входила в душу музыка,— мое чувство, и мне захотелось вдруг видеть Веру и говорить ей что-нибудь красивое и нежное... Лиза кончила, мы поздоровались, и я объяснился. В тот же день я уехал. Лиза любила меня, и я оставил ее в ужасном состоянии. Не знаю, прав ли я. Знаю только, что я счастлив.

ЛИСТОК ИЗ АЛЬБОМА

— Чем бы вас занять? — сказал мой новый знакомый Евгений Сергеевич Потерин, морща лоб и обшаривая свою комнату пренебрежительным взглядом.— Вот хоть это,— он сунул мне в руки небрежно выдернутую из этажерки штуковину в бархатном переплете и пошел к двери.— Взгляните пока. Глупейшая вещь, женская литература. Сам никогда до конца не смотрел. Я сейчас вернусь.

Евгений Сергеевич пошел за пивом. Его жена Таисия Григорьевна хлопотала на кухне. Таисии Григорьевне лет тридцать пять, но ее красота еще очевидна. И меня удивили ее грустные глаза — редкость и неожиданность у хорошенькой женщины.

В моих руках оказался альбом со стихами. Как полагается, он был напичкан нежной лирикой, начиная с пылкого Катулла и кончая Степаном Щипачевым. Я нехотя полистал.

Последней страницей альбома оказался вклеенный в него небольшой листок, исписанный мелким почерком. Когда-то измятый, теперь тщательно выровненный, склеенный из двух частей, выцветший, этот листок заинтересовал меня своей интимностью.

«Я не могу больше любить так мучительно и так уни-

женно. Мне трудно видеть тебя и ждать от тебя всякую минуту признания в том, что ты меня не любишь. Прощай. Будь счастлива — у тебя для этого есть все и нет больше того нищего, при котором неудобно дарить свою любовь кому-нибудь другому.

Прощай! В конце мая сходи за город, туда, где мы были год назад и где с тобой были еще твои сомнения, со мной — мои надежды. Взгляни, как тают белые цветы, вздохни и все забудь».

Я с любопытством перечитал все это еще раз.

— Ха-ха. Не поверите — это я написал,— вдруг раздался у меня за спиной голос вернувшегося Потерина.

Я взглянул на него с удивлением. Всегда насмешливый, далекий от разных нежностей, Потерин олицетворял собой здравый смысл.

— Что, не похожу на Вертера? Ха-ха-ха!.. А ведь было, было...— продолжал Потерин, разливая пиво.— Хотите расскажу? Обед еще не скоро. Эй, живее там! — крикнул он жене, которая на кухне приятно побрякивала посудой.— Пейте пока пиво. Свежее, из персональной, можно сказать, бочки... Так вот... Послушайте: поучительно, а главное — беспримерно глупо... Начался этот водевиль, когда мне было девятнадцать лет. Конечно, в девятнадцать лет всем положено любить и страдать, но я любил и страдал не как все. Я смотрел на всех своих знакомых влюбленных критически, с такой демонической усмешкой. Мне казалось, что они любят не так, как надо, опошляют любовь, делают из этого праздника человеческих чувств серые, скучные будни и все в таком духе. Про себя составил я что-то вроде идеала любви и решил его осуществить.

А кто, вы скажите мне, имеет ясное представление о том, какой в этом должен быть идеал? Вообще, кто может верно и категорически судить о любви? Сколько соображающих людей, столько и взглядов, и мнений. И о любви судят особенно необъективно.

Ну, а мое представление о любви состояло, конечно, сплошь из иллюзий. И вот появилась «она». Я был страшно придирчив, но она понравилась мне сразу. Красивая, юная, нежная. Чиста, как снег в семи километрах от города.

О своей внешности я был самого неопределенного мнения, а между тем был недурен. Кроме того, щелкая соловьем, оригинальничал, острил,— одним словом, был способен нравиться.

Началось, как обычно, время будто бы случайных встреч, сомнений, догадок, желания видеть друг друга во сне и сразу после сна... Мы познакомились, и я стал думать о ней от свидания до свидания. Разумеется, на свидании я тоже думал о ней. Когда я сказал, что люблю ее, это было уже так очевидно, что признание мое оказалось только формальностью. Она же была романтиком и ничего, конечно, не знала и ничего не могла мне сказать. Впрочем, она говорила что-то о товарищеском отношении, но при чем тут товарищеское отношение?

Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости. Мало того, я боготворил ее, возводил в степень, семенил вокруг нее мелким бесом и рассыпался перед ней мелким бисером.

А это-то и гибельно. Я ей нравился, но как только она убедилась в том, что я люблю ее и в доску постоянен, она стала относиться ко мне все небрежнее. Сердиться я на нее не мог — у меня только портилось настроение. Сначала она ссорилась охотно и весело, находя в этом удовольствие сытой кошки, заигрывающей с затравленной мышью, но потом ссоры стали жесткими и злыми, дольше длились и с трудом прекращались моими усилиями.

Я весь, мои дела, мои убеждения зависели от ее настроения. У самой у нее не было ни убеждений, ни мыслей — один только характер. Характер скверный. В ее голове ничего интересного, кроме капризов, не было; правда, капризы эти всегда поражали своей виртуозностью. Исполнение ее любого желания — это то, что неизбежно должно быть — как зимой снег. Даже когда она любила меня, она могла бы меня поменять на леденец, если бы очень его захотела.

И глупее всего то, что меня все эти каприччиозы восхищали, приводили в какой-то идиотский трепет. Я так захлебывался от восторга, так млел от обожания, что даже теперь еще совестно.

Больше года она водила меня за нос, потом ей это надоело, и она прогнала меня.

Я вбил себе в голову, что я замечательно несчастлив, писал нежные и грустные стихи, стал худеть и подумывать о самоубийстве. Несколько раз я встречался с ней под разными предлогами, писал унизительные письма вроде этого листка и окончательно ей надоел. В последнюю из таких встреч она сказала мне: «Все кончено. На следующее свидание приглашу милиционера».

Никогда не забуду этого вечера. Разговор происходил

во дворе ее дома. Я пресмыкался и просил ее выслушать меня.

Если вы когда-нибудь были идиотом, то знаете, как может женщина унизить человека. Она вообразила себе, что ей противно находиться со мной лишнюю минуту, и хлопнула дверью. Противно! Сразу же я услышал за дверью смех. Смеялись она и ее подруга. Смех этот страшно резанул по моей психике, и тут я почувствовал, что из моей души вдруг выпала какая-то большая деталь.

Не помню, как я удалился со двора.

Неопределенное время я просидел на скамейке в пустом сквере, а когда поднялся, то почувствовал, что любовь моя кончилась.

Она вытравила во мне «всю пылкость, все страсти души» и прочие глупости. Она воспитала во мне юмористическое отношение к женщине. На следующий день я написал ей: «Если нравится быть жестокой — вешайте собак или распределяйте стипендию» — что-то в таком духе.

Сам себе я сказал: «В твоей любви не было радостей — в твоей жизни не должно быть скуки. Скука недопустима». И зажил весело и беззаботно, как это возможно студенту средней обеспеченности. Замелькали разные лица, но я в них уже не всматривался. Я любил и пользовался взаимностью, но любил уже без всяких идеалов, без замираний в сердце и всего такого прочего. И вот...

В комнату вошла Таисия Григорьевна, постлала скатерть и стала накрывать на стол. Потерин, будто не замечая ее, продолжал, солидно отпивая из кружки, которую я периодически наполнял:

— Вы никогда не встречали учебника женской логики? Нет такого? А почему? Такой учебник мог бы написать любой бухгалтер в перерыве между составлением двух отчетов. Ничего нет проще: все шиворот-навыворот — и только. Женщины сами распространяют слух о том, что их логика непостижима. На самом деле их поступки и мысли прямолинейны, как телеграфный столб.

Так вот, когда я уже откровенно зубоскалил над возвышенными чувствами, верностью и голубиным счастьем, она вдруг пришла ко мне и принесла мне свою любовь, раскаяние, покорность, слезы и желание не разлучаться.

И вы знаете... Я женился на ней. Да, да, не удивляйтесь — это Таисия Григорьевна. Как это вышло, не знаю, но только хорошо сознавал и сознаю, что я ее тогда не любил... Да... Женился, может быть, из мести, а может

быть, из уважения к своим юношеским заблуждениям. Страшно глупо. Она, кажется, любит меня и теперь. Мне безразлично, скандалов я не устраиваю, я только ограничиваю ее во внимании ко мне. Характер ее изменился до неузнаваемости, и, знаете, она отлично готовит обед. Вы сейчас в этом убедитесь.

За обедом он вдруг спросил Таисию Григорьевну:

— Я как-то все забываю поинтересоваться... Ты счастлива со мной?

Таисия Григорьевна вздрогнула и, глядя на меня и неловко улыбаясь, проговорила:

— Евгений Сергеевич всегда шутит так неожиданно...

— Счастлива, тебя спрашиваю, или нет? — беззастенчиво повторил Потерин.

Таисия Григорьевна перестала улыбаться и опустила глаза.

— Разумеется, я счастлива,— сказала она.

ПОСЛЕДНЯЯ ПРОСЬБА

Николай Николаевич Смирнов был уверен, что до следующей весны он не доживет.

— Скоро умру,— говорил он, вздыхая и виновато поглядывая на свою дочь Лидию Николаевну, которая убирала его комнату.

— Что ты! Живи до ста лет,— машинально отзывалась Лидия Николаевна, стирая пыль с книжного шкафа.

До ста лет оставалось не так уж много.

В начале осени Николай Николаевич почувствовал, что ходить он уже вовсе не может.

Только крайняя беспомощность и совершенная безнадежность порождают желание умереть. Вконец одряхлевший, совсем бессильный, Николай Николаевич имел и надежду, и жгучее, как у юноши, желание, чтобы надежда эта оправдалась. Ему хотелось дожить до весны. Хотелось еще раз увидеть на столе цветущую сирень, услышать весенних птиц, ему хотелось в зеленый рай — в березовую рощу, которая начиналась почти сразу от окна его комнаты.

Но за окном березы прогорели бледным пламенем осеннего заката, а скоро пришел и сразу взбесился лютый зимний месяц декабрь. Чьей-то одинокой, брошенной душой взвыли ошалелые метели, вселяя в сердце тоску по ласковым весенним дням.

Николай Николаевич и его дочь жили вдвоем. Муж Лидии Николаевны умер, а дети, которые все уже были взрослыми, жили разными семьями и в разных местах. Николай Николаевич знал, что, когда он умрет, Лидия Николаевна уедет к своему старшему сыну.

Вечерами Лидия Николаевна садилась на край кровати и спрашивала, не хочет ли чего отец. Николай Николаевич отвечал, что ничего не надо, что надо бы давно умереть, говорил, что он измучил ее, но что терпеть ей осталось совсем уже немного. Лидия Николаевна сердилась и всхлипывала. Тогда Николай Николаевич делал слабое движение своими почти обескровленными руками, Лидия Николаевна осторожно опускала голову к его груди и тихо плакала, и у Николая Николаевича разбегались по морщинам две-три пресные старческие слезы.

Бывали врачи, но Николай Николаевич был уверен, что они не лечат его, а только делают вид, что лечат. «Вы знаете, и я знаю: старость неизлечима»,— говорил он им.

Раз к нему заходил сын Сергей. Сергей Николаевич был очень серьезный и очень занятой человек. Часто приходить он не мог.

Он пришел поздно вечером, с папкой под мышкой, не разделся, а только снял шляпу и смял ее в своих сильных руках.

Перед его уходом Николай Николаевич расхрабрился на шутку, которая, в сущности, была вовсе не шуткой.

— Не хочу умирать зимой,— сказал он.— Хочется покинуть этот мир в цвету, чтобы оставить о нем хорошее впечатление.

— Ты еще молодец. Мы с тобой еще на уток пойдем,— улыбнувшись, сказал Сергей, но Николаю Николаевичу показалось, что говорил он это вяло и бесчувственно...

Николай Николаевич возненавидел зиму за то, что зимой хорошо только здоровым и сильным, за то, что зимой нельзя открыть окно, за то, наконец, что зима так долго тянется. Ему стало казаться, что не старость, а зима отняла у него все и оставила одни только воспоминания, которые тоже отнимают силы, но от которых становится грустно и хорошо.

Но Николай Николаевич так и не мог привыкнуть жить одними только воспоминаниями. Он ждал весны.

И весна пришла. Николай Николаевич давно уже следил за большой сосновой веткой, которая заглядывала

в окно его комнаты. И вот солнечным мартовским полднем ветка сбросила с себя белую, великолепную, но, правда, давно уже дырявую шапку.

Николай Николаевич попросил устраивать его в кресле и подолгу просиживал теперь у окна.

За окном зима одну за другой сдавала свои позиции.

Сначала почернели натоптанные прохожими тропинки через рощу, потом стали появляться желтые пятна проталин, и наконец вся земля предстала перед глазами такой, какой застал ее первый снег...

— Как хорошо! — сказала Лидия Николаевна, в первый раз открывая окно, когда роща уже чуть повеселела издалека еще незаметной зеленью.

Но в душе Николая Николаевича не было той радости, какую он ожидал с приходом весны. То, что он ждал, пришло, но это оказалось не тем, чего он хотел. Он хотел жить.

«Пройдет весна,— думал он,— высохнут цветы, а жизнь будет продолжаться. И она хороша всегда и везде: и в цветущем саду, и на занесенной метелью дороге, и даже у окна в кресле, с которого нельзя подняться...» У большой старой березы почти каждый вечер встречались девушка и молодой человек, по-видимому, влюбленные.

Николай Николаевич любил наблюдать эти встречи, привык к ним, думал о них. Почти каждый вечер он говорил Лидии Николаевне: «Лида, посади меня к окну, я опаздываю на свидание»,— и смотрел в рощу до тех пор, пока сумерки не съедали и рощу, и две фигуры у старой березы. Они ему даже иногда так и снились: девушка сидела, прислонившись к стволу березы, а молодой человек стоял, упершись головой в толстый сук и держась за него обеими руками, и смотрел на девушку.

Но как-то Николай Николаевич заметил, что молодые люди вдруг стали посещать рощу в разное время. По всем признакам это была ссора.

«Какие глупые и какие счастливые,— думал Николай Николаевич.— Они страдают, ходят в разное время в одну и ту же рощу, но они молоды, и... звезды над ними одни и те же».

В первый душный день, перед первой грозой, старость и болезни обступили постель Николая Николаевича, протягивая к нему свои костлявые руки. Николай Николаевич задыхался.

— Лида,— сказал он, с трудом отыскав среди тяже-

лых видений бледное лицо дочери,— позови Сережу... Сейчас же... в последний раз...

Ударил гром, и за окном началась бешеная пляска стихий. Порывы ветра гулко разбивали об оконное стекло тяжелые струи воды. Роща стонала, выла, всхлипывала. У Николая Николаевича стучало в висках, но дышать стало легче.

А когда гроза кончилась, Николай Николаевич почувствовал себя так хорошо, так легко, что вдруг сел в постели и бодрым голосом потребовал:

— К окну!

Испуганная Лидия Николаевна запротестовала.

— В кресло! — повторил Николай Николаевич твердо.— И открой окно настежь. Я здоров, и мне кажется, что я молод.

Он сидел у окна улыбаясь, и, действительно, на душе у него было так радостно и спокойно, будто ему двадцать лет и он только что помирился с любимой девушкой.

Прошедшая гроза — праздник всего зеленого мира. Солнце еще не закатилось и необсохшая роща ликовала в пронизывающих ее лучах. Николай Николаевич видел, как у ближних деревьев вздрагивали нижние листья от падающих с мокрой листвы капель.

У старой березы стоял молодой человек. Николай Николаевич взглянул на часы, которые давно уже велел поставить на подоконник. Молодой человек должен был скоро уйти, а через полчаса должна прийти девушка.

Скоро вошел запыхавшийся и растревоженный Сергей.

— Отец! Ну, как ты? — спросил он, быстро приближаясь к креслу. Отец и сын поцеловались.

— Я звал тебя, Сережа...— спокойно заговорил Николай Николаевич.— Мне кажется, я...— Николай Николаевич замолчал, повернулся лицом к окну и несколько мгновений глядел в рощу.

Когда он снова посмотрел на сына, Сергея Николаевича удивил необычный, давно уже не появлявшийся живой и веселый взгляд отца. Николай Николаевич тихо сказал:

— Сережа, ты видишь вон там, в роще, парня? У большой березы. Иди и скажи ему, чтобы он задержался там на полчаса...— И, глядя на недоуменное лицо Сергея Николаевича, продолжал: — Да, да. Сходи и скажи ему, что это очень нужно. Пусть подождет.

— Отец...— начал обеспокоенный Сергей Николаевич.

— Нет, нет... Я в своем уме,— перебил Николай Николаевич.— Сходи... я прошу тебя... иди, иди...

Пожимая плечами и оглядываясь, Сергей Николаевич вышел из комнаты.

Окно было открыто настежь, и комнату заполнял неповторимый запах обновленной грозой березовой рощи.

Николай Николаевич сидел в кресле, слегка склонившись в сторону. Черты лица его застыли в спокойном, осмысленном движении.

Вернувшийся Сергей не сразу понял, что Николай Николаевич умер.

Я С ВАМИ, ЛЮДИ

— Об этом нелегко рассказывать. Прошлое у меня такое, что о нем трудно вспоминать. В нем мало хорошего и нет ничего счастливого.

Это говорит Александр Навалихин, плотник и художник СМП-267. Он ставит перед собой пепельницу и, глядя в окно, за которым целый день идет дождь, рассказывает.

Ему было шестнадцать лет. Он шел по вечерней улице с девчонкой, провожал ее из кино. На окраине города тихо. Только в дальнем палисаднике захлебывалась переборами счастливая гармоника.

Навстречу шел человек. Шел пошатываясь, балансируя в воздухе руками. Остановился и ни с того ни с чего длинно и грязно обругал Сашину девчонку. Кровь бросилась в лицо мальчишки. Он подошел к пьянице вплотную и потребовал замолчать. Но это только распалило последнего. Тогда Саша молча ударил по ухмыляющейся красной роже. Началась драка. Девчонка убежала. Пьяница — мужик здоровый, руки у него тяжелые, безжалостные. Тонкие мальчишечьи руки быстро шарили на земле камень.

Возвращались из кино Сашины приятели. Пьяница был крепко побит. Хрипло ругаясь, он убежал в темноту улицы. Перед дракой пьяный снял пиджак и бросил под ноги.

Так Саша оказался перед судом. Его осудили на 5 лет. С поезда, остановившегося в Минусинске, сошел молодой человек, одетый по-осеннему, небритый, без вещей. Быстро, нигде не останавливаясь, он зашагал по улицам ночного Минусинска. Из плотного морозного тумана выплывали черные деревянные дома. Гулко скрипело под сапогами. Миновав несколько улиц, молодой человек побежал. Через пять минут он трясущейся от холода и

нетерпения рукой распахнул калитку чистенького дворика с черным угрюмым домом посредине и бросился к окну.

Стучал он долго. Наконец, дверь скрипнула, кто-то вышел в сени.

— Вам кого?

— Откройте! Навалихина мне... Я сын его. Пять лет не видел.

— Навалихин здесь не живет.

— Откройте!

Дверь чуть подалась и вдруг распахнулась рывком, хлопнув внешней ручкой о стену. Луч карманного фонарика медленно обшарил всю фигуру молодого человека. Потом дверь так же внезапно захлопнулась.

— Таких не пускаем,— послышался голос из сеней,— беги на вокзал, загнешься.

Молодой человек зашагал обратно. Ногой двинул калитку.

— Постой! — послышалось сзади.— Вернись!

Он, чуть помедлив, вернулся к порогу.

— Проходи. Был в твоей шкуре, а потому... Ну, проходи, проходи.

Молодой человек вошел в дом и безвольно опустился на первую табуретку.

— Где мой отец?

— Нет здесь его. И когда мы купили дом — тоже не было.

Мужчина, который открывал дверь, был средних лет, невысокий, глаза навыкате. За столом, отставив недопитый чай, сидела худенькая женщина. Пристальным, полуиспуганным взглядом она изучала незнакомца.

— Откуда? — спокойно спросил хозяин.

— Из тюрьмы.

— Вижу. Из какой?

— Не все ли равно?

— Ладно. Куда завтра?

— Искать отца.

Отогревшись и поужинав, Навалихин сел у открытой печки и, прищурившись, стал смотреть на тлеющие красно-синие угли.

— Кто такие?

— Я служащий, она домохозяйка,— растягивая слова, ответил хозяин.— А что?

— Говоришь, был в моей шкуре. А теперь?

— А теперь я служащий, а она домохозяйка,— загромыхал хозяин,— и вот что, парень, завтра же мотай от-

сюда по холодку. Лучше будет. И советую тебе с этим делом заканчивать.

Утром хозяйка дала Навалихину телогрейку, шапку, и, простившись, он снова вышел в морозный туман.

— Я знал, что некоторые «завязывают» — кончают преступную жизнь и живут по-новому, по-хорошему. Были и в тюрьме у нас об этом разговоры. Но таких я видел первый раз. Тот хозяин, видно, в прошлом был из матерых. И в то же время было ясно, что переменился он совсем, навсегда. Я много о нем думал и сам решил «завязать». Но это было тогда не убеждение. Это было только отчаяние и усталость от своей беспутной, горькой жизни.

Отца и сестру я нашел в Барнауле. Приехал с подарками. А подарки-то были ворованные. Отца убедил, что работаю честно. А через несколько дней попался с кражей.

И снова суд.

К мысли покончить с моей темной жизнью я возвращался тогда все чаще. Особенно не давал мне покоя тот новый хозяин отцовского дома. Со мной он разговаривал грубо и даже брезгливо. А ведь тоже бывший вор. Я почувствовал в его перемене решимость и убежденность. Все чаще думал о честной жизни. Все бессмысленнее мне казалось то, что я, еще молодой человек, живу за чужой счет, прячась и озираясь. И я решил жить по-новому.

Они сидели на только что поваленной лесине, отдыхали, курили. Весенний день перевалил за первую половину. Был слышен шорох скользившего на землю наста. Тракторная колея наполнилась водой.

Навалихин забавы ради затесывал желтую спину длинной ровной сосны. На конце этого ствола сидел Зяблик, щуплый заросший человек лет сорока. Зяблик колючим взглядом следил за медленно переступающим к нему вдоль ствола Навалихиным. Недавно Навалихин нарисовал пьяницу Зяблика в стенгазете, а теперь забыл об этом.

— Пусти,— спокойно попросил Навалихин.

Зяблик не шевельнулся. С ненавистью глядя прямо в глаза, Зяблик говорил:

— Садись, отдохни. Много работаешь. Лучше всех хочешь? Цветы хочешь выращивать? Ну, мы тебе покажем цветы! Мы тебя научим.

— Вам меня учить нечему. Вы сами ничего не понимаете.

— Слышали? — сказал Зяблик.— В люди лезет.

Все слышали. Здесь были сторонники и Навалихина, и Зяблика.

— Ты догадался: хочу стать человеком. Мне совестно, что я долгое время походил на тебя.

Наступает молчание.

— Что же это такое! — взвизгнул Зяблик.— Бей его!

Зяблик бросился на Навалихина, но его удержал за ворот Кренев, большой, благодушный и неизменно справедливый парень. Те немногие, кто не уважал Кренева, боялись его.

— Спокойно,— сказал Кренев,— не прыгай, Зяблик. И не лезь больше к нему.

Зяблик тихо сел на место, но как только Кренев отпустил его, снова бросился к Навалихину. На этот раз в руке у него был нож. Они покатились по земле. Никто не успел вмешаться. Зяблик размахнулся, ударил в грудь, но Навалихин молниеносно среагировал — рука с ножом попала между ребрами и рукой Навалихина. Тут же Зяблик вскрикнул, нож выпал из едва несломанной руки. Навалихин молча поднялся и швырнул нож далеко в желтый сосняк.

— И вот я здесь, в строительно-монтажном поезде. Приехал весной. «Как меня встретят? Подаст ли кто-нибудь руку?» — думал я. Уже несколько лет я увлекаюсь рисованием. Меня рекомендовали как художника. Прихожу в отдел кадров. Встречает меня парторг Журавлев. «Художник нам нужен, но еще больше нужны нам сейчас плотники».

Пришел в бригаду. Поработал день, другой и понял, что мне верят. Понимаете, мне верят! Сейчас у меня здесь много друзей. Настоящих, искренних. Они знают обо мне все. Я переполнен благодарностью. Мне хочется сказать знакомым и незнакомым, всем, кто живет и работает в наше чудесное время: «Я виноват перед вами, люди. Ваше доверие, ваше великодушие бесценны. Хотя бы часть их я оправдаю честным трудом».

ВЕСЕЛАЯ ТАНЬКА

В бригаде монтажников Кузьмы Хищенко она всеобщая любимица и самый веселый человек. Оттого весь день на стройплощадке слышно:

— Танька.

— Танька-а...
— Танька!
У Таньки большие зеленые, какие-то постоянно счастливые, вызывающе счастливые глаза. Такие глаза говорят о том, как нелепы старость, болезни, ложь. «Да и бывает ли все это»,— говорят Танькины глаза. Ходит Танька легко и гордо, как и должен ходить по земле человек. Как-то работавший рядом с ней штукатур, пожилой, хмурый, все о чем-то вздыхающий дядя, сказал:
— Веселая твоя, девка, звезда...
Где горит эта звезда, счастливая ли она и существует ли вообще — сама Танька этого не знала. Сама Танька сильно сомневалась в ее существовании. Но почему-то все Танькины новые знакомые были уверены, что такая звезда есть, и горит она так же весело и ярко, как живет на белом свете сама Танька...
Как все шестиклассницы, она мечтала стать артисткой. И как девяносто девять из ста шестиклассниц артисткой она не стала. Танька не кончила даже средней школы. Мать и два брата не возражали против того, чтобы она училась. Просто братья были маленькие, а мать была больна. Танька получила паспорт и сразу же стала штукатуром.
Раз, вернувшись с работы, она застала дома незнакомого парня. Он и Танькин брат Володя сидели за столом и выпивали. Прямо с работы, оба немытые. Парень все смешил брата, смеялся сам, зубы сверкали на чумазом лице. Весельчак. Танька узнала, что парень этот — приятель брата, слесарь. Но внимания на этот раз не обратила на него никакого.
Потом он ушел служить, писал брату письма, а через год вдруг вернулся. В первый же день надел костюм, выпил и — к Поздняковым, к дружку. Перед дверьми столкнулся с Танькой. В коридорных сумерках выделялись руки, лицо и ноги в домашних туфлях.
— А... Это ты? — задумчиво сказал он, глядя на повзрослевшую Таньку.— Так...
На этот раз она посмотрела на него внимательно, но промолчала.
Он стал приходить каждый вечер, сначала будто бы к брату, потом к ней. Таньке он понравился: простой, веселый и, кажется, влюбленный в нее, в Таньку.
Апрель в Усолье — еще не весна, а только весенний воздух, а только почерневший под заборами снег и серые скользкие тротуары. Под окнами по старым усольским

улицам свистят на ветру голые акации. Танька бежит домой. В лицо запахи дыма, бензинной гари и запах подтаявшей на дорогах земли. Неизвестно отчего Таньке весело. Вот еще за угол — и дома. Возбужденная быстрой ходьбой, весенним ветром, веселая, радостная, Танька шибко распахнула дверь.

За столом сидели Сухоруковы. Отец и мать. Отец высокий, седой, степенный. Мать большая, толстая, с пристальным острым взглядом. Рядом Танькина мать и брат Володя. Выпивали. На Таньку уставились все разом. Сухоруков даже повернул к порогу стул.

Танька побледнела. Сватать пришли! Еще утром приходил Владимир. Нарядный, в новой каракулевой шапке, белое кашне, блестящие новенькие полуботинки, думала, отчего такой нарядный... Шептал что-то матери. Вот прислал теперь... сватать.

Танька растерянно, широко открытыми глазами смотрела на седую голову Сухорукова. А видела только светлое пятно, да и оно расплывалось. Танькина мать улыбалась и плакала. Брат Володя заиграл на гармонике. Танька хотела бежать, ноги будто отнялись. Ее привели к столу, усадили.

— Это,— показывая на родителей Владимира, сказала Танькина мать,— теперь отец тебе, а это... теперь твоя мама...

Сказала и закрыла лицо платком...

Усолье есть новое, и есть Усолье старое. Новое из кварталов с домами-громадами, а между ними старое — деревянные домики с резными и крашеными наличниками, с черемухой и акациями под окнами, с лохматыми псами по дворам. Танька жила в новом квартале, а вышла замуж — ушла к Сухоруковым на старую улочку.

Была и свадьба. Родня сидела на свадьбе по разным сторонам стола. Поздняковы — по одну, Сухоруковы — по другую. Танька весь вечер видела хмурый, колючий взгляд матери Владимира.

А потом Танька поняла, что свекровь ее невзлюбила. Стала свекровь придираться по пустякам, выговаривать за немытые кастрюли, пошла, как водится, по соседям рассказывать, какая непутевая у нее невестка. Сам Сухоруков оказался добрый, заступался за Таньку. А Владимир молчал, словно не его это дело.

— Володя, за что она так? — спросила раз Танька Владимира. И услышала в ответ:

— Значит, так надо...

Прошла после свадьбы только неделя, а Владимира будто подменили. Стал попивать, грубый стал...

Танька вернулась с работы и сразу же засобиралась к своим. Мать увезли в больницу, ребятишки остались одни, постирать надо было, помыть.

— Куда ты торопишься? — спросила свекровь.

— В больницу, к маме.

— К маме, говоришь. А ты посуду вымой да мужа дождись. Может, он тебя не пустит...

Танька не стала больше разговаривать и хлопнула дверью.

Вернулась она поздно, в одиннадцать часов. Владимир как раз умывался, на Таньку даже не обернулся. А она зачерпнула в ковш чуть-чуть воды и, смеясь, плеснула ему на спину.

— Нагулялась? — мрачно спросил он.

Улыбка замерзла на Танькином лице, она тихо села на лавку.

— Домой ходишь... Врешь! К мальчикам из своей бригады ты бегаешь.

Свекровь только этого и ждала...

И так часто.

Раньше Танька ходила в клуб, в хореографический кружок. Запретили. Танька любила свою мать, своих братьев. Были этим недовольны.

Сухоруковы не любили художественной самодеятельности, не любили общественных поручений, комсомольской работы. Они любили себя, свой домишко, Владимир любил еще выпить.

И душным июльским вечером Танька ушла от Сухоруковых. Было чего-то стыдно, было обидно, месяц Танька не находила себе места. Но назад не вернулась. Владимир приходил к Поздняковым, выпивший, с бутылкой водки в кармане. Приходил мириться. Брат Володя выставил его за дверь.

Танька кончила учкомбинат и стала сварщицей. Пошла в хореографический кружок. Но Сухоруковы не забывались. О Владимире она часто думала и робела при мысли о встрече с ним.

Как-то у клуба встретился Таньке Владимир. Она возвращалась с занятий хореографического кружка. Владимир старался подойти вплоть.

— Вернись! Говорю тебе, вернись.

В его голосе не было ничего, кроме злобы.

И Танька, не говоря ни слова, быстро пошла дальше, мимо пьяного, чужого, не нужного ей человека.

Танька шла новым кварталом, мимо светлых окон, за которыми жили, наверное, счастливые люди. Они должны быть счастливыми, раз живут они в таких красивых новых домах. Так думала Танька...

Владимир, говорят, недавно женился. Он, говорят, взял девчонку со своей улицы.

ПРОЛОГ

Невидимый стал пар над наледями. Тонкий мыс, палатки, свежие срубы тонут, тонут в мутных весенних сумерках.

С буровым рабочим Толей Сизых я стою над Ангарой, у столовой в Постоянном. Столовая — кухня на два стола, за одним из которых мы только что съели по куску жареной колбасы и выпили по кружке чаю. Постоянный — столовая, домишко на две семьи, пилорама и общежитие буровиков, развеселое общежитие с раскладушками от самого порога. В окнах его мягкий, как воспоминание о детстве, свет керосинки. Громко ахнула дверь, в сумерках к нам подошел топограф Федя Аскеров. После работы Федя успел скатать в Невон, в магазин. Он подошел к нам, капризный и мечтательный.

— Я шатун,— сказал Федя,— я пашу с утра до вечера... по тайге в снегу вот по это место. Я шатун.

— Пройди,— сказал Толя,— пройди.

— Ты «бурундук»,— сказал Федя,— ты ничего не понимаешь. Я хочу чаю.

Федя вошел в столовую, мы молчали, сосны обступили нас, немые, затаившиеся. Ночь прятала их в свой черный мешок. Мы вслушивались в сиротливую трескотню пэески в палаточном городке, за Тонким мысом. В могучей, непуганой ночи, в холодном сердце тайги мы слушали это робкое и дерзкое соло как обещание, как вступление, за которым, как огромный оркестр, грянет небывалая стройка.

Внизу белеет река. Укрощенная в Братске, но здесь свободная и разнузданная, как зверь, вырвавшийся из клетки и забывший о ней.

Ночью, весной шестьдесят третьего года, с Толей Сизых я стою над Ангарой у Толстого мыса. Мы думаем о будущем, мы думаем о прошлом.

...Здесь были колумбы, бандиты, богомольцы, авантюристы, мыслители и революционеры.

И вот сюда пришли строители.

Уже был создан план ГОЭЛРО, а купец Яков Андреевич Черных был еще жив. Жив и богат, хотя скрывал и то и другое. Последние годы бывший хозяин илимской тайги жил трусливо, но с надеждами. Он ждал своего часа, своего обновления, потому что был невежда и оптимист. В Иркутске, куда бежал в девятнадцатом году и где прятался в домишке на берегу Ангары в конце Амурской улицы, он набил тайники белой мукой, сахаром и прочим, что запас на черный свой день. Муки было семьдесят кулей. Купец не рассчитал. Он умер от разрыва сердца, не съевши и десятой доли запасов.

История илимского края — это история о том, как купец Черных обворовывал тайгу. А обворовывал он умело. Он был самоучка, самородок, все взял сам.

Яков Андреевич был небогатый мужичок из Игнатьева, но был он нагл и крепок. И в одну прекрасную ночь внизу на Ангаре, в Кежме, сгорела лавка купца, а товары из лавки исчезли. Через некоторое время в Нижнеилимске объявился новый купец Яков Андреевич Черных. До и после этого Яков Андреевич для отвода глаз таскался по селу с ящичком, прикидывался крохобором, коробейником. Но недолго. Развернулся он быстро. В обороте у него было шестьдесят четыре миллиона рублей. Конторы он имел в Братске, в Киренске, в Тулуне, в Иркутске, сплавом торговал по Витиму и Ангаре, возил белку на Иртыш, на Ирбитскую ярмарку. Записался купцом второй гильдии, хотя был купцом самой что ни на есть первой.

Старухи в Нижнеилимске помнят его отлично. С виду это был обыкновенный, классический купец: русая борода с проседью, черная поддевка, широкое лицо, бесстыжие глаза. Яков Андреевич всю жизнь был снедаем безграмотностью, страхами, суеверием. Как-то ему сказали, что он останется жив до тех пор, пока будет строить дом. Свой дом в Нижнеилимске он перестраивал бесконечно, всю жизнь. Конечно же, Яков Андреевич был тщеславен, и знаменитая на всю тайгу скупость не помешала ему, когда пообещали медаль, дать на строительство школы десять тысяч рублей...

В свои конторы, на заводы Черных норовил брать людей грамотных, не брезговал и политическими ссыльными.

Один из них, Максим Дмитриевич Дудченко, принятый на лосиновый завод, возглавил там революционную

борьбу: В то время Яков Андреевич плохо спал и лихорадочно перестраивал свой дом. Но происшедшей в стране революции купец должного значения не придал.

На Ангаре появились колчаковцы. Разрозненные и потрепанные, их отряды метались из села в село. Они нервничали и расстреливали напропалую. Дудченко скрылся в тайге. В России участь контрреволюции уже была решена, а на Ангаре все еще бесчинствовал Яков Андреевич, и прапорщик Рубцов порол в Невоне Антипиных и Анучиных.

В Нижнеилимске Рубцов, поручик Вейс и бандит Абрам Перец выслеживали большевиков. Им повезло. Дудченко вышел из тайги. Он пришел ночью за хлебом, за одеждой, он хотел вымыться в бане. Выдали его купцы, приятели Якова Андреевича,— Володин и Сизых. Каратели расстреляли Дудченко восемнадцатого мая в 1919-м.

Лиственницы, сорок лет назад посаженные в память о борце и герое, выросли, и, если в классах нижнеилимской школы открыть окна, слышно, как шумят они на ветру — зеленые знамена жизни и неистребимой весны. Яков Андреевич после прихода партизан бежал, прихватив с собой, как в сказке, шкатулку с золотом.

Бежал навсегда из обворованной тайги.

В общежитии буровиков укладывались спать демобилизованные солдаты. Среди коек шарашился топограф Федя, трезвеющий и мрачный. Он называл себя шатуном, говорил о бесконечном, слепящем глаза белом снеге. Он говорил, что нигде на всей земле нет такого белого снега. Потом он уснул.

Белый снег! Мы взорвем твою тишину грохотом наших заводов, ревом наших турбин, мы исполосуем твою бесконечность сотнями дорог. Покорный, неприметный, ты будешь скрипеть под нашими сапогами.

ГОЛУБЫЕ ТЕНИ ОБЛАКОВ

История одной поездки

Мы сидели на лайнице осклизлой и темной от давности доски, с которой здешние бабы полощут белье. Нагретая июнем илимская вода проносит мимо нас запахи горящего

где-то смолья, ноздреватого хлеба, который, видимо, пекут в деревне Игнатьевской.

Река делает петлю вокруг того места, где давно еще утвердился Нижнеилимск. Янтарные волны, не торопясь, намыли в узком месте петли очень лиричные плесы, и мы видим, как на песке балуются пацанята.

Солнце вдруг специально для нас выхватывает из леса далекую опушку, одинокую и зеленую, на самом краю обрыва. На ней бы хорошо было выспаться, сморившись от тяжелой работы, или прийти туда суматошной компанией в субботу.

Мы хорошо понимаем, что еще не однажды вспомним эту речку, опушку, теплый холодок Илима на ступнях ног. И даже будем тосковать об этом дне, потому что он никогда не повторится и в нем поселятся воспоминания.

И мы начинаем тревожиться неясно и радостно. Пристаем к ветхому деду в солдатской гимнастерке, рыбачившему по соседству.

— Дед, а дед, у тебя какая фамилия?

Дед подозрительно щурится и молчит.

— Да ты не бойся, дед. Мы хотим запомнить тебя.

— А, к лешему меня запоминать, ребятки. Стар я, да со старика что возьмешь...

И он еще что-то бормочет про себя или про нас. И когда мы уже совсем было пошли, дед говорит:

— Ох, и рыбнадзор нынче строгущий стал. Того и гляди...

Он печально смотрит на нас львиными, пустыми глазами, соображает:

— Дак, немудрено. Два мотора «Москва» на лодке-то...

— У кого?

— Да у рыбнадзора.

Дед снова что-то бормочет и отворачивается, чтобы с удовольствием посокрушаться в одиночку о строгости рыбнадзора.

А мы идем к Николаю Ивановичу Хомякову, этому самому рыбнадзору, и предвкушаем услышать от него всякие истории о браконьерах, в которых обязательно есть и туманы в рассветном тальнике, и глухая резвость играющей рыбы, и колоритные, здоровенные дяди, со звериной хитростью и жестокостью пытающиеся обмануть и два всесильных мотора «Москва», и Николая Ивановича, неутомимого защитника водной живности от верховий Илима до низовий Ангары.

Но Хомякова мы не застали, потому что возле Невона браконьеры глушили рыбу и Николай Иванович улетел на место преступления. Потом мы многих спрашивали о Хомякове: и в Кеуле, и в Тушаме, и в Невоне. Нелестность отзывов всегда убеждала, что у рыбы, кочующей по Илиму и Ангаре, есть справедливый, не знающий усталости друг...

Смущенные яркой грустью июньского дня и его кратковременностью и чтобы не остаться в долгу перед будущими воспоминаниями, мы ходим и спрашиваем. Говорили с Колесниковым, директором здешнего зверкоопромхоза. Завтра уходит обоз на Катангу, по вьючной тропке к Илимской конторе пойдут на долгие месяцы в тайгу Ваня Русанов, Вася Непомнящих и Федя Брылев. На заимках поягодничают до морозов, а там уж и за настоящее дело. Агафья еще с ребятами пойдет, жена Степана Прокопьева, ждущая его там, в конторе. Земляничные поляны, горелые пни, брусничник около тихого ключа, глянцевитый жар от лошадей, сладкий сон на ночевках-станках, роса на смазанных дегтем сапогах, веселые кольца собачьих хвостов и охотничье одиночество, наполненное светлыми мыслями о красоте земли,— все эти воображения радостью обожгли сознание. А тут еще Николай Шалаев, конюх в красной ковбойке, с корнями вен на больших руках, рассказывает:

— Я-то бывший черемховский. Всамделишнюю тайгу не знал в свое время. И в первый же раз, как повел обоз, попал в историю. Возвращаюсь, значит, с конторы. Сам на Пирате впереди, остальные лошадки сзади постукивают. А был со мной еще щенок — кобелечек. Дурачок, совсем еще дурачок. И вот, значит, к речушке к одной спускаюсь, а Пират мой как вкопанный останавливается. И кобелечек все к лошадям жмется. Я давай Пирата настегивать, а он зубы на меня скалит. Вот незадача. А потом присмотрелся — мать честная. На бережку, как четыре копны, четыре медведя сидят и меня разглядывают. Я съежился, ружьишко тогда плохонькое было, да и медведей, кроме как на картинках, не видел. Думаю, что сейчас седеть начну. А кобелечек мой нахальства набрался да давай на этих носорогов лаять. Еще побежал к ним, да они так на него цыкнули, что он без памяти обратно ко мне. Медведи немного посидели и подались потихоньку восвояси. А я галопом верст семь нажимал. Как только лошадок не повредил — все удивляюсь...

Спасибо, конюх Николай Шалаев, спасибо, директор

Колесников, за еще одну пахучую, солнечную дольку прекрасного, из которых слагаются дни и из которых мы составляем наши лучшие воспоминания.

...Потом мы плыли по Илиму. Из-за швартовой планки катера нас все время обкатывали холодные ветреные брызги.

Моторист, капитан и электросварщик Петя Куклин что-то громко кричит нам, но дизель раздражающе громок, и поэтому ничего не слышно. Беззвучно смеется Юра Слободчиков, кладовщик из Речтранса. Он плывет с нами, чтобы встретить теплоход «Лермонтов» и поискать там безбилетников. Правда, на трассе Нижнеилимск — Илим их не попадается, но форма! У Юры доброе, как солнце, лицо, он могуч и проживет, наверное, сто лет. Мы все хотели спросить его, чего это он завяз на складе при таких-то плечах и щеках! Но опять мешал дизель.

А на угоре, в соснах, странная деревушка. Молчаливая и грустная, как одинокая женщина. Петя говорит, сбросив обороты, что из деревушки люди перебрались поближе к крупным селам, поближе к колхозам.

Мы молча поднимаемся на угор, идем по заросшим подорожником улицам, заглядываем в пустые глазницы окон. Немного неуютно. Резко пахнут цветы низкого незнакомого кустарника.

И все-таки даже в печальной заброшенной деревушке можно рассмеяться. Нам днем еще рассказывали о Кирьяне Павловиче Воробьеве. Он, последний житель Симахино, прослышал, что односельчане переехали в большой город. Дед Кирьян надел новую рубаху, смазал не жалеючи сапоги и решил поискать бывших соседей в Москве. И прямо у вокзала ошеломил прохожего вопросом:

— А где тут наши симахинские живут?

Вообще-то дед Кирьян — фантазер. В войну он был сапером, но перед сельчанами ему нравилось быть летчиком. Он говорил так:

— Лечу это я над своей деревней, вижу: баба моя белье полощет. Хотел приземлиться поговорить про жизнь, но правительство не разрешило садиться. Так и пролетел дальше.

Эх, дед Кирьян! Послушать бы твои россказни в такой вечер, похохотать, прослезиться от махорочного дыма, а потом потихоньку бы пойти босиком по теплой пыли деревенских дорог...

На другую сторону нас перевозили Вовка и Гришка,

два припоздавших рыбака с посиневшими коленками. И лодка с плоскими бортами напоминала пирогу, и дальняя луна была у самого ее носа, и от стареньких рубашек Вовки и Гришки пахло парным молоком, рыбой, сном.

— До свидания, Вовка и Гришка!

До свидания, белый июньский день!

В Кеуль — две дороги. Одна гладка, холодна, мощенная золотом и серебром, эпически широкая дорога сквозь тайгу. Темные, тяжелые сопки громоздятся по обеим ее сторонам, мелькают веселые острова с березами, раскидистыми, как дубы, осинками, стройными, как танцовщицы. Дорога эта — Ангара.

Другая — прямая, необъятная и непроходимая, когда ветер и дождь. Маленькие здешние самолеты летают только в отличную погоду.

Третьей дороги в Кеуль нет.

Наш «антон» приземлился прямо за огородами, по лужайке подрулил к новому домику, взревел, замер — и мы прыгнули на траву. Нам быстро объяснили, что домик, обшитый свежим тесом,— аэропорт, а улочка, тайгой прижатая к реке Кеуль,— старое кержацкое село.

Что ж, здравствуй, Кеуль! Будем знакомы! Ты хорош уже тем, что мы с тобой никогда не виделись.

Здравствуй, Кеуль! Нет, положительно ты хорош. Крепки серые вековые твои дворы, румяны новые твои срубы, затейливы резные наличники на твоих окнах, что уставились на мир с наивным, святым удивлением.

На улице возилась ребятня, и ласковые, томные от жары собаки рассиживали у ворот на шикарных своих хвостах.

Мы кое-как выяснили, что все взрослое население на том берегу Ангары огораживает загон для колхозного стада. Дома почему-то оказались здоровенный колхозник Гаврила Анкудинов и его сын Володя, охотник. Нам где-то надо было устроиться. Анкудиновы посоветовали пойти к бабке Наталье, тоже Анкудиновой, но в родне с Гаврилой и его сыном не состоящей.

К бабке повел нас Володя, красивый парень, разговорчивый, ловкий, с победительной бесконечной усмешкой на губах.

— Возьми постояльцев,— сказал бабке Володя,— серьезные люди.

Бабка, скособенясь, снизу вверх взглянула на нас быстро-быстро. Бабка сказала:

— Кто их знает... Серьезные или какие. Никто не зна-

ет. Не беру я постояльцев. Брала, а больше не беру.

Володя снисходительно (к бабке, к нам, к целому миру) стал объяснять ей, что мы не жулики. Она минуту не соглашалась, потом отвернулась от нас, пошла на кухню и на ходу выронила:

— Оставайтесь. Куда пойдете? Все на городьбе.

Володя усмехнулся и ушел, мы стали приставать к бабке с расспросами, она отвечала охотно и обстоятельно. Ей восемьдесят три года, у нее три дочери, они вместе с детьми живут по разным местам — в Тушаме, в Ангарске, одна живет здесь в Кеуле, но другим домом и заходит редко. Бабка живет одна и хозяйничает одна. Всю жизнь прожила в этом доме, всю жизнь занималась скотом, огородом и рыбалкой. Сети ставит с детства и по сей день ставит. У нее своя лодка и полный амбар снастей.

— Как же ты одна со всем управляешься? Не трудно тебе?

— Так и маюсь,— просто, не жалуясь, ответила она. — Живу и маюсь,— сказала она с удовольствием.

Немного погодя выяснилось, что у бабки Натальи уже живет постоялец — рыбачий из геологической партии, которая вся квартирует в Кеуле и тут же, по берегам, ищет уголь и бокситы.

Оказалось, что Вася Сизых, бабкин постоялец, в этот день уволился и уезжает в Кежму — туда, откуда приехал месяц назад. За свои двадцать пять лет он отъездил чуть ли не весь Красноярский край, бывал и в других местах, по леспромхозам, у геологов, у плотников — нигде ему не нравилось, нигде не сиделось.

Он вошел в избу, высокий, с огромным кудрявым чубом, в темно-синем плаще до пят, поздоровался и тут же спросил, не уезжаем ли мы в Кежму: он искал попутную лодку. Мы ответили, что только что приехали, и он мгновенно потерял к нам всякий интерес. Он сел за стол у окна, положил на руки небритый, сверкающий, как мокрая трава, рыжий подбородок и, выпучив глаза, закручинился тупо и беспробудно.

— Уезжаешь?

Он не ответил.

— Что тебе здесь не понравилось?

— Погнался, дурак, за длинным рублем,— заговорил Вася покаянно.

— Ну, а здесь какой рубль оказался?

— Ну его к черту, Кеуль этот! — закричал вдруг Вася с воодушевлением.

— Куда же ты сейчас?

— В Кежму! — сказал он полувосторженно.

— Тебе и в Кежме будет худо,— сказала ему строго бабка Наталья,— в Кеуль захочется.

Вася взглянул на нее испуганно.

— Ну! Придумала, ворона! — сказал он, но моментом успокоился и уже мечтательно произнес: — В Кежме лучше.

К вечеру мы узнали о Кеуле уже многое.

На тот берег упало малиновое покрывало заката, вода в реке потемнела, далеко моторки запели, как туча комаров,— пришел вечер, раздумчивый и спокойный, как старость бабки Натальи. Моторками через полчаса был усеян весь берег. Лодки здесь в каждом доме. В лодках здесь ездят больше, чем ходят пешком. Скромные колхозные угодья: немного пашни, покосы, загоны для скота — все это находится по берегам и на островах. Сегодня колхозники огораживали узкую полоску вдоль того берега. Туда за четыре километра привезут коров, и они будут жить там, пока не съедят всю траву. На дойку будут ездить из села, через реку. Пастбище огораживают, чтобы коровы не разбрелись,— медведь ходит здесь всюду.

В зените лета ночи здесь незаметные, вовсе не темнеет. Почему-то не спалось, да еще рядом с бабкиной избой, у магазина, девки собрались в очередь за дешевыми туфлями. «В жизни раз бывает восемнадцать лет»,— выли девки. На сундуке храпел Вася, кудрявый дезертир. Попутной лодки он так и не нашел.

Утром нас разбудил бригадир криком в соседское окно.

— За реку! На городьбу!

Утро вдруг оказалось пасмурным, нудел едва заметный дождь. Бабка зажарила нам тайменя, выдала кринку молока и подалась по хозяйству.

По меже, по бабкиному огороду мы спустились к серой скучной реке, там была уже вся деревня. На берегу мы познакомились с Георгием Сусловым, начальником геологической партии. Георгий молод, но суров и серьезен не в меру и, видно, мужик толковый. Он взял нас в свою лодку, и мы поехали за Ангару, к рабочим-геологам, что бьют на том берегу шурфы.

Парни живут в палатке у самой воды, их трое — Илья Антонов, Толя Матюшков, Юра Миронов. В деревне часто бывать не приходится, они свыклись с пещерной своей жизнью, на вещи смотрят с трезвым оптимизмом,

шутят непрерывно, напропалую. Это им необходимо в первобытной их жизни.

Мы навалились на них со своими извечными вопросами, пошли смотреть шурфы, потом курили у костра. День разгуливался, с запада поперли белоснежные, непорочные облака. В лесу какая-то птаха твердила одно и то же — что-то бесхитростно меланхолическое.

— Когда она спит? — сказал Толя.— Вот всю ночь так и весь день, без обеденного перерыва. На прогрессивку. И тут, раздвинув тяжелую портьеру тальника, к костру вышла Валя. Валя Карнаухова, коллектор. Она возвращалась от дальних шурфов, спортивные брюки и плащ на ней наполовину вымокли. Она раскраснелась — быстро шла, и глаза ее блестели восторженно. Рослая, стройная, Марьяна, амазонка! Валя в прошлом году закончила десятилетку и осталась в Кеуле, в своем селе, в своей тайге...

Уезжали мы на лодке, был пышный июньский день, голубые тени шли по Ангаре плавучими островами.

Село удалялось от нас, кивая нам старой деревянной церквушкой на горе, белой фермой, трепещущей лентой горной речки. Село удалялось, становилось воспоминанием надолго, а может быть, навсегда.

И вот исчез за зеленой сопкой Кеуль — столица задумчивости и белоснежных облаков.

Путь наш был на Усть-Илим.

Электрик Костя говорил о любви. Он говорил о ней со вкусом и с большим воображением. Не так давно, по нечаянности, Костя лишился трех передних зубов и поэтому немного шепелявил. Это в известной мере портило его лиричный рассказ, но палатка слушала, затаив дыхание.

— Как получается в действительности, ребята. Я одинок, как телеграфный столб, и, естественно, мечтаю о нежных женских руках. Пусть они будут даже без маникюра. И вот сегодня из соседнего селения я привожу в палаточный городок девушку. Это очень симпатичная девушка, в красивой красной юбке и белой-белой кофточке. Я привожу ее на мотоцикле и всю дорогу чувствую затылком облако ее дыхания. Плавлюсь от нежности и хочу что-нибудь сказать запоминающееся, хочу понравиться. Но молчу. Ибо знаю, что в красном уголке она будет танцевать не со мной. Видите, какой у меня длинный нос?

Из-за него придется весь век прожить холостяком, потому что я не представляю, как бы меня целовала существующая в мечтах жена. Мне грустно. И я отвезу обратно в соседнее селение после танцев симпатичную девушку. И опять буду молчать...

Палатка от некоторых ярких деталей Костиного рассказа погромыхивала легким хохотком, но, в общем-то, в палатке хозяйничала вечерняя грусть. Опиумная сладость ее закрывала парням глаза, непонятной и острой тоской сжимала сердце.

А по улицам далеких городов шли веселые и прекрасные девушки, вернее, какая-то одна, рожденная одиночеством, а потому самая прекрасная Девушка, ее следы оставались на неверном песке пляжей, терялись на одиноких тропинках черемуховых рощ.

А в красном уголке — музыка. Счастливцы из мужского монастыря «Палаточный городок» танцуют современные танцы с принцессами и королевами: с продавщицей из магазина, с хрупкой девочкой из бухгалтерии участка и еще с несколькими инфантами из местной столовой.

У всех у этих «титулованных» особ есть уже свои короли и принцы, потому остальное население монастыря мрачно возлежит в брезентовых кельях или, отрешившись от собственного «я», счастливо глазеет на современные танцы.

Легче семейным. Около их палаток дымят очаги, плачут и смеются ребятишки. На девственной земле Усть-Илима возделаны огороды с луком и редиской, а последней и возвышающей деталью этой идиллии являются жены. Жены бульдозеристов, трактористов и плотников. Их простоволосые и в платочках головы, молодые лица, обожженные солнцем и жаром очагов, напоминают о вечности и обыкновенной красоте земли. Легко еще вечерами диабазовому великану — Толстому мысу: он многие века захлебывается от прозрачной любви Ангары.

Одиночество и тоска по нежности уходят вместе с ночью, растекаются по низинам зыбкими полосами тумана. Днем главная любовь — трасса. Непокорную, неверную, невероятно упрямую — ее нельзя не любить. Обернувшись комариной злобой, непроходимым болотом, фантастическим буреломом — трасса всегда проверяет, насколько глубока и верна любовь к ней.

О, трасса может быть спокойной! Доказательством верности ей — янтарные мозоли на руках парней, губы,

пахнущие ветром и жаркие от нераздельной любви, спины, глянцевеющие от силы и пота, наконец, одиночество — это тяжелая дань за право быть первым. Но вечерами люди думают о земной любви, оставшейся в зеленых городах и синих деревнях. Думает Толя Яковлев, прошедший одиночество многих таежных кочевок, веселый острослов и затейник, вечерняя грусть сильнее могучей воли Вани Тюрина — она отрывает его от учебников, по которым Ваня второй раз собирается поступить в институт, придумывает будущую любовь Толик Корнейчук, еще по-мальчишески румяный и вспыльчивый.

Усть-Илим жаждет любви. Жаждет нежности.

Мужество там прописано.

Командировка кончалась, времени, как всегда, казалось, не хватает, в последний вечер мы гонялись по палаточному городку за героями наших будущих очерков. Мы жаждали подробностей, уточнений, дополнительных сведений.

— Я забыл тебя спросить, Миша, где и как ты познакомился со своей женой?

Миша, конечно, отвечал:

— А это еще зачем?

И тогда начинались разные уловки, уговоры, хитрости, начиналась потная охота за сюжетом, погоня за откровениями сквозь дебри психологии... Иногда, чтобы что-нибудь узнать о Мише, приходится много рассказывать про себя.

Мы устали в этот душный вечер.

Грустно скользнув по воде бледно-оранжевым шлейфом, закат утонул в Ангаре, за палатками тайга застыла сплошной черной стеной, прогромыхал мотоцикл — грустный комик Костя увез в Невон свою любимую, которая весь вечер танцевала с другим, заныла, запричитала чья-то гитара, а мы уснули, сунув под подушки свои драгоценные блокноты. Но блокноты наши никому не нужны в этой усталой палаточной Севилье...

В прошедшую ночь в невонском аэропорту ночевало семь пассажиров. Утром все они сидели в небольшой комнатке, молчаливые и нелюбезные от нетерпения. Начальник аэропорта, маленький, не по летам быстрый и верткий человек (из местных, невонских), вошел и объявил, наконец, что будет «антон» — улетят все вчерашние пассажиры и два новых. Мы бросились за билетами. Напрас-

но. Начальник сказал, что полетим не мы, а только что подошедшие из Невона муж, жена и ребенок. У ребенка, сказал нам начальник, корь, у родителей — аппендицит.

— У него аппендицит?

— У него,— ответил начальник.

— И у ней?

— И у ней.

Мы, конечно, не возражали. Хотя были несколько удивлены таким дружным натиском недугов на такую румяную семью.

«Антон» улетел. В аэропорт на попутном ЗИЛе приехали ребята с трассы и палаточного городка. Им надо было лететь в Братск на слет ударников коммунистического труда. Среди них наши знакомые Ваня Тюрин и Александр Иванович Нестеренко — лесорубы, бригадир плотников Иннокентий Перетолчин, завскладом Аня Ступак.

Утро было отличное, но к обеду стало душно, воздух остановился, свежесть от реки не доходила до нас, комары озверели, через полчаса ударила гроза. Мы узнали, что аэропорт работает до десяти вечера, и еще надеялись улететь.

В тот день мы не улетели. Можно и не продолжать эти дорожные жалобы, но в невонском порту мы попали в историю, настолько распространенную на наших дорогах, что ее хочется рассказать.

Шел дождь, и из нижнеилимского аэропорта нашему начальнику пришло разрешение закончить на сегодня работу. Начальник выдал нам раскладушки, быстро собрался и уехал на рыбалку. В аэропорту осталась диспетчер, молодая женщина, которая жила за стеной с маленькой дочкой.

А через полчаса кончился дождь, трава мгновенно высохла, стало безоблачно, было четыре часа дня — самолеты могли ходить. Снова появилась надежда улететь, и мы постучались к диспетчеру. Мы просили связаться с Нижнеилимском — авось, оттуда придет «антон» и тогда улетим мы и улетят делегаты, которые рискуют опоздать на свой слет.

Диспетчер, ее зовут Лида, выслушала нас молча, с большим участием. За день мы успели познакомиться. Лида казалась нам (да она такая и есть) очень чутким, внимательным к людям человеком.

— Только позвонить,— просили мы застенчиво,— пусть нам откажут, разрешите нам успокоиться.

И тут добрая, чуткая женщина Лида произнесла эту грубую, тяжелую, как диабаз, фразу:

— Не положено.

Мы затихли. Мы по опыту знали, что в таком случае надо притихнуть и как ни в чем не бывало почитать газету. Надо экономить нервы, время — мы это знали. Ни в коем случае нельзя задавать вопросов.

Но в наших мыслях шевелился еще легкомысленный оптимизм. И мы заговорили. Осторожно, даже робко:

— Но ведь это ваша работа. У вас есть ключи от диспетчерской, и вы отлично владеете рацией. Почему же нельзя?

— Не положено,— отрезала Лида и снова перестала походить на саму себя.— Без разрешения начальника — не положено.

Дальше разговор пошел обыкновенный. Мы убеждали, просили, приводили примеры, спрашивали, что бы стала делать Лида, если бы случилось какое-нибудь ужасное происшествие и срочно понадобился бы самолет и т. д., и т. п. Мы были красноречивы и убедительны. «Человек человеку,— говорили мы,— друг, товарищ и брат». Мы говорили. А Лиде не надо было говорить. У ней было одно неотразимое, неподвижное, как стена, слово «не положено».

— Я вас понимаю,— сказала она, когда, изможденные и онемевшие, мы попадали рядом со своими рюкзаками,— я очень хочу вам помочь. Но — не положено.

Погода была прекрасная.

На следующее утро пришел «антон».

Последнее видение Усть-Илима: серые кубики палаточного городка, богатырская гранитная грудь Толстого мыса, «Три лосенка» — три острова перед створом будущей плотины и во все горизонты — зеленый океан. Снова был Нижнеилимск — пыльная столица рыбаков и охотников, был день — жаркий нежный выдох всесильного лета, была дорожная томительная суета, звенела розовая натянутая струна возвращения...

Вечером того же дня в Иркутском аэропорту мы приняли парад элегантных городских тополей.

БИЛЕТ НА УСТЬ-ИЛИМ

— Есть много других городов, есть много других женщин, улыбок, деревьев, фонарей. На свете есть много-много другого.

— Мне не надо другого. Мне нужен мой город, моя улица, моя женщина.

— Где все это? Может быть, ты знаешь?

Из разговора

Осень первая

Кленовые скрипучие ковры под ногами, остекленевший синий воздух, скучный горький запах костров, что жгут в огородах. Великолукский тихий вокзал, неожиданно, громко стучащие поезда.

Куда?

Ленинград, Минск, Смоленск, Москва, Москва, Москва...

— Девушка, мне бы билет.

— Куда?

— До Усть-Илима! Это, девушка, в Сибири, на Ангаре.

Девчонка шарит в справочниках. Как карты, веером летят страницы. Такая озабоченная девчонка. Нагадай, мне нагадай!

— Нет такой станции. Братск есть, Усть-Кут есть. Усть-Илима нет.

— Поищи-ка, поищи. Там ГЭС начинают строить. Неужели не слышала?! Темнота. Воспитательная работа у вас отстает.

— Такой станции нет.

— Да не сердись. На нет и суда нет. Как-нибудь доберусь.

Дома.

— Прощайте, батя. Еду покорять Сибирь.

— Всю?

— Зачем! Речку там одну запрудить надо. Ангару.

Осень вторая

Дороги на Усть-Илим нет. От Игирмы до Илимска дороги тоже нет. Дикий, как медведь, Семеновский хребет. У будки тлеет осиновый костер.

Какое сегодня число? Второе, а может быть, шестое. Зачем делать дорогу, если по ней никто не ездит? Есть ли еще на земле люди, или на земле остались одни медведи? Где-то есть. В Москве, например, на Казанском вокзале.

Мотор! Точно мотор! Чего доброго, проскочит. Ну нет, на этой автостраде мои порядки...

— Здорово, человек!

— Привет! Бульдозер-то с дороги убери.

— Не спеши, парень. Скажи-ка ты мне, какое сегодня число.

— Первое число. Давай дорогу!

— Первое? Не может этого быть! А месяц какой?

— Не дури, дай проехать.

— А какой нынче год, не скажешь?

— Ну тебя к чертовой матери! — обозлился шофер.

— Вылазь, парень. Не пущу я тебя. Пойдем в будку чай пить.

В будке, от скуки прибранной, за дощатым, заставленным консервами столом Миша Филиппов говорил проезжему шоферу:

— Надо же — первое октября 1961 года! Кто бы мог подумать!

Шофер сыто усмехался, рассказывал о Коршунихе, о своем отпуске, который он провел в Заларях, и все, что он знал из текущей политики.

— Чудак ты, парень,— говорил Миша, глядя на шофера ласково,— честное слово, чудак.

Шофер был первый человек, которого Миша видел за полтора месяца, когда он на Семеновском хребте остался один пробивать трассу Игирма — Илимск.

Весна первая

Распорядилась весна, а Нижнеилимский районный исполнительный комитет подтвердил ее распоряжение. «С 15 апреля проезд через Илим воспрещается» — было напечатано в газете. Было и предупреждение: у Макарово провалилась леспромхозовская машина.

В тайге рождались запахи, снег дряхлел на глазах, к вечеру блестела измазанная солнцем река. На 15 апреля у Миши Филиппова, бригадира бульдозеристов, была назначена женитьба. Весна обставила это событие яркими романтическими декорациями: Миша жил на правом берегу Илима в Игирме, Галя — его невеста — на левом, в Макарово. Дорога опасная и единственная через Илим, по которой заказал ездить исполком. Миша две недели не был в Макарово. Там ждали...

У Меледина, директора леспромхоза:

– Дело, Миша, дело. Хватит шататься холостяком. Одобряю, но кто же согласится ехать?

— Перетолчин.

— Согласится?

— Сразу же.

— Потонете...

— Какой же интерес...

— Езжайте, что с вами делать!

— Спасибо.

— Осторожнее, хулиганы!

В Макарово ехали засветло. Третьим ехал сват бульдозерист Михаил Шустов, хромой, гоношливый, в леспромхозе — первый звонарь. В предвкушении выпивки он был невероятно оживлен, врал и острил напропалую.

— Жениться,— говорил он,— надо ездить на бульдозере. Уважения больше, и задний ход хороший.

Доехали без приключений. Миша с силой радостно распахнул дверь, в избу вкатился Шустов, забормотал пословицы и поговорки, перездоровались. Миша вошел в комнату.

Галя, серьезная, бледная, в белой кофточке, стояла у окна.

— Ну что,— сказал Миша,— выйдем к обществу. Женитьба так женитьба!..

Вот так ночь! Хрустящая, хрупкая апрельская ночь. Праздничные тещины слезы, звезды — свадебные подарки, веселая дорога. В кабине невеста. Жених и пляшущий сват в кузове. В Игирму!

Сват, что ты в жизни понимаешь! Послушай меня. За этой девчонкой я ехал пять тысяч километров. Ровно пять тысяч, понял ты или нет? Откуда я знал, что она здесь. В том-то и дело! Откуда? Но там, куда я не поехал, там ее нет! Понятно это тебе? А-а! Молчи уж ты, пьяница! Что дорога? Хорошая дорога! Отличная дорога! Молчи! Нет здесь никакой дороги. Кто нам ее здесь приготовил? Сами построим. Мы с тобой и построим. И город построим. Сообразим — сами и построим. И поведу я тебя, алкоголика, на бульвар кофе пить. Черный кофе — сообрази! Очень культурно...

Ух, ты! Держись, сват!

Глухой выстрел — в ночь. В кабине вскрикнула невеста.

Под задними колесами треснул лед.

Шофер Петро Перетолчин через пять минут, высунувшись из кабины:

— Было бы смешно, ребята. И свадьба и поминки — заодно.

Весна вторая

На них была вся надежда. В палатках у Толстого мыса их ждали зимовщики, робинзоны, островитяне. На стройку можно было попасть только самолетом. Машины и стройматериалы должны были пройти по этой новой, первой дороге.

Они начали от Эдучанки в феврале. До того, как растает снег, по новой дороге должны были пройти автоколонны.

Итак, Миша Филиппов вышел на финишную прямую. До Усть-Илима было девяносто километров. Девяносто километров тайги, холода, пота.

Шесть бульдозеров с утра до поздней ночи ревели в илимских чащобах, сосны стонали и падали в белый снег. За ними была уже дорога, по ней уже колотилась машина с горючим, с продуктами. Спали ребята в будке, которую волокли за собой на деревянных санях.

Ночью у Мирюнды. До Толстого мыса двадцать километров. Будка надоела, они сидели у костра, курили, разматывали длинные армейские истории. Искры кружились над ними и превращались в звезды.

Тормошили Толю Рыжбова, вальщика. Что за привычка у парней — скулить там, где надо посочувствовать или, в крайнем случае, помолчать. Толя получил из дома письмо. Он давно не получал писем. От жены. И вот привезли это, написанное мужским почерком: «Писем не пиши, мы поженились и счастливы». В тайге лучше не получать таких писем. А парни:

— Слушай, Толя. Ты этому кенту телеграмму отправь. Поздравительную.

Толя человек веселый, Толя не сердится.

— Рядовой Рыжбов,— говорит он,— остался ни при чем. Что здесь особенного?

К костру по просеке кто-то подходил. Узнали Лешу Юревича, он уезжал за горючим. А еще — кто там? Еще?

— Галка! — Миша поднялся, пошел навстречу.— Точно! Явилась?

— Явилась,— отвечала Мишина жена.

— Почему пешком?

— Машина села. Километров семь отсюда.

Закатили роскошный ужин. Стол был заставлен картошкой, капустой и консервами двух сортов. За ужином Николай Юдин, бригадир, произнес:

— Вот это я понимаю, вся семья Филипповых в сборе. Галя через два месяца должна была родить.

Назавтра она стирала на всю бригаду, готовила обед, ужин, и так две недели, пока не вышли к Толстому мысу. Это был знаменитый вечер. Вдруг из своих чащоб они услышали стук пээски, увидели редкие огни, серую равнинность Ангары.

Усть-Илим! Прораб Сопрыкин Олег Викторович обещал шумные восторги и шампанское. Миша въехал в палаточный городок первый. Всей семьей. Вышли ребята, кричали, какой-то чудак палил в воздух из двустволки.

Шампанского не было.

БЕЛЫЕ ГОРОДА

Парням стучит третий десяток, а что они видели? Жизнь у них вышла такая, что, кроме Братска, они ни в одном городе не бывали.

Хорошо родиться где-нибудь в Мелитополе, в безмятежном южном городке, провести детство в яблонях и полусне, коллекционировать марки, презирать девчонок, учиться играть на кларнете, стать пловцом-разрядником. Хорошо быть смешным и легкомысленным, в белом городе шататься с друзьями по улицам бесцельно и беспечально, провалиться на экзаменах, побродить по другим городам, поссориться с приятелями, влюбиться, помрачнеть, задуматься, послать все к черту и вдруг уехать в Сибирь, на стройку. Хорошо ехать в Сибирь бывшим футболистом, ценителем сухих вин, остряком и сердцеедом. Из окон вагона смотреть на живописный осенний тлен и думать свою думу. Угадать в темную глухариную тайгу, в суровые морозы, к суровому бригадиру, выстоять, перековаться и зажить по-новому. Не жизнь, а роман!

Совсем другое дело, если ты родился в Сибири, вырос в Сибири, работаешь в Сибири. Да все это в одном и том же районе. И только когда тебе пошел третий десяток, ты переехал в другое место. Это совсем иное дело.

Не бывали парни в городах, не было у них дальних дорог и крупных разочарований. Но их юность, полная

удивления и беспокойства, заслуживает очерка, повести или даже романа, как юность всех тех, кто строит города и дороги. Они видели главное и поняли главное, не затрачивая на это времени и километров.

Леня Дорофеев и Гоша Садовников никогда уже не наведаются в родное село. Не пройдут за огородом, где пацанами таскали огурцы, не распахнут, облаянные забывшими их собаками, знакомых калиток, не сядут на старое зашарканное крыльцо. Их детство осталось на дне моря...

В сорока километрах от Братска вверх по Ангаре было такое село — Наратай. На острове, наполовину заросшем сосняком, десятка три дворов, начальная школа да магазинчик. Все это давно перевезли на новое место, в Калтук, вверх по Оке. Над островом сомкнулись зеленые воды Братского моря. Но Леня помнит каждую жердь в гнилых заплотах Наратая.

В селе жили рыбалкой, охотой, немного сеяли, держали коров. Берега, левый и правый, были непролазной тайгой; студеные ангарские туманы пеленали этот остров, глухой и беспомощный; в грозу и метели здесь жить было страшно; самолет над селом пугал старух, был таинственным видением другого мира. В селе все куда-то собирались уезжать, вдовы сходились на Марихином дворе, выли песни, мужики вечерами сидели на крыльце магазина, судачили, иногда плясали подгорную по единственной улице — туда и обратно. Первый радиоприемник появился в сорок восьмом году вместе с первым учителем. Братск тогда еще не был Братском, а от Заярска приезжали только на лодках работники сельпо да один-два браконьера.

Но, как сказки, рассказанные нам в детстве, никогда не будет забыт Наратай. От него навсегда остался запах пыли и молока за прошедшим по улице стадом, восторженная тишина летних вечеров, черные головы подсолнухов на вызолоченном закате, сугробы, блестящие от просыпанных в них звезд, осенью — багровая агония осин на левом берегу.

Леня и Гоша — давние друзья. Как-то осенью ребята навострились за брусникой, а Гоша должен был сидеть дома и ждать, пока мать вернется с картошки и даст надеть ему чирки. Приятели подождали-подождали да

подались. Друг появился в минуту нестерпимой обиды. Леня Дорофеев вернулся и отважно просидел с Гошей до самого вечера. После они выручали друг друга не раз, но это само собой, как продолжение того дня, что в детстве они провели в ожидании чирков.

Пацаны посещали школу, причем учились хорошо — все, что рассказывал учитель, было удивительно. После уроков играли в лапту мячом из трута — губчатых наростов на березовых пнях. Таким мячом больно ушибали спины и разбивали носы.

Время отыскало этот забытый богом уголок. Под ухом у оглохшей деревни время рявкнуло взрывами строительства дороги Тайшет — Лена, на правом берегу Ангары появились люди с кирками, от первых взрывов в Наратае задрожали стекла.

Старухи затосковали, старики подозрительно переглядывались, бывшие фронтовики сели в лодки и погребли к правому берегу. Дорога строилась прямо вдоль Ангары в шестистах метрах от Наратая. Пацаны стали сбегать с уроков, угоняли лодки, бродили по свежим путям, вдыхали запах шпал — излюбленный запах бродяг и неудачников. Дорога еще строилась, а уже замышлялись побеги и путешествия.

Приход в эти края новейшей истории был провозглашен гудком первой маневрушки летом сорок девятого года. Одновременно ее голос прозвучал призывным горном для Лени Дорофеева, который как раз в это время гнал домой корову. Корова удивилась, подумала и откликнулась густым баритональным мычанием.

Дорога Тайшет — Лена была лишь началом больших строительных эпопей.

В новейшей истории Наратаю отводилась роль Помпеи, разумеется, без жертв и неожиданностей. Заговорили о Братске, о невиданной стройке, что вот-вот должна грянуть у Падуна. Из Заярска приехал продавец и рассказал, что на Ангаре появились уполномоченные, что соображают, куда и как переносить деревню. При упоминании об уполномоченных, которых здесь никто не видел с сорок первого года, старые наратайские браконьеры тонко усмехались. Все больше говорили о затоплении. Половина Наратая в затопление не верила. А старик Василий Федорович Дорофеев совсем расстроился:

— С ума народ сошел! Взбесился! На Ангаре пруд прудить! — И сердито хохотал.

Старик сцепился с первым же уполномоченным.

— Я век здесь изжил,— говорил он,— знаю, какие наводнения бывают. Не поеду, даже не говорите. Никуда не поеду!

Ах, дед, дед! И через пять лет на новом месте, в Калтуке, ты бормотал грустное и смешное:

— Я вот перезимую и домой поеду. Не будет там никакой воды — помяните мое слово.

И даже когда вода поднялась в Оке, у Калтука, не видевши Братска, он ничего не понял. Он стоял на берегу, скрестив руки, величественный и неправдоподобный, как морской царь Нептун.

— Спадет. На горах лед размыло...

Братск вытеснил мальчишечьи мысли о побеге. Кто видел Братск, тот не захочет суетиться по вокзалам. У Падуна Леня и Гоша встретили бывших жителей всех городов, которыми грезили в детстве. Но они не успели к Падуну. У Падуна Ангара уже двигала турбины. У Ярмоша, начальника отдела кадров, они просились на Усть-Илим.

— Там нет жилья. Нужны плотники.

Кто же еще плотники, если не они, уроженцы несуществующего села Наратай?

— Будете жить в палатках, предупреждаю.

На Усть-Илим они успели.

На стройке их зовут «бурундуками». В Братске, в Коршунихе, в Чуне, на ЛЭП и здесь, на Усть-Илиме,— всюду местных, сибирских, зовут «бурундуками». С первого взгляда это прозвище кажется несколько оскорбительным, но только с первого взгляда. Обижаться не следует. Будешь обижаться — назовут еще как-нибудь.

— Бурундук — приятный зверь, красивый, а что? — рассуждает Иосиф Кирсанов, вальщик.— Ничего нехорошего я про него не слышал, пожалуйста.

Мы сидим на нарах в подслеповатой будке. В открытую дверь видна трасса — шестидесятиметровая просека. На ней медные, как купальщики, лежат рядами сосновые стволы. Если пройти по просеке пять километров — выйдешь к Толстому мысу. По тайге, исписанной бульдозерами, по гладкому, нарядно отполированному диабазу дойдешь до створа будущей плотины. Створ узнаешь

по черному пятну штольни у осин на правом берегу. Прямо перед тобой будет остров, высокий и стройный, как теплоход, и серебряная щетка шиверы. Толстый мыс величественнее Пурсея: под мощными соснами богатырская гранитная грудь и легкая, как ветер, трава среди камней у воды.

Трассу на Братск ведут от Толстого мыса пять бригад лесорубов, среди них бригада Утина, где работают Гоша Садовников и Леня Дорофеев, «бурундуки». Мы сидим в темной будке в короткие послеобеденные минуты, курим и разглагольствуем. Здесь бригадир, властный и шумный Саша Утин, братья Кирсановы и вальщик из бригады Васиченко Эрик Данило. Он шел к своим на Мирюнду, завернул воды напиться. Эрик рассказывает о себе, о своих причудливо длинных дорогах. Прежде чем попасть на Усть-Илим, он побывал на Алтае, в Белоруссии, на Лене, на Байкале — где он только не был!

— Что же ты искал? — спрашивает Эрика Гоша Садовников.

— Смотрел, как живут люди.

— Ну и как они живут?

— Люди везде живут одинаково,— сказал Эрик,— это надо понять.

— А мы,— сказал Леня Дорофеев,— не были даже в Тайшете.

— Серьезно? — спросил Утин, а все молчали. Сытый комар медленно подался с руки Иосифа и тупо прожужжал в дверь.

— Побываете еще.

— Побываем,— сказал Леня.

— В Крым надо ехать,— сказал Данило,— в отпуск. Города там белые, мошки никакой.

Разговор этот происходил в тайге у Толстого мыса, где будет город, и белые улицы, и сады, где сейчас нет ничего, кроме палаточного городка, и где глухарей бьют с крыльца будки, в которой спят и обедают.

ВЕЧЕР

Вечером Миша Ковча, двадцатилетний плотник, сел за стол, чтобы написать письмо отцу в село Городжив далекой Львовской области. В палатке рядом с раскаленной печкой жарко, а по углам холодно, окошки обледенели, на койках два парня спят в бушлатах.

В Усть-Илим отец прислал сыну первое письмо. А те, другие, он присылал в Братск, а еще раньше — на целину.

Отец интересовался: «Пишу, сын, до тебя письмо, в котором хочу спросить. Куда ты едешь? Чего гоняешь по земле? Чего ищешь?»

«Добрый день, тата, сестренка Надя и Катерина Алексеевна. Живу хорошо, работа идет хорошо, новостей никаких нет...»

Ручка выскальзывала из его желтых пальцев, бесчувственных от работы и морозов.

Вошел Толя, шофер, хлопнул рукавицами, разулся. Миша его не заметил. Шофер пристроил валенки на шест у печки, снял со стены гитару и развалился на своей койке.

Шофер бренчал, трещали в печке дрова, Миша писал ответ в село Городжив.

«Я работаю в бригаде товарища Притулы. Работа не тяжелая. Палаток здесь больше десяти, а мы строим новый поселок и баню строим.

Живем мы в палатке семнадцать человек. Время проходит хорошо, работаем, пока светло, а вечера проводим весело. Играем в домино, в шахматы. А то рассказываем анекдоты и вообще — кто что знает.

Морозы бывают большие. Товарищ Притула говорит нам:

— Можете сегодня не работать.

Но мы идем, и первым сам товарищ Притула...»

Шофер вдруг ударил по струнам всей пятерней, резко заглушил их и бросил гитару на соседнюю койку. Гитара всхлипнула.

— Жизнь!..— сказал шофер и выругался. Миша взглянул на него бессмысленно и перевернул лист.

«В письме, что вы до меня написали, вы спрашиваете, почему я уехал из Братска. А уехал я оттуда, потому что сам попросился. Сюда ехать считается за почет и что повезло. И я так думаю.

Река здесь широкая, на середине острова, и красиво. Когда приехали, ходили на Толстый мыс, где будет строиться ГЭС. Это большая гора, и на ней стоит знамя.

Вы говорите, дома цветут сады, а здесь климат тоже хороший, и тут, может, зацветет.

Напишите мне, что вам надо. Мне здесь куплять нечего. Все у меня есть.

Сестренке Наде передайте, пусть она скажет Кате,

которая очень весело уехала в Одессу, что я ее забыл. Письмо та Катя мне написать не может, на это у нее никак не хватает времени. Надя, передай ей, что я ее забыл.

Вот и все. Трудностей пока никаких нет...»

Миша закончил письмо, разделся и лег. Он сразу же уснул, чтобы через семь часов начать новый полный лишений день — один из труднейших дней начала стройки.

КАК ТАМ НАШИ АКАЦИИ?

Мимо нашей школы проходит Московский тракт, а дальше за Нижней улицей, за огородами, за лугом — железная дорога. Десять лет назад, когда мы отсиживали свои последние уроки, машины по тракту шли реже, а составы на подъеме против больницы ползли медленно с неровным стуком. Теперь без машины не обходится ни одной минуты, а поезда летят легко между серыми опорами электросети. Прогресс. Технический прогресс.

Акации, которые мы сажали десять лет назад, теперь выросли, шумят между школой и трактом, и дождь смывает с них дорожную пыль. А наша школа, деревянная двухэтажная, все та же, разве перекрашенная и в который раз отремонтированная.

Июньским утром, после выпускного бала, мы высыпали на улицу как-то вдруг и все разом. Ночью мы выпивали со своими учителями, много торжественно курили, танцевали, и подрались, и признались в любви, и прохвастались, кто куда и зачем уезжает,— и вдруг, конечно, уж по какому-то сигналу,— все вышли на улицу. Солнце еще не взошло, на лугу за Нижней улицей белел туман, мимо школы по тракту старик Камашин, угрюмый пастух, гнал свое стадо. И мы, сонные, куражливые, в белых рубахах, в новых шевиотовых костюмчиках, оказались вдруг посреди стада. Коровы стали разбредаться. Камашин защелкал кнутом; нас это происшествие рассмешило, сонливость, помню, прошла, мы погуляли по улице, потом разошлись, а через месяц-другой разъехались, и многие из нас никогда уже не возвращались в село под названием Кутулик.

Мы не сбежали, не дезертировали. Просто все десять лет, пока мы учились в школе, мы собирались уехать из нашего поселка. К этому готовили нас история и гео-

графия, физика и литература. Физика манила нас в города, география подбивала на бродяжничество, литература, как полагается, звала к подвигам. Подвигов мы не совершили, но, кому удалось, побродяжили, служили в армии, учились в институтах, стали строителями, учителями, пилотами, буровыми мастерами, офицерами. Мы работали, переженились, росли на производстве, проштрафились, остепенились, повысили квалификацию — чего только не случилось с тех пор, как мы закончили школу. Не так уж далеко от Кутулика за это время выросли города юности — Усолье, Ангарск, Братск, Шелехов, Байкальск. В этих городах мы и живем, а еще — в Новосибирске, в Москве, в Бодайбо, а кое-кто даже в городе Брагине. О старом добром Кутулике мы вспоминаем вдруг, нечаянно, столкнувшись друг с другом где-нибудь на углу или на вокзале. Например, на Тверском бульваре в кафе «Эльбрус». Командированные один из Братска, другой из Усолья, сидят два кутуликских парня, беседуют. Оба не были в Кутулике лет пять, но характер разговора чисто светский.

— Нинку Иванову знаешь?

— Ну, ну?

— Вышла замуж.

— Что ты говоришь!

— Серьезно.

Так нам становится известно, что Нинка вышла замуж, что старик Камашин умер, что закрыли газету и открыли парикмахерскую, что начали строить новый клуб, что речка высохла, а степь за школой распахали до самого леса. Из газет мы узнаем, что наш хлебный район снова выполнил план хлебозаготовок. Первые годы мы появлялись здесь чаще, приезжали летом на каникулы, в отпуск, собирались иногда по нескольку человек. Тогда с неисправимым самодовольством носили мы по родному селу какой-нибудь обыкновенный гэвээфовский кивер, какие-нибудь погоны или просто рубаху в клеточку. В клубе танцевали по-новому, танго и фокстроты; именно мы привезли сюда узкие штаны, привычку курить сигареты вместо папирос, роковые романсы Лещенко, светлые кепи, словом, весь этот брючно-танцевальный ренессанс.

Не думаю, что манеры, завезенные нами из города, обновили жизнь нашего поселка.

Съезжаясь в Кутулике, мы всегда много и охотно дурачились. Слесарь, курсант летного училища, студент первого курса, собравшись вместе, не прочь, например,

забраться в чужой огород за огурцами, подпереть чью-то дверь, вечером перекатить телегу с картошкой из одного двора в другой и еще что-нибудь в этом жанре.

Если я не ошибаюсь, валять дурака вообще было излюбленным нашим развлечением, в этом есть, я бы сказал, даже особый какой-то кутуликский стиль, какая-то традиция, своя какая-то поэзия. Послушайте нас, когда мы вспоминаем наш Кутулик, послушайте наши разговоры. Какое удовольствие, например, доставит истинному кутуликчанину воспоминание о том, как однажды с друзьями-приятелями он усыпил два десятка кур, разложив их рядком через весь двор, а потом, постучавшись к хозяину, прятался в полыни.

Усыпление проделывалось следующим способом: куриная голова пряталась под крыло, а затем бедную птицу крутили некоторое время в воздухе. Лишь через пять минут после описанной процедуры курица освобождала голову, поднималась и ковыляла по двору, точно пьяная. Лунной ночью, поднятый с постели, изумленный хозяин наблюдал, как его куры одна за другой воскресают из мертвых.

Я понимаю восторг, ужас и счастье двенадцатилетнего пацана, когда он, побросав наворованные огурцы, скрывается от погони, несется, исчезает в темную ночь. Но двадцатилетний курсант, бегущий из чужого огорода,— явление не только ненормальное и антиобщественное, но и загадочное явление.

В самом деле, что это? Столь долгое детство?

Может быть. Вполне может быть. Детство, проведенное в Кутулике, проходит не скоро. Во всяком случае, шутку с курами мог придумать, пожалуй, человек, взбесившийся от скуки.

Родители тянутся вслед за детьми.

Ближе к детям. В города юности.

Поезда, в которых мы носимся по своим делам, в Кутулике почему-то не останавливаются. Мы стоим у окна — не чужие все-таки. Из вагона наш поселок растянулся вдоль речки,— как на ладони. Элеватор, на горке в сосновом лесу РТС, обмелевший пруд, переделанный из церкви кинотеатр «Звезда», синий домик почты, двухэтажная агрошкола, клуб, райисполком, школьный сад... В эти пять минут, пока поезд проносит нас мимо, мы, как полагается, взгрустнем, вспомним друзей, рыбалку, футбол и наши туманные первые романы. Мы долго смотрим на школу и даже вытянем шею: как там наши акации?

Какие ученики сейчас у наших учителей? Если такие же оболтусы, какими были мы, значит, живется нашим учителям нелегко.

Заметили вы, как со временем наши учителя вырастают в нашем сознании?

В наших воспоминаниях они становятся все лучше и лучше, не правда ли? То же и мы для них. «Вы? — сказала мне недавно одна из моих прежних учителей.— Какое сравнение! Вы были ангелами...» Итак — Нижняя улица, огороды, огороды, а вот и крайний домик, где со своей многочисленной семьей живет немой Сережа. Все знакомо. До последней жердочки. Все по-старому. Заброшенная каменоломня, Маров лог, Каменный ложок, блокпост... Проехали. Кутулик не стал городом юности, не стал избранником времени, как Ангарск или Шелехов. Как-то геологи искали здесь нефть, но не нашли и съехали на новое место. И на секунду у нас появится, может быть, настроение, похожее на чувство вины.

А в чем мы виноваты?

В Черемхово в вагон входит землячок, и начинаются воспоминания о том, какому испытанию подвергли мы однажды старушку Марову, выясняя, глухая ли она в самом деле или все прикидывается.

Недавно я бродил по нашему поселку, смотрел, узнавал, раздумывал, старался понять, что произошло здесь в мое отсутствие. Новости я услышал еще на станции. Выстроен новый клуб, строится несколько двухэтажных жилых домов, открыли газету...

Знакомых я встретил немного. Одноклассников — никого, кроме одного пилота, который заехал сюда на собственной машине с женой и дочкой — в отпуск, навестить мать. Друзей, из тех, с кем я учился в школе в одно или приблизительно в одно время, повидал двоих. Эти двое здесь живут. Один работает в клубе, другой — лесозаготовитель. Признаться, в Кутулике они остались не из патриотизма, не из горячего желания, а в силу некоторых обстоятельств и определенных свойств собственного характера. Не то чтобы они неудачники или считают себя таковыми, нет. Но кругом думают, да и сами они сознают, что они тут застряли, так сказать, упустили возможность.

Они странным образом сохранили в себе любовь к анекдотическим выходкам, к тридцати годам причудливо донесли привязанность к шалостям, которые так уместны в четырнадцать лет и так рискованны в двадцать восемь.

Один из них, разумеется не без юмора, сказал мне, показывая на саженцы тополей, выстроившиеся вдоль главной улицы: «Вот, парень, хорошее дело. Вырастут тополя — пригодятся. Идешь по улице, навстречу кредитор — раз, встал за дерево. Идешь дальше — другой! Раз! Снова за дерево».

Итак, детство наше продолжается.

Новый клуб — это, несомненно, событие. Клуб в райцентре — средоточие интеллектуальной жизни, что ни говорите. На месте нового я помню старый, бревенчатый. Послевоенный. Тот, с кинокартинами по частям, с могучими докладами, с вдовами, с чечеткой, с драками и неминуемым вальсом «На сопках Маньчжурии», исполняемым баянистом Семененко. Потом — наш клуб, с духовым оркестром, с драмкружком и полонезом Огинского, а позже — с блюзами по щербатому полу. Помню, как всегда и неудержимо нас тянуло в клуб, какими необыкновенными людьми мы считали всех баянистов и худруков, которые менялись тогда чаще, чем времена года. Это были бедовые ребята. Они приезжали в Кутулик на товарных поездах, ослепляли публику невиданной галантностью, неслыханной игрой на баяне, сатирическими куплетами, пропивали иногда часть реквизита и исчезали, как в сказке.

Новый — каменный, вместительный, с роскошным фойе и хорошим зрительным залом. В такое помещение сейчас не постеснялся бы въехать московский театр «Современник». Но помещение — только декорации, в которых должен произойти спектакль, так сказать, прекрасный, но еще необжитый остров. Работа, кажется, понемногу начинается, но пока в новом клубе довольно тихо.

Вот мы сидим в пустом новом клубе, одноклассник-пилот, два приятеля, я и случившийся тут на каникулах незнакомый мне студент-медик. Десять лет назад пилот играл здесь в духовом оркестре, и тот из моих друзей, что работает в клубе, принес пилоту «тенор», сам взял трубу, вдвоем они сыграли краковяк, какой-то бравурный марш и похоронный — ради шутки. Студент-медик поиграл на пианино и пропел несколько песенок Окуджавы. Он хотя и не грубо, но явно щеголял здесь этими песенками. Я спросил его, что сейчас поделывают бывшие его одноклассники. Он ответил, что работают, учатся, почти все разъехались.

Недавно райком комсомола организовал мероприятие, полное надежд и устремления в будущее. В Кутулик приезжал декан сельхозинститута и прямо здесь вместе с местными учителями принимал вступительные экзамены. Что и говорить, тут, в районе, молодые, умелые и современные, в лучшем понимании этого слова, молодые люди нужны так же, как нужны они в городах юности. Район не производит угля, электричества, но он производит хлеб, и хлеба этого ради существует поселок Кутулик.

Уезжая, я думаю о своих школьных друзьях. О тех, кому сейчас под тридцать, кому поручаются сейчас важные, а через день-два будут поручены еще более важные дела. Думаю о тех, кто навсегда по-сыновнему связан с этой скромной судьбой под названием районный центр.

Мысленно я обращаюсь к ним:

— Вот как там, мальчики, наши акации?

ПРОГУЛКИ ПО КУТУЛИКУ

Прогулка первая. Сентиментальная

В Кутулике, возможно, вы никогда не бывали, но из окна вагона вы видели его наверняка. Если вы едете на запад, через полчаса после Черемхово справа вы увидите гладкую, выжженную солнцем гору, а под ней небольшое чахлое болотце; потом на горе появится автомобильная дорога и на той стороне дороги — березы, несколько их мелькнет и перед самым вагонным окном, и болотце сделается узким лужком, разрисованным руслом высыхающей речки. От дороги гора отойдет дальше, снизится и превратится в сосновый лес, темной стеной стоящий в километре от железной дороги. И тогда вы увидите Кутулик: на пригорке старые избы с огородами, выше — новый забор с будкой посередине — стадион, старую школу, выглядывающую из акаций, горстку берез и сосен за серым забором — сад, за ним — несколько новых деревянных домов в два этажа, потом снова два двухэтажных дома, каменных, побеленных, возвышающихся над избами и выделяющихся среди них своей белизной,— райком и Дом культуры, потом — чайная, одноэтажная, но тоже белая и потому хорошо видимая издалека.

Что дальше? Мосты, переулки, бегущие вниз с пригорка: Больничный, Цыганский, Косой; улица Первомайская у блокпоста, выходящая прямо к полотну; еще

два-три заметных строения — каменные и побеленные — комбинат бытового обслуживания и церковь, переоборудованная в кинотеатр. Дальше — Бараба: избы, палисадники, огороды. И вот уже снова сосновый лес и автомобильная дорога, та самая, которую мы видели перед Кутуликом,— Московский тракт.

Таков внешний вид Кутулика, и если добавить сюда то, что по дороге останется от вас по левую руку: лес, а в нем островками строения — больница, Заготскот, нефтебаза и станция,— портрет выйдет достаточно определенный, и в нем, думаю я, без особого труда можно различить лицо райцентра. Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом частных коров, но с гостиницей, милицией и стадионом. Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, райцентр с головы до пят.

Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный.

В Кутулике у меня прошли детство и школьные годы. Вышло так, что давно уж я здесь не живу, а приезжаю сюда, получается, редко и ненадолго. Вот и сейчас: не был три года, а приехал на неделю.

После школы, помню, уезжал я без сожаления, рвался в город, но все же, когда был студентом, приезжал сюда чаще — каждое лето. Затем друзей и знакомых я находил здесь все меньше и меньше, почти все мои сверстники давно разъехались по городам, иные, что постарше или помоложе, меня уже забыли, иные сами изменились до неузнаваемости, и вот уже поневоле я чувствую и сознаю здесь свое одиночество.

Но, отдаляясь, не чаще ли я стал возвращаться сюда в своих мыслях?

Я вылез из кабины попутной машины возле школьного сада, прямо против своего бывшего дома. Было шесть вечера, было жарко, но на траве уже не так, как в машине и на тракту. Через старые ворота я вошел в большой двор, по углам которого стояло четыре дома. Двор был пуст, только куры копошились в дальнем его углу и у крыльца с перилами мотоцикл мерцал на солнце бежевыми крыльями и тусклыми от пыли ободами. Этот двор назывался школьная ограда, а в домах, где в каждом было по два, по три крыльца и по стольку же квартир, всегда жили учителя, уборщицы и истопники.

Еще из нашей машины я заметил, что огород у нашего дома разгорожен и растет в нем, как мне показалось, лишь пырей и крапива. Так оно и было. Но из машины

я не заметил главного: двери и окна были заколочены. В доме никто не жил.

Я к нему подошел, на крайнем окне доска была оторвана, из щели потянуло на меня осенним, почти лесным запахом плесени. Я зашел с другой стороны, со стороны огорода, и остановился против своих окон.

Здесь по-прежнему стояла одна старая лиственница, и, помню я, от этого, от ее тени в одной из наших комнат всегда было немного темней. Лиственница жива, за нее все еще можно привязать бельевую веревку, можно забраться по ней на крышу и серы, наверное, еще можно наковырять.

А барак и в самом деле отслужил свое. Построен он из здоровых лиственничных бревен, но так давно, что не только бревна прогнили, но прогнила уже и тесовая обшивка, сделанная много позже. Правда, обшивка вся уже рассыпается и внизу и вверху, а бревна гнилые только внизу, у земли, а наверху они еще хоть куда, ядреные и годные, пожалуй, и для новой постройки.

Когда-то в этом бараке был пересыльный пункт, и здесь ночевали этапные по дороге в Александровский централ. Значит, в этом доме у них был один из последних ночлегов в пути.

Нет, никаких решеток и даже следов от них я никогда не видел. Видимо, был в свое время барак переоборудован, я помню его уже покрытым тесом и крашенным в цвет желтых березовых листьев. На моей памяти в нем всегда жили учителя.

Я представил себе летний вечер, каким он был здесь лет двадцать назад: открытые настежь окна, в доме движение и голоса, горшки гераней, выставленные на завалинку, большую огуречную гряду, маки, подсолнухи в дальнем конце огорода, изгородь из осиновых тычек, в воздухе видимое глазами струящееся от нагретой изгороди тепло и жужжанье пчел.

Сейчас я стоял как раз на том месте, где в это время мы разводили тогда небольшой огонек. На солнце он был бледный, и, если не было дыму, с другого конца огорода его можно было и не разглядеть. Из кирпичей была устроена простенькая тяга, и ужин готовился тут, чтобы ночью в комнатах не было жарко, и дров сюда надо было меньше, хватало щепок, которые мы, ребятишки, собирали у новой в те времена школы. Из комнат слышен был голос матери, по-учительски громкий и отчетливый, или

репродуктор, круглый, черный, из огорода казавшийся дырой в белой стене, распевал:

Где ж вы, где ж вы, очи карие...

А сейчас окна заколочены, и от них меня отделяет густая метровая крапива. Можно было обойти ее, оторвать от окна пару досок и заглянуть внутрь, но мне не захотелось. Я снова вышел в большой двор и уселся там на скамейке соседнего дома. Захотелось увидеть кого-нибудь из знакомых, но я решил никуда не заходить, а подождать, когда кто-нибудь появится.

Долго никого не было. Прошел поезд, из школьного сада налетел ветерок, дохнул черемухой и исчез. Отсюда была видна дальняя Берестенниковская гора, по ней, как струйка желтого дыма, поднималась к горизонту дорога. Ее вид взволновал меня, как в детстве, когда эта дорога казалась мне бесконечной и обещала множество чудес. Передо мной, за железной дорогой, тянулась другая гора, Иванова, сплошь укрытая сосной и березой. Продолговатые рябые облака стояли над ней высоко и неподвижно.

Все кругом было настолько привычно, что мне на мгновенье показалось, что я вовсе отсюда не уезжал.

Нет, что и говорить, нигде на свете небо не бывает таким ясным, и нигде, если долгая непогода, оно не томит так своей безысходностью. Травы пахнут здесь сильней, чем где-либо, и нигде и никогда я не видел дороги заманчивей этой вот, что по дальней горе вьется среди берез и пашен.

В газетах да и в журналах мне попадались стихотворные и прозаические высказывания о том, что землю можно любить всю сразу от Карельского перешейка до Курильской гряды, все реки, леса, тундры, города и деревни будто бы возможно любить одинаково. Тут, как мне кажется, что-то не то. Как, например, мне любить Курильскую гряду, если я ее никогда не видел?

Наконец скрипнула дверь, из соседнего дома вышла маленькая, черноволосая женщина с ведром в руке. Я узнал ее сразу, поднялся и пошел к ней навстречу. Это была тетя Зина, давнишняя школьная уборщица. Я рос на ее глазах, мы рядом жили. Она заметила, что я к ней иду, остановилась и, заслонясь от солнца ладонью, смотрела на меня. Мне показалось, что она совсем не изменилась, а когда я видел ее последний раз — лет семь

назад или десять? «А,— сказала она и назвала меня именем моего брата, хотя, я думаю, она меня узнала, а спутала лишь имена,— давно приехал?»

Она говорила, слегка подергивая головой (это у нее всегда было), быстро и таким тоном, как будто мы с ней виделись не далее, как вчера. Вблизи я разглядел: нет, сильно постарела, конечно, постарела. Да ведь и лет ей сейчас много, пожалуй. Мы успели сказать всего несколько слов, когда на тракте вдруг раздался грохот.

Тетя Зина встрепенулась и, снова прикрыв ладонью глаза, стала смотреть на ворота. Я оглянулся и увидел, как с мягкой дороги, расплескивая воду, на тракт въехала водовозная бочка. Тащила ее понурая клячонка, а впереди, задом едва касаясь бочки, мостился старик-водовоз. Бочка загремела по тракту дальше, в ограду не заехала.

«Куда это он? — заволновалась тетя Зина.— Куда он, черт полосатый?»

Я хотел возобновить разговор, но из этого мало что выходило. Бочка с водой не шла у нее из головы. Я сказал ей, что, дескать, я пока пошел, что буду еще здесь и, стало быть, еще увидимся. И направился в школу. Тетя Зина успела мне сказать, что там сейчас идут последние экзамены.

Прогулка вторая. По асфальту

Кутулик подрос и похорошел. Появилась совсем новая улица, за школьным садом достраивается несколько двухэтажных жилых домов. За райкомом разбили новый сквер, у стадиона — сквер, на главной улице подрастают молодые тополя. Вырастить их было непросто, тополя высаживались здесь много раз, и много раз ничего не выходило. То стадо их вытаптывало, то козы уничтожали, то еще что-нибудь. Вообще-то в сибирских селах нет привычки сажать деревья на улицах. Объясняется это отчасти тем, что поначалу сибирские деревни со всех сторон окружены были лесом, какие еще нужны были деревья? Избы украшались лишь небольшими палисадниками с черемухой, рябиной, кустами малины, и было хорошо. Но впоследствии, когда лес вокруг постепенно был вырублен и на его месте появились поля и поскотины, села обнажились, и вид их сделался и унылым, и легкомысленным каким-то. Палисадники с кустарниками уже не

спасают эти села ни от пыли, ни от беспризорности вида.

Итак, в Кутулике зашумели тополя. Тут же, на главной улице, произошла перемена, которой кутуличане придают немалое значение. Старые тротуары исчезли, и заменил их асфальт, этот пресловутый синоним всего городского, этот первейший признак сближения города и деревни. По мне, хороший деревянный тротуар лучше, но в Кутулике тротуар был старый, часто прерывался, асфальт к тому же практичнее, так что... Словом, асфальт так асфальт, не в этом дело.

Сегодня суббота, прохожие, как я замечаю, одеты чисто, нарядно. Все девушки модницы. Да что девушки, а парни? Они одеты в белые рубахи и в эти свои повсеместные испанские штаны с широченной опушкой, узкие в коленях и разогнанные книзу до ширины флотских брюк. Когда несколько таких ребят молча стоят где-нибудь возле чайной, то кажется, что они собрались сюда, чтобы сплясать болеро, и ждут только, когда ударят кастаньеты и гитара. Гитара, впрочем, тут, при них, но носят они ее с собой больше для антуражу или для того, чтобы, копируя нынешних менестрелей, которые поют теперь по радио, стучать пятерней по неизменным трем аккордам. «Парня в горы зови, тяни... там поймешь, кто такой». Словом, парни — модники, как везде сейчас. Волосы они здесь, правда, еще не красят, но, кто знает, и это, быть может, привьется впоследствии. Надо заметить, что ребята эти не бездельники какие-нибудь, а служащие, десятиклассники, студенты на каникулах, механизаторы даже. Теперь мода такая, и они, так сказать, на уровне.

В этот день испанские штаны небольшими группами шествовали по направлению к стадиону. Оказывается, там второй день шли районные футбольные состязания.

Стадион теперь огороженный, с приличным полем, со скамейками для зрителей, в былые времена был горбатым пустырем с одними лишь футбольными воротами. И на этом пустыре, помню, несколько лет подряд сражались одни и те же, единственные в районе команды Кутулика и шахтерского поселка Забитуй. Спортивной организации в Кутулике тогда еще не существовало, все почти игроки учились в средней школе; то же и забитуйцы, которые, бывало, добирались до места встречи на попутных машинах, пешком, а то и на товарных поездах. Поез-

да в те времена таскали паровозы, и на подъеме, где они замедляли ход, футбольная команда десантом высаживалась в Кутулике. Играли, бывало, часами, до изнеможения, до темноты. Ну, вот, например, победоносная поездка кутуликской команды в Зиму. В двух словах было так. Один зиминский парнишка, который случайно оказался в Кутулике, посмотрел, как пинают мяч кутуликские форварды, попинал вместе с ними, а потом от собственного имени предложил им встречу на зиминском поле. Предложение было принято, и назавтра кутуличане сели в поезд и отправились добывать себе спортивную славу в Зиму, за девяносто километров. Ехали они без билета, и всю дорогу до самой Зимы команда вместо разминки бегала от контролеров по вагонам и по крышам вагонов. Тот парнишка исправно ждал их в Зиме на станции, матч состоялся, и кутуличане выиграли.

Позже появились спортивное общество, спортивные деятели, бутсы, и команда стала разъезжать на машинах. Но в районе все так же было две команды.

Я вошел на стадион и удивился. Никогда я не видел здесь столько болельщиков и никак не думал, что в Кутулике столько почитателей футбола. Они заняли небольшую трибуну, все скамейки, сидели на траве, на заборе, тучами стояли за воротами. Их было много, но еще больше меня поразило количество футболистов. По всем углам стадиона, вдоль заборов они стояли тут табор к табору, отделяясь друг от друга лишь цветом маек: сиреневые, белые, красные, желтые и т. д. Мне кажется, их было больше, чем болельщиков.

На районные соревнования съехалось что-то около пятнадцати команд, а игры продолжались три дня. Команды прибыли чуть ли не из каждого колхоза.

На поле шла игра и, надо заметить, весьма приличная игра. Сражались две колхозные команды. Команде, которая когда-то ездила в Зиму, такая игра и во сне не снилась. Я прислушался к разговорам болельщиков, разговоры оказались квалифицированные, с упоминанием новейших тактик, Сандерленда, Эйсебио. Положительно, в Кутулик пришла золотая футбольная эра.

Но тут я вспомнил городские футбольные ажиотажи, ночные бдения у телевизоров, москвичей, которые по вечерам собираются у стен стадиона «Динамо» и, сбившись в кучу, до поздней ночи, а то и до утра гудят, как отроившийся улей. Да, да, я вспомнил этих полупомешанных и от удивления перешел к размышлению.

В Кутулике теперь тоже смотрят телевизор, а значит, видели и Милан, и Сандерленд, и тоже, стало быть, на уровне. Телевизоров здесь пока еще немного, но вот узнал я, что в районной библиотеке, например, установлен телевизор. Для общего пользования. Работники библиотеки не без удовольствия рассказывают, что в дни, когда передается футбольный матч, у них бывает много посетителей. Удовольствие библиотекарей напоминает мне удовольствие драматических актеров, концертирующих на своих подмостках с представлениями типа «Зримой песни». Увы, в кутуликскую библиотеку в футбольные дни идут не читатели, но болельщики, ровно так же, как в драматический театр в дни «Зримой песни» устремляются отнюдь не почитатели драмы, но куда более многочисленные приверженцы эстрады и мюзик-холла.

А тут показали мне команду, которая в этом соревновании защищала честь самого Кутулика. Ребята, все молодые, интересные, окружили какую-то девушку и беседуют с нею все разом. Потом вижу — нет, не беседуют, а скорее — спорят, горячатся, а весьма строгого вида девушка горячится тоже и отчаянно жестикулирует. Затем они по одному, по двое уходят куда-то с решительным видом. Один из них проходил мимо меня, и я видел, как он сплюнул даже, и слышал, как он весьма решительным образом выразился. А девушка все что-то доказывала тем, остальным. Я решил выяснить, в чем дело.

Строгого вида девушка оказалась секретарем райкома комсомола. Она уговаривала кутуликских футболистов принять участие в состязании. Они отказывались. Природа конфликта заключалась в том, что хозяева поля не получили денег, которые они хотели получить. Приезжим командам выдали деньги на пропитание в районной чайной, это понятно. Кутуликчане, проживая в самом Кутулике, столовались, естественно, дома. Но они тоже требовали деньги на пропитание. Это отдавало уже высоким футбольным классом. Хотя многие из них долго упорствовали, игра все-таки состоялась, хозяева поля проиграли и по всем правилам футбольной борьбы из дальнейших состязаний выбыли.

Болельщики, разумеется, были недовольны своей командой, но со стадиона не уходили. Были здесь и шум, и свист, и буфет с пивом, и конфликты разного рода, словом, все, что полагается. Был тут и фатальный, неизбежный почти в таких обстоятельствах дядя Вася, человек в суконных зимних ботинках, немолодой, не-

бритый, нетрезвый, но существующий для увеселения публики. На беговую дорожку между полем и скамейками он выходил, как на манеж. Раскачиваясь и спотыкаясь отчасти по естественным причинам, отчасти для того, чтобы нравиться публике, он комментировал матч, философствовал, сквернословил. Его выводили, но через некоторое время он появлялся снова. И публике он нравился, она его слушала и наблюдала за ним с удовольствием.

Кутулик на три дня погрузился в золотой футбольный бред, а финальная игра была назначена даже на четвертый день, на понедельник.

По вечерам после игр колхозные футболисты облачались в испанские штаны и большими компаниями бродили по главной улице.

Прогулка третья. Ночная

Новый Дом культуры — солидное каменное здание с большим залом, фойе, изрядным количеством комнат, в нем свободно поместился бы целый театр. Я отправился туда в первый же вечер и попал на концерт. Зал был набит битком. На сцене молодая, красиво одетая женщина исполняла народные песни. Аккомпанировали ей на баянах два парня. Пела она славно, а парни-аккомпаниаторы время от времени радостно улыбались. И я пожалел, что в ту минуту нет здесь со мной кого-нибудь чужого, нездешнего, кому я мог сейчас сказать: «Ну, каково у нас, в Кутулике?.. Вот так». Но человека такого рядом не было, и я молчал, полностью разделяя благоговейное внимание зрителей. Певица спела на «бис», раскланялась и удалилась. Потом вышел конферансье с довольно приличными манерами и объявил новую певицу с эстрадным квинтетом. «И квинтет имеется,— подумал я с удовольствием,— ничего себе, развернулись ребята».

И, действительно, на сцене появились ребята, здоровые как на подбор и все с радостными улыбками. Неужели учителя, подумал я. Или агрономы? Они ударили какой-то мотив, и на сцену быстро вышла лет тридцати пяти певица, ярчайшая блондинка, полная, в коротком платье. Она с такой отвагой изображала семнадцатилетнюю девочку, что в голове у меня мелькнуло сомнение — кутуликская ли это программа? Квинтет прибавил духу, и понеслось.

— Гуси! Гуси! — вскрикивала певица, взмахивая полными белыми руками.

— Га! Га! Га! — откликался ей весь квинтет, радостно улыбаясь.

— Есть хотите? — спрашивала она у музыкантов лукавым голосом и оборачивалась к ним в этот момент.

— Да! Да! Да! — басили музыканты.

Нет, не Кутулик, подумал я, теперь уже с некоторым облегчением.

«Чей концерт?» — спросил я соседа. «Из Читы»,— ответил он. Ага, подумал я, гастролеры. Песня мне показалась неоправданно длинной, давно уже все было ясно, а они все продолжали:

— Есть хотите?

— Конечно!

Действительно, это была разъездная читинская эстрада. Далее был жонглер, эквилибристы, чтец-декламатор и прочее. Было тут и «парня в горы зови, тяни». В Кутулике квинтета не оказалось. Оказались лишь танцы в фойе, радиола, баян. Больше ничего.

На танцы народу в клуб собирается немного, да и правду сказать, танцы скучные. На баяне играет сам художественный руководитель Дома культуры, молодой симпатичный человек. Едва ли справедливо одного его упрекать в том, что в Кутулике нет квинтета, драмкружка и многого другого, что могло бы быть при районном клубе. Но, по-моему, есть смысл привести здесь одно, как мне кажется, весьма характерное суждение молодого художественного руководителя. Появившись в Кутулике недавно и, очевидно, совершенно справедливо требуя для себя квартиру, он, как мне рассказали, в объяснениях с начальством нажимал главным образом на то обстоятельство, что не иметь в его положении квартиры несолидно. Как видите, обычные и печально однообразные в таком деле доводы «негде жить, невозможно работать» в данном случае уступили место аргументу новому, куда более «тонкому» и «возвышенному» — несолидно. Этот аргумент, если принять во внимание, что так много не хватает повсюду квартир, чтобы в них просто-напросто жить, аргумент с первого взгляда вроде бы комичный. Но, как подумаешь, смеяться, получается, тут вовсе нечему. Выходит, не смеяться надо, а даже наоборот — надо печалиться, что пришел такой аргумент в голову молодому симпатичному специалисту.

Но вернемся на танцы. Я думаю, что самые страстные

поклонники танцев, это как раз те, кто, присутствуя на танцах, в танцах не участвуют. Встретить их можно почти всюду, есть они и в кутуликском клубе. Ростом уже немаленькие, но по-детски еще худые и угловатые, они стоят у выхода из фойе, разговаривают между собой и занимаются как бы больше всего друг другом, своей компанией, тем самым явно выказывая равнодушие к танцам. Вы там, дескать, давайте, шаркайте, протирайте сколько влезет полы, они казенные, а мы тут малость постоим, поговорим, у нас дела поважнее. На самом деле не думают они ни о чем, кроме танцев, и ничего, кроме танцев, не видят. Взгляды, которые бросают они как бы вскользь на сидящих вдоль стены девчонок, выдают их с головы до пят. Воображение их кипит, нервы напряжены, в головах бродят угрюмые, недетские мысли. Драма, которую переживает эта компания, называется несовершеннолетие.

Бывают у них, наверное, и свои танцы — в школе, на именинах, но танцы в Доме культуры, о, это совсем другое. Это взрослые танцы. Здесь, в ярко освещенном зале, собрался народ разный: девчонки из сельхозучилища, юные, но уже довольно самостоятельные, в коротких юбках, вольно причесанные, сидящие вдоль зала чинно, неприступно, но, несомненно,— в ожидании интересных и значительных знакомств; молодые специалистки, модные, чуть чопорные, но полностью уже самостоятельные; две молодые женщины, заехавшие в Кутулик в гости, веселые, свободные, ярко накрашенные, в одинаковых белых юбках — уже окончательно самостоятельные, дачницы, как я их назвал про себя. Словом, здесь возможности, тайны, надежды и все, все, что так привлекает сюда этих ребят, смиренно толпящихся у входа. И если кто-нибудь самый отчаянный из них подойдет, наконец, к женщине и пригласит ее танцевать, и если она ему не откажет, как они будут ему завидовать и как будут скрывать свою зависть!

Они несколько раз куда-то исчезали, но к концу танцев снова собрались все у дверей. Танцевать никто из них так и не насмелился. А вот уже баянист оборвал вальс, поднялся и вдруг заиграл в бешеном темпе фокстрот, вышибаловку, как раньше тут говорили, это означало, что танцы окончены. Подростки вышли первыми. Ну вот, подумал я, еще один вечер закончился для них разочарованием. Они, думал я, разошлись, и каждый свою тайную досаду несет сейчас домой, где родители, возможно, будут

удивляться: где, интересно, сынок так долго проходил и почему он вернулся такой злой. Так думал я, но, увы, заблуждался.

Было темно, духота не проходила, и чувствовалось, что облака над головой низкие и тяжелые. Собирался дождь. Я шел в гостиницу, передо мной в темноте шли две девушки в большой компании парней. В девушках по белеющим в темноте юбкам я опознал дачниц, парни были скрыты мраком ночи. Невольно я слышал их разговоры. Судя по разговорам, молодые люди еще не были с девушками знакомы. Однако беседу они затеяли такую непринужденную, что бойкие дачницы, чувствую, дрогнули и смутились. В выражениях ребята не стесняли себя совершенно. Их виды на ближайшее будущее оказались настолько дерзкими и высказаны были так прямолинейно, что девушки замолчали и прибавили шагу. Они явно побаивались. Парни не отставали.

В это время компания оказалась под фонарем, который сиротливо покачивался на столбе против отделения милиции. Девчонки пробежали бегом, парни под фонарем остановились, и неожиданно я узнал в них тех самых подростков, которые все танцы смирно простояли у дверей.

Да, по домам они не разошлись, и переживания, которые я приписывал им в своих мыслях, на самом деле были не такими уж страшными и вовсе не тайными. Я думал об одних, эти оказались другими. Словом, драмы не вышло, вышел фарс, да и притом весьма скверный.

Я узнал, что по ночам здесь иногда пошаливают, нет-нет да кого-нибудь ограбят, а из разговоров с работниками милиции, суда и прокуратуры выяснилось, что изрядную часть хлопот суду и милиции создают молодые люди, в особенности лица рождения пятидесятого — пятьдесят четвертого годов.

При сем обращает на себя внимание то обстоятельство, что участились случаи преступлений, совершаемых без явных на то мотивов. То есть бывает так, что воруют, например, не с целью наживы и обогащения, но больше как бы для развлечения, а хулиганят порой как-то особенно бессмысленно. Иные проступки не сразу объяснишь, и бывает, что они с трудом поддаются определению суда. В моем блокноте есть такие факты.

Здесь нашумело дело о хулиганстве, бесчинстве и воровстве, учиненных пятью черемховскими школьниками в деревне Табарсук, что находится неподалеку от Куту-

лика. Вот это дело вкратце. В ночь под новый, 1968 год два пятиклассника, два семиклассника и студент первого курса горного техникума из Черемхово прибыли поездом в Кутулик, а по прибытии пешком направились в деревню Табарсук. В Табарсуке они забрались в пустую школу, где учинили ряд бессмысленных безобразий, часть из которых непристойна и не подлежит описанию. Кроме того, они разбили там патефонные пластинки, разбросали и растоптали ногами приготовленные для школьного утренника новогодние завтраки. Затем ограбили дом председателя и колхозника Вязьмина и ушли в село Большая Ерма, где снова устроились в школе. В Большой Ерме они топили печь классными журналами и тетрадями.

В подробностях это новогоднее приключение удивляет не так грабежами, как цинизмом его юных участников. По сравнению с циничностью некоторых их проделок, не причинивших, кстати, никакого материального ущерба ни обществу, ни частным лицам, грабежи и воровство, то есть все материальные издержки этой истории, какими крупными бы они ни были, кажутся мне сущими пустяками.

Преступники отбывают наказание, но и по выходе их на свободу вина не будет искуплена, если виноватым не почувствует себя каждый, кто знаком с этой или другой, похожей на нее историей. Именно тут мои заметки подходят, как мне кажется, к логическому концу.

Прогулка последняя

Происшествие в Табарсуке характерно также одной любопытной деталью, которой, как мне показалось, кутуличане придают явно преувеличенное значение. На стенах, в которых бесчинствовали хулиганы, они оставляли сакраментальную подпись: «Фантомас». И вот это обстоятельство для многих почему-то сделалось объяснением всей этой истории и чуть ли не причиной ее. Ну да, говорили, показывают детям безнравственные фильмы — и, пожалуйста вам, результаты.

Вот так получается. Легко, весело и просто. Нет сомнения, что подобная мысль — родная дочь глупости и равнодушия, и появилась она специально для успокоения совести. Если не было бы этого забавного фильма, все в Табарсуке случилось бы в точности так, как случи-

лось, разве только на стене вместо Фантомаса хулиганы написали бы что-нибудь попроще.

Дело не в Фантомасе. Фантомас — капля в море причин, из которых являются иногда дикие, порой жутковатые следствия. Поиски ответов на вопросы — как это могло случиться и кто в этом виноват, идут, как правило, по маршруту: родители — школа — улица. Комиссия идет к родителям, от родителей в школу, из школы на улицу, а на улице, естественно, разводит руками. Тут наша комиссия сталкивается с некоей неопределенностью, которую невозможно ни оштрафовать, ни дать ей выговора, ни поставить на вид, словом, неопределенность эту, называемую иногда средой, никак нельзя привлечь к ответственности.

Нельзя? Но почему нельзя? Можно. Ведь среда — это мы сами. Мы, взятые все вместе. А если так, то разве не среда каждый из нас в отдельности? Да, выходит, среда — это то, как каждый из нас работает, ест, пьет, что каждый из нас любит и чего не любит, во что верит и чему не верит, и, значит, каждый может спросить самого себя со всей строгостью: что в моей жизни, в моих мыслях, в моих поступках есть такого, что дурно отражается на других людях?

Спросить, ответить на этот вопрос, а потом жить по-новому? Как просто! Как легко на словах и как нелегко на деле.

Да, задать себе такой вопрос — не шутка, ответить на него труднее, потому что в этом случае уже надо понимать, что хорошо и что плохо. Но какая сила нужна, чтобы от ответов и вопросов перейти к действию. Какая для этого нужна совесть, какая вера в лучшее, какое чувство справедливости, словом, сколько для этого нужно всего того, что называем мы духовным богатством человека!

Такого, примерно, рода мыслям предавался я, уезжая из Кутулика.

У блокпоста, в конце Первомайской улицы, мы, несколько пассажиров, расселись на траве в ожидании электрички. Нас было четверо. Полная, поминутно стонущая и охающая бабка, возвращающаяся в Черемхово из гостей, две девчонки, направляющиеся в Ангарск подавать в техникум документы, и я. Было два часа дня — самая жара, все сидели молча и думали каждый о своем. Бабка одной рукой обнимала зеленое эмалированное ведро, из которого торчали луковые перья и

хвосты редиски. Электричка запаздывала, ожидание становилось томительным, но тут неожиданно нас развлекли вертолеты. Они появились из-за березового перелеска и летели над полотном, прямо над нами. Сначала пролетело три, потом еще три, потом еще и так — пятнадцать вертолетов. Тени их одна за другой прыгали по крышам Первомайской улицы, и от этого казалось, что дома и сама улица тоже пришли в движение. Бабка как-то украдкой перекрестила себя, а потом совсем уже чуть заметно, одним почти движением — тройку вертолетов.

Да, продолжал я свои размышления, конечно, прежде всего человеку нужны еда, одежда и крыша над головой. Но не хлебом единым жив человек, гласит старинная истина. Истиной она была в старину, истиной она остается и по сей день. И особенное значение она, на мой взгляд, приобретает сейчас, когда крыши наши становятся поновей, еда посытнее, одежда покрасивее. Пришла электричка, и мы уехали.

О' ГЕНРИ

Вы помните: «...Желтый лист упал на колени Сопи. То была визитная карточка Деда Мороза...» Помните Сопи, человека без крыши, без денег, без идеалов, осенью на скамейке Мэдисон-сквера размышляющего лишь о том, как попасть в тюрьму, чтобы прозимовать в тепле и «в приятной компании». Помните, совершенные с этой целью несколько попыток воровства и хулиганства ни к чему не привели, и усталый, присмиревший, завороженный звуками хорала, Сопи вдруг решает начать новую жизнь. Тогда ни с того ни с сего Сопи хватает полисмен, и на зиму он попадает в тюрьму.

Смешно и печально.

Таков юмор высшего сорта, юмор, наделенный чувством и мыслью.

Таков рассказ «Фараон и хорал».

Таков О'Генри в лучших своих произведениях.

Иногда он, забывая о Сопи, писал румяные рождественские рассказы. Этого требовал стоящий у его писательского стола наглый редактор времен возрастающего благополучия Америки. Но весной бродяга Сопи опять появлялся в Мэдисон-сквере, и О'Генри снова встречался со своим приятелем, которого любил и за которого всегда был готов заступиться. Кстати, смешная и трагическая

фигура Сопи появилась потом в фильмах раннего Чаплина.

Враг лжи, несправедливости, тупости, в литературе он видел «средство добыть хотя бы крупицы правды». И он делал это как умел. Критики обижаются на него за то, что он не создал «человеческой комедии» современной ему Америки, не поднялся до больших социальных обобщений.

Но О'Генри не обязан быть ни Свифтом, ни Бальзаком. Писать ему пришлось всего одиннадцать лет. За это время он создал 273 новеллы и один роман. Его рассказы — золотые россыпи юмористики. Пружина его рассказа — парадокс. Парадокс — повествование в диалоге, в действии. Парадокс — как точное средство мышления, как самое яркое и краткое выражение сущности нормального, обычного.

Но парадоксы не падают с неба. Их надо видеть на земле. И для этого у него был талант. В современном ему обществе истина была запрятана так глубоко и порой появлялась на поверхности таким неожиданным образом, что разглядеть ее дано было не каждому.

«Когда мы обращались к классикам, зоилы с радостью изобличали нас в плагиате. Когда мы пытались изобразить действительность, они упрекали нас в подражании Генри Джорджу, Джорджу Вашингтону, Вашингтону Ирвингу и Ирвингу Бачеллеру. Мы писали о Востоке и Западе, и они обвиняли нас в увлечении бандитизмом и Генри Джеймсом. Мы писали кровью сердца, а они бормотали что-то насчет больной печени...»

Когда он стал мастером, он решил писать одну правду. Он задумал произведение, в котором хотел описать собственную жизнь так же, как у его героев,— полную превратностей судьбы.

Это сделать он не успел.

Избранные и переизданные у нас его книги сразу же стали популярными.

Сегодня 100 лет со дня его рождения. 100 лет со дня рождения писателя-гуманиста, рассказчика-виртуоза, неизменного любимца читателей. И у читателей сегодня праздник.

АТТЕСТАТ НА ПОРЯДОЧНОСТЬ

Как и во всяком расставанье, в этом есть много волнующего и трогательного. При окончании молодыми людьми того или иного учебного заведения неизбежны сантименты, торжественность, некоторая пышность. Приятно утомляют поздравления, пожелания, напутствия. Примерно месяц выпускники бывают обласканы теплыми лучами внимания, чуткости, предупредительности.

Не остаются равнодушными к выпускникам и администраторы... Молодым людям вручается лист о семнадцати пунктах. Семнадцать подписей, семнадцать тяжелых печатей, поставленных в семнадцати инстанциях, должны засвидетельствовать, что молодые люди нигде никому ничего не должны. Печати нужно поставить в трех библиотеках, на учебных кафедрах, в бухгалтерии и т. д., и т. д.

Такой аттестат порядочности, эту индульгенцию о несуществующих грехах получить нетрудно. Стоит ли уж тут сетовать о каких-то двух-трех днях, потраченных на хождение по семнадцати инстанциям?

Несмотря на все эти непредвиденные препятствия, диплом восполняет радужное настроение. И все-таки очень скверно, когда молодым специалистам не доверяют. Не веря, что советский человек, пять лет проучившийся в вузе, не утаит что-нибудь из кровного вузовского имущества.

Если даже проникнуться администраторской бдительностью, если даже войти в положение человека, стерегущего фруктовый сад от нападения садовника, если даже признать за администраторами право не доверять, то уж никак нельзя примириться с тяжелой администраторской привычкой подозревать. Здесь уже мы имеем дело с бюрократизмом, оскорбительным и воинствующим.

Согласно обходному листу студент должен побывать во всех общежитиях вуза, где запастись теми же подпи-

сями и печатями. Во всех общежитиях, независимо от того — жил ли студент лишь в одном из них или никогда ни в одном из них не жил. Спрашивается: зачем?

Был такой случай. Служащий пришел к администратору с тем, чтобы тот своей подписью подтвердил существование данного служащего (ничего удивительного, требуются иногда и такие бумаги). Администратор повертел бумагу в руках, обмакнул перо в чернильницу, но вдруг взглянул на часы и... отказался подписать. Было пять минут седьмого — рабочее время кончилось! И это не потому, что администратор боялся переработать. Нет. Эта глупейшая выходка нужна была для порядка, для соблюдения служебной дисциплины.

Мы смело отбрасываем из нашей жизни гнетущие и досадные формальности, навсегда избавляемся от мелких, необоснованных ревизий чужой совести и чужого бумажника. Мы доверяем друг другу. У нас есть магазины без продавцов, трамваи без контролеров, кинотеатры без билетеров.

А обходной лист, это бюрократообразное о семнадцати хвостах, между тем заполняется. Заполняется он выпускниками иркутских вузов, администрациям коих этот разговор с прискорбием посвящается.

ЖИВЫЕ ИСКОПАЕМЫЕ

Археолог и фельетонист имеют общее между собой то, что оба они занимаются обломками прошлого, оба вытаскивают на всеобщее обозрение диковинки разных размеров и возрастов.

Но археологу спокойнее. Он имеет дело с неподвижными свидетелями минувшего, свидетелями, навсегда лишенными способности воровать, спекулировать, распускать слухи, драться с соседями, жениться по нескольку раз, по нескольку раз обжаловать справедливое наказание и т. д. Одним словом, сложность для фельетониста состоит в том, что он имеет дело с живыми ископаемыми.

Теснимые со всех сторон нашими законами, гонимые отовсюду честными людьми, эти ископаемые мечутся, изворачиваются, скрываются и живут...

Инстинкт самосохранения тянет их с места на место, гонит в поиски снисходительного к себе отношения, в поиски свежих головотяпов.

Где ты, товарищ Пух?

Работал товарищ Пух шофером АТУ-5. Крутил товарищ Пух баранку. Крутил нехотя, без всякого энтузиазма. Хотелось Пуху работы потоньше, поинтеллектуальнее.

Есть на коршуновском рынке пустая сторожевая будка. Ходили строители мимо, не замечали ее. Но однажды, погожим сентябрьским утром, будка ожила.

— Товарищ,— слышалось тем утром из будки,— вы случайно не опаздываете на работу?

— Почему вы так думаете?

— Ваши часы не отстают случайно?.. Определенно отстают.

Потом двери сторожки распахиваются, и тот же голос объявляет:

— К вашим услугам! Молниеносный ремонт часов.

Четыре дня Пух трудился без вывески. Труд его состоял лишь в том, чтобы убедить клиента доверить ему часы. Это очень трудно. Чинить часы Пух не умеет. На пятый день на сторожке появляется вывеска: «Ремонт часов». Клиент повалил густой доверчивой толпой.

— Ваши часы никуда не годятся. Но я попробую. Тридцать два рубля.

Клиент отдает часы и деньги.

— Когда будет готово?

— Когда? Я думаю, что все будет готово двадцать шестого.

Двадцать пятого сентября Пух, сверяя время по нескольким часам, спешил к поезду, в котором и укатил из Коршунихи...

На добрую память о собственных часах клиенты получили малограмотные расписки «часового мастера».

Кот на базе

В мае 1959 года в орсе Коршуновстрой состоялся небезынтересный разговор.

Молодой человек покорнейше просил принять его на работу в орс стройки.

— Я хочу быть снабженцем,— сказал молодой человек.

Заглянули в его документы. Попробовали отказать.

— Вы же электросварщик.

— Но я хочу снабженцем,— твердил он.

Тогда ему заглянули в глаза. Они светились беско-

рыстием. Послушали его голос. В голосе молодого человека было столько желания, такая в нем угадывалась любовь к взвешиванию товаров и подписыванию накладных, что ему немедленно доверили базу орса.

Летом 1959 года продуктов на базе было немного, и Александр Наумович Кричмар посвятил лето созданию своей репутации.

Но вот пришла обильная осень. Засуетились снабженцы.

Глаза Александра Наумовича по-прежнему светились бескорыстием, но глазам противоречили руки — они не могли выпускать без остатка все, что проходило через них. Выдавало еще лицо, пылающее ярким круглосуточным румянцем. Это оттого, что Александр Наумович слишком часто пил. Пил, хотя отлично сознавал превосходство трезвого снабженца над пьяным.

Трезвых людей он не любил и боялся. Он знал, что трезвое окружение делало бы его слишком заметным. И старался споить всех, с кем работал. Шестнадцатилетних грузчиков орса Станислава Петрова и Юрия Рудых Александр Наумович с большой охотой снабжал спиртным прямо с базы, в кредит. Таким образом парни пили весь месяц, а в день получки Кричмар взимал с них сумму, как правило, округленную в пользу кредитора. При этом нельзя не оценить тонкости, с которой Кричмар давал. Вот, к примеру, расписка, полученная Кричмаром от бригадира Мизюкина:

«Дана Александру Наумовичу Кричмар в том, что я, Мизюкин В. С., бригадир грузчиков, беру две бутылки вина для нужд базы, а поэтому прошу отложить расчет до завтра...»

Здесь налицо некоторая неловкость, некоторая натяжка, неестественность жеста. Брал Кричмар все же несравненно охотнее, чем давал. Было бы наивно полагать, что из 18 374 килограммов картофеля, списанного Кричмаром, все эти 18 374 килограмма испортились. По крайней мере, вахтер базы Павел Алексеевич Федоров, купивший лично у Кричмара два мешка картошки, кушал ее с аппетитом.

Не пропали безнадежно и все три с половиной тонны огурцов, списанных Кричмаром минувшим летом. Качество 271 килограмма таких огурцов по достоинству оценил завскладом АТС Иван Александрович Атлашкин, который приобрел их у заведующего базой и кушает, пожалуй, и сейчас.

Надо бы угостить этими овощами и Михаила Евстафьевича Макарова, председателя Железногорского поселкового Совета. Того самого Макарова, который подписывал акты о списании этих самых овощей, не глядя, не контролируя Кричмара.

Кричмар благоденствовал. Он становился загадочно богат. За два зимних месяца, получая оклад в 870 рублей, Александр Наумович не постеснялся приобрести швейную и стиральную машины, зеркальный шифоньер, приемник «Октава» и еще ряд «мелочей». База, как видите, ни в чем ему не отказывала. Комиссия от орса и поссовета взвешиванием списанных продуктов не занималась.

После картошки и огурцов Кричмар накинулся на мандарины и капусту. Но капуста стала ему поперек горла. «Операция» этим овощем вывернула ридикюль продавца овощного магазина Таисии Федоровны Костюхиной. Костюхина заволновалась. Александр Наумович понял свою ошибку, когда она стала уже роковой. В эти дни Александр Наумович с нежностью думал о доброй, безропотной базе. Разлука с нею надвигалась, он это чувствовал.

Теперь Александр Наумович ждет суда. Больше ждать ему нечего. Вновь и вновь он думает о базе и ласковых головотяпах, которые безраздельно и бесконтрольно давали владеть ему этой базой в течение года. С благодарностью он будет их вспоминать даже тогда, когда суд удалится на совещание.

ЗИМИНСКИЙ АНЕКДОТ

Внезапно нагрянула жена. А с ней младенец сын и теща Мария Филимоновна. И они остановились в дверях. Муж Коля сидел за столом. А на столе были консервы, виноград и водка. А у окна стояла девица Маша. Коля смутился. От неожиданности. А Маша — ничего. Поздоровалась даже с Марией Филимоновной. Очень непринужденно.

Потом Коля и Маша ушли.

«Ну и что же? — скажет читатель.— Муж разлюбил жену. Бывает ведь такое. Полюбил другую. Страдал, боролся с собой. Сказал последнее «прости» и ушел. Бывает, что поделаешь. Любят, страдают, борются, уходят. Бывает, возвращаются».

Бывают комедии и драмы. Случаются трагедии.

Жанр, в котором выступил недавно рабочий Буринского леспромхоза Николай Бойко,— ни драма и ни комедия. Это — анекдот. Грубый, невеселый анекдот.

Итак, Маша и Коля вышли погулять. Пусть погуляют. А мы тем временем начнем эту историю сначала.

То было раннею весной. Впрочем, Колина мамаша говорит, что уже были посажены огороды. Коля привел в дом (Зима, Партизанская, 134) Тамару. Девятнадцатилетнюю. Скромную. Наивную. Она жила в селе Подгорном, там они познакомились. Коля наскоро поклялся в любви и увез девушку в Зиму.

Коля женился, но жениться ему было не впервой, и мы, может быть, придаем этому слишком большое значение. Потому перейдем прямо к семейной хронике. Но прежде познакомимся с Феодосией Бойко, Колиной мамашей. Знакомство не из приятных, но ведь не все наши знакомства приятные. Существуют знакомства необходимые. Феодосию Бойко знать необходимо. Для того, чтобы никогда с ней не встречаться. Черное сутяжничество, хамство, стяжательство слились в ее характере, как сливаются воедино трубы канализационной системы. Оскорбить сына, отматерить ребенка, оболгать прохожего — все может эта гражданка. Прибавьте сюда еще скупость, ворожбу, «врачевание» недугов и представьте эту женщину в роли свекрови. Для невестки — это Сцилла и Харибда, два эпических чудовища, вдруг объединившиеся в одно и заговорившие на русском языке.

Скандалы пошли, как грибы. Свекровь была дьявольски изобретательна. Когда в доме затихали оскорбления и оплеухи и наступали голубые часы бесконфликтности, свекровь нервничала.

Чернее тучи она металась по комнатам и вдруг объявляла, что из буфета украдено три банки брусники. Кто украл? Не невестка ли? Нет? Посмотрим! Свекровь бежала к своей подруге, которая разгадывала сны, предсказывала насморк и конец мира. Подружки раскидывали картишки, и все становилось, как божий день, ясным. Дома свекровь, хвативши кулаком по столу, торжественно кричала:

— Бруснику стащила бубновая дама и червонный король. Вместе с банками! Что! Отвертелись?

Так они и жили. В непрерывных скандалах Тамара ожесточилась, в доме стало темно от матерщины и зуботычин.

Молодые ушли от Феодосии Бойко на частную квар-

тиру, но от скандалов они не ушли. Потому что Феодосия исправно их навещала. Потому что Коля и сам по себе тоже был хорош. К тому же он пил и от водки не делался лучше.

Когда у них родился сын, свекровь тут же усомнилась: Колин ли это ребенок? И заскучала, когда поняла, что ребенок Колин: не было повода для скандала. Предыдущую Колину жену она оклеветала самым грязным образом. Оклеветала и выжила из дома. Потом они получили квартиру, ту самую, в которой Коля пировал с девицей Машей.

Как-то Тамара прочитала в газете о курсах продавцов. Решила учиться (до этого она работала уборщицей). Коля согласился. Ребенка решили увезти к Тамариной матери.

Так и сделали. Тамара уехала в Залари. Вову увезла в Подгорное. И Коля остался один, совсем один.

В первое же воскресенье Тамара (она заехала за сыном и матерью) приехала навестить мужа. Мы уже знаем, что она выбрала для этого неподходящее время. Так вот, Коля и Маша погуляли и вернулись. В первом часу ночи. Сначала в дверь постучала Феодосия Бойко.

— Где мой Коля? — спросила она.

Потом появился Коля. И Маша. Можно было подумать, что они пришли сказать последнее «прости». Но Коля ничего не сказал. Он ударил Тамару по голове. И еще раз. И еще. И не сказал ни единого слова. Потом он переключился на тещу Марию Филимоновну.

Феодосия Бойко упивалась зрелищем. В эту минуту она была счастлива. Девица Маша стояла тут же. Кажется, ей было скучно. Тамара и Мария Филимоновна бежали к соседям. Феодосия ушла домой. Оставшись одни, Коля и Маша не стали терять времени, они принялись носить вещи на Партизанскую, 134.

И так далее.

Через две недели состоялся новый скандал. Коля ночевал в милиции. Но утром уже разгуливал по Зиме, куражился:

— Ничего мне не будет. Посадить меня невозможно.

У него, видите ли, дядя в Ангарске милиционер. И леспромхозовское начальство о нем хорошего мнения. Совсем парень неуязвимый. Все можно. Мамаша тоже отчаянная. Закуражившись, она сказала как-то Тамаре:

— Что ты думаешь, на тебе свет стоит? Женили и

женить будем. Сороковую возьмем. Да не такую, как ты!

Сороковую, гражданка Бойко, не возьмете. Столько не полагается.

Но это еще цветочки. Бойко пошли дальше пошлостей и оскорблений. Хамство анекдотическое переросло в хамство разнузданное и воинствующее.

— Не от бога пол моешь! — кричала свекровь невестке. Тамара была комсомолкой, откуда ей было знать, что пол в этом доме моют от угла, где образа. За сим последовало приглашение в церковь. Тамара отказалась.

Как-то она заговорила о том, что ей надо заплатить комсомольские взносы.

— Какие еще взносы? Выбрось это дело из головы.

А Коля? А Коля оставался достойным сыном своей родительницы.

— Я не комсомолец, и тебе ни к чему,— сказал он, выхватил у Тамары из рук комсомольский билет, порвал его и сжег. Сжег в печке. Вот как поступил Коля, достойный сын своей родительницы.

— Попробуй заикнись кому-нибудь о билете,— сказал он после. — Удавлю!

Коля любит энергичное это словцо. «Расскажешь — удавлю», «Не будешь со мной жить — удавлю».

Остановить надо хама. Займитесь этим, товарищи зиминцы. Займитесь, пока он не женился еще раз.

Бойтесь хамства! Хамы не перевелись. Хамы притаились. Они поняли, как опасно хамить в обществе, и расползлись по собачьим своим конурам. Они стали застенчивыми производственниками. Простыми скромными тружениками.

И остались хамами. Оглядевшись по сторонам — нет ли свидетелей, они наговорят вам мерзостей, забрызгают своей ядовитой слюной. Закрывшись на ключ, они изобьют детей, жену, оскорбят собственную мать. От нечего делать они настрочат на вас грязное анонимное письмо. Потому что они хоть и лихие люди, но предпочитают хамить безнаказанно.

Хамы расползаются по своим собачьим конурам. Но бойтесь их и там. Они издеваются над вашими знакомыми. Выявляйте хамов, тащите их на свет божий, не спускайте с них строгих ваших глаз.

Судите хамов! Не спускайте им ни одного мата, ни одного разбитого стекла.

И берегите от них детей. Ваши дети должны быть прекрасными людьми.

ЛОШАДЬ В ГАРАЖЕ

Дело под вечер, зимой, и морозец знатный. По улице Дзержинского в санях, запряженных бодрой лошадкой, ехал парень молодой.

Среди городских огней и непрерывного потока машин лошадка выглядела весьма архаично, но никто не обращал на нее внимания. Парень был пьян и лежал поперек саней. И это было уже совсем старорежимно. Но тоже оставалось без внимания.

Не спешил. Трусил слегка. Против городского рынка стал поперек дороги, а когда его попросили посторониться, отказался и забуянил.

Мимо проходили четыре дружинника: Анатолий Сосунов, Олег Калинин, Борис Киричек и Юрий Москвитин. Дружинники очень спешили, у них было срочное задание, но парень в это время развеселился уже вовсю, и к нему никто не желал подступиться. Дружинники взяли проказника за руки и повели в ГАИ, что на углу улиц Дзержинского и Литвинова. Ребята рассудили здраво: до ГАИ было сто метров, а до ближайшего отделения милиции в двадцать раз дальше. В руки инспекции надо было быстро сдать гуляку и его лошадку и продолжать свое дело.

Все очень просто.

Но жизнь сложна, и трудности возникают на ее пути неожиданно, как городские дорожные знаки. Дружинников встретил капитан ГАИ Богачук.

— Кто такие? — спросил он очень сурово.— Зачем?

Ему все объяснили, показали лошадку и веселого ездока, сказали, что очень торопятся.

— Не туда попали. Надо в Кировский отдел милиции. Туда. Забирайте лошадь и пьяного.

Ему объяснили все снова.

— У нас рейд,— сказали ему.— Надо срочно задержать двух преступников. Надо спешить.

— Забирайте лошадь,— повторял Богачук. Он оказался человеком твердым и раз принятое решение считал бесспорным, а объяснения его только раздражали. Еще больше он не любил рассуждений, расценивая их, по-видимому, как сверхурочный труд.

— Вы что, не знаете, чем занимается автоинспекция? — спросил он презрительно.

— Знаем,— ответили ему,— знаем, чем занимается автоинспекция.

— Не знаете,— сказал он.— Лошадь — не наше дело.

— Но ведь могла произойти авария. С машинами. Из-за лошади. Если бы произошла, тогда это было бы ваше дело?

— Тогда наше,— согласился вдруг Богачук,— тогда наше. И давайте без разговоров — забирайте лошадь.

— Но поймите...

Капитан не понимал и все более раздражался. Он не кричал, но был дьявольски ироничен. Ирония как таковая, правда, ему малодоступна. Он нажимал в основном на интонацию. Попросту он разговаривал хамским тоном.

— А ну-ка, вы,— сказал он Сосунову,— ведите лошадь и пьяного в Кировский отдел.

— Я не могу,— ответил Сосунов.— Мы очень спешим. Кроме того, я не умею управлять лошадью.

— Ага-а! — сказал Богачук злорадно и схватил Сосунова за шиворот.— Не умеешь!

Тут же младший лейтенант ГАИ Ходорченко, сподвижник Богачука, вытолкал на улицу Москвитина.

— Идите отсюда! — сказал остальным. И выгнал остальных.

А лошадь все-таки осталась. Может быть, ее постави ли в гараж.

Дружинников оскорбили и выгнали. Оскорбляли, верно, не без ума, грамотно, не сводя глаз с кодекса: все-таки дружина.

Вот и все приключеньице.

Но главное — впереди. Богачука вызвали в горком партии и там постарались объяснить ему что к чему. Он почтительно слушал, но как только заговаривали вызванные сюда же дружинники, Богачук становился непроницаемым. Он затвердевал на глазах. Из признаков жизни в ней оставались лишь злость и высокомерие.

Этот человек не может представить себя виноватым перед тем, кому он не подчиняется. Тяжелый это человек.

Он говорил:

— Я всегда понимаю, что говорят старшие, но этим (дружинникам) я грубости не нанес. Не было... Я тридцать пять лет (повысил голос) работаю в милиции. Вызывают меня первый раз.

Вот ведь вы какой застенчивый, товарищ капитан!

Ведь не первый раз вас вызывали. Во время работы в Ангарской ГАИ на партийном бюро вам был вынесен выговор за грубости и склоки.

Были еще и вот какие разговорчики. Да, ошибки есть. Да, надо бороться. Да... Но ведь какая у Богачука сложная профессия. Дело он имеет с нарушителями, преступниками, характер у него вспыльчивый, иногда как-то, знаете, невольно...

Позвольте не согласиться. Позвольте запротестовать. С нарушителями мы должны быть непримиримы. Это верно. С преступниками мы должны быть безжалостными. И это верно. Но, побеседовав с преступником и будучи в расстроенных чувствах, в том же тоне говорить с незнакомым человеком, не предложить ему стул, не выслушать его, без основания в чем-то заподозрить — не мелкое ли это хулиганство?

Если бы швеи шили черные и белые рубахи одними черными нитками или учителя по инерции ставили бы двойки шалопаям и отличникам — не привлекали бы их к ответственности? Отчего же это вам, товарищ Богачук, дозволено со всеми подряд разговаривать таким жутким тоном?

Поостерегитесь, товарищ Богачук, инерции. Зачеркните ее в себе. По инерции, между прочим, легко свернуть шею. Инерция — свойство машин и повозок. Инерция людям вредна и несвойственна. Ее воспитали в нас когда-то нехорошие люди. Зачеркните в себе остатки инерции.

А лошадь, товарищ Богачук, здесь, конечно, ни при чем. Лошадь как вид транспорта устарела. Лошадь повсеместно заменена автомобилем. Это вы, как капитан ГАИ, можете лично засвидетельствовать. Лошадь заменена.

И человеческие отношения тоже заменены. Вчерашние — сегодняшними, сегодняшние заменяются завтрашними, более совершенными. Вот ведь о чем речь.

Пятьдесят лет назад на углу Арсенальской и Пестеревской был околоточный причал.

— Извозчик! Где стоишь, скотина!..

И никто этому не удивлялся, потому что это было принято по лошадиной тогдашней этике.

Похожие разговорчики на углу Дзержинской и Урицкого немыслимы.

И если сегодня в человеческих отношениях нет-нет да и проскользнет нечто лошадиное, то завтра, товарищ

Богачук, вы ничего подобного не увидите, не услышите и, может быть, не сделаете сами.

Завтра вы, вежливый и доброжелательный, остановите машину и скажете бодро и приветливо:

— Добрый день! Покажите, будьте любезны, ваше удостоверение.

И извинитесь за беспокойство.

И пожелаете счастливого пути.

И улыбнетесь.

И откозыряете.

Можете не улыбаться, если это вам трудно. Но все остальное — обязательно. Этого от вас потребуют наши человеческие отношения.

И начальство потребует (это вам, Богачук, на всякий случай, для справки).

А если вы вспыльчивы неисправимо, то продайте ваш автомобиль, купите лошадь и разговаривайте с ней, как вам заблагорассудится. Все равно она ничего не поймет.

КОЕ-ЧТО ДЛЯ ИЗВЕСТНОСТИ

Хорошо хамить по телефону. Наговорил что угодно, сколько угодно и как угодно, наговорил — и остался неузнанным. Инкогнито. Черной маской. Таинственным хамом.

Ну, а если увлекся и вспылил до такой степени, что не можешь скрыть своего имени,— тогда хуже. Тогда неприятности. Тогда из хама анонимного мгновенно превращаешься в хама явного, вспыльчивого и воинствующего.

Никто, правда, уже не сможет упрекнуть такого человека в трусости. Но это не утешает. Все равно. Хорошего здесь мало. Еще неизвестно, кто лучше из двух — тот, кто побаивается хамить, или тот, кто хамит бесстрашно, убежденно, до конца.

Но к чему этот неприятный разговор? А вот к чему. Недавно зимним вечером фельдшер Владимир Николаевич К., дежуривший в усольской «Скорой помощи», был потревожен телефонным звонком. Мать просила врача к заболевшему ребенку. Сначала все шло по правилам.

— Сколько лет? — спросил Владимир Николаевич.

— Шесть,— ответили ему.

— Что с ним?

— Температура, головная боль... Приезжайте, я боюсь ночи!

— На температуру,— ответил Владимир Николаевич,— не выезжаем.— И бросил трубку.

Оказывается, высшим в государстве медицинским начальством невыезд «Скорой помощи» на температуру разрешается. Что ж, раз высшим, значит, так положено. Из правила, впрочем, есть исключение, и та же усольская «Скорая помощь» вечерами часто, особенно к детям, выезжает и на температуру.

Словом, фельдшер К. имел право в помощи отказать, и в тот зимний вечер фельдшер этим правом воспользовался. Он бросил трубочку.

Но на этом дело не кончилось и кончиться не могло. Мать, естественно, подняла трубку во второй раз и снова стала просить о помощи.

Матери больных детей раздражительны. Фельдшеру об этом следовало бы знать. Ему, раз уж он так решил, надо бы спокойно отказывать в помощи и не нервничать. Но разговор шел на равных. Собеседники все более взвинчивались, и, естественно, Владимир Николаевич стал брать верх. Мужчина все-таки.

— Как ваша фамилия? — крикнула возмущенно мать.

— Фамилия?..— переспросил Владимир Николаевич ядовито.

— Да! Фамилия!

— Александр Сергеевич Пушкин! — выпалил Владимир Николаевич. Это было брошено с дьявольской иронией. Это было — как бич, как пощечина, как хлопок дверью. Это было торжеством над противником. Этим, как он считал, было сказано все. И он бросил трубочку.

Но и на этом дело не кончилось. На ту беду соседом женщины оказался секретарь Усольского горкома комсомола. Олег Свирин. Секретарь явился, поднял трубку и позвонил в «Скорую помощь». Женский голос ответил ему, что фельдшер К. вышел. Секретарь настаивал, и К. вынужден был взять трубку. Фельдшер остыл, привел свои нервы в порядок, разговаривал вежливо и был приглашен в горком для беседы.

В горком он не явился ни в среду, как договаривались, ни в четверг. В пятницу секретарь позвонил сослуживцам К. и просил передать фельдшеру, что по-прежнему и терпеливо его ждет. Фельдшер не появлялся.

В субботу в коридоре управления Востоктяжстрой появился очередной выпуск «Комсомольского прожекто-

ра». Под портретом К., выполненным цветными карандашами, было написано четверостишие, в котором Владимиру Николаевичу напоминали, что он не Пушкин и что было бы лучше, если бы у него прибавилось совести. Все справедливо.

И как, вы думаете, Владимир Николаевич прореагировал на комсомольскую критику? А вот как. То, что он не Пушкин, он еще допускал. С этим он еще мог согласиться. Но в остальном он считал свое поведение безупречным. Джентльменским. Рыцарским. Владимир Николаевич был возмущен до крайности. До предела. Его, оказывается, просто-напросто оклеветали. Поэтому на следующей неделе, в среду, рядом с листком «Комсомольского прожектора» появился листок Владимира Николаевича К. Он был его автором, его редактором, в своем же лице он учредил и орган этого издания. В нем он поместил свои стихи — ответ на комсомольскую критику.

Стихи эти нравятся Владимиру Николаевичу до сих пор. А стихи неважные. И наглые. Прямо сказать, нахальные стишата. В последнем четверостишии К. рифмует слово «сатира» со словом, которое позволительно употреблять лишь в художественной литературе. Это о комсомольском-то сатирическом листке! Смело, ничего не скажешь. Это произведение, этот вопль грубияна, которому наступили на хвост, следовало бы отдать в милицию. На рецензию.

В интервью с вашим корреспондентом, которое состоялось лишь через несколько дней после происшедшего, Владимир Николаевич прочел свои шкодливые стишки без всякого стеснения, с большим творческим подъемом. Свое авторство он подтвердил не без гордости и не без удовольствия. Он ничего не понял. До сих пор он считает себя правым, обиженным, угнетенным. Встреча с героем происходила в редакции усольской городской газеты. Владимир Николаевич защищал себя с большой горячностью. Вот это интервью.

— Вы накричали на женщину,— напомнили ему.

— У этой женщины,— возразил К.,— вот такой (он развел руками) рот! У нее вот такой (он выбросил вперед одну руку, а другой отметил первую у самого плеча) язык!

— Вы не пришли в горком. Вас там ждали, и вы обещали прийти.

— Почему,— закричал он в ответ,— я должен к ним ходить? Почему — не они ко мне?

— Рядом с «Комсомольским прожектором» вы приклеили стихи собственного сочинения. Они написаны непростительно грубо. Вы считаете себя правым?

— Конечно! Написал и еще напишу! Судиться могу!

В заключение Владимир Николаевич заявил, что газетных статей он не боится, что, если на то пошло, он — крестьянин и терять ему нечего. Мы очень надеемся на то, что коллектив и главный врач «Скорой помощи» Козьминых Н. Д. убедят-таки К. в том, что и у него, как бы он ни нажимал на свое пролетарское положение, есть-таки что терять. Например, человеческое достоинство, уважение общества и много других небесполезных вещей.

Разговаривать с ним было трудно, и через пятнадцать минут этот «крестьянин» сел в служебную «Победу» и укатил по делам.

Таков Владимир Николаевич. Такова его логика. Такова психология. Главному врачу хамить нельзя, потому что его могут понизить в должности. Фельдшеру-«крестьянину» хамить можно, потому что его некуда понизить. Правда, его можно перевести в нянечки, но этого делать, видимо, не следует. Представьте, что он тогда натворит, какие стихи при случае напишет.

Что греха таить, Владимир Николаевич не одинок. Есть они. Попадаются. Есть уличные, трамвайные, должностные, высоко- и низкооплачиваемые хамы. Есть, а надо, чтобы их не было. Значит, относиться к ним следует со вниманием. Надо так, чтобы безнаказанно им не сходило с рук ни одно оскорбление, ни один окрик, ни одна брошенная телефонная трубка. Надо так, чтобы ими занимались коллектив, трамвай, улица. Надо их воспитывать, показывать, судить. Делать это необходимо каждый час. А если махнуть на них рукой, они зайдут далеко, и потом уже никто и никогда не убедит их в том, что они виноваты. Они будут правы — так им будет казаться.

Что касается К., неугомонного фельдшера из города Усолья-Сибирского, он твердо стоит на своем. Чего он только добивается? Может быть, популярности? Славы? Ну что ж. Мы сделали для этого все, что было в наших возможностях. Все или почти все.

ВИТИМСКИЙ ЭПИЗОД

Катер «Брест», вышедший из Бодайбо в четыре часа дня, прошел вверх по Витиму не более шестидесяти кило-

метров, когда наступила ночь. Катер направлялся за лесом, на Мую, к дальнему притоку Витима, команда торопилась, как торопятся здесь — пока навигация — все, кроме того, убывала вода и на Муе обсыхал лес. Поэтому «Брест» не останавливаясь шел ночью в темноте и утром в густом тумане, речники вели его на ощупь, ориентируясь по едва видимой стене прибрежных деревень, по памяти обходя мели. Когда встало солнце и туман от реки стал подниматься вверх, к гольцам, на левом берегу показалось село, оно мостилось на маленькой терраске между Витимом и лысой каменистой горой. Лиственницы под окнами, огороды, лодки на берегу, телеграфные столбы, несколько бараков на окраине — село как село, а под ним белое облако тумана. Я уже знаю, что здесь лесоучасток Бодайбинского леспромхоза и в селе живут в основном лесозаготовители и геологи. Есть сельсовет, школа, больница, клуб. Знаю уже, что клуб тут неважный, школа тесноватая, столовой вовсе нет и на семьсот человек жителей — ни одного уполномоченного милиции, это я тоже знаю. Мне уже известны все невеселые и все мрачные происшествия, бывшие здесь за последние три года, заочно я знаком со всем местным начальством. Мало этого, я знаю, что вчера главный инженер Бодайбинского леспромхоза Тышкевский привез сюда письмо о неблаговидном поведении рабочего леспромхоза Гришкина и что разбирательство по этому поводу состоится сегодня.

В большом городе обыкновенно люди из одного дома, но из разных подъездов проведут всю жизнь так и не познакомившись. Здесь иначе. Если где-нибудь на Мамакане некто Василий К. женится на Марии Н., на свадьбе непременно будут присутствовать кумовья и сваты из Синюги, Муи, Бодайбо — отовсюду, а само событие будет обсуждаться по всему Витиму, на полтыщи верст. Здесь все знают всех. Знакомства здесь равносильны родственным узам. Людей на Витиме объединяют малочисленность, отдаленность, как ни странно, деревень друг от друга. И, конечно, сам Витим объединяет. И не только как средство сообщения. Витим дает людям общие дела, общие заботы, общие интересы. Витим — как гигантская деревенская улица. Вот почему о жизни села Нерпо я знал достаточно уже к тому времени, когда наш катер громыхнул на прибрежных камнях против конторы леспромхоза.

Все село нетрудно обойти за двадцать минут, оно состоит из одной улицы, не считая нескольких домов, по-

строенных выше по речке Нерпинке. Днем лесозаготовители в тайге, геологи в тайге и те, у кого свободное время, тоже в тайге. Все мужское население — рыбаки и охотники, благо, есть где порыбачить и поохотиться. Водятся здесь и медведи, и стерлядь, и сорокакилограммовые таймени. В лесопункте производственные дела на уровне, в эти дела я не вникал, потому что еще раньше, с самого первого знакомства с Нерпо больший интерес у меня определился к тому, что принято называть бытовой стороной жизни, бытом.

А поскольку историю я расскажу неприятную, то заранее хочу оговориться. Рассказывая эту историю, я ни в коем случае не исключаю тем самым все бывшие здесь приятные истории. Оговариваюсь, потому что знаю, что впоследствии могут найтись те, кто скажет — вот, дескать, корреспондент увидел одни только недостатки, прошел мимо успехов и достижений, сгустил краски, обобщил, очернил и т. д. Рассказывая об одном из двух, о дурном или хорошем, автор преследует необходимую для пишущего человека цель — сосредоточиться. Кроме того, пытаясь сказать обо всем сразу, автор подверг бы себя риску не сказать ничего. И, что самое важное, обращая внимание на дурное, автор надеется, что его труд не пропадет даром и хотя бы в небольшой мере будет способствовать изменениям к лучшему.

Разговор с рабочим Гришкиным был назначен на вечер, на тот час, когда Гришкин вернется с работы. Днем для беседы решили пригласить жену Гришкина Валентину, работницу детского сада. Дело в том, что родственники Валентины, которые живут в Амурской области, написали в Иркутск письмо. Родственники просили защитить Валентину и ее детей от побоев и унижений, помочь ей вместе с детьми уехать от собственного мужа. К их письму прилагалось письмо самой Валентины и ее брата, который сам побывал в Нерпо. Вот три строки из письма Валентины. Начало: «Обращается к вам с далеким скучным приветом сестра ваша Валентина...» Середина письма: «Здесь мне жаловаться некому — тайга-матушка. Мер никаких не принимают...» И конец: «Если что случится, прошу вас, не забудьте моих детей...» Из Иркутска эти письма попали в Бодайбинский горком партии, а из горкома инженеру Тышкевскому, который направлялся мимо Нерпо в Мую по делам, а по дороге должен был завернуть в Нерпо, на месте заняться этой историей с письмами и после, видимо, ответить Иркутску, что и как.

И вот уже Тышкевский, начальник лесопункта Скворцов и секретарь Нерпинской парторганизации Ревва Иван Владимирович ждут жену Гришкина в конторе лесопункта.

Ожидающие — люди деловые, видно, что к предстоящему разговору они относятся скептически, с высоты своих производственных задач. Инженер явно раздосадован тем, что его отвлекли от дела. Заметно, что подобные мероприятия здесь вновь, что — вот собрались, ничего не поделаешь — надо, приходится, хотя дело это пустое, бабье, ничего тут не изменишь, разве что еще хуже наделаешь.

Гришкина, женщина лет тридцати пяти, изможденная, бойкая и настороженная, подтвердила, что да, бьет, и детей бьет «как взрослых», но, когда пообещали организовать немедленный вместе с детьми отъезд, замялась, затревожилась, а через минуту объявила, что сейчас она не поедет, вот, может, осенью, в ноябре, другое дело, а сейчас — нет.

Тут присутствующие переглянулись, а кое-кто и вздохнул с облегчением. Ну вот, дескать, пожалуйста, извольте видеть, всегда так, когда приходится вмешиваться в эту самую личную жизнь. Никогда еще из этого не выходило ничего хорошего, муж и жена — одна сатана, а сунься, ты же и окажешься в дураках. Сами видите, предлагаем ей помощь,— она отказывается. Значит, ей и так неплохо...

Впрочем, последняя реплика придумана автором. В ту минуту если кто-нибудь про себя и подумал, то никак не собрался бы сказать, что Гришкиной и так неплохо. В отличие от присутствующих Гришкин готовился к этой беседе основательно, потому что под глазом у его жены был большой свежий синяк. Этим-то, выходит, отсутствующий в разговоре Гришкин и вставил свое веское слово. Если бы не синяк, то, пожалуй, разбирательство бы окончилось бы очень скоро и вовсе безболезненно. Но синяк — явление фактическое, оно внушает к делу некоторое даже уважение и требует кое-каких углублений.

— Сколь раз, Валентина,— говорил Ревва укоризненно,— сколь раз говорил я тебе: бьет — сходи в больницу, возьми справку, подай на него заявление...

И по лицу, и по поведению женщины, и по ее словам видно, что жаловаться, подавать заявление она, что называется, не приучена.

Далее было так. Инженер несколько раз возобновлял

разговор о немедленном ее отъезде, Ревва настаивал на излюбленном заявлении, на заявление же нажимал Скворцов, словом, мужчины требовали определенности. Но вот беда, определенности у Гришкиной, которая прожила со своим мужем одиннадцать лет здесь, в Нерпо, определенности-то у этой Гришкиной как раз и не оказалось...

Остановились на том, что она в настоящее время решительно, категорически отказывается уезжать, пообещали поговорить с мужем как следует и с женой расстались.

Тут для большей ясности и поскольку все равно встреча с Гришкиным состоялась не сразу, я приведу маленькую справку. В Нерпо, в этом небольшом сравнительно селе, в текущем году произошло три насильственных смерти. Одна по неосторожности: с похмелья была выпита зеленка вместо водки. И два убийства. Одно из них таково: муж убил жену. Убил, как выразилась одна из жительниц Нерпо, за нетактичное поведение.

Разумеется, нет прямой связи между совершившимися убийствами и неоконченным разбирательством с четой Гришкиных. За убийства ответят те, кто убил. А те, кто не убивал, отвечать не будут. Но и нельзя, пожалуй, без внимания оставить такое простенькое рассуждение: убийцы не прилетают к нам с Марса. До того, как убить, они живут среди нас и, стало быть, среди нас становятся убийцами...

Но вернемся к Гришкину. В контору он пришел очень недовольный, раздраженный такой, а точнее сказать, явился он совсем сердитый. Что это, в самом деле? Преступлений не совершал, заявлений не поступало, чего же вы, дескать, хотите? Делать вам нечего, собрались тут, а еще начальство, солидные люди.

И точно, когда он явился, собравшиеся почувствовали себя как бы несколько виноватыми.

Зачитали письма, справедливость которых он немедленно отверг, попытались пристыдить, делали это, надо сказать, неуверенно и неумело.

Наконец кто-то из них расхрабрился.

— Бьешь жену?

Гришкин высокомерно молчал.

— Бьешь. Синяк у нее под глазом, сами видели.

— Все бывает,— уверенно сказал Гришкин,— и хорошее бывает, и плохое.

И все замолчали. Мне показалось, что эта фраза Гришкина, которую он, кстати, произносил потом много раз,

сильно на них подействовала. А ведь, действительно, подумали, по-видимому, они, все бывает. И хорошее, и плохое. Сами подумайте, чего не бывает между своими-то людьми. Вы приехали, побыли здесь день-два и, глядишь, обратно, а мы с Гришкиным здесь останемся, нам с ним жить, да. А жизнь, ведь она сложная штука, и тут уже не попишешь.

Словом, Гришкин знал, что им сказать.

А потом инженер стал просить Гришкина дать всем присутствующим слово, что он никогда больше не будет бить жену и детей. Гришкин поломался немного из приличия, но слово дал. Видно было, что это ничего ему не стоило.

— Не повторится,— сказал он запросто.

Тут догадались взять с него это обещание письменно. Он запротестовал, но когда Ревва изъявил желание помочь составить ему бумагу, Гришкин согласился.

— Так он,— тотчас сказал Ревва о Гришкине,— мужик толковый, начитанный, но вот как подопьет...

И Ревва махнул рукой, а Гришкин открыто так ухмыльнулся.

После его ухода Иван Владимирович сказал:

— Посадить мы его не можем, а так — что разговор. Откуда я знаю, что он ее бьет.

— Вы в этом сомневаетесь?

— Да нет, не сомневаюсь, но документально мы не знаем. Если бы она подала на него в суд, тогда — пожалуйста.

Из этих слов, как видите, ясно, что будь заявление, Иван Владимирович засадил бы Гришкина с тем же благодушием, с каким сейчас он Гришкина опекал.

На этом все закончилось. Наутро составили протокол собрания, а Гришкин написал смехотворное обещание впредь вести себя хорошо.

Назавтра, провожая меня и моего товарища, Иван Владимирович, подытожив дело Гришкина, так сказать, подвел черту:

— Все бывает. И хорошее бывает, и плохое...

Произносил он это назидательно так, нараспев, сказывал, что называется.

— Все бывает,— повторил он, и я понял, что это не просто слова, это уже мудрость, философия, отношение к жизни, стиль.

Такова история. Не такая уж страшная, но не такая уж и невинная. И вряд ли она требует каких-либо катего-

рических выводов. Я хотел бы, чтобы она послужила поводом для размышлений.

Нерпинскому же начальству, не удержусь, скажу. Да, жизнь сложна, Иван Владимирович, она сложна, и плохо, если отношение к ней слишком простое. Попустительское. Равнодушное. Казенное. Мы, Иван Владимирович, не дети, нам много лет, пора, пора нам различать, что такое хорошо и что такое плохо. А различивши, к тому, что плохо, относиться повнимательнее. Посерьезнее. Построже.

Одноактные пьесы
Сценки
Монологи

ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ АНЕКДОТЫ

Трагикомическое представление в двух частях

Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают.

Н. В. Гоголь

АНЕКДОТ ПЕРВЫЙ. ИСТОРИЯ С МЕТРАНПАЖЕМ

Действующие лица

Калошин — администратор гостиницы «Тайга».
Потапов — командированный, по профессии метранпаж.
Рукосуев — врач, приятель Калошина.
Камаев — молодой человек.
Марина — жена Калошина.
Виктория — девушка, устраивающаяся на работу.

Одиночный номер провинциальной гостиницы. Кровать, стол, два кресла, тумбочка, на тумбочке репродуктор и телефон. Дальняя стена закрыта яркими дешевыми портьерами.

Щелкает дверной замок, и в комнате появляется Виктория, миловидная девушка лет двадцати. На ходу она снимает плащ и туфли, открывает шкаф и, невидимая за дверцей шкафа, мгновенно переодевается. Теперь на ней легкий халат и домашние туфли.

Она подходит к стене и раздвигает портьеры. За ними открывается окно, в которое видны светящиеся окна на противоположной стороне улицы, а рядом, прямо под окном, горит обратная сторона неоновой вывески «Гостиница «Тайга». Мгновение Виктория смотрит в окно, потом оборачивается, идет по комнате, закрывает дверь на ключ, берет со стола книгу, открывает ее. Не отрываясь от книги, приближается к кровати, сдергивает с нее покрывало, сбрасывает с ног туфли. Прилегла на кровать.

В это время раздается нетерпеливый стук в дверь. Виктория вскакивает, надевает туфли, набрасывает на кровать покрывало, поправляет прическу.

Стук повторяется. Виктория открывает дверь. В дверях появляется Потапов, небольшой сухощавый мужчина лет сорока. На нем серые брюки, светлая рубаха, галстук и дешевый вельветовый пиджак. Этот скромного вида человек сейчас явно раздосадован.

Потапов. Здравствуйте! У вас радио работает?
Виктория. Радио?
Потапов (*нетерпеливо*). Радио!
Виктория. А что такое?
Потапов. Работает или нет?

Виктория включает радиоприемник, раздается голос комментатора, ведущего футбольный репортаж. Потапов входит в комнату и крадется к радиоприемнику.

Голос комментатора. ...у Хусаинова, он передает его Янкину, Янкин переходит на правую половину поля...

Потапов останавливается рядом с радиоприемником, слушает.

...его атакуют, он передает... но нет, пас неточен, и вот уже атаку начинает Шалимов... Шалимов передает мяч... но нет, снова неточно, и мяч снова у Хусаинова...
Виктория. Футбол, а я-то думала...
Потапов. Тише!
Голос комментатора. Хусаинов обыгрывает Шалимова...
Виктория. Вы меня напугали...
Потапов (*строго*). Тихо!
Голос комментатора. ...его атакуют два защитника.
Виктория. Да вы присаживайтесь...
Голос комментатора. Хусаинов посылает мяч на штрафную площадку, а там...
Виктория. Садитесь...
Потапов (*свирепо*). Вы можете помолчать?
Голос комментатора. ...там никого не оказалось, увы, никого, кроме защитника команды «Торпедо»... А вот и свисток судьи... Итак, первая половина игры закончилась безрезультатно... Ноль-ноль. Ноль-ноль. Команды отправляются на отдых, отдохнем, а через пятнадцать минут встретимся снова, чтобы узнать, кто же победит в этом увлекательном, напряженном поединке.
Голос диктора. Передаем легкую музыку.

Музыка.

Потапов (*опускается в кресло*). Если в этот раз они проиграют — я... Я за себя не отвечаю!

Небольшая пауза.

Виктория (*осторожно*). Можно мне что-нибудь сказать?

П о т а п о в. Что... *(Вдруг очень вежливо.)* Извините меня! Я, это самое, сам не знаю, как... футбол, сами понимаете...

В и к т о р и я. Не понимаю. Смотреть на него — еще туда-сюда, а так — не понимаю.

П о т а п о в. Простите за беспокойство.

В и к т о р и я. Да ладно уж, ничего...

П о т а п о в. Видите ли, я сосед ваш, мой номер рядом, сидел у себя, слушал, и раз — радио испортилось — на самом интересном. Я — в коридор, туда-сюда. Двенадцатый час — у всех уже темно, а у вас свет. Как я сюда ворвался, и сам не заметил. *(Пятится к двери.)* Еще раз извините.

В и к т о р и я. Подождите.

Потапов останавливается.

Куда же вы? Где же вы дальше будете слушать?

П о т а п о в. Не знаю. Поищу где-нибудь...

В и к т о р и я. А то забирайте мой приемник, утром вернете.

П о т а п о в. Разрешаете?

В и к т о р и я. Забирайте.

П о т а п о в. Большое вам спасибо. *(Взял радиоприемник.)* Извините еще раз, спокойной ночи.

Потапов уходит, но, как только Виктория снова приготовилась лечь, опять раздается стук в дверь — на этот раз деликатный. Виктория открывает дверь.

Входит П о т а́ п о в. При этом дверь в коридор остается открытой.

П о т а п о в. Простите, но в моем номере он не работает. *(Передает Виктории радиоприемник.)*

В и к т о р и я. Вот беда-то.

П о т а п о в. Очевидно, испортилась проводка.

В и к т о р и я. Ну и что теперь?

П о т а п о в. Ума не приложу. Большое вам спасибо... *(Мнется.)* Пойду искать кого-нибудь...

В и к т о р и я. Ладно уж. *(Включила радиоприемник.)* Садитесь, слушайте.

П о т а п о в. В самом деле?

В и к т о р и я. Ну а что. Будете рыскать по всей гостинице.

П о т а п о в. Но ведь вам спать надо.

В и к т о р и я. Да ничего. Я ложусь поздно. *(Придвинула кресло к радиоприемнику.)* Устраивайтесь поближе.

П о т а п о в. Ну спасибо, девушка. *(Усаживается.)* За вашу доброту дай вам бог хорошего жениха.

В и к т о р и я. Благодарю.

В дверях появляется С е м е н Н и к о л а е в и ч К а л о ш и н. Ему около шестидесяти, он лыс, кругл и вальяжен. Он невысок ростом, но держится очень прямо. При этом голова его почти постоянно откинута чуть назад, брови чаще всего чуть сдвинуты, а глаза обычно слегка прищурены. Благодаря всему этому общий вид его довольно внушителен, а людей выше его ростом для него не существует.

Одет он в хороший темный костюм, который сидит на нем, впрочем, довольно мешковато.

Прежде чем заговорить, он критически осматривает присутствующих.

К а л о ш и н. Товарищи, одиннадцать часов. Посторонних прошу покинуть помещение.

Небольшая пауза.

В и к т о р и я. Здесь посторонних нет, здесь все свои. Товарищ живет рядом.

П о т а п о в. Да, мой номер за стеной.

К а л о ш и н. Не имеет значения. Согласно распорядку после одиннадцати все расходятся по своим номерам.

В и к т о р и я. Да, но тут такое дело...

К а л о ш и н *(перебивает)*. Дела, товарищи, будете обделывать завтра. А сегодня прошу вас по своим номерам.

П о т а п о в. Послушайте...

К а л о ш и н *(перебивает)*. Не знаю, товарищи...

В и к т о р и я *(перебивает)*. Хорошо, хорошо. Он уйдет.

К а л о ш и н. Давайте, товарищи, давайте.

В и к т о р и я. Уйдет, сейчас уйдет.

К а л о ш и н. Предупреждаю, я проверю. *(Уходит.)*

В и к т о р и я. Лучше с ним не спорить.

П о т а п о в. Да, придется уходить.

В и к т о р и я. Нет, вы меня не поняли. Закройте свой номер на ключ и возвращайтесь.

П о т а п о в. Знаете, лучше с ним не связываться.

В и к т о р и я. Закроемся, радио сделаем потише — обойдется. Идите, закрывайте номер.

П о т а п о в. Ну что ж... *(Выходит и тотчас возвращается.)* Закрыл.

В и к т о р и я. А все почему? У нас двери были открыты. *(Убавляет звук радиоприемника.)* Дерут такие деньги, да еще им на цыпочках ходи.

П о т а п о в. Вы в командировке?

В и к т о р и я. Я — нет. Я здесь одну ночь, завтра в общежитие уйду. Я на строительство приехала, на работу. А вы?

П о т а п о в. Я здесь в командировке. *(Усаживается.)*

В и к т о р и я. Откуда вы?

П о т а п о в. Из Москвы.

В и к т о р и я. Ладно, вы слушайте, а я буду читать. А дверь мы... *(Подошла к двери, хотела ее запереть.)*

Но дверь внезапно раскрылась, и на пороге возник К а л о ш и н.

К а л о ш и н *(миролюбиво)*. Так. Хотели закрыться...

В и к т о р и я. У него радио испортилось...

К а л о ш и н *(многозначительно)*. Я понимаю...

В и к т о р и я. Он футбол послушает и уйдет.

К а л о ш и н *(игриво)*. Футбол, говорите?

П о т а п о в. Футбол, совершенно верно.

К а л о ш и н *(весело)*. Футбол?

В и к т о р и я. Ну конечно.

К а л о ш и н. Так, так. Значит, футбол?

П о т а п о в. Да футбол же. Неужели вы не понимаете?

К а л о ш и н. Я понимаю. Я все понимаю. Я, товарищи, уже не маленький.

П о т а п о в. То есть? Что вы этим хотите сказать?

К а л о ш и н. Да то. Сами понимаете что.

П о т а п о в. Да что именно?

К а л о ш и н. Да то, товарищи, что дураков вы здесь не ищите.

П о т а п о в. То есть?

В и к т о р и я. Ну?.. Ну что скажете?

К а л о ш и н. А вы что скажете?.. Футбол?

П о т а п о в. Да, футбол.

К а л о ш и н. Ну вот, опять футбол!.. А закрываться для чего, разрешите вас спросить? Если футбол, то для чего тогда двери на ключ закрывать?

В и к т о р и я. Я не могу... Да от вас закрылись, от вас! Чтоб не лезли здесь, не мешались...

К а л о ш и н *(перебивает)*. «Не мешали»? Вот и я так думаю, чтоб не мешали. Кому же нравится, когда мешают?

П о т а п о в. Да вы... Да с вами просто нельзя разговаривать!

К а л о ш и н. Разговаривать со мной можно. Но вы, товарищи, разговаривать не умеете. К сожалению. *(Официально.)* Поэтому прошу вас в свой номер.

П о т а п о в. Хорошо. Я уйду, но...

В и к т о р и я *(перебивает)*. А вы не уходите. *(Калошину.)* Вы уходите. *(Открывает дверь.)* Пусть он уходит.

Калошин. То есть как?

Виктория. Вот так. Уходите, и все. Как-нибудь без вас обойдемся. Здесь я хозяйка.

Калошин. Что?

Виктория. Да ничего. Никто вас сюда не звал с вашими разговорчиками.

Калошин. Да вы что? Вы что, уважаемая, законов не знаете?

Виктория. Не знаю.

Калошин. Не знаете? Так могу вам разъяснить.

Потапов. Послушайте...

Калошин (*перебивает*). И вы не знаете? И вам могу разъяснить.

Виктория. Ну?

Калошин. Вы зарегистрируйтесь сначала, а потом уж закрывайтесь. Потом — пожалуйста. Милости просим. Не знали? Допустим, что не знали. Будете знать. А сейчас прошу вас из женского номера.

Виктория. Нет! Я не могу...

Потапов. Хорошо. Я уйду. Но вы... вы извинитесь. Перед девушкой извинитесь.

Калошин. Это за что, интересно?

Потапов. За оскорбление. Неужели вы не понимаете, что вы ее оскорбили?

Калошин (*сердится*). Во-первых, извиняться буду не я, во-вторых, извиняться будете вы, и притом не перед ней, а перед вашей законной супругой. А пока прошу вас пройти в свой номер. По-хорошему.

Музыка в радиоприемнике умолкает. Включается стадион. Шум стадиона.

Потапов. Нет, хватит. Теперь я отсюда не уйду.

Виктория. Правильно.

Калошин. Уйдете.

Потапов. Нет, не уйду. (*Усаживается в кресло рядом с радиоприемником.*)

Голос комментатора. Итак, наш микрофон установлен на стадионе «Динамо», где на кубок страны встречаются две столичные команды — «Спартак» и «Торпедо»...

Калошин. Это вы так думаете, что не уйдете, а на самом деле вы не только уйдете, но вполне еще и выскочить можете.

Шум стадиона.

П о т а п о в. Нет, не уйду. Делайте что хотите, зовите милицию, а я... Я буду слушать репортаж.

Г о л о с к о м м е н т а т о р а. Первая половина матча, как вам известно, закончилась ничейным результатом и...

К а л о ш и н *(подошел, выключил радиоприемник)*. Все.

П о т а п о в. Не мешайте, я вам не советую. *(Включил радиоприемник.)*

Г о л о с к о м м е н т а т о р а. ...нападение и защита...

П о т а п о в. Не трогайте!

К а л о ш и н *(тащит Потапова к двери)*. Добром не хотите... Слов не понимаете...

П о т а п о в. Не смейте. *(Упирается.)*

В и к т о р и я *(помогает Потапову)*. Не имеете права!

П о т а п о в. Отпустите!

Возня у двери, в результате которой Калошин взашей выталкивает Потапова за дверь.

Стоят друг против друга, один по ту сторону порога, другой — по эту. Оба тяжело дышат.

К а л о ш и н. Предупреждал?.. Предупреждал...

П о т а п о в. Вы мне за это ответите!

В и к т о р и я. Вы ответите!

П о т а п о в. Даю вам слово, так я это не оставлю.

К а л о ш и н. Давай, давай...

П о т а п о в. Вы меня попомните...

В и к т о р и я. Попомните!

П о т а п о в. Я вам обещаю. *(Уходит.)*

К а л о ш и н. Давай, давай... Видали мы таких... донжуанов...

В и к т о р и я. Уходите.

К а л о ш и н. Да погоди ты... *(Идет к креслу, уселся.)* Уф...

В и к т о р и я *(с презрением)*. Что, притомились?

К а л о ш и н. А ты думала...

В и к т о р и я. Довольны?.. Эх вы, пожилой, можно сказать, человек...

К а л о ш и н. Так вот и зарабатываешь свой хлеб...

В и к т о р и я. Как только не стыдно...

К а л о ш и н. Досталась мне работенка. Вот уж действительно — наградили меня должностью. С этажа на этаж — целый день, целый день! Да еще со скандалами... Нет, ты скажи мне, скажи, ну, как с вашим братом, с приезжим, работать? Как? С вами по-хорошему — вы не пони-

маете, начинаешь с вами по закону — вы в бутылку. Ведь он мне руку чуть не выставил.

Виктория. А вы? Как вы его толкнули?

Калошин. Пусть знает.

Виктория. А если бы он об стенку ударился?

Калошин. Ничего бы ему не сделалось. Почесался бы и дальше. Невелик барин.

Виктория. Откуда вы знаете?

Калошин. Вижу. Тут вашего брата пятьсот человек, если каждый будет свою амбицию показывать, что же такое получится?.. Ну чего он взъерепенился? Разве нельзя было по-хорошему? Он что, не знает, как это делается?

Виктория. Что делается?

Калошин. Ну тебе еще, скажем, простительно, по малолетству, а он-то о чем думал?

Виктория. Вы сами виноваты. Чушь всякую стали городить. Он вас не трогал. Он только что болельщик, а так человек воспитанный, из Москвы приехал...

Калошин *(живо)*. Откуда?

Виктория. Из Москвы.

Калошин *(тень сомнения)*. То есть как — из Москвы?

Виктория. Да так, что из Москвы... А что? Струсили?

Калошин. Ерунда... Подумаешь, из Москвы. И в Москве шантрапы хватает.

Виктория. А если он начальник, тогда как?

Калошин. Да ты что, не знаешь его, что ли?

Виктория. Конечно, нет.

Калошин. Не врешь?

Виктория. Говорю вам, не знаю. *(Злорадно.)* А вдруг начальник?

Калошин. Он?.. Ерунда. Учителишка или около того.

Виктория. А вдруг?

Калошин *(забеспокоился)*. Чего «вдруг»? Какое «вдруг»? Вельветовый пиджачок, галстучек барахольный — видать птицу по полету.

Виктория. По одежде, значит, встречаете?

Калошин. А ты думала? На этой работе глаз — первое дело. Если бегать каждому в анкету заглядывать — без ног останешься.

Виктория. А что — одежда? Есть большие люди, а одеваются скромно, и мне кажется...

Калошин *(поднялся)*. Крестись, если кажется. А мне голову не морочь. *(Подходит к телефону, набирает номер.)* Я устал, меня там, поди, уже жена ищет... Кажется ей... *(Положил трубку, набирает номер снова.)* Нет, не в добрый час я связался с гостиницей, не в добрый час. Предлагали же мне спокойную работу, так нет же, погнался я за дурными деньгами... *(В трубку.)* Регистратура?.. Администратор говорит... Посмотрите там, кто у нас проживает в двести одиннадцатом номере... Двести одиннадцать. Потапов?.. Кто он такой, откуда?.. Из Москвы?.. А кто таков?.. Как, как?.. Метранпаж?.. Это что такое?.. *(Отвлекся от телефона, Виктории.)* Что такое метранпаж?

Виктория *(искренне)*. Не знаю.

Калошин *(в трубку)*. Выясните, кто такой метранпаж... Срочно... Он как вселился — по брони или... по командировке... А куда прибыл? В какую организацию?.. Не записано?.. Сколько раз вам указывалось, чтобы анкеты заполнялись от корки до корки... Безобразие... Он когда вселился?.. Сегодня?.. Кто же он такой? Я спрашиваю, что это обозначает? Что такое метранпаж?.. Что? Никто не знает?.. Как же так?.. Срочно выясните... У него?.. Нет-нет, у него не спрашивать... Если он к вам подойдет — разговаривайте вежливо... *(Бросил трубку.)* Метранпаж... Что это?

Виктория *(не без коварства)*. Метранпаж... По-моему, это из ОБХСС.

Калошин *(испуганно)*. Но-но! Скажешь тоже... Метранпаж... Слово-то какое-то... Черт знает, что за слово!.. Может, по профсоюзу?

Виктория. А вдруг он депутат?

Калошин. Но-но-но! Поосторожнее... В «люксе» бы поселился, и это... предупредили бы нас. Всегда предупреждают.

Виктория. Ну и что, что всегда. А он взял и так приехал, без предупреждения. Посмотреть, что вы тут вытворяете.

Калошин. Но-но-но-но-но! Ты, знаешь, говори, да не заговаривайся!.. Метран-паж... паж... Паж? В царское время при дворе чего-то такое было, а? Было?

Виктория. Да вроде было.

Калошин. Черт его знает... *(Набирает номер по телефону, в трубку.)* Ресторан?.. Музу Ханановну... А кто это? Слушай, друг, не знаешь ты случайно, что такое метранпаж?.. Ну да, откуда тебе... где тебе,

говорю... Калошин... Погоди... Там жена моя еще не ушла?.. Работает?.. Да нет, не надо. Уж она-то подавно не знает... Ладно... *(Бросил трубку.)* Никто не знает! И что за учреждение такое? Темнота, невежество... Вот же предлагали мне кинохронику, ведь вполне же культурное предприятие, так нет же... *(Набирает другой номер.)* Андрей Васильевич?.. Добрый вечер... Калошин... Извините, что так поздно, но... Да по делу, то есть нет, не по делу... По делу, Андрей Васильевич... Андрей Васильевич, будьте так любезны, объясните вы мне, неучу, кто такой метранпаж... Ме-тран-паж... Не встречали? Да вот тут случай небольшой... Нет-нет, ничего особенного. Извините... Извините... Спокойной ночи. *(Опустил трубку.)* В двух институтах обучался. Невежа! Вот ведь! На кинохронике, так там наверняка каждый гардеробщик скажет, а тут? *(Набирает номер; в трубку.)* Регистратура?.. Ну что? Выяснили?.. Кто такой метранпаж?.. Что?.. Из газеты?.. Кажется? А точно вы не могли узнать?.. Там редактор есть, корреспонденты, а это, это кто?.. Не узнали, так какого же черта... Выясняйте... Немедленно! *(Бросил трубку.)* Кажется, из газеты.

Виктория. Из газеты?

Калошин *(трусит и не скрывает, что трусит)*. А из какой газеты?.. Из «Труда»? Или из «Известий», чего доброго?.. А вдруг он над всеми газетами сразу? Что же тогда будет, а? Что же он тогда со мной сделает? Ведь тогда он... Ведь он что захочет, то и сделает... Посадит на ладошку, дунет — и полетишь! Да еще, может, так полетишь, что нигде и не сядешь, не приземлишься никогда, а так и будешь вечно летать по воздуху!

Виктория. Ага, запрыгали.

Калошин. Где он?.. Извинюсь! Сию минуту извинюсь! *(Быстро выходит.)*

Из коридора слышен стук в соседнюю дверь и голос Калошина: «Товарищ Потапов...» Стучит очень деликатно. «Товарищ Потапов.. Товарищ... Э-э... метранпаж...»

Калошин *(появляется в комнате)*. Где он? Куда ушел? Куда?

Виктория. Я не знаю. Может, в милицию.

Калошин. Что же делать?

Виктория. Вот уж не знаю. Вы кашу заварили, вы и расхлебывайте.

Калошин. Так что же это выходит?.. Если он... да еще и в милицию...

Виктория. Так вам и надо. Лично мне вас ни капли не жалко.

Калошин. А за что? Что я ему сделал?.. Почему он молчал? Почему не назвался? Разве так можно? Я ведь тоже человек — не овца какая-нибудь. Покрутись-ка здесь целый день, побегай-ка. У меня склероз, гипертония, мне до пенсии три года. Я вообще немного нервный. Я, может... *(Остановился, как бы ухватывая идею, заговорил решительно.)* Ну нет! Всякое со мной бывало, но до суда еще никогда не доходило. И не дойдет! *(Энергично, но просительным тоном.)* Дочка! Будь добра, беги-ка ты, разыщи его!.. Слышишь?

Виктория. С чего ради я побегу?

Калошин. Найди его! Поговори с ним! Скажи, что касается, мол, администратора, землю, скажи, грызет, дрожит, мол, на глаза попадаться, и вообще, скажи, что-то, мол, не в себе... Ну! Не в службу, а в дружбу!

Виктория. Какая это у нас с вами дружба? Бегите сами, а мне спать пора.

Калошин. Дочка! Мне позвонить надо, иди, я тебя очень прошу! Ведь я по-хорошему хочу. Я извиняться буду. Перед ним... и перед тобой! Перед тобой хоть сейчас!

Виктория. А! Нужны мне ваши извинения.

Калошин. Отблагодарю, дочка... Скорей, а? Моя судьба сейчас, может, от секунды зависит! *(Хватается за телефон.)*

Виктория. Ладно. Да не думайте, что ради вас. Звоните и уходите отсюда. Я спать хочу. *(Уходит.)*

Калошин *(набирает номер)*. Врешь... врешь... врешь... Голыми руками меня не возьмешь! *(В трубку.)* Катя? Это Калошин... Супруг дома? На дежурстве?.. Все, Катя, потом, потом! *(Нажимает на рычаг, набирает две цифры; в трубку.)* «Скорая помощь»?.. Мне Рукосуева!.. Да, да! Бориса Петровича! *(Ждет.)* Врешь — не возьмешь... *(В трубку.)* Борис?.. Это Семен... Борис, спасай!.. Меня спасай!.. Меня!.. История... В гостинице... Нарвался... Я нарвался!.. Вези меня в больницу!.. Здоров, но мне нужна справка... Что вроде бы я... не в себе, вроде бы!.. Не в себе, говорю, понимаешь?.. Псих я, понимаешь? Припадочный я!.. Да нет же! Здоров я!.. Здоров, говорю!.. Ну как будто бы!.. Милицию, кажись, вызвали... Судом пахнет... Судом, говорю, пахнет! Понял? Выезжай сию минуту!.. Что?.. Машины нету?.. А скоро?.. Скорей, Борис, скорей!.. Горю!.. Гибну!.. Век буду благодарить. Жду!..

В гостинице... второй этаж... двести десятый... Борис! Борис! Погоди... Что такое метранпаж?.. Ме-тран-паж!.. Не знаешь? Что? В постель?.. Понятно... Борис! Борис! Погоди! *(Понизил голос.)* Может, мне пока здесь... это самое... попсиховать?.. Ну это... пошуметь, побуянить?.. Не очень? Так... Значит, не очень?.. Понимаю... Ну я тут так — по-тихому... В постель?.. Ясно... Скорей! Давай скорей! *(Бросил трубку, вытер пот со лба.)* Врешь! *(Набрал номер; в трубку.)* Регистратура?.. Не выяснили?.. Это я уже слышал! Я вас спрашиваю, какую должность занимает?.. Бросайте все! Выясняйте немедленно!.. Там жена моя не приходила?.. Когда подойдет, скажите ей — пусть едет домой... Да, без меня... Задержался по важному делу... Да, может не ждать... Не ждать!.. Когда узнаете, что такое метранпаж, позвоните в двести десятый номер... Пост! Пост какой занимает? Да чтоб в точности! *(Бросил трубку.)* Врешь... Кто бы ты ни оказался, все равно, брат, Калошина голыми руками ты лучше не бери. Калошин хоть и не метранпаж, но тоже и не водовоз какой-нибудь... *(Снимает с себя пиджак, галстук, башмаки, ложится на кровать и забирается под одеяло. Поднимается, разбрасывает снятую одежду по номеру, чуть подумав, расстегивает ворот, выпускает рубаху поверх штанов.)* Такую вам, уважаемые, видимость устрою, такое вам покажу представление, что и не возгордитесь и не возрадуетесь! *(Снова ложится. Но тут же садится на постели и внимательно рассматривает номер: что бы такое еще придумать. Достает очки, надевает их, берет с тумбочки книгу и, раскрыв ее, ложится.)*

Появляется Виктория.

Виктория *(на пороге)*. Его нигде не... не... *(Полагая, что она попала не в ту комнату.)* Извините! *(Выскочила и закрыла дверь.)*

Калошин. Не нашла... Ну ничего, товарищ метранпаж! Теперь неизвестно еще, ктó у кого будет прощения просить...

Виктория снова, на этот раз осторожно, открывает дверь.

(Спокойно.) Вам кого?

Виктория в полном недоумении снова закрывает дверь.

(С удовлетворением.) Не узнает.

Виктория входит в третий раз.

Вы ко мне?.. Ну так проходите.

Виктория. Что это?
Калошин. Вы проходите, не стесняйтесь.
Виктория. Что это значит?
Калошин. Вы о чем?
Виктория. Что вы делаете?
Калошин. Я?.. Лежу, как видите.
Виктория. Да, но... Что это значит?
Калошин. Ничего. Лежу, и все... Решил немного отдохнуть, полежать, почитать книжечку. Что ж тут удивительного.
Виктория. Но это... это... Очень даже странно!
Калошин. Об чем разговор, не понимаю.
Виктория. Это же просто... просто... я даже не знаю...
Калошин. А что такое? Что вас волнует, не понимаю. Если вы насчет того, что я ваше место занял, то так и скажите. Я подвинуться могу.
Виктория. Что?
Калошин. Могу подвинуться. Пожалуйста.
Виктория. Да вы что, в самом деле?.. Вы хулиганите или вы рехнулись?
Калошин. Нет, зачем же? Я невелик барин, не метранпаж какой-нибудь, могу и подвинуться. *(Подвинулся.)*
Виктория *(негромко)*. Сошел с ума... *(Громче.)* Что с вами?.. Как вы себя чувствуете?
Калошин. Спасибо, хорошо. Самочувствие отличное, перехожу на прием.
Виктория *(негромко)*. Рехнулся! *(Громче.)* Я вызову врача, хорошо?
Калошин. Замечательно.
Виктория *(подходит к телефону, стоит спиной к Калошину. Набрала номер, негромко)*. «Скорая помощь»?

Калошин сел на постели, прислушивается к разговору.

Приезжайте в гостиницу... Тут с человеком плохо... По-моему, он сошел с ума... Приезжайте!.. Номер двести десятый... Чего нет?.. Машины?.. Скоро будет?.. Хорошо... *(Положила трубку.)*

Калошин улегся.

(Оборачиваясь к Калошину, тоном, каким разговаривают с детьми.) Ну вот. Скоро он приедет.

Калошин. Кто приедет?

Виктория. Врач приедет.

Калошин. А зачем он приедет?

Виктория. Зачем? *(Осторожно.)* Да так просто. В гости.

Калошин. В гости?.. Ну что ж, пусть приезжает. А я пока почитаю, не возражаете? *(Раскрывает книгу, читает вслух.)* «С утра покинув приозерный луг, летели гуси дикие на юг...»

Раздается стук, и тут же дверь открывается. Появляется Марина — жена Калошина.

Марине чуть за тридцать, она довольно привлекательна, но грубоватая и чрезмерно крашенная женщина. На ней плащ, яркие чулки, модные туфли. На голове кружевная наколка, которую официантки носят во время работы. При ее появлении Калошин приподнимается, но тут же ложится снова.

Пауза, во время которой никто из присутствующих не знает, как следует себя вести и что следует сказать.

Калошин *(не найдя ничего лучшего, продолжает читать стихи)*. «А позади за ниткою гусиной спешил на юг... э-э... косяк перепелиный...»

Марина. Это как же понимать?

Калошин. Э... что?

Марина. Как это понимать?

Калошин *(неуверенно)*. Я думаю, так надо понимать, что дело к осени...

Марина. Чем же вы это здесь занимаетесь, а? *(Кричит.)* Чем занимаетесь, я спрашиваю! Отвечайте, бесстыдники!

Виктория. Подождите...

Марина *(перебивает)*. Это как же называется?

Виктория. Да подождите вы кричать...

Марина *(Калошину)*. Как это называется? Это важное дело называется? Важное дело?

Калошин. Да... дело серьезное.

Марина. Серьезное?

Виктория. Послушайте...

Марина. Стыд-то какой — надо же!

Виктория. Послушайте меня! Он же ненормальный!

Марина. Что-о?

Виктория. Ненормальный, говорю. Он с ума сошел.

Марина. А ты и рада? Вместо того, чтоб надавать ему по роже...

Виктория *(перебивает)*. Да не кричите вы, вам говорят! У него с головой не в порядке!

Марина. А у тебя с головой в порядке? Связалась со стариком, бесстыдница!

Виктория. Перестаньте! Сначала разберитесь...

Марина. Молчи, вертихвостка!

Виктория. Слушайте!

Марина. Молчи!

Виктория. Послушайте!

Марина. Замолчи, негодяйка!

Виктория *(вышла из себя)*. Сама вы негодяйка!

Марина. Мерзавка.

Виктория. От мерзавки слышу!

Марина. Да я тебе сейчас все космы выдергаю!

Виктория. Раскричалась тут, испугался ее кто-то!

Калошин. Давайте, давайте, давайте...

Виктория. Чего вы раскричались? Вы кто такая?

Марина. Я?! Я кто такая?

Виктория. Ну вы, вы! Кто вы? *(Калошину.)* Кто она? Жена, что ли?

Калошин *(мужественно)*. Она?.. Не знаю... Первый раз ее вижу.

Марина ахает и замирает на некоторое время, раскрыв рот и выпучив глаза.

Виктория. Вот и нечего кричать. Сначала надо разобраться, а потом...

Марина *(подступая к Калошину)*. Ты... ты... да ты что, бессовестная твоя рожа? Ты что говоришь, ты соображаешь или нет?

Виктория. Вот и именно, что не соображает.

Марина. Кто я такая?.. Ну!

Калошин. Вы?.. Вы... э...

Марина *(подступая ближе)*. Кто я?

Калошин *(отодвигаясь)*. Ты?.. Ты... э-э-э...

Марина. Ну? *(Выхватила из его рук книгу.)* Не узнаешь?

Калошин *(струсил)*. Узнаю, узнаю!.. *(Спохватился.)* Кажется... э... где-то видел, но... *(Виктории.)* Но кто такая — не припомню...

Марина. Что-о? *(Замахивается на него книгой.)*

Калошин. Вспомнил, вспомнил!

Марина. Ну? Кто я тебе такая? *(Снова замахивается.)* Отвечай!

Калошин. Жена, моя жена! *(Виктории.)* Она очень похожа на мою жену.

Марина. Похожа?

К а л о ш и н. Как две капли воды! *(Виктории.)* Но моя жена не дура...

М а р и н а. Что-о?

К а л о ш и н. Нет-нет! Моя жена умная женщина...

В и к т о р и я *(Марине)*. Кто же вы на самом деле? Жена или нет?

М а р и н а. Говори, злодей!

К а л о ш и н *(твердо)*. Это не моя жена.

В и к т о р и я. Ну? Теперь вы понимаете?

М а р и н а. Да ты что, старый черт, смеешься надо мной?

К а л о ш и н. А вы не шумите. Шуметь и скандалить — это вы можете. Грубости и разные неприятные слова — это вы тоже хорошо знаете. А вот что такое метранпаж — это вам известно?

М а р и н а. Слушай, Семен! Ты это брось! Ты мне идиота не разыгрывай.

В и к т о р и я. А он и не разыгрывает. Он забрался на кровать, когда меня не было в номере.

М а р и н а. Что-о? Да за кого вы меня принимаете?

В и к т о р и я. Да говорят вам, он свихнулся! Неужели вы до сих пор не видите?

М а р и н а. Вижу, не волнуйтесь! Я его, паршивца, насквозь вижу! С ума он сошел, надо же! Так я вам и поверила!

В и к т о р и я. Нет, с вами бесполезно. Вот приедет врач...

М а р и н а. Что, что?

В и к т о р и я. Я говорю, приедет врач, тогда...

М а р и н а *(перебивает)*. Ты врача вызвала?

В и к т о р и я. Конечно.

М а р и н а *(Калошину, панически)*. А ну поднимайся!.. Поднимайся, и чтоб духу твоего здесь не было! Вставай немедленно!

К а л о ш и н. Нет, нет! Ни в коем случае.

М а р и н а. Ты что же, подняться не можешь?

К а л о ш и н. Не могу.

М а р и н а. Стыд-то какой! До врача дошло, надо же! Нашел себе дело на старости-то лет, да еще с больным сердцем! Тьфу! Бесстыжие твои глаза.

К а л о ш и н. Я не могу...

М а р и н а. Поднимайся как хочешь! Не хватало еще, чтобы тебя видели в этой кровати! Поднимайся сию же минуту!

Калошин. Нет, нет... нельзя!.. Невозможно... Вы знаете, кто я? Я букашка, жучок я, божья коровка. Если я сейчас поднимусь — меня ветром унесет!

Марина *(пытается его поднять)*. Вставай, мошенник!

Калошин *(вцепился руками в кровать)*. Нет, нет, нет...

Марина *(Виктории)*. А ну помоги!

Виктория. Да не трогайте вы его.

Марина. Поднимайся, Семен! Хуже будет...

Калошин. Хуже не будет!

Марина. Издеваетесь?.. Мало вам всего, так вам еще меня осрамить надо? Опозорить по всему городу?.. Ну уж нет! Ничего не выйдет. Уж я-то найду на вас управу! *(Подошла к телефону, набрала номер.)* Думаете, я одна и надо мной издеваться можно?.. Ошибаетесь. *(В трубку.)* Муза?.. Это Марина... Муза, посмотри, Олег еще там?

Калошин *(привстал)*. Какой Олег?

Марина *(в трубку)*. Да он обычно за крайним столиком сидит... Позови... *(Калошину.)* Пеняй теперь на себя.

Калошин. Кто такой Олег?

Марина *(вызывающе)*. Да так, один знакомый. *(В трубку.)* Олег?.. Это Марина... Олег, поднимись-ка в двести десятый номер... Скорей. *(Бросает трубку.)*

Калошин *(с возмущением)*. Ты вызвала его сюда?

Марина. Что, не нравится?

Калошин *(с большим возмущением)*. Его — сюда?

Марина. Что? Я гляжу, тебе лучше стало?

Калошин *(спохватился, спокойно)*. Значит, ты позвала его сюда. *(Ложится.)* Вот и хорошо... Веселее будет.

Виктория. Представляю. А может, здесь без него обойдется?

Марина. А это уже не твое дело. Он мой друг, понятно вам? Между прочим, между мужчиной и женщиной я больше обожаю дружбу. Не то что некоторые. *(Калошину.)* С этого дня он будет ходить к нам в гости, так и знай.

Стук в дверь. Калошин вздрагивает.

Марина *(открывает дверь)*. Заходи, Олег.

Появляется Камаев, молодой человек лет около тридцати. Он здоров, румян и неплохо одет. За норму поведения им принята некая развязная галантность. В руках у него сверток — явно бутылка.

К а м а е в. Всеобщий привет.

М а р и н а. Проходи, Олег... Знакомься. Это вот, с журналом, мой муж.

К а м а е в. Муж? Двадцать копеек!

М а р и н а. Он самый.

К а м а е в *(озадачен)*. Ну что ж... Очень приятно... *(Поклон.)* Камаев... Преподаватель... Вы... вам нездоровится?

М а р и н а. Он немного устал.

К а м а е в. Ну что ж... значит, надо немного отдохнуть... *(Калошину.)* Это ваша дочь?

М а р и н а. Да нет, это хозяйка номера.

К а м а е в. Да? Очень приятно. *(Поклон.)* Олег... Камаев. Преподаватель.

В и к т о р и я. Уже слышали.

К а м а е в. А почему девушка такая сердитая?

М а р и н а. А ты не понимаешь?

К а м а е в. Я не понимаю. Я человек веселый, я... А что, собственно, я должен понять?

М а р и н а. Представь себе, я им помешала.

К а м а е в. Что-что?

М а р и н а. Я им помешала.

К а м а е в. Им? *(Удивляется, смотрит сначала на Викторию, потом на Калошина.)* Не может этого быть...

М а р и н а. Ты что, мне не веришь?

К а м а е в. Нет, это серьезно?

М а р и н а. Олег, ты просто ребенок.

В и к т о р и я. Может, хватит?

К а м а е в *(Виктории и Калошину)*. Ну я вас поздравляю! *(Калошину.)* Поднимайтесь, по этому поводу надо выпить.

М а р и н а. Представь себе, он не может подняться.

К а м а е в. Да?

М а р и н а. Тебе придется ему помочь.

К а м а е в. Не может подняться? Что ты говоришь! *(Разглядывает Викторию.)* Я тебя поздравляю...

К а л о ш и н *(негромко, но еле сдерживаясь)*. Ну подождите...

М а р и н а. Что ты сказал?

К а л о ш и н. Подождите, детки, дайте только срок, будет вам и белка, будет и свисток.

К а м а е в. Что такое?

М а р и н а. Представь себе, он прикидывается сумасшедшим.

К а м а е в. Да?.. Это зачем же?

Марина. Выкручивается, ясное дело.

Виктория. Он не прикидывается, он сумасшедший. А вы...

Марина (*перебивает*). А ты помолчи. (*Камаеву.*) Послушал бы ты, что она здесь заливала. Доказывала мне, что он лег в постель, когда ее не было в номере. Ты представляешь?

Камаев смеется.

Виктория. Нет, я больше не могу... К черту! (*Садится в кресло спиной к присутствующим.*) Разбирайтесь сами.

Калошин. Подождите, детки...

Марина. Вот, возьми его.

Калошин. ...дайте только срок...

Марина. Ведь кто его не знает — и поверить может. Псих и псих.

Камаев. Да я вижу, вы тут весело время проводите.

Виктория. Что и говорить!

Камаев. Что ж. Я к вам присоединяюсь. Но поначалу надо немного выпить.

Марина. Нет, сначала надо его поднять.

Камаев. Зачем? Пусть отдыхает.

Марина. Нет, нет! Вот-вот сюда заявится врач.

Камаев. Ну и что!

Марина. Как — что. Представляешь, какие будут разговоры, если...

Камаев. Уже понял.

Марина. Ведь по всему городу пойдет, а зачем нам это надо?

Камаев. Да, это никому не надо. (*Калошину.*) Она права, придется вам подняться.

Калошин. Подождите, детки...

Камаев. Ждать нет никакого смысла.

Калошин. ...дайте только срок...

Камаев. Хоть вы и сумасшедший, но неплохо бы вам подумать сейчас о своей репутации.

Калошин. ...будет вам и белка, будет и свисток!

Камаев. Поторопитесь. Пока здесь все свои и инцидент пока имеет частный характер. Но как только сюда войдет кто-нибудь посторонний... Подумайте, как вы будете выглядеть в общественном мнении.

Марина. Ладно, хватит с ним разговаривать. Бери его и поднимай.

К а л о ш и н *(вцепился в кровать).* Нет, нет!.. Не трогайте меня... Я букашка, я мошка, но я... я ужалить могу! Лучше не трогайте.

М а р и н а *(Камаеву).* Бери его за шиворот, и никаких.

К а м а е в. Ну зачем же так? *(Калошину.)* Мы и сами в состоянии, мы люди интеллигентные, не правда ли?

К а л о ш и н. Мы мошки, мы букашки...

К а м а е в. Перестаньте. Вы человек цивилизованный и не хуже меня знаете, что значит моральное разложение. Поднимайтесь.

М а р и н а. Олег, ты провозишься.

К а м а е в. Прошу вас. Не принуждайте меня к физическому воздействию. Я человек воспитанный, но...

К а л о ш и н *(вдруг садится на постели, с тихой яростью).* Если ты человек воспитанный... *(громче и выше тоном)* если ты человек цивилизованный... *(пронзительным голосом и потрясая в воздухе кулаками)* если ты человек интеллигентный!.. тогда *(остановился, опустил кулаки, потом — с просьбой, отчаянной, но одновременно и смиренной)*, тогда скажи мне, что такое метранпаж?

Небольшая пауза.

В и к т о р и я *(поднимается).* Нет, я больше не могу. *(Камаеву.)* Отвечайте, если знаете. На этом он и помешался.

К а м а е в. На чем?

В и к т о р и я. На метранпаже!

К а м а е в. Это как же?

В и к т о р и я. А вот так. Ко мне в номер зашел человек, а он его отсюда вытолкал.

К а м а е в. Так...

В и к т о р и я. А потом спохватился. Вытолкал, а кого вытолкал — неизвестно.

К а м а е в. Так.

В и к т о р и я. Кто такой? Позвонил в регистратуру, а там ему и говорят: метранпаж. А кто такой метранпаж — никто не знает.

К а м а е в. Так, так...

В и к т о р и я. Кто такой, откуда? Может, это шишка какая-нибудь? Тут уж он по-настоящему сдрейфил. Куда ни позвонит — никто не знает. Сказали — из газеты, а в точности неизвестно. Тут он и вовсе.

К а м а е в. Так...

Виктория. Ну и вот. И тронулся. С перепугу...

Марина. Врет она.

Камаев *(Марине)*. Подожди. *(Виктории.)* Значит, никто не знает, кто такой метранпаж?

Виктория. В том-то и дело! Если знаете — объясните ему! Вдруг это ему поможет.

Камаев *(забавляется)*. Навряд ли. Боюсь, как бы ему не стало хуже...

Калошин, до сих пор жадно прислушивающийся к разговору, теперь не может скрыть своего волнения и испуга.

Оскорбить метранпажа, знаете...

Виктория *(с нетерпением)*. Да кто он такой?

Камаев. Н-да... *(Калошину.)* Вы его не били?

Калошин *(вне игры)*. Нет! Нет!

Камаев. Признавайтесь честно, здесь все свои. Было рукоприкладство?

Калошин. Н-ничего такого! Клянусь!

Виктория. Он его вытолкал.

Камаев. Вытолкал?.. Это нехорошо... А не выражались?

Калошин. Как?

Камаев. Употребляли нецензурные выражения? Не матерились?

Калошин. Ни разу!

Виктория. Он назвал его донжуаном.

Камаев. Метранпажа — донжуаном?.. Н-да, это уже... Это совсем нехорошо.

Виктория. Да кто же такой метранпаж?

Марина. Кто?

Виктория. Знаете вы или нет?

Калошин *(дрожит)*. Что такое метранпаж?

Камаев. Я вижу, к вам вернулся рассудок. Тем хуже для вас. В вашем положении лучше оставаться сумасшедшим.

Калошин *(тяжело дышит)*. Что такое метранпаж?

Камаев. Метранпаж — это... это... Да, дорогой мой, плохи ваши дела.

Виктория. Да не тяните вы!

Камаев. Метранпаж — это, друзья мои, не что иное, как человек из министерства. Большой человек...

Небольшая пауза.

Да, друзья мои, это так, ничего не поделаешь...

Стук в дверь. Калошин вздрагивает и опускается на постель. Стук в дверь повторяется. Марина осторожно приоткрывает дверь и выглядывает в коридор.

Марина. Борис?.. Это ты? *(Открывает дверь.)*

Появляется Рукосуев, человек одного с Калошиным возраста. Он в белом халате, в очках, в руках у него белый ящичек.

Нам повезло. Это Борис, его старый друг.

Камаев. Камаев... Преподаватель.

Рукосуев *(проходит)*. Ну? Где наш больной? В постели? *(Чуть насмешливо.)* Стало быть, дело серьезное... *(Садится на постель.)* Семен, ты что это, голубчик? *(Калошин лежит неподвижно.)* Что с тобой стряслось?

Марина. Да ты не волнуйся, он больше притворяется.

Рукосуев *(изображая удивление)*. Притворяется?.. Для чего же притворяться?

Марина. Да вот. Натворил здесь делов, вот и крутится теперь.

Рукосуев. Семен... Семен!

Марина трясет Калошина. Он стонет.

Марина. Ты что, оглох?

Рукосуев. Семен!

Марина. Хватит придуряться!

Рукосуев *(чуть посмеивается)*. Семен, это уже лишнее.

Марина. Хватит, говорю, придуриваться. Это же Борис, ты что, не видишь?.. Оглох он, что ли?

Рукосуев. Семен... Это ты, брат, уже через край...

Камаев. Ну артист...

Виктория. Поднимайтесь, хватит вам паясничать.

Рукосуев. Семен... *(Берет руку Калошина, слушает пульс.)* Что с тобой?

Марина. Отвечай, шут гороховый!

Рукосуев *(вдруг серьезно, с тревогой)*. Подождите!

Марина. Надо же, до чего обнахалился...

Рукосуев *(строго)*. Тихо! *(Пауза.)* Ему плохо!

Марина. Что?

Рукосуев. Он без сознания.

Камаев. Вы серьезно?

Рукосуев. Никаких шуток. *(Достает из ящичка шприц и прочее.)*

Марина. Как же так?

Рукосуев. Тише! *(Измеряет Калошину давление.)* У него сердечный приступ.

Марина. Ну вот... Доигрался...

Рукосуев делает Калошину укол. Все молчат. Рукосуев снова прослушивает у Калошина пульс и сердце.

Виктория. Ну что?

Марина. Как он?

Рукосуев. Тише... Он... Да, он умирает.

Марина *(громко)*. Умирает?

Калошин стонет.

Семен!

Калошин *(вдруг)*. Что ты сказала?.. Борис? Это ты? Это ты сказал?

Марина. Семен!

Калошин. Я слышал... Она сказала, что я помираю... Это правда?

Рукосуев. Спокойно, Семен. Ничего не говори.

Калошин. Нет, это правда... Я и сам чувствую, что помираю...

Марина *(плаксиво)*. Семен, дорогой!

Калошин. Не притворяйся, Марина... Всю жизнь притворялась, хватит.

Рукосуев. Семен! Тебе нельзя разговаривать.

Калошин. Борис, не обманывай... Мне конец... Ты сам сказал...

Марина. Семен, не надо! Я не хочу...

Калошин. Врешь.

Марина. Семен...

Калошин. Все шесть лет...

Марина. Молчи, Семен...

Калошин. Ты ждала этого часа.

Марина. Тебе нельзя разговаривать...

Калошин. Вот и радуйся.

Рукосуев. Тише, Семен, тише.

Камаев. Доктор, я полагаю, посторонним здесь делать нечего...

Калошин. Он еще здесь? *(Приподнял голову.)* Ты еще здесь?

Камаев. Вы мне?

Калошин. Вон отсюда, сутенер!

Р у к о с у е в. Спокойнее, прошу тебя!
К а л о ш и н. Вон отсюда!
М а р и н а. Семен...
К а л о ш и н. И ты, змея... вон отсюда!
Р у к о с у е в. Тише, тише!
К а л о ш и н *(Марине и Камаеву)*. Вон отсюда! Я желаю помереть среди порядочных людей!

Камаев выходит.

М а р и н а. Семен...
К а л о ш и н. Вон!
Р у к о с у е в *(выводит Марину)*. Выйди, выйди. Так будет лучше. *(Закрывает дверь.)* Семен, я запрещаю тебе разговаривать.
К а л о ш и н. Ничего... Я и так долго молчал...
Р у к о с у е в. Тебе нельзя волноваться. Успокойся. *(Прослушивает у Калошина пульс.)*

Раздается стук. Виктория подходит к двери.

К а л о ш и н. Кто это?
Р у к о с у е в. Не открывайте.
К а л о ш и н. Может, это метранпаж?
Р у к о с у е в. Никому не открывать.
К а л о ш и н. Почему? Пусть он заходит... Метранпаж так метранпаж. Все равно... Плевать я на него хотел... Приехал тоже... Как он приехал, так порядочные люди не приезжают. Так воры приезжают и аферисты.

Стук повторяется.

Откройте... Я ему скажу кое-что... на прощанье. Пусть знает...
Р у к о с у е в. Успокойся, Семен.
К а л о ш и н. Хоть он и метранпаж, а помирать-то и ему придется.
В и к т о р и я *(у дверей)*. Это не метранпаж, это ваша жена.
К а л о ш и н. Ее не пускайте. Житья мне не давала, так пусть хоть даст помереть по-человечески.

Звонит телефон.

В и к т о р и я *(подходит, берет трубку)*. Метранпаж — это из типографии.
К а л о ш и н. Из типографии?
В и к т о р и я. Наборщик.

Калошин. Наборщик? *(Небольшая пауза. Затем начинает смеяться, но тут же стонет.)* Наборщик! *(Смеется и стонет.)* Мышь типографская... Тля!.. Букашка!.. А ведь как напугал... До смерти напугал...

Рукосуев. Перестань, Семен! Тебе нельзя шевелиться.

Калошин. Ну не идиот ли я?.. Слова перепугался, звука... скрипа тележного... Стыд... Позор...

Рукосуев. Помолчи, я тебя прошу.

Калошин. Да так, видно, мне и надо... Как был невежа, так невежей и помираю...

Рукосуев. Лежи спокойно... *(Делает Калошину укол.)* Воды! *(Виктория подает стакан с водой.)*

Калошин. Зачем?.. Помираю я, Борис, чего уж тут... Сердце... Чувствую, как оно останавливается...

Рукосуев *(подает Калошину лекарство)*. Выпей.

Калошин. Напрасно это... Все напрасно...

Рукосуев. Пей, Семен.

Калошин. Нет, Борис. Видно, от судьбы не уйдешь.

Небольшая пауза. Стакан с водой Рукосуев поставил на тумбочку.

Давно, когда я еще баней заведовал, сказал мне один грамотный человек. С вашим характером вы, говорит, далеко пойти можете, но, говорит, учтите, погубит вас ваше невежество. Так оно и вышло... Хотел я от судьбы уйти: следы заметал, вертелся, петли делал, с места на место перескакивал. Сколько я профессий переменил? Кем я только не управлял, чем не заведовал?.. И складом, и баней, и загсом, и рестораном. И по профсоюзу, бывало, и по сапожному делу, и по снабжению, и по спортивному сектору — в каких только сферах я не вращался? С кем только дела не имел? И с туристами, и с инвалидами, и со шпаной, бывало. Большим начальником, правда, никогда не был, но все же... Одно время был я даже директором кинотеатра... И везде, бывало, что-нибудь да получится. То инвентаря, бывало, не хватит, то образования... Всякое со мной случалось, но ничего, везло мне все же. Хлебнешь, бывало, а потом, глядишь, снова выплыл... Судьба только меня и остановила. Сколько ни прыгал, а досталась мне в конце концов эта самая гостиница. И метранпаж в результате... *(Чуть передохнул.)* Начальства я, Боря, всегда боялся... Ничего я на свете не боялся, кроме начальства. Больше скажу: я так

его боялся, что когда сделался начальником, я самого себя стал бояться. Сижу, бывало, в своем кабинете и думаю — я это или не я. Думаю — как бы мне самого себя, чего доброго, под суд не отдать... После привык, конечно, но все равно. По сути дела, так всю жизнь и прожил в нервном напряжении. Дома, бывало, еще ничего, а придешь на работу — и начинается. С одним одно из себя изображаешь, с прочими — другое, и все думаешь, как бы себя не принизить. И не превысить. Принизить нельзя, а превысить и того хуже... День и ночь, бывало, об этом думаешь. Откровенно, Борис, тебе скажу, сейчас вот только и дышу спокойно... Перед самой смертью.

Рукосуев. Да подожди ты, Семен...

Калошин. Нет, Борис, моя песенка спета... Кончено...

Снова стучат. Виктория снова подходит к двери.

Увидишь жену мою... первую жену, Клаву... Дочь мою увидишь — передай им, что помирал, мол, о них думал...

Виктория приоткрыла дверь и шепчет что-то, очевидно, Марине.

Рукосуев. Закройте дверь.

Калошин. Эх, Борис! Только и было жизни, что в молодости... Помнишь, на реке работали?.. Буксир был «Григорий Котовский», помнишь?.. А «Лейтенант Шмидт»? *(Плачет.)* Помнишь...

Рукосуев. Помню, помню. Ты только не волнуйся.

Калошин. А «Иван Тургенев»? *(Плачет.)* Эх, Борис... Пропала моя жизнь... пропала... А кто виноват?.. Метранпаж виноват?

Стук в дверь.

Жена новая виновата?

Рукосуев. Никто не виноват, лежи спокойно. *(Пытается завладеть рукой Калошина.)*

Калошин *(убирает руку)*. Нет, Борис. Сам я виноват... Сам во всем виноват.

Снова стук в дверь.

Виктория *(у двери)*. Жена ваша просится.

Калошин. Впустите ее.

Рукосуев. Нет, нет.

Калошин. Пусть войдет... Что она мне сделала?

Ведь я знал, все знал... Только вид делал, что не знаю... А ей что? Она молодая, красивая, ей жить хочется. Ведь она меня в два раза моложе, я ей, можно сказать, жизнь испортил... Пусть войдет, проститься нам надо.

Виктория впускает Марину.

Марина. Семен!.. Как он!.. Семен, как ты?

Калошин. Марина, бог с тобой, прощаю я тебя... И ты меня прости. И не поминай лихом... Похорони меня и выходи замуж... Ничего. Выходи, пока не поздно...

Марина *(удивилась и растрогалась)*. Семен! Да что же это ты?

Калошин. Да вот за него и выходи, за этого... Если он тебе нравится.

Марина заплакала.

Да пусть он войдет.

Марина *(плача, открывает дверь)*. Олег!.. Иди сюда, Олег...

Камаев появляется в дверях.

Калошин. Войди!

Камаев входит, останавливается рядом с Мариной.

Ну что, Борис?.. Погляди на них...

Марина *(в голос)*. Семе-ен!.. Век тебя не забудем...

Калошин. Ну и бог с вами... Живите.

Камаев *(ошеломлен)*. Что?

Калошин. Женитесь, говорю... Разве ты не хочешь?

Камаев. Я?.. Нет, я... Признаться, я об этом не думал.

Марина *(перестала плакать)*. Как — не думал?.. Ты всегда говорил...

Камаев. Разве я говорил?

Марина. Ну как же, Олег...

Камаев. Значит, говорил. Но еще не думал.

Марина. Да ты что, Олег? Выходит, ты меня обманывал?

Камаев *(пришел в себя)*. Совсем нет, но... Нельзя же так. Человек умирает, а мы про женитьбу... Нехорошо.

Калошин. Ничего... Дачу отдадите Клаве, а квар-

тиру себе берите. Да живите дружно. За деньгами не гоняйтесь, за чинами тоже... Главное, чтобы совесть была чиста...

Р у к о с у е в. Подожди, Семен... *(Пытается взять руку Калошина, чтобы прослушать пульс.)*

К а л о ш и н *(убрал руку)*. Хватит, Борис... Мое дело ясное... Мне конец... Сердце... Вот-вот оно разорвется... *(Камаеву.)* А метранпаж — это не из министерства, запомните... Это из типографии, наборщик...

К а м а е в. Что вы говорите?

К а л о ш и н. Учиться надо, молодой человек.

Рукосуев наконец завладел рукой Калошина, прослушивает пульс.

Если бы я мог прожить еще одну жизнь... Разве бы я так ее прожил?

Р у к о с у е в. Подожди-ка...

К а л о ш и н. Марина... Плиту мне положите... Небольшую... она недорого стоит.

Марина снова заплакала.

На плите напишите...

Р у к о с у е в. Подожди-ка... Ничего не понимаю...

К а л о ш и н. Хотя... Не надо ничего писать. Только фамилие, имя, отчество, год рождения и...

Р у к о с у е в *(возбужденно)*. Семен! Ты... У тебя... Ну конечно! У тебя приличный пульс... У тебя вполне приличный пульс!.. Минутку! Посмотрим давление... *(Измеряет Калошину давление. Пауза)*. Семен! Тебе лучше.

К а л о ш и н. То есть как?

Р у к о с у е в. Так! Считай, что ты выкарабкался.

К а м а е в *(Рукосуеву)*. Серьезно?

Р у к о с у е в. Какие могуть быть шутки? Он будет жить.

М а р и н а. Семен...

К а л о ш и н. Жить?.. *(Садится.)* Н-но как же так?

Р у к о с у е в. Будешь жить, Семен... Ты что, недоволен?

К а л о ш и н. Но как же?.. Что же это получается?

К а м а е в. А что вас смущает? Живите на здоровье. Вам крупно повезло.

М а р и н а. Живи, Семен, к-конечно...

К а л о ш и н. Но что же я теперь... как?

К а м а е в. А в чем, собственно, дело? Если вас смущает ваше завещание, так вы... вы не стесняйтесь.

Пусть все будет по-старому. У меня, например, никаких претензий.

Марина. Вот как?

Камаев. Да. *(Калошину.)* Откровенно говоря, мне даже так больше нравится.

Марина. Но ты... ты всегда говорил...

Камаев. Что я говорил? Послушай, что за навязчивая идея? Даже неловко, честное слово. Человек жить остался, радоваться надо, а ты что? Нет, я этого не понимаю.

Виктория. Я не могу...

Марина *(Камаеву)*. А я тебя, кажется, поняла.

Рукосуев. Семен, что с тобой?.. Ты что, не рад?

Марина. Так вот нет же! Не бывать по-старому!.. Семен! Прости меня! *(Приближается к Калошину.)* Прости, Семен... Я... Если бы... Я останусь с тобой! А он... этот... Я знать его не хочу!

Камаев. И слава богу.

Марина. Семен! Прости...

Рукосуев *(Калошину)*. Да очнись ты!

Марина. Семен! Посмотри на меня! Скажи что-нибудь...

Стук в дверь.

Виктория. Кто там еще?.. Я не могу...

Стук повторяется.

Войдите.

Появляется Потапов. Он сильно возбужден.

Потапов. Можете меня поздравить. Они выиграли... А что тут у вас происходит?.. Здесь в коридоре вся гостиница собралась.

Калошин. Вся гостиница?.. *(Энергично.)* К черту гостиницу! Я начинаю новую жизнь. Завтра же ухожу на кинохронику.

Виктория. Нет, я больше не могу!

Занавес

АНЕКДОТ ВТОРОЙ. ДВАДЦАТЬ МИНУТ С АНГЕЛОМ

Действующие лица

Хомутов — агроном.
Анчугин — шофер
Угаров — экспедитор
} командированные из города Лопацка.
Базильский — скрипач, прибывший на гастроли.
Ступак — инженер
Фаина — студентка
} молодожены.
Васюта — коридорная гостиницы «Тайга».

Двухместный номер той же гостиницы. В комнате беспорядок, на столе пустые бутылки. Шторы закрыты, комнату освещает дешевая люстра. Из соседних номеров доносятся звуки: пассажи, исполняемые на скрипке, и время от времени женский смех.

На одной из постелей сидит Угаров. Он только что проснулся и теперь сидит понуря голову. Его гнетет похмелье. Он поднимается, шарит в тумбочках и под столом. Он уже одет, но на ногах у него один ботинок. Угарову лет тридцать с лишним, он проворен, суетлив, не лишен оптимизма, который сейчас, правда, ему трудно проявить.

Он осматривает бутылки. Видно, что они пусты. С отвращением пьет воду из графина. Напился. Отдышался. Шарит по карманам. В карманах ни гроша, это становится понятным. Идет по комнате, открыл шторы. За окном, оказывается, белый день.

Угаров *(громко)*. Подъем!

Анчугин просыпается, приподнимает голову, тупо смотрит на Угарова. Анчугин угрюм, медлителен, тяжеловат на подъем. Энергия дремлет в нем до поры до времени.

Угаров. С добрым утром!

Анчугин *(сообразив, где он и что с ним, собственно, происходит)*. Выпить. *(Протянул руку в сторону стола.)*

Угаров. Выпить?.. Сколько хочешь. *(Подает Анчугину графин с водой.)*

Анчугин *(отстранил руку Угарова с графином)*. Выпить.

Угаров. Не хочешь? А чего ты хочешь? *(С горькой усмешкой.)* Водки, пива или, может, коньяку?

Анчугин. Водки.

Угаров *(помолчал)*. Так. Водку, значит, предпочитаешь.

Анчугин. Нету? Ничего?.. *(Поднимается, осматривает пустые бутылки.)* А деньги есть?

Угаров *(бросает Анчугину его пиджак)*. Обследуй.

Анчугин *(шарит по карманам, трясет пиджак)*. Тишина... А у тебя?

Угаров. Ни копейки... Слушай, а где мой ботинок? Ты не знаешь? *(Ходит по комнате, ищет ботинок.)* Где он делся?.. Ты его не видел?..

Молчание.

А есть у нас в этом городе знакомые?

Анчугин. У меня — никого.

Угаров. И у меня. Я здесь в первый раз. *(Маленькая пауза.)* Надо соображать. Хотя бы три рубля.

Анчугин. Три шестьдесят две.

Угаров. А закусь?

Анчугин *(помолчав)*. А где их взять?

Угаров. На заводе?

Анчугин. Правильно, на заводе. А то где?

Угаров *(рассуждает)*. Нежелательно... Первый раз. Служебные отношения, сам понимаешь...

Анчугин. Звони.

Угаров. Вот положение... Ну ладно. *(Придвинул к себе телефон. Колеблется.)* Нарушаю этикет.

Анчугин. Хрен с ним, с этикетом.

Угаров. Нежелательно... У нас ведь как? Экспедитор дает, а экспедитору никто ничего не дает — закон... Ну ладно. *(Набирает номер.)* Молчит... *(Достает записную книжку.)*

Анчугин *(поставил бутылки рядом)*. Тридцать шесть копеек.

Угаров. Полста семь — пятнадцать, начальник сбыта. Строгая женщина... *(Набирает номер.)* Не отвечает.

Анчугин. Тридцать шесть, а бутылка пива — тридцать семь. Не получается.

Угаров. Полста семь — пятнадцать, начальник сбыта. *(Набирает номер.)* Фарфоровый?.. Почему у вас контора не отвечает? Серьезно?.. *(Положил трубку.)* Вот, Федор Григорьевич, сегодня воскресенье... выходной...

Молчание, а за стеной — скрипка.

Анчугин. Да... Оригинальный случай...

Угаров. Слушай! Где же мой ботинок? Украли его, что ли?

За стеной скрипка активизируется.

А н ч у г и н. А этому *(жест головой в сторону стены)* горя мало. Пилит и пилит.

У г а р о в. А что ему делать? Артист. Обеспеченный человек.

А н ч у г и н. Надоел.

Женский смех.

Вот еще тоже. Кобыла.

У г а р о в. А тут парочка поселилась. Молодые. Веселые... И водки им не надо. *(С надеждой.)* Федор Григорьевич! А кто пил с нами вчера?

А н ч у г и н. Не помню. *(Пауза.)* Беда... Отправили меня с тобой, на мою голову. Я три месяца не пил, а ты, змей, за три дня всего меня испортил.

У г а р о в. Да ладно, Федор Григорьевич, этим ты себе не поможешь. Где денег-то взять?

А н ч у г и н. Где их возьмешь?

У г а р о в. Занять.

А н ч у г и н. У кого?

У г а р о в. В том-то и вопрос. Думать надо. Соображать.

А н ч у г и н. Не могу я думать, у меня голова болит.

Молчание. Слышна скрипка.

(Вдруг вскакивает.) Замолчит он или нет? *(Хотел ударить кулаком по стене, но Угаров его удержал.)*

У г а р о в. Спокойно, Федор Григорьевич, так ты себе тоже не поможешь.

А н ч у г и н. Душу он мне выматывает.

У г а р о в. У него работа такая, зачем шуметь. Наоборот, артистов уважать надо. Они большие деньги заколачивают. *(Изображает игру на скрипке.)* Туда провел — рубль, обратно — опять же рубль. *(Неожиданно.)* Даст он нам трояк или нет?

А н ч у г и н. Он?

У г а р о в. А что тут такого? Так, мол, и так, не одолжите ли до завтра. Сегодня даем телеграмму — завтра получаем. А? Давай, Федор Григорьевич.

А н ч у г и н. А почему я? Почему, к примеру, не ты?

У г а р о в. Ну, Федор Григорьевич. Я же твой начальник как-никак.

А н ч у г и н. Какой ты начальник. *(Помолчал.)* Не пойду.

У г а р о в. Федор Григорьевич! Ты посмотри на меня. Куда ж я пойду? Я же без ботинка!.. Ведь в таком виде нельзя появляться в обществе. Неприлично...

А н ч у г и н. Не пойду.

У г а р о в. Ладно. Ты иди к молодоженам, а музыканта я беру на себя, так уж и быть... Ну?.. Они сюда на машине прикатили — богатые, вдвоем опять же — добрые. Ты постучись, извинись, как полагается, поздоровайся. Мужа вызови в коридор.

А н ч у г и н. А кто он такой?

У г а р о в. Он? Да вроде бы инженер. Вызови его в коридор... Хотя — нет, не вызывай, проси при женщине, при женщине лучше...

А н ч у г и н. Учи ученого. *(Поднимается.)* Хрен с ним, к инженеру — попробую. *(Уходит.)*

У г а р о в *(набирает номер телефона)*. Товарищ скрипач?.. *(Этак непринужденно.)* Доброе утро... Ну и как?.. Как вам спалось?.. *(Сбавил тон.)* Виноват... Соседи ваши... Мы в основном, видите ли, по промышленности... Да нет, по номеру соседи, по гостинице... Да, да... Вот вы играете, а мы с другом слушаем и буквально наслаждаемся... Что?.. Вчера-то?.. Да, да. Было, было! *(Хихикает.)* Не говорите... *(Оправдывается.)* Это гости, знаете ли, гости... Они, все они... Люди, сами понимаете, простые, бесхитростные, чуть что — петь, плясать... Я с вами согласен. Совершенно верно... Приму к сведению... В чем дело?.. Дело, знаете ли, щекотливое, вопрос, можно сказать, обоюдоострый... Короче? Хорошо. Можно покороче... Не дадите ли вы нам взаймы — немного? Вы извините, конечно, но завтра мы получаем сумму... Что? Понятно... *(Видно, что разговор окончен. Бросил трубку.)* Жлобина!

Стук в дверь. Входит В а с ю т а со шваброй в руках. Васюта — пожилая, усталая женщина, с резким рассерженным голосом.

В а с ю т а *(осматривает комнату)*. Убирать будем?

У г а р о в. Можно. А можно и не убирать. Все равно.

В а с ю т а. Который день пьете? *(Прибирает номер.)*

У г а р о в. Который?.. Третий, Анна Васильевна. Третий, с твоего разрешения.

В а с ю т а. В честь чего пьете? На что? На какие такие капиталы?

У г а р о в. На свои, Анна Васильевна, на трудовые.

В а с ю т а. Господи! Что люди с деньгами делают! Видеть этого не могу.

У г а р о в. Это вы о чем?

В а с ю т а. О том. Я вот, к примеру, по копейке собираю, никак внучку одеть не могу, а вы на водку — сотнями, сотнями фугуете. Зло меня берет. *(Прибирается в шифоньере.)* Это что? Господи! Срам, да и только!

У г а р о в. Что, Анна Васильевна?

В а с ю т а. Да где же это видано, чтобы ботинок-то в урну класть.

У г а р о в. Что вы говорите! Как же он туда попал?

В а с ю т а. Вот и я говорю — как?

У г а р о в. Как?.. Самому удивительно.

В а с ю т а. Чистый срам... *(Пауза. Убирает комнату.)* А вот пока не забыла. От администрации вам напоминание: за номер не плачено за трое суток, да графин разбили третьего дня. Приготовьте денежки...

У г а р о в. Анна Васильевна! Ты меня убиваешь.

Входит А н ч у г и н.

Анна Васильевна, Анна Васильевна... Я понимаю, внуки, они заботу требуют, но бывает так, что и не выпить нельзя. Вот ты, Анна Васильевна *(об Анчугине)*, на него посмотри... Посмотри.

В а с ю т а *(отвлекается от уборки)*. Ну?.. Чего я на нем не видела?

У г а р о в. Ведь он человек нездоровый. Больной... *(Врасплох.)* Анна Васильевна, голубушка! Спаси. Дай три рубля до завтра.

В а с ю т а *(быстро)*. Нет, нет. Не дам. *(Расстроилась.)* Ни стыда у вас, ни совести! Сотнями швыряете, а просите — у кого? Нет! Нет! И не говорите и не думайте! *(Уходит.)*

А н ч у г и н. Удавится — не даст.

Пауза.

У г а р о в. А как соседи?

А н ч у г и н. Кто? *(Показывает.)* Они?.. Держи карман шире. Парень-то не дурак, образованный. У нас, говорит, свадебное путешествие, большие расходы, извини,

говорит, друг, и закрой дверь с той стороны! Отрубил. *(Жест в сторону стены.)* А этот?

Угаров. Отказал — то же самое.

Анчугин. Это дело гиблое. Никто не даст. *(Сел на постель, держится за голову.)* Не могу я. Черепок раскалывается.

Женского смеха больше не слышно. Слышна скрипка. Анчугин поднимается и колотит кулаком в стенку. Угаров его удерживает.

Угаров. Не скандаль, Федор Григорьевич. Что толку?

Анчугин. Мозги он мне сверлит, зараза.

Быстро стучит и входит Базильский, весьма горячий человек, со смычком в руках. Ему лет около пятидесяти.

Базильский. Что это значит? Зачем вы стучите в стену?

Анчугин. Ваша музыка мне надоела.

Базильский. О! Так я вам помешал? Извините! Я мешаю вам орать, реветь, рычать, простите великодушно.

Угаров *(снисходительно)*. Ну на первый раз, я думаю...

Базильский. Виноват, виноват! А вчера вы даже визжали. Вот вы *(показывает на Анчугина)* именно визжали. Это-то как вам удается — не понимаю.

Угаров. А вот так — получается.

Базильский. А теперь еще стучат в стену? Не слишком ли это, друзья мои?

Анчугин. Ваша музыка нам надоела. *(Помолчал.)* На нервы действует.

Угаров. Да, товарищ скрипач. У нас нервы не железные.

Базильский. Нервы? Разве у вас есть нервы?

Угаров. А то как же? У вас нервы есть, а у нас, выходит, нет?

Базильский. Представьте — не подозревал. *(Ходит по комнате.)* И сию минуту, представьте, не разумею, откуда у вас нервы и зачем вам нервы. *(Останавливается.)* А если они у вас есть, какого же черта вы стучите в стену?

Анчугин. Ваша музыка нам осточертела.

Угаров. Здесь вам не Дворец культуры, здесь гостиница, здесь люди отдыхают, между прочим.

А н ч у г и н. Все. И больше чтоб — ни звука. Ясно?

У г а р о в. Вот придем к вам на концерт — там играйте, пожалуйста, а тут...

Б а з и л ь с к и й *(психанул)*. Что? Вы — на мой концерт?.. Зачем?.. За-че-ем?

У г а р о в. Как это — зачем? Послушать. Получить удовольствие.

Б а з и л ь с к и й. Удовольствие?.. Не пугайте меня, черт подери! Не надо! *(Бегает по комнате.)* Сто лет не ходили и еще сто лет не ходите — ради бога! Вы в балаган отправляйтесь, в кабак! Туда, туда — прямиком.

У г а р о в *(несколько озадачен)*. Что вы против нас имеете?

Б а з и л ь с к и й. А ко мне — нет! Ко мне — не надо! У меня не смешно! Не смешно! И никаких удовольствий! Лучше я буду играть в пустом зале! И не мешайте мне работать, черт вас возьми! *(Уходит стремглав.)*

Маленькая пауза.

А н ч у г и н. Заводной мужик.

У г а р о в. Видно, народ на него не ходит — деньга не идет.

А н ч у г и н. Деньга есть. Жмется.

Вновь слышна скрипка.

У г а р о в *(осматривает бутылки)*. Тридцать шесть копеек. Даем телеграмму?

А н ч у г и н. Кому?

У г а р о в. Надо подумать. Подать в управление — протянут дня три наверняка. Жене — не поймет. Остается матери... ей...

А н ч у г и н. Мать — конечно. Мать не подведет.

У г а р о в *(пишет в записную книжку)*. «Лопацк. Перова, два. Угаровой. Срочно сорок. Белореченск, главпочтамт. До востребования. Целую. Виктор». *(Считает количество слов.)* Раз, два, три... По три копейки... Уложились.

А н ч у г и н *(держится за голову)*. Три рубля — всего и надо-то. А я когда в геологии работал, три рубля мне было — раз плюнуть. Плюнуть и растереть. *(Презрительно.)* Три рубля! *(Помолчал.)* А ведь без них подохнуть можно.

У г а р о в. Да не ной ты, Федор Григорьевич. При-

думаем что-нибудь. В лесу мы живем, что ли? Неужели на свете нет добрых людей? Найдем. *(Поднимается, распахивает окно.)* Смотри, сколько народу. Полная улица...

А н ч у г и н *(подходит к окну)*. Ну?.. Вот и попроси у них. *(Помолчал.)* Чего не просишь? Проси...

Оба смотрят в окно.

Все они добры, когда у тебя деньги есть. А когда — нет?.. Вот я тебе сейчас покажу. *(Кричит в окно.)* Люди добрые! Граждане! Минуту внимания!

У г а р о в. Что ты? Зачем?

А н ч у г и н *(Угарову)*. Гляди, что получится. *(Кричит.)* Люди добрые! Помогите! Тяжелый случай! Безвыходное положение!

У г а р о в. Чего ты хочешь?

А н ч у г и н *(Угарову)*. Погоди. *(Кричит.)* Граждане! Кто даст взаймы сто рублей?

У г а р о в *(смеется)*. Не шути, Федор Григорьевич, милиция такие шутки не любит.

А н ч у г и н. Гляди на них. Смеются... *(Кому-то на улице.)* Ну, чего лыбишься? *(Угарову.)* Вишь, расплылся на сытый желудок... А другие будто и не слышат... А толстяк, гляди, даже ходу прибавил.

Угаров смеется.

Вот так. Вот они, твои люди добрые.

Оба отходят от окна.

Деньги, когда их нет,— страшное дело.

Помолчали.

У г а р о в. Смех смехом, а где же, действительно, взять три рубля?

А н ч у г и н. Фуфайку мою толкнуть? Новая.

У г а р о в. Или часы. Черт с ними.

А н ч у г и н. Часы теперь не в цене. Фуфайку — это вернее.

Стук в дверь.

У г а р о в. Да! Заходите.

Входит Х о м у т о в. Ему лет сорок. Одет он опрятно, держится скромно, даже неуверенно. Бывают мгновения, когда на него нападает вне-

запная задумчивость, рассеянность, невнимание к собеседнику. Но, впрочем, отвлечься от разговоров у него почти не будет возможности.

Хомутов. Добрый день.

Угаров. Здравствуйте.

Хомутов. Скажите, это вы просили денег?

Молчание.

Ну вот сейчас, из окна... Вы?

Анчугин. Ну и что?

Хомутов. Так вот я... Если деньги вам необходимы, то...

Угаров. Что?

Анчугин. Может *(усмехнулся)*, хочешь нам дать денег?

Хомутов. Да. Могу вам помочь.

Молчание.

Анчугин. А по шее ты получить не желаешь?

Хомутов. По шее?.. За что?

Анчугин. Ну так. Для смеха.

Хомутов *(улыбается)*. По шее не хочу.

Угаров. А что вы, собственно, хотите?

Хомутов. Хотел вам помочь. Но я вижу, что вы пошутили... Что ж. Возможно, это смешно... Извините. *(Идет к двери.)*

Анчугин. Подожди. А зачем ты приходил?

Хомутов *(остановился)*. Я же говорю: собрался вас выручать.

Анчугин *(усмехнулся)*. Хотел нам дать денег?

Хомутов. Да.

Маленькая пауза.

Угаров. Вы что, шутите?.. А может, издеваетесь?

Хомутов. Да нет, выходит, вы надо мной подшутили...

Угаров. Нам, знаете ли, не до шуток, мы сегодня не завтракали еще...

Хомутов *(не сразу)*. Я не понимаю, вам деньги нужны или нет?

Угаров *(Анчугину)*. Он предлагает на троих.

Хомутов. Ничего подобного.

Анчугин. Тогда не придуривайся. Говори, зачем пришел.

Хомутов. Я хотел вас выручить, но я не настаиваю. *(Идет к двери, но в это время Анчугин его окликает.)*

Анчугин. Слушай, друг... *(Подошел к Хомутову.)* Слушай. Полезай ты хоть в самую свою душу, разве ты вырвешь оттуда хотя бы три рубля? Нет?.. То-то...

Хомутов. Товарищи! Вы меня удивляете и обижаете даже... *(Достает деньги.)* Вот. Держите...

Угаров. То есть?

Хомутов. Держите, держите.

Угаров. В каком смысле? *(Деньги берет.)*

Хомутов. Берите, берите, пользуйтесь, что вы, действительно. Надеюсь, и вы меня выручите, если придется... *(Задумчиво.)* Всем нам, смертным, бывает нелегко, и мы должны помогать друг другу. А как же иначе? Иначе нельзя... *(Маленькая пауза.)* Ну хорошо. Раз уж вы так щепетильны — вот мой адрес. *(Подошел к столу, написал адрес.)* Вот адрес. Вернете, если вы иначе не можете. Но предупреждаю, можете и не возвращать...

Угаров. Как — не возвращать?

Хомутов. Так, не возвращать. Счастливо вам. До свидания. *(Уходит.)*

Молчание. Потом Угаров боязливо считает деньги.

Анчугин. Сколько?

Угаров. Сто! *(Бросает деньги на стол. Пауза.)* Слушай, мне это не нравится... *(Небольшая пауза.)* Тут что-то не то... У меня такое впечатление, что нас сейчас будут бить... А, Федор Григорьевич?

Анчугин *(считает деньги)*. Сто...

Угаров. Слушай, вроде я его где-то видел. Ты не видел?.. А вчера его здесь не было?.. Нет?.. Вроде — нет...

Анчугин. Погоди-ка. *(Быстро уходит.)*

Угаров *(садится у стола перед деньгами)*. Не было печали... *(Оглядывает комнату, быстро и как-то воровато прибирает постели, наводит в комнате порядок, деньги прикрывает газетой.)* Черт знает что... *(Размышляет. Открывает дверь, заглядывает в коридор. Потом — громко.)* Анна Васильевна!..

Васюта появляется, останавливается в дверях.

Анна Васильевна, вы умная женщина, а вот скажите... Вот, допустим, приходит к вам незнакомый чело-

век, здоровается честь по чести, разговаривает, потом ни с того ни с сего достает пачку ассигнаций и говорит: «Вам надо сто рублей — держите». И уходит. Может такое быть? А?

Васюта. Глупости... Чего звали? Денег не дам, не просите.

Угаров. Спасибо, Анна Васильевна. Все. Вы — умная женщина. Дай вам бог здоровья, живите еще сто пятьдесят лет.

Васюта. Делать вам, пьяницам, нечего. *(Уходит.)*

Угаров прикрывает дверь, подходит к столу, снова считает деньги, просматривает их на свет. Появляется Хомутов, ведомый Анчугиным.

Анчугин. Вот. *(Указывает Хомутову на деньги.)* Забирай ссуду. Ну тебя к черту.

Хомутов. Но ведь я их вам отдал, ведь это некрасиво. И потом они вам нужны, зачем же...

Угаров *(перебивает)*. Послушайте, вас как — совсем отпустили или так... Ненадолго?

Хомутов. Откуда отпустили?

Угаров. Ну... Из дома...

Хомутов. На неделю, какое это имеет значение.

Угаров. На неделю да еще без присмотра. Непорядок.

Хомутов. Эти деньги... Как вам сказать... Словом, у меня есть деньги, а эти — они мне не нужны.

Анчугин. А может, денежки вовсе и не твои, а?

Хомутов. А чьи они, по-вашему?

Угаров. Я извиняюсь, но они у вас не фальшивые?

Хомутов. Да что такое, товарищи! Это же глупо, наконец. Я же от души, поймите!

Анчугин. Скажи откровенно: Лензолото или Мамслюда?

Хомутов. Не понимаю.

Анчугин. Откуда аванс, подъемные то есть? Лензолото? Или Мамслюда?

Хомутов. Какое Лензолото? Какая Мамслюда? Бог с вами!

Угаров. Так... А между прочим, вы в бога верите?

Хомутов. В бога?.. Нет, но...

Угаров. Но? В секте случайно не состоите?

Хомутов разводит руками.

А кто вы, собственно, такой? Где работаете?

Хомутов. Я?.. Ну агроном я.
Анчугин. Агроном?
Хомутов. Агроном.
Анчугин. Сеем, значит, пашем.
Хомутов. Сеем, пашем.
Анчугин. Колхоз, конечно, миллионер?
Хомутов. Миллионер, да...
Анчугин. Рабочей силы, конечно, не хватает.
Хомутов. Рабочей силы?.. Да, не хватает. Ну и что?
Анчугин. Так сразу бы и говорил. Дом, конечно, срубите, корову дадите, а?
Хомутов. Да нет же! Просто даю. Выручаю. Почему же вы мне не верите?

Маленькая пауза.

(Вдруг.) Скажите, у вас родители живы?
Угаров. А что? Почему вы спрашиваете?
Хомутов. Да так, интересно...
Анчугин. Из милиции, что ли? *(Достает документы.)* Тогда — на, смотри.
Угаров. А может, из органов? А какой интерес? Мы люди маленькие — он шофер, я экспедитор. Какой интерес?
Хомутов. Ерунда. Еще раз повторяю. Просто даю... Бескорыстно... Не возьмете?
Анчугин. Воздержимся.
Угаров. Я чувствую, возьми я эти деньги — и на мне потом долго будут возить воду.
Анчугин *(отдает Хомутову деньги)*. На. Пересчитай.
Хомутов *(положил деньги в карман)*. Я вижу, простое человеческое участие вам непонятно. К сожалению... Что ж. До свидания. Не поминайте лихом. *(Идет к двери.)*
Анчугин *(останавливает Хомутова, положил ему руки на плечи, получается — обнял)*. Послушай, друг, ну не морочь ты нам голову. Объясни хоть на прощанье, признайся. А то ведь я и спать не буду, ну в самом деле. Сто рублей просто так, за здорово́ живешь — ну кто тебе поверит, сам посуди...
Хомутов *(не сразу)*. Я хотел вам помочь.
Анчугин. Врешь. *(Вдруг скрутил Хомутову руки.)* Полотенце!

Угаров полотенцем связывает Хомутову руки.

Хомутов *(ошеломлен)*. Товарищи!.. В чем дело? Товарищи! *(Пытается освободиться.)*

Анчугин. Не дергайся... Расскажи все по порядку.

Хомутов. Товарищи! Что вы делаете?..

Угаров. Спокойно... спокойно.

Возня. Вторым полотенцем они привязывают его руки к спинке кровати.

Вот так... Поговорим спокойно, в деловой обстановке.

Анчугин. Рассказывай.

Хомутов. Развяжите меня. Сейчас же развяжите.

Анчугин. Скажи сначала, зачем приходил.

Хомутов. Я все сказал. Не понимаю, что вам от меня надо.

Угаров. Это мы вас спрашиваем: что вам от нас надо?

Анчугин. Откуда гроши, рассказывай. Где ты их взял?

Хомутов. Товарищи, но ведь это насилие, настоящее насилие. Развяжите меня, слышите?

Анчугин *(под носом у Хомутова покрутил своим кулаком)*. Если ты хлопочешь пенсию, то смотри, я могу тебе помочь.

Хомутов. За что?.. За то, что я хотел вас выручить?

Анчугин *(вдруг дружески)*. Ну хватит, кирюша. Хватит темнить. *(Сел рядом с Хомутовым. Доверительно.)* Слушай, ты можешь на нас надеяться.

Угаров. Целиком и полностью.

Анчугин. Не продадим, будь спокоен... Скажи-ка, деньжата-то ворованные, верно?

Угаров. Ну украл, ну что особенного, подумаешь — редкость.

Анчугин *(с надеждой)*. Украл?

Хомутов *(обозлился)*. Да! Да! Да! Украл! Это вас устраивает? Украл! Это вы понимаете!

Молчание.

Анчугин *(зло)*. Зачем же ты людям нервы трепал, а? Богородицу из себя выламывал, доброго человека! Приятно тебе было, а?

Хомутов *(растерянно)*. Но ведь вы же сами хотели... Вы даже добивались, чтобы я сказал вам, что деньги ворованные. Чего же вы нервничаете?

У г а р о в *(с сожалением)*. Не крал он, видно, что не крал. Другое... А что?

А н ч у г и н. Минутку. *(Из пиджака Хомутова достает документы, протягивает их Угарову.)* Посмотрим, что ты за птица.

У г а р о в *(читает)*. «Хомутов Геннадий Михайлович... Агроном».

А н ч у г и н. Агроном?

У г а р о в. Агроном. И фамилия как у агронома.

А н ч у г и н. Слушай, агроном, откуда же у тебя столько лишних денег?.. Вот мы отведем тебя в ОБХСС, пусть-ка они поинтересуются...

У г а р о в *(не сразу)*. А может, вы оттуда и есть?

А н ч у г и н. Откуда деньги? *(Подступает к Хомутову.)* Скажешь или нет?

У г а р о в. Не надо, Федя, не надо! Хуже будет. *(Удерживает Анчугина.)*

Х о м у т о в. Развяжите или вы за это ответите.

А н ч у г и н. Я тебе сейчас... *(Вырывается.)*

У г а р о в. Слушай... Давай-ка его развяжем. Мало ли что? Пусть идет себе подальше...

Борьба между Угаровым и Анчугиным.

А н ч у г и н. Нет... Он мне расскажет... Разъяснит по-человечески...

У г а р о в. А я тебе говорю... отпустим...

А н ч у г и н. А я говорю — нет.

Они таскают друг друга по комнате.

У г а р о в. Отпустим...

А н ч у г и н. Не выйдет...

Х о м у т о в. Прекратите, товарищи, прекратите!.. Остановитесь.

Борьба продолжается, но поскольку силы у них оказываются равными, оба устают и падают на кровать.

А н ч у г и н *(тяжело дышит, Угарову)*. Фраер... Барбос...

У г а р о в *(тяжело дышит)*. Дурак ты, Федор Григорьевич...

А н ч у г и н. Молчи, паразит.

У г а р о в. Нарываешься сам не знаешь на что... *(Поднимается и делает попытку развязать Хомутова.)*

Анчугин бросается на Угарова. И снова они сидят на кровати.

Дурак, дурак и есть.

Хомутов. Ну, а теперь?.. Может, вы меня развяжете?

Угаров. Действительно, что нам с ним делать?

Анчугин. Ничего... Так он у меня не уйдет.

Угаров. Что делать, тебя спрашивают.

Маленькая пауза.

Анчугин. Позвать кого-нибудь. Людей позвать. Пусть рассудят. *(Поднимается, стучит в одну стену, потом в другую, выходит в коридор. Возвращается, распахнув дверь, стоит у порога.)* Проходите, граждане. Помогите, если можете.

Входят Базильский и Ступак со своей женой Фаиной. Ступак — упитанный молодой человек лет тридцати. Держится уверенно. Фаине лет двадцать, не больше. У Базильского в руках смычок и скрипка — по рассеянности. Васюта появляется вслед за ним.

Базильский. В чем дело?

Ступак. Что случилось?

Васюта. Это еще что такое?

Анчугин. Садись, Анна Васильевна, и слушай. Садитесь, граждане. *(Угарову.)* Введи в курс.

Угаров. Уважаемые соседи! Вы видите перед собой человека, который буквально за полчаса истрепал нам все нервы.

Базильский. Покороче.

Хомутов. Развяжите мне руки.

Ступак. А почему он связан? Он что, преступник?

Угаров. Может, и преступник, а может, и почище преступника. Так вот, поднимаемся мы сегодня, извиняюсь, с похмелья.

Анчугин. В общем, дело такое. Тут я давеча шутки ради крикнул в окно, мол, граждане, займите сто рублей.

Ступак. Мы слышали. По-моему, эта шутка возмутительная.

Базильский *(Анчугину, нетерпеливо)*. Продолжайте.

Анчугин. Ну пошутил, и забыли мы это дело. Тут вваливается этот гусь...

Угаров. Буквально нам незнакомый.

Анчугин. И говорит: «Это вы просили деньги?»

Угаров. Деньги нам нужны, конечно. Перехватить у соседей рубля три, ну десятку — это понятно...

Анчугин. А этот достает сотню, сто рублей то есть...

Васюта. Господи!

Анчугин. Достает и говорит: «Нужны, так берите, пользуйтесь».

Ступак. Не может быть.

Анчугин. Оставляет здесь эту сотню и уходит. *(Хомутову.)* Так или нет?

Хомутов. Рассказывайте дальше.

Анчугин. Ну я его, конечно, догоняю, волоку сюда, как, что, почему — растолкуй нам честно. Сто рублей — не шутки...

Угаров. А он нам — мораль. Помочь, говорит, хотел, от души, говорит, от всего сердца. Ну вот и бьемся мы тут с ним, а он на своем — просто, говорит, даю, бескорыстно... Что же это такое, а? Рассудите, люди добрые.

Ступак. М-да... Интересно...

Угаров. Может, мы не понимаем, действительно. Он шофер, я добываю унитазы для родного города — может, мы жизни не понимаем?

Васюта. Да он, поди, пьяный.

Анчугин. Трезвый он. Ни в одном глазу, в чем и дело.

Угаров. Вот вы, товарищ скрипач, вы человек серьезный, поговорите с ним как следует.

Хомутов. В самом деле, объясните им, втолкуйте...

Базильский. Скажите, а все, что они тут расписали...

Хомутов. Да, так и было.

Базильский. Но... Что же, сто рублей? В самом деле?

Хомутов. Да. Сто рублей.

Ступак. И как же — бескорыстно?

Хомутов *(с досадой)*. Да. Бескорыстно.

Ступак. Интересно... Интересно, почем нынче бескорыстие...

Базильский *(Хомутову)*. Подарить этим молодцам сто рублей?.. Загадочно...

Угаров. То-то и дело, что загадочно.

Ступак *(Базильскому)*. Ну это вы напрасно. Что тут таинственного? Жулик. Жулик, и только.

Фаина *(мужу)*. Зачем же ты так? Ведь неизвестно...

С т у п а к *(перебивает)*. Что неизвестно? Неизвестны мотивы, недаром же он их скрывает. Такую шутку может выкинуть только аферист, пройдоха, заведомо несерьезный человек. Словом, жулик.

В а с ю т а. Позвать администратора?

Б а з и л ь с к и й. А может быть, врача? *(Хомутову.)* Вы уверены, что вы здоровы?..

Х о м у т о в. Я здоров. А вот с вами что, товарищи? Неужели все вы этого не понимаете? У одного человека ни копейки, у другого червонцы. Одному деньги необходимы, а другой их копит. Так вот, второй дает первому, делится с ним, помогает. Что же тут особенного? Это же так просто.

С т у п а к. Это ерунда. Идеализм, но скорее всего, жульничество.

Х о м у т о в. Послушайте, все мы больше всего заботимся о себе. Но при этом нельзя, поверьте мне, нельзя вовсе забывать о других. Приходит час, и мы дорого расплачиваемся за свое равнодушие, за свой эгоизм. Это так, уверяю вас...

С т у п а к. Бред. И притом религиозный. Бред и вранье.

Х о м у т о в *(Ступаку)*. Да-а, я вас понимаю. Сами вы, как видно, никому не поможете. Так хотя бы поймите другого, того, кто помогает. *(Всем.)* Неужели не понимаете?

У г а р о в. Здесь не такие дураки, как вы думаете.

С т у п а к. Возможно, вы ищете популярности? Наживаете моральный капитал? Тогда понятно.

Б а з и л ь с к и й. Непостижимо! В этом городе никто, кроме старух и вундеркиндов, не посещает концертов. А интеллигентные люди вместо того, чтобы заботиться о культуре, пьют водку и стараются во что бы то ни стало удивить белый свет. Зачем вы это делаете? Для чего? Этим самым вы развращаете публику, понимаете вы это?.. Нет, не верю я в вашу доброту! Это чертовщина какая-то — наверняка! Не удивительно, если завтра эта история попадет в газету.

С т у п а к. Может, вы журналист и добываете себе фельетон? А может — новый почин?

Ф а и н а *(мужу)*. Перестань.

Х о м у т о в. Вот уж в самом деле: сделай людям добро, и они тебя отблагодарят.

С т у п а к. Бросьте эти штучки. Кто вы такой, чтобы раскидываться сотнями? Толстой или Жан Поль Сартр?

Ну кто вы такой? Я скажу, кто вы такой. Вы хулиган. Но это в лучшем случае.

Васюта. Да откуда ты такой красивый? Уж не ангел ли ты небесный, прости меня, господи.

Базильский. Увы, с ангелом у него никакого сходства. *(Хомутову.)* Вы шарлатан. Или разновидность шарлатана.

Хомутов. Ну, спасибо. Буду теперь знать, как соваться со своим участием.

Ступак. Бросьте. Никто вам здесь не верит.

Маленькая пауза.

Фаина *(всем)*. А что, если в самом деле?.. Если он хотел им помочь. Просто так...

Ступак *(кричит)*. Не говори глупостей!

Фаина *(ужаснулась)*. Почему ты на меня кричишь?

Ступак. Потому что — не лезь куда не следует!

Фаина *(Хомутову)*. Слышите, я вам верю. Верю, что вы делаете это просто так...

Ступак. Дура! Просто так ничего не бывает. И никогда! Запомни это!

Угаров. Это уж факт, девушка. Просто так ничего не бывает.

Фаина *(всем)*. Вы так думаете?

Васюта. А то как еще?

Фаина *(Базильскому)*. И вы так считаете?

Базильский. Как я считаю, что я считаю — это еще ничего и никогда не изменило. *(Встал в стороне, скрестив руки на груди.)*

Ступак *(Фаине)*. Не суйся тут со своей наивностью! *(Сбавил тон.)* Прошу тебя.

Фаина. Значит, все, что ни делается,— все не просто так?

Васюта. Все, милая, все — даже и не сомневайся. И помощь и участие — все теперь не просто. Уж любовь, и та...

Фаина. Что — любовь?

Васюта. Что — любовь? А то, милая, что любовь любовью, а, сама знаешь, с машиной-то, к примеру, муж лучше, чем без машины.

Ступак *(кричит)*. Замолчите!

Васюта. А что, разве неправду говорю?

Фаина садится на кровать рядом с Хомутовым.

Ступак *(Васюте)*. Чего вам тут надо?

Васюта. Да я не вам говорю — ей. Пусть знает свое место. Вам же на пользу.

Ступак. Заткнитесь вы, старуха!

Васюта. А вы чего орете?

Фаина. Чего он орет?.. Да машина-то не его. Машина-то моя.

Анчугин *(Хомутову, с угрозой)*. Смотри, агроном. Смущаешь ты людей...

Ступак *(Фаине)*. При чем здесь машина? Как тебе не стыдно? *(Всем.)* Товарищи! Что здесь происходит? Это просто чудовищно! Мы же все перегрыземся. И все из-за него! Из-за него! Он провокатор! Он всех нас оскорбил! Оклеветал! Наплевал нам в душу! Его надо изолировать. Немедленно!

Анчугин. Пусть скажет сначала, зачем приходил.

Все, кроме Фаины, подступают к Хомутову.

Угаров. Откуда деньги?

Анчугин. Зачем давал? За что?

Базильский. Вы можете наконец назвать истинную причину?

Ступак *(кричит)*. Говорите, черт возьми!

Маленькая пауза.

Хомутов *(страдальчески)*. Я хотел им помочь.

Гул возмущения. Все, кроме Фаины, кричат и говорят разом: «Псих!», «Пьяница!», «Жулик!», «Врешь!», «Покалечу!»

Базильский. Маньяк! Уж не воображаете ли вы себя Иисусом Христом?

Фаина *(встает между Хомутовым и надвигающейся на него компанией)*. Остановитесь! *(Кричит.)* Опомнитесь!

Все останавливаются.

Хомутов. Чего вы от меня добиваетесь? Чего хотите?.. Сказать вам, что я зарезал?.. Ограбил?.. Убил?

Ступак. Не исключено. Я даже уверен, что мы раскрыли преступление. Позвонить в милицию — и делу конец. *(Подходит к телефону.)*

Базильский. Нет, нет. Звоните в больницу. Это мания величия. Определенно. Он вообразил себя спасителем.

Молчание.

Ступак *(набирает номер.)* Справочное! Номер психбольницы... Спасибо. *(Набирает номер.)*

Хомутов *(хрипло)*. Хорошо. Развяжите... Я все объясню.

Маленькая пауза. Анчугин развязывает Хомутова.

(Медленно.) Вы меня убедили, вы сможете сделать со мной что угодно... Но я не намерен сидеть в сумасшедшем доме. Мне некогда... Я приехал сюда на неделю... *(Помолчав.)* В этом городе жила моя мать... Она жила здесь одна, и я не видел ее шесть лет... *(С трудом.)* И эти шесть лет... я... я ни разу ее не навестил. И ни разу... Ни разу я ей не помог. Ничем не помог... Все шесть лет я собирался отправить ей эти самые деньги. Я таскал их в кармане, тратил... И вот... *(Пауза.)* Теперь ей уже ничего не надо... И этих денег тоже.

Васюта. Господи!

Хомутов. Я похоронил ее три дня назад. А эти деньги я решил отдать первому, кто в них нуждается больше меня... Остальное вам известно.

Молчание.

Теперь, надеюсь, вы меня понимаете?

Маленькая пауза.

Анчугин. Браток... Так что же ты раньше не сказал?

Хомутов. А кому захочется в этом-то признаваться?

Васюта. Господи, грех какой...

Угаров. А мы-то, а?.. Нехорошо вышло.

Базильский *(Хомутову)*. Простите, если возможно...

Угаров *(Васюте, негромко)*. Вина...

Васюта исчезает.

Базильский *(удивляется)*. Это ужасно, ужасно. С нами что-то приключилось. Мы одичали, совсем одичали...

Анчугин *(садится рядом с Хомутовым)*. Прости, друг. Не серчай.

Угаров. Если б знали, какой разговор...

Ступак. Извините, разумеется. Но получается, что мы с вами квиты. Сегодня я в первый раз поссорился со своей женой. *(Фаине.)* Перестань дуться. Как видишь, у товарища несчастье. *(Подходит к Фаине.)* Ну, извини меня. *(Хотел взять ее за руку.)* Ну не дуйся.

Фаина *(убрала свою руку)*. Не трогай, пожалуйста.

Ступак. Да?.. Даже так?

Фаина молчит.

А ну идем! *(Пошел к двери, остановился.)* Или ты намерена здесь оставаться?

Фаина. Да, намерена.

Ступак. Да?.. Ну как хочешь. *(Выходит.)*

Базильский *(Хомутову)*. Прошу вас, не думайте, что мы уж такие отпетые... Это было что-то ужасное, наваждение какое-то, уверяю вас... Мы должны были вам верить — конечно! Мы были просто обязаны...

Появляется Васюта с вином, Угаров немедленно начинает наполнять стаканы.

Анчугин *(Хомутову)*. Пойми, браток. Деньги, когда их нет,— страшное дело.

Васюта. Бог с ними, с проклятыми. Где деньги, там и зло — всегда уж так.

Угаров *(Хомутову)*.Что поделаешь... *(Со стаканом в руке.)* За вашу маму... Так сказать, за помин души... Извините. *(Выпивает.)*

Анчугин *(Хомутову)*. Так это... не горюй. Выпей, брат, вина.

Анчугин, Васюта и Хомутов медленно выпивают.

Фаина. И мне дайте. *(Выпивает.)*

Молчание. Базильский, стоя у дверей, не знает, что делать — уйти или остаться.

Угаров. А вы, товарищ скрипач, присаживайтесь. *(Помолчал, потом, обращаясь ко всем.)* Ну что же теперь поделаешь?

Хомутов *(встрепенулся)*. Да нет, товарищи, ничего, ничего. Жизнь, как говорится, продолжается...

Пауза.

Анчугин *(запел)*.

Глухой неведомой тайго-о-ою...

У г а р о в *(Базильскому)*. Подыграйте, товарищ скрипач.

А н ч у г и н *(продолжает)*.

Сибирской дальней стороной
Бежал бродяга с Сахали-и-ина
Звериной узкою тропой...

Анчугин и Угаров повторяют две последние строки вместе. Базильский вдруг подыгрывает им на скрипке. Так они поют: бас, тенор и скрипка.

З а н а в е с

ДОМ ОКНАМИ В ПОЛЕ

Комедия в одном действии

Действующие лица

Астафьева — заведующая молочной фермой.
Третьяков — учитель.
Хор за сценой.

Занавес открывается, и мы видим большую опрятную комнату — печь, стол, скамью. На лавке букет июньских цветов, на стене ковер с изображением оленей. Здесь же несколько цветных фотографий из журнала «Огонек». Входная дверь слева, справа — дверь в спальню, прямо — два окна. У входной двери висит белый халат. Обстановка говорит о том, что в этом доме живет одинокая женщина. На дворе сумерки.

Астафьева появляется из спальни с бельем в руках. Задержалась у окна, подошла к столу, включила утюг. Астафьевой двадцать шесть лет, это привлекательная женщина. Перебирая белье, она с некоторой грустью задерживает в руках рубашку. Думает в это время, вероятно, о том, что время, в сущности, летит так быстро. Вдруг выключила утюг, быстро подошла к окну. Наблюдает, ждет, взволнована. Вот — увидела. Бросилась в спальню, вернулась, включила утюг, принялась гладить. В эту минуту раздается стук в дверь.

Астафьева. Да-да! Пожалуйста!

Входит Третьяков, двадцати восьми лет. Симпатичен, толстоват и медлителен. Он с чемоданом, настроение у него растерянно-элегическое.

Третьяков. Добрый вечер, Лидия Васильевна.

Астафьева. Добрый вечер, Владимир Александрович.

Третьяков. Вот... Зашел, так сказать, откланяться...

Астафьева. А я думала, чего доброго, не попрощавшись уедете.

Третьяков. Ну что вы, как можно! Я с чемоданом с самого обеда. Обошел всю бригаду...

Астафьева. Ко всем, значит, зашли... Устали?..

Третьяков. Знаете, устал.

Астафьева. Устали... А тут еще к Астафьевой надо зайти. Вежливый вы, Владимир Александрович, через вежливость и страдаете...

Третьяков. Нет. Всех хотел видеть... Три года — все-таки не шуточки. Три года... И, знаете, только сегодня, в день отъезда, вдруг выясняется, что меня здесь все любят!

Астафьева. А почему бы вас, Владимир Александрович, не любить?..

Третьяков. Второгодники, оказывается, и те меня любят! Очень трогательно.

Астафьева. А что, вы хороший были преподаватель...

Третьяков. Говорят, чтобы добиться признания, надо умереть. Не обязательно. Можно просто уехать...

Астафьева. Хороший вы были преподаватель... Вот только чуткости вы мало проявляли и активности...

Третьяков. Откуда у меня активность, если я меланхолик?

Астафьева. Самодеятельность бы подняли, раз меланхолик...

Третьяков. Меланхолики ничего не поднимают. Им и так трудно... *(Садится.)* Через полчаса уходит автобус.

Астафьева. Спасибо, что зашли... Уважили.

Третьяков. Лидия Васильевна, разве я мог уехать, не повидавшись с вами?! К вам — последний визит. Для памяти...

Астафьева. Дом мой последний стоит. По пути...

На улице возникла песня. Она медленно приближается.

Третьяков. Да... Дом ваш последний. В хорошем он месте! Окнами в поле. И в лес. Уеду и буду вам завидовать.

Астафьева. Спасибо и на этом...

Третьяков. Вы, конечно, замечали, что я был к вам неравнодушен. Да, да! Да и вы, Лидия Васильевна... Скажете — нет? Помните май! Все могло быть по-другому... Ничего не было... Даже грустно. Вам не грустно?

Астафьева. К чему это вы говорите?..

Третьяков. Я уезжаю, могу я быть откровенным?

Песня совсем рядом.

Астафьева. Я помню май... Вы веселый были... Никогда я вас таким больше не видела.

Третьяков. Лидия Васильевна, скажите откровенно, на прощание — что было бы, если бы я тогда сел в ваш ходок?

Астафьева. Что ж... ничего. Поехали бы вместе...

Третьяков. Да... Я так и думал.

Астафьева. Я май хорошо помню... Вы пели, у вас ведь голос хороший, никогда бы не подумала...

Третьяков (*засобирался*). Нет у меня никакого голоса... Пойду, Лидия Васильевна, я житель городской и не могу петь без аккомпанемента...

Астафьева. А из леса тогда мы за вами следом ехали... Вы видели?..

Третьяков. Да, да... Будем вспоминать...

Астафьева. А я думала, вы к нам в ходок сядете...

Хор останавливается под окном. Хорошо слышна мелодия, но слов не разобрать.

Третьяков. Так вот... Прощайте, Лидия Васильевна! Я думаю, мы еще встретимся. Мир тесен...

Подают друг другу руки.

Где-нибудь, когда-нибудь... Счастливо оставаться... (*Отворил дверь.*)

Песня — громко.

Хор.

Несет Галя воду,
Коромысло гнется,
Стоит Ваня подле,
Над Галей смеется...

Астафьева (*вдруг*). Постойте!

Третьяков (*прикрыл дверь*). Да?

Слышна лишь мелодия.

Астафьева (*решительно*). Я вас не пущу.

Третьяков. В чем дело?..

Астафьева (*лукавит с большим искусством*). Сейчас я вас не пущу.

Третьяков. Почему, Лидия Васильевна?

Астафьева. Слышите?

Третьяков. Что?

А с т а ф ь е в а. Они остановились под окном.
Т р е т ь я к о в. Кто?
А с т а ф ь е в а. Вы что, не слышите?
Т р е т ь я к о в. Поют. Ну и пусть...
А с т а ф ь е в а. Садитесь, Владимир Александрович, послушаем... *(Приоткрыла дверь.)*
Х о р.

Ой ты, Галя, Галя,
Дай воды напиться,
Может быть, я, Галя,
Не буду журиться...

Т р е т ь я к о в. Я опаздываю, Лидия Васильевна...
Х о р.

Я не дам тебе воды,
Вода ключевая,
Ты не любишь меня,
У тебя другая...

А с т а ф ь е в а *(закрыла дверь)*. Славно поют!
Т р е т ь я к о в *(мягко)*. Это не имеет никакого значения. Я должен ехать. Даже если бы за окном был хор Пятницкого. Все равно. Даже тем более.
А с т а ф ь е в а. Сейчас я вас не пущу.
Т р е т ь я к о в *(в недоумении)*. Мне понятно ваше настроение... Я сам... Я тронут, но... мне некогда.
А с т а ф ь е в а. Вы уйдете...
Т р е т ь я к о в. Откройте же!
А с т а ф ь е в а. Но не сейчас...
Т р е т ь я к о в. Что случилось?
А с т а ф ь е в а. Сейчас десять часов вечера.
Т р е т ь я к о в. Ну и что?
А с т а ф ь е в а. Я говорила — вы нечуткий...
Т р е т ь я к о в *(задумчиво)*. Так... И неактивный?
А с т а ф ь е в а. Это уж само собой...
Т р е т ь я к о в. Так...

Подходит к Астафьевой.

Если я правильно понимаю, вы хотите, чтоб я ушел от вас утром?

Пытается обнять Астафьеву. Попытка, впрочем, довольно робкая.

А с т а ф ь е в а *(останавливает его)*. Вы ничего не поняли!

Третьяков *(обескуражен)*. Объясните! Сейчас мне уйти нельзя, утром — тоже... Когда в таком случае? Ночью? Днем? Завтра? Послезавтра?

Астафьева *(с достоинством)*. Вечером.

Третьяков. Но почему, Лидия Васильевна?! Вы, кажется, издеваетесь?

Астафьева. Десять часов вечера... Подумайте, что они скажут, если вы выйдете в такое время из моего дома?

Третьяков. Кто — они?

Астафьева. Вы что, не слышите?

Третьяков *(раздосадован)*. Ах, вон что вас беспокоит! Что скажут?..

Астафьева. Да! Что скажут...

Третьяков. Они ничего не скажут, просто что-нибудь споют.

Астафьева. Сначала споют, потом начнут сплетничать. Вы что — не знаете?

Третьяков. Какие могут быть сплетни? Я уезжаю, зашел проститься. Разве из этого можно сочинить сплетню?

Астафьева. Вы-то уедете, а они останутся и будут думать...

Третьяков. Лидия Васильевна, пусть думают, нельзя же им все время петь.

Астафьева. Вам-то, вы уедете, а я... потом замуж не выйду.

Третьяков. Что?! Выходит, перед отъездом я должен выдать вас замуж?

Астафьева *(теперь она иронизирует)*. Тише, Владимир Александрович! Вы еще не в городе.

Третьяков. В городе мне, помнится, говорили: тише — вы не в лесу!

Астафьева. У нас уж так... Не взыщите!

Третьяков. Лидия Васильевна, не будем ссориться — откройте двери!

Смотрит на часы.

Астафьева. Не могу. Мы люди отсталые, с предрассудками...

Третьяков. Это вы-то! Ай-яй! Заведующая фермой, активист, передовая женщина! Вы меня удивляете.

Астафьева. Чему вы удивляетесь? У нас на ферме

плохо с культурно-массовой работой. Разве не читали в газете?

Третьяков. Не читал.

Астафьева. Зря. Там и про вас сказано: «Куда смотрит интеллигенция?»

За окном пение смолкло, но заиграли на гармонике. Послышался шум прошедшей машины.

Третьяков. Автобус!

Астафьева. Но полянка-то еще не разошлась. Вот она, рядом.

Третьяков *(с нетерпением)*. Черт возьми! Что же вы предлагаете?

Астафьева *(невинно)*. Хотите — чаем угощу?

Третьяков. Бездельники! Сколько можно петь и плясать!

Астафьева. Почему бы не поплясать? Только что отсеялись. Скоро сенокос.

Третьяков. Ну знаете, я в вас разочаровался. Мне о вас иначе говорили.

Астафьева *(кротко)*. А вам надо было проверить — так ли все, как говорили. Время у вас было...

Третьяков. Если вы считаете, что мне неприлично выйти в дверь,— выпустите меня в окно!

Астафьева. Ну да! На дворе луна, светло как днем! Не знаю уж, как в городе, а у нас через окно ходить не принято.

Третьяков. Неужели? Что же у вас принято в таком случае? Может быть, вылететь в трубу?

Астафьева. Попробуйте.

Третьяков. Не понимаю, чем вас смущает окно? Если увидят, скажете — вор. Дескать, учитель украл у вас шерстяную кофту.

Астафьева. Придумал!

Третьяков. Скажите что угодно, только отпустите наконец!

Астафьева *(мстительно)*. Не кричите на меня! Вы мне уже надоели. Как только они уйдут — пожалуйста, скатертью дорожка!

Третьяков. Спасибо. Автобус уйдет — где, интересно, я буду ночевать? Под сосной? Квартиру мою, между прочим, успели уже заколотить.

Астафьева. Если бы вы не кричали, а вели себя деликатно, я бы вам, так уж и быть, на лавке бы постелила.

Третьяков. Да? Вы очень любезны. Только я не желаю с вами больше разговаривать.

Сели в разных концах комнаты. Помолчали. На улице снова пение.

«Деликатно»... Что же все-таки делать? Может, мне жениться на вас? Из деликатности...

Астафьева. Да я за вас никогда и не пошла бы.

Третьяков. Да ну? Вы же ко мне были неравнодушны. Скажете — нет? За вас вся деревня переживала.

Астафьева. Симпатизировала, пока не знала, какой вы есть.

Третьяков. Какой я есть?

Астафьева. Грубый, каких много...

Помолчали. Песня.

Третьяков. Где ваш муж, сумасшедшая вы женщина?

Астафьева. Нет у меня никакого мужа. И не надо!

Третьяков. Да где тот, что был? Неужели сбежал?

Астафьева. Разве похоже, чтобы от меня муж сбежал?

Третьяков. Нисколечко. Это верно. От вас, пожалуй, сбежишь...

Астафьева. Сама ушла. Мой муж был грубый человек...

Третьяков. Я понимаю, вроде меня?

Астафьева. Вначале маскировался, стишки писал, потом запил... А других, Владимир Александрович, женихов здесь не было...

Третьяков. Где он сейчас?

Астафьева. Уехал киномехаником.

Третьяков. Давно?

Песня удаляется от окна.

Астафьева. Пять лет прошло...

Третьяков. А мне говорили — четыре...

Астафьева. Ошиблись... *(Подходит к окну.)* Ну вот... Плен ваш кончился. Полянка расходится.

Третьяков. Действительно...

Астафьева. Зря горячились — успеете...

Третьяков. Простите меня...

Астафьева. Да нет, это вы меня извините. Все я придумала. Не боюсь я никаких разговоров, никакого мнения! Пошутила я, Владимир Александрович. На прощание. Взяла и пошутила — что мне?

Третьяков. Я же говорил, что вы издеваетесь...

Астафьева *(открывает дверь)*. Извините, что задержала...

Третьяков. Но... они... они, собственно, еще рядом...

Астафьева. Никак теперь вы боитесь, что люди подумают?

Третьяков. Нет... Но все-таки обидно. Ведь напрасно подумают, вот что обидно!

Астафьева. А вы огородом, огородом — незаметно... Идите, не то в самом деле опоздаете...

Третьяков. Я успею. Шофер знает, что я сегодня уезжаю, подождет...

Астафьева. Уезжайте, что вам здесь делать? Кого вам здесь любить, с кем разговаривать?! Отбыли свое — и уезжайте! Уезжайте в свой чудесный город! Он по вас скучает! Давно! И как только он там, горемычный, без вас? Я даже не знаю...

Третьяков *(задумчиво)*. Действительно... Как он там без меня, горемычный?..

Астафьева. Что и говорить! Вы проспали, все три года спали — и проспали! И видели во сне огни ваши голубые и проспекты! Что — я не знаю?.. Вы ходите там по мокрым улицам, все молодые, все гордые, и никто не знает, о чем вы думаете... А здесь — поле и лес, здесь все понятно, и вы — спите. И сейчас вы спите...

Третьяков. Нет, не сплю. Выспался. За три года выспался...

Астафьева. Вы шутите, вы всегда шутите, шутите и ждете отъезда... Вот вы его и дождались, отбыли свое, ну и прощайте!.. Зачем только вы сюда приезжали!.. Уходите.

Третьяков *(растерян)*. Минутку... Вы загибаете, уверяю вас... Летом в городе душно...

Астафьева. Зато — весело!

Третьяков. Летом город пуст...

Астафьева. В городе много развлечений!..

Третьяков. Ничего нового не придумали...

Слышится ворчание автобуса, затем — два сигнала.

А с т а ф ь е в а. На дороге. Вас кличет.

Т р е т ь я к о в. В ваши окна не видно дорог. Поле и лес, поле и лес... У вас зеленые глаза, вы наяда, сирена, от вас надо спасаться бегством...

А с т а ф ь е в а. Перешагнуть порог, чего проще...

На улице снова возникает песня.

Т р е т ь я к о в. «Перешагнуть порог...» Это сложная задача. Дураков полно по ту и по другую сторону порога...

Маленькая пауза.
Песня приближается. Теперь это частушки.

Это точно, глупости человек делает перед порогом. И хорошо, когда ты подготовлен заранее. А если нет?.. Я три года преподавал в вашем селе географию. Преподавал географию и спал. Тихо, спокойно. И мне кажется, я не вовремя проснулся. Проснулся я перед порогом. Вы понимаете мои переживания?..

Песня остановилась под окном.

А с т а ф ь е в а. Они вернулись... Они остановились под окном!

Третьяков приоткрывает дверь.

Х о р.

Я по улице иду,
Иду и примечаю,
На белы ставни погляжу —
Головкой покачаю...

Т р е т ь я к о в *(закрыл дверь)*. Что же дальше?..

А с т а ф ь е в а. Что дальше?.. Вам лучше знать, что дальше...

Т р е т ь я к о в. Лидия Васильевна, порог этот — ваш... Я лунатик, в минуту я должен решить задачу, где почти все неизвестно. Я лунатик, снимите меня с крыши, посадите в автобус или...

Стук в дверь. Третьяков замолчал.

А с т а ф ь е в а *(подходит к двери)*. Кто?

Дверь чуть приоткрывается, но никто не входит.

Женский голос *(за дверью; громко)*. Лидочка! Ты учителя случайно не видела?.. Шофер его ищет, на станцию везти!

Астафьева смотрит на Третьякова вопросительно.

Третьяков. Скажите, что я здесь... Пусть... шофер зайдет.

Женский голос. По всей деревне ищет. Пропал педагог!

Астафьева *(громко)*. Он здесь. Пусть сюда подъедут.

Женский голос. Нашлась пропажа!.. Подъедут, сейчас подъедут!

Третьяков. Наконец они перестанут петь...

Песня тотчас обрывается.

Астафьева. Наслушались... на всю жизнь...

Третьяков. Они пели неплохо, надо признаться...

Астафьева *(держится мужественно)*. Без аккомпанемента.

Третьяков *(у окна)*. В ваши окна не видно дорог... Там нынче покосы?

Показывает рукой.

Астафьева. За Марьиным логом...

Третьяков. Марьин лог... Из города едут сейчас на дачи... В поле и в лес...

Астафьева *(отлично держится)*. Побалуются природой, отдохнут...

Слышно, как подъехала машина.

Третьяков. В город сейчас возвращаются сумасшедшие... Скажите, а вот приедет учитель вместо меня — его тоже здесь все полюбят.

Астафьева. А как же? Полюбим. Три года любить будем. Как полагается.

Третьяков. Мальчишка приедет, пижон с новеньким глобусом... Откроете мою квартиру, покажете мою школу и — полюбите... Грустная история.

Астафьева *(отчаянно)*. Ничего. Переживем!

Третьяков. А мне не нравится. И мальчик этот с глобусом — не нравится... Забавно, но сейчас решается его судьба. Он в моих руках.

Голос шофера *(за дверью)*. Как же понимать? Едет учитель или не едет?

Третьяков *(подошел к двери, открыл ее)*. Кеша, прости меня, пожалуйста. Прости, что пришлось долго ждать.

Голос шофера. Ничего, Владимир Александрович, бывает хуже...

Третьяков. Сегодня я никуда не еду...

Голос шофера. Завтра рейса нет. Выходной.

Третьяков. Ну, что ж, должен же ты когда-нибудь отдыхать.

Голос шофера. Обязан. Привет, Владимир Александрович.

Третьяков. До свидания.

Дверь остается открытой. В отдалении еще раз раздается песня.

Астафьева. Опять! Вы слышите?.. Поют... ненормальные...

Третьяков. Плевать, конечно, но все-таки интересно, о чем они только что говорили!

Астафьева смеется.

Занавес

МЕСЯЦ В ДЕРЕВНЕ, ИЛИ ГИБЕЛЬ ОДНОГО ЛИРИКА

Трагическая сцена-монолог

Сентябрь. Колхозная сушилка. Сквозь стену, требующую капитального ремонта, проглядывает осенний вечер. Вороха зерна, клейтон, бункера, совки и прочее. Работа окончена. Тихо и пусто.

Но вот из кучи мякины появляется Виктор Рассветов, студент лет двадцати. В городе он занимается сочинением стихов для своей знакомой (которая, кстати, тоже приехала в колхоз). Хочет стать поэтом, но не имеет для этого ничего, кроме маниакального желания. Ночами просиживает над экспромтами. Здесь он не причесан и не брит, в одежде нехудожественный беспорядок.

Рассветов *(стряхнув пыль с ушей)*. Так... Только это мне и оставалось: выспаться в мякине. Теперь еще пожевать овса, и можно запрягать в фургон. *(Осматривается.)* Труженики ушли. Завалили, мерзавцы, мякиной и ушли. Сейчас будут танцевать под двухрядную гармонику. Как они могут! В телогрейке, в сапогах... *(Ломается, паясничает.)* Разрешите вас ангажировать на мазурку. Пардон, я отдавил вам ножку... Как могут!

Но главное! Она-то, она! Сегодня я видел, как она грызла кость. Урчала и чавкала, как голодный динозавр. Это она, та, около которой я боялся дышать, чтобы не сдуть, как пушинку, с которой я говорил только рифмами, чтобы не оскорбить ее слуха. Родная сестра Лауры, Беатриче, Керн, она ворует дрова и ругается с кладовщиком, который вместо междометий употребляет самые последние ругательства. Вчера она заработала два трудодня, и... сколько радости, какой восторг!.. Два трудодня — праздник души, именины сердца! Тьфу! Когда я читал ей самые красивые и самые нежные свои вещи, она не улыбалась так, как улыбалась на комплимент Яшки-механизатора насчет того, что она сама завела зернопогрузчик. Где мы встречаемся! Ха-ха! Сцена на току, свидание на сушилке,

мимолетная встреча вечером у пилорамы. Ха-ха-ха! *(Поет на мотив фокстрота «На карнавале».)* На пилораме под сенью ночи... *(Вдруг задумывается, потом садится и переобувается. Вздыхает.)* Все наводит на размышление о бренности: рваные носки, раздавленная машиной курица... Все идет прахом, все обманчиво, как моя любовь. Что здесь может вдохновить поэта? Осень, березки? По мне березки хороши, когда их не надо пилить и таскать.

Зачем меня принесло сюда! Разве я не мог достать справку, что у меня болит печень! *(Долго и с нездоровым напряжением всматривается в стоящий рядом клейтон. Вдруг хватает лопату, бросается к клейтону.)* Чертова машина! Разнесу в щепки! *(Замахивается лопатой.)* Разнесу! *(Проваливается в бункер.)*

ЦВЕТЫ И ГОДЫ

Сцена

Начало июня. Вторая половина идеально ясного дня. Уголок городского сада. Кругом — большие клумбы цветов. Пылающие астры и георгины свидетельствуют о ярком расцвете деятельности горзеленхоза. Скамейка под самым большим кустом черемухи. Место веселое и такое тенистое, что отдыхающему при тридцати градусах тепла пожилому человеку невозможно пройти мимо этой скамейки.

Такой человек появляется. Это Лев Васильевич Потапов, невысокого роста, пожилой, вытирающий пот со лба. Врачи находят Льва Васильевича здоровым, но советуют употреблять меньше жирного и мучного.

Потапов *(усаживаясь с живостью, которая ему полезна)*. Отлично, отлично... Пусть она там разговаривает, а я отдохну... Милое местечко, и сколько цветов! *(Замечает дощечки с надписями: «Цветы не рвать!», «К цветам близко не подходить!», «Штраф».)* Вот обязательно такие глупости. Эти райские цветы хочется потрогать из любопытства. Интересно, на сколько оштрафуют, если нарвать букет цветов, к которым нельзя подходить близко. *(Задумывается, потом осматривается.)* Это место мне напоминает... Да, да... Здесь! Именно здесь! Здесь меня оштрафовали на десять рублей! Конечно! Со мной была Маша... Это двадцать лет назад! Черемуха разрослась, скамейка новая, скамейка лучше, а цветы все те же... Так же много, такие же яркие, такие же неприкосновенные. Ха-ха! Оштрафовали! Приятно вспомнить. *(Еще больше оживляется, что выражает яростным потиранием лысины.)*

Да, были и мы рысаками! Помню, я такой молодой, застенчивый. Любить тогда для меня значило говорить нежности и делать глупости. Любил, как могут любить только поэты-лирики. Да, приятно вспомнить...

Мне тогда и покраснеть ничего не стоило. Прощались мы тогда, помню, как-то... со скрытой нежностью. А Маша, Маша! Скромная была, прямо до изумления. И такая хорошенькая!

В тот вечер я в забывчивости сорвал что-то белое и благоухающее, выдал это за камелию — и ей на грудь. Тут свисток и квитанция. Помню, милиционер откозырял, приятно улыбнулся и сказал, как будто поздравил: «Прошу прощения. Служба!» С тех пор я ничего подобного не видел. Маша сначала смутилась, а потом смеялась целый вечер... А вот и она.

Появляется Мария Сергеевна Потапова — невысокая, с убывающей полнотой и прибывающими морщинками женщина.

Мария Сергеевна. Ты здесь? Евдокия Степановна рассказывает, что Вихляев уходит от жены к какой-то Чугиной, ты ее должен знать...

Потапов. Знаю. Это сестра нашего бухгалтера.

Мария Сергеевна. Подожди... Это такая старая...

Потапов. Твоих, примерно, лет.

Мария Сергеевна. О! Такая юная!

Потапов. Маша, садись. Посмотри, Маша, это место тебе ничего не напоминает?

Мария Сергеевна. Нет, ничего. А что?

Потапов *(игриво)*. Не напоминает? Ну, так я напомню. *(Рвет цветы с клумбы.)*

Мария Сергеевна *(испуганно)*. Лева! Ты с ума сошел!

Потапов. Вспомнила? *(Подает ей цветы и смеется счастливым смехом.)*

Мария Сергеевна. Что с тобой? *(Выхватывает у него цветы и, оглянувшись, бросает их в кусты.)*

Потапов *(с беспокойством)*. Неужели ты не вспоминаешь?

Мария Сергеевна *(рассерженно)*. Что ты плетешь? Что это за выходка? Штрафы платить? Деньги тебе девать некуда?

Потапов. Маша!

Мария Сергеевна. Это у тебя с жиру. Захотел дурачиться — ходил бы на голове или играл в этот... в гонконг, а то выдумал — цветы рвать!

Потапов *(грустно)*. Не гонконг, а пинг-понг.

Мария Сергеевна. Неважно, все равно глупость.

Потапов. Трудно представить, но когда-то ты была совсем другой, а теперь даже не в состоянии об этом вспомнить...

Мария Сергеевна. А ты всегда был таким же.

Потапов. Маша, нельзя же так...

Мимо проходит милиционер. Заметив его, Потапов издает торжествующее восклицание и бросается к клумбе, рвет цветы, но милиционер, может быть, с улыбкой уже прошел мимо и не заметил хулиганствующего Потапова. Мария Сергеевна отбирает у Потапова сорванные им цветы и забрасывает их в кусты. Потапов снова покушается на семью больших и ярких георгинов, но Мария Сергеевна удерживает его.

Потапов *(в тисках у Марии Сергеевны)*. Товарищ милиционер!

Милиционер подходит.

Милиционер. Гражданка, отпустите товарища.

Мария Сергеевна *(сердито)*. Это мой муж. *(Выпускает Потапова из объятий, но удерживает за руку.)*

Потапов. Товарищ милиционер!

Милиционер. Чем обязан?

Потапов. Видите! *(Показывает на общипанную клумбу.)*

Милиционер *(растерянно)*. Ну?

Потапов *(хвастливо)*. Моя работа!

Милиционер. Ну и что же?

Потапов. Как «что же»? Вы должны меня оштрафовать.

Мария Сергеевна. Он шутит. Вы не обращайте внимания. Извините, мы пойдем... *(Тянет мужа за руку, тот упирается.)*

Милиционер *(вдруг обретая обычную милицейскую строгость)*. Что значит «шутит»?

Мария Сергеевна. То есть не совсем шутит. Он болен, знаете. Врачи разрешили ему гулять, но, понимаете...

Милиционер. Вам помочь отвести его домой?

П о т а п о в. Нет. Не надо.

М а р и я С е р г е е в н а. Спасибо.

М и л и ц и о н е р. До свидания. Вы с ним поосторожнее в общественных местах. *(Уходит.)*

М а р и я С е р г е е в н а *(с яростью)*. Что с тобой?

П о т а п о в *(устало)*. Ничего. Я только хотел напомнить тебе, что здесь двадцать лет назад у нас с тобой было первое свидание.

СВИДАНИЕ

Сценка из нерыцарских времен

Майский день. Тихая городская улочка. В тени двухэтажного дома сидит с а п о ж н и к, последний из кустарей-одиночек. Это бородатый благообразный старичок с задатками интеллигентности, трезвый, в хорошем настроении. Перед ним табуретка, инструменты — все в образцовом порядке. К нему подходит м о л о д о й ч е л о в е к в сером пиджаке и обуженных в мастерской брюках.

С т у д е н т. Здравствуйте!

С а п о ж н и к. Добрый день!

С т у д е н т. Изнываете без работы?

С а п о ж н и к. Прячусь от жары. В моих башмаках нет такой роскошной вентиляции...

С т у д е н т *(усаживаясь на табурет и снимая ботинки)*. Досадная случайность. Привычка ходить не глядя под ноги... Эти штиблеты должны жить во что бы то ни стало.

С а п о ж н и к. Ты хочешь сказать: во что бы это тебе ни стоило? *(Осматривает штиблеты.)* Операция рискованная...

С т у д е н т *(поспешно и категорически)*. Десять рублей!

С а п о ж н и к. Сколько?

С т у д е н т. Десять. И то из сострадания к безработным хирургам.

С а п о ж н и к. Тридцать рублей. Из сочувствия к городскому порядку.

С т у д е н т. Только десять.

С а п о ж н и к. Тогда давай своим ботинкам порошки — по три раза в сутки... И потом, мне кажется, я чинил эти штиблеты кому-то другому.

С т у д е н т. Но-но!

С а п о ж н и к. Пришить, подбить, поставить набойки — тридцать рублей!

С т у д е н т. Ну, хорошо... Среднее арифметическое между десятью и тридцатью — двадцать рублей. Чините, черт с вами! Но условие: как можно быстрее. Промедление смертельно.

С а п о ж н и к. Что ж, давай. Я воспитан по-старому.

С т у д е н т. Что-то мне сдается, что вы, папаша, сидите на чужом месте.

С а п о ж н и к *(принимаясь за работу)*. Почему это на чужом? Место самое мое. Где еще сидеть шестидесятипятилетнему пенсионеру, изнывающему от скуки жизни? Здесь светит солнце, ходят люди... Гляди, девушки-то, девушки-то, так и шьют, так и шьют!

Проходящая мимо д е в у ш к а, коротко подстриженная и модно одетая, вдруг вскрикивает и приседает на тротуар.

Д е в у ш к а *(с отчаянием)*. Каблук! *(Осматривается.)* Сапожник! Как удачно!

С а п о ж н и к *(любезно)*. Очень удачно!

Д е в у ш к а *(подходя, поглядывая на часы)*. Оторвался каблук, прибейте, пожалуйста.

С т у д е н т. Вы видите, мастер занят.

Д е в у ш к а. Но надеюсь, вы уступите. Мне ужасно некогда.

С т у д е н т. Мне тоже некогда.

Д е в у ш к а. Но войдите в положение.

С а п о ж н и к *(девушке)*. Разрешите вашу модель...

С т у д е н т. Ни в коем случае! Я опаздываю.

Д е в у ш к а. Вы не имеете права... Мастер согласен.

С т у д е н т. Зато я не согласен. Присядьте... то есть вам придется постоять.

Д е в у ш к а. Благодарю... Поймите, меня ждут...

С т у д е н т. Очень рад за вас... *(Смотрит на часы.)* Поторопитесь, патриарх.

Д е в у ш к а *(смотрит на часы, нервничает)*. Я не говорю уж о благородстве, но элементарная вежливость, порядочность...

С т у д е н т. Вежливым и предупредительным с вами будет тот, к кому вы торопитесь. Он, и никто другой. Я же не вижу в этом никакого смысла. Другое дело, если бы вы мне понравились...

Д е в у ш к а. Ну знаете ли! Вы, вы... *(Нервничает, ломает руки. Тихо.)* Ну хорошо... Я прошу вас, вы по-

нимаете, прошу... Я даже признаюсь вам... мне нельзя опоздать. Решается судьба, от этих минут зависит счастье...

Студент. Не нервничайте. Мое счастье, может быть, тоже зависит от этого вот гвоздя. А почему вы думаете, что ваше счастье лучше моего? *(Сапожнику.)* Скажите, патриарх, сколько вам лет? Вы, наверно, успели уже заметить, что взаимоотношение полов состоит из предрассудков и заблуждений. Оттого, что какой-го болван тысячелетие назад взял манеру бренчать под окном капризной особы на гитаре, прикладывать руку к сердцу и прочее, я должен сейчас уступать во всем каждой женщине. И, заметьте, женщины уже не ждут проявления чуткости, томно закатив глаза, а требуют, кричат и грозят судом. Не уступите в автобусе места — и вас назовут невежей, хамом и кем угодно. *(Смотрит на часы.)* Вот, скажем, вы. Вы пристаете ко мне с нелепым требованием: «Уступите мне свое счастье!» С какой стати! Я не могу, не имею возможности быть чутким и нежным со всеми девушками, починяющими обувь у частников. Не нервничайте. Вас ждет феодал с гитарой. Вы, я полагаю, понравитесь ему и без каблука. Спешите — вейте из него веревки, гните в бараний рог. Но при чем здесь я?

Девушка *(сапожнику)*. Прибейте этому молодому человеку язык.

Студент. Вам нечем будет за это заплатить. *(Смотрит на часы.)* Поторопитесь, патриарх! Осталась минута!

Сапожник. Дети, разве можно заходить так далеко с самого начала?

Девушка. Для таких нахалов не бывает начала.

Студент. Вы хамеете на глазах...

Девушка *(вспыхивая)*. Нет, это вы — хам! *(Сапожнику.)* Сколько минут ходьбы до памятника Крылову?

Студент *(с ужасом)*. Крылову?

Сапожник. Пять, не больше.

Девушка *(смотрит на часы)*. Опоздала! *(Всхлипывая.)* Вы... Вы самый наглый хам...

Студент *(бледнея)*. Вы... Вы — Лиля?..

Девушка *(нервно)*. Что! Так это вы... Ха-ха-ха! Чудесно! Ха-ха-ха... Прощайте! Не смейте звонить! *(Быстро уходит.)*

Сапожник. В чем дело? Обувайся, беги за ней...

Студент *(бормочет)*. Девушка с нежным голосом... Гордая любовь... Первая встреча...

Сапожник *(краснея от любопытства).* В чем дело?

Студент *(кричит).* В чем дело! В чем дело! Дело в том, что свидание состоялось. Первое свидание! Три месяца я упивался этим голосом, боялся дышать в телефонную трубку. Почти признался в любви, боготворил... Гордая и таинственная. Едва вымолил свидание...

Сапожник. Хе-хе... Феодал рвет струны...

Студент. Молчи, старый пират! Черт посадил тебя сюда! Разрешают же частные лавочки.

ИСПОВЕДЬ НАЧИНАЮЩЕГО

Психологический этюд

Коридор редакции. По коридору туда и обратно ходит, напевая драматическую тему из второго действия «Риголетто», молодой человек в черном костюме с бледным лицом. Испачканные в чернилах руки он заложил за спину и нервно шевелит там большим пальцем.

Молодой человек. Ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля, ля-ля. *(Вздрагивая и останавливаясь.)* Не знаю, как я кончу, но начал я плохо... *(Снова ходит.)* Я проклинаю тот день и тот час, когда впервые сел писать рассказы, мне ненавистны те люди, которые говорили мне, что у меня получается, сколько раз я пытался бросить... *(Останавливается.)* Но легко сказать «бросить писать!». *(Распаляясь.)* Можно избавиться от тысячи дурных привычек и приобрести две тысячи хороших, можно стать вежливым, чутким, бескорыстным, можно бросить курить, пить, можно бросить наконец жену, детей, но — бросить писать?! Человек, раз напечатавший где-нибудь рассказ или стихотворение, уже никогда не остановится писать. Это невозможно, так же, как невозможно дураку перестать валять дурака!

Если б вы знали, как много я пишу! Честное слово, я не могу равнодушно видеть чистую бумагу, сейчас же у меня появляется какой-то зуд и непобедимое желание исписать эту бумагу, исчеркать. На моем столе безобразие от начатых и незаконченных рукописей.

И вы думаете, я выбрасываю всю эту чепуху? Не-ет! *(Усмехаясь.)* Я аккуратно складываю все в стол в тайной надежде, что когда-нибудь эти бумаги схватит дрожащая рука исследователя.

Знаете, я болен. Пока я не сплю, меня беспрерывно сосет необъяснимое беспокойство, словно в кармане у меня билет на какое-то прекрасное единственное представление, а время уходит, уходит, и билет пропадает... По ночам мне снятся запутанные сюжеты... и, знаете, я скажу вам больше: для меня и жизнь моя — черновик. Да-да! Черновик, исчерканный, запутанный, черновик, в котором не разберется ни одна душа на свете.

(Несколько раз проходит туда и обратно. Грустно.)

А обивать пороги редакций, вы думаете, легко и весело? Придешь к иному редактору, принесешь рассказ, а он эдак сквозь зубы: «Ну, что скажете?» Будто я пришел занимать деньги или украсть пресс-папье с его стола. *(Останавливается у двери с табличкой «Редактор».)*

Вот сейчас за этой дверью решается, будет ли напечатан мой новый рассказишко или нет. Конечно, я надеюсь, но скорей всего его не возьмут. Мне кажется, что рассказ я писал вяло, с постыдным равнодушием к своим героям. Там героиня у меня смеется, а когда я писал это место, я засыпал с ручкой в руках. *(Снова ходит.)*

Говоря откровенно, вдохновения никакого вообще нет. Вдохновение выдумали поэты, чтобы пустить пыль в глаза. Гонорар и тщеславие — вот единственные двигатели творчества. Не верите? Прочитайте... э... впрочем, не скажу кого, вы можете передать мои слова... Не вошедши в литературу, рано впутываться в литературные интриги. *(Останавливается у той же двери.)*

Пойду узнаю, как рассказ. Впрочем, мне кажется, что войти надо немного погодя. Почему? *(Усмехается.)* И раньше, пока я не занимался поэмами, у меня были некоторые странности. Мои родные и знакомые смеялись над ними или беспокоились. Теперь же никто не замечает этих странностей, все мне прощают и ждут, видимо, от меня чего угодно. *(Помолчав.)* И правда, все может быть. Я ничему не удивлюсь и сам, кажется, на все готов.

(Выходит. Его нет минуты две. Появляется. В лице перемена. Прячет улыбку. Помолчал. Несколько раз прошелся.) Да... *(Небрежно.)* А вы знаете, рассказец-то мой взяли. Редактор говорит: «Талантливо растете». Заметьте, это сказал человек, которому льстить мне не имеет никакого смысла. Впрочем, я и без него знаю, что я талантлив. *(Смутившись всего на секунду.)* Согласитесь, что пишущий должен быть несколько самонадеян, иначе критик задавит в нем автора.

Так вот, в воскресенье в газете будет мой рассказ, полюбопытствуйте. Я сталкиваю там два характера — игра света и тени, в духе Рембрандта. Поинтересуйтесь. Там будет подписано: Лев Коровин. *(С достоинством.)* Это я.

Последний рассказ я писал с увлечением. Там у меня героиня плачет, и, представьте себе, когда я писал это место, я плакал тоже. И вы, может быть, заплачете. *(Бравируя.)* Так вы поинтересуйтесь, не пожалеете. *(Уходит, насвистывая балладу герцога: «Постоянство, тяжелые цепи постоянства...»)*

ВОРОНЬЯ РОЩА

Пьеса в одном действии

Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают.

Н. В. Гоголь

Действующие лица

Баохин.
Борис.
Лохов.
Камаев.
Анна Тимофеевна.
Виктория.

Комната в коммунальной квартире. Одно окно, в которое видна верхушка пожелтевшей березы. Издалека доносится крик вороньей стаи. В комнате стол, три стула, крохотный шкафчик для белья. В углу — водопроводный кран, раковина, газовая горелка и полка для посуды. Стены оклеены голубыми обоями. На окне — белая занавеска, кровать прикрыта белым покрывалом, над кроватью — цветная вышивка на белом полотне. У стола сидит Виктория, худенькая, миловидная девушка лет девятнадцати. Она одета в легкий цветной халат и домашние туфли. Занята она вязаньем.

За дверью слышится негромкое пение, потом стук, потом мужской голос: «Дарданеллы! Дома ты или нет?!»

Виктория *(весело)*. Да! Ворвитесь.

Появляется Лохов, давно небритый мужчина лет шестидесяти. На нем грубые башмаки, широкие, обвисшие в коленях брюки, синяя хлопчатобумажная куртка, на голове — мичманка. В руках у него авоська с двумя пустыми бутылками. Авоську сначала держит за спиной, скрывая ее от Виктории.

Лохов *(продолжает прерванное пение)*. «С девчонкой прощался матрос молодой...»

Виктория. Э, дядя Юра, опять вы пьяный.

Лохов *(напевает)*. «Надолго ее покидая...»

Виктория. Дядя Юра, нельзя же так. Как верну-

лись, так каждый день! Каждый день! Это что там у вас? *(Заглядывает ему за спину.)* Снова соображаете? У меня бутылок нет, сразу вас предупреждаю.

Л о х о в *(неожиданно)*. Брысь!

В и к т о р и я *(вскочив)*. Ой, дядя Юра...

Л о х о в. Ты что же это, Дарданеллы! *(Слово «Дарданеллы» он использует вместо ругательства, вернее, в качестве ругательства.)* Ты думаешь, дядя Юра алкоголик?.. Нет, дядя Юра не алкоголик. Ошибаешься. Со вчерашнего дня не принимаю. Выхожу из этого дела категорически.

В и к т о р и я. Ну да, рассказывайте.

Л о х о в. Категорически! Больше не могу. Не имею права... Партия запрещает.

В и к т о р и я. Партия?.. Да вы беспартийный, дядя Юра.

Л о х о в. Мало ли что беспартийный. А знаешь, куда я сейчас иду?

В и к т о р и я. Куда?

Л о х о в *(со значением)*. В па-рих-махерскую!

В и к т о р и я. Да ну-у! Серьезно?

Л о х о в. Нда! Серьезно!

В и к т о р и я. А зачем это вам? Чего ради?

Л о х о в. «Чего ради?», «чего ради?», Дарданеллы. Женюсь!

В и к т о р и я. Женитесь?.. А что, дядя Юра, давно вам пора.

Л о х о в. Брысь!.. Брысь, насмешница. Дело у меня есть.

В и к т о р и я. Какое дело, дядя Юра?

Л о х о в. Серьезное дело... Персонально просят, предлагают, можно сказать, на рассмотрение... *(Вынул из кармана бумагу, протянул ее Виктории.)*

В и к т о р и я *(читает)*. «Уважаемый товарищ Лохов! Ввиду того, что Вы являетесь единственным работником пароходства, прибывшим в настоящее время с Дальнереченского участка, бюро партийной организации Белореченского пароходства предлагает Вам выступить на производственном совещании по вопросу о состоянии грузооборота и причинах простоя судов на Дальнереченском...»

Л о х о в *(взял бумагу)*. Ладно...

В и к т о р и я. Ну конечно. Это дело серьезное.

Л о х о в. То-то... Ты думаешь, дядя Юра сумасшедший. Нет, дядя Юра не сумасшедший...

В и к т о р и я. Это ответственное дело. Надо вам подготовиться как следует.

Л о х о в. Подготовиться не шутка. Я и так без подготовки могу сказать пару ласковых. Вот послушай... *(Откашлялся, изображает свое выступление на совещании.)* Дорогие товарищи... Я, конечно, скажу по существу вопроса... В настоящий период на Дальней реке налицо имеются факты безобразия по линии простоя самоходных судов, а также потопление склада на пристани Покосной. Эти факты вам, конечно, известные, виноватых, конечно, нет, но если посмотреть на это дело на месте, то далеко ходить, товарищи, конечно, не надо. И что же у нас, дорогие товарищи, получается? Кто же, вы думаете, в этом деле виноватый? А?..

В и к т о р и я. По-моему, нормально.

Л о х о в. До сих пор — как по маслу, а дальше хуже нет.

В и к т о р и я. Почему?

Л о х о в. Да видишь... Виноватый-то как раз в этих делах дружок мой. Вот какая беда... И сказать-то надо, и друга обижать не хочется. Он, может, того не хотел, что получилось... Не знаю, как уж и быть. А что, дочка, нету у тебя пустой посуды?

В и к т о р и я. Опять посуды? Зачем она вам? Ведь снова напьетесь.

Л о х о в. Дарданеллы! Я же тебе с чувством объясняю: не могу я, не имею права! У меня на подстрижку *(приподнял фуражку)* не хватает.

В и к т о р и я. Ладно, дядя Юра. Возьмите вон из-под молока. На полке.

Л о х о в. Ну вот... *(Сложив в сетку несколько пустых бутылок.)* Спасибо тебе...

В и к т о р и я. Постригайтесь на здоровье... Да смотрите, чтоб по последней моде!

Л о х о в *(в дверях)*. По моде, говоришь?.. И-эх, Дарданеллы! *(Уходит.)*

Виктория продолжает свое вязанье, потом разглядывает его — она вяжет кофту,— примеривает и снова принимается за работу.
Раздается стук в дверь.

В и к т о р и я. Да! Войдите.

Появляется Б а о х и н. Ему около шестидесяти лет, он лыс, кругл и вальяжен. Он невысок ростом, но держится очень прямо. При этом голова его почти постоянно откинута чуть назад, брови чаще всего чуть сдвинуты, а глаза обычно слегка прищурены. Благодаря всему этому общий вид его довольно внушителен, а людей выше его ростом для него не существует.

Одет он в дорогой серый костюм, новую капитанскую фуражку, на руке у него тонкий плащ синтетического происхождения. В другой руке у него носовой платок, которым сейчас он вытирает пот со лба и с шеи — он заметно устал.

Войдя, он осматривает комнату продолжительным взглядом. При его появлении Виктория поднимается и идет ему навстречу.

Баохин. Извините, я хочу у вас спросить... Лохов Юрий Иванович здесь проживает?

Виктория. Лохов? Здесь... То есть не здесь, а вот — соседняя дверь.

Баохин. Благодарю вас...

Виктория. Но его нет дома.

Баохин. Да?

Виктория. Да, он ушел.

Баохин. Давно?

Виктория. Да вот минуты три-четыре. Как вы не встретили!..

Баохин. Надолго он ушел, вы не знаете?

Виктория. Не знаю. Он пошел в парикмахерскую.

Баохин. В парикмахерскую?.. Ага... А в какую парикмахерскую, не знаете? Тут их две, если мне память не изменяет.

Виктория. Две, а в какую он пошел, я не знаю.

Баохин. Хм... Придется подождать. Извините за беспокойство.

Виктория. Пожалуйста, пожалуйста.

Баохин выходит.

(Принимается за вязание, но откладывает его, подходит к двери и открывает ее.) Вы его здесь ждать будете?

Баохин *(появляется в дверях)*. Здесь. А что такое?

Виктория. Да нет, ничего, но здесь у нас даже сесть некуда.

Баохин. Ну что поделаешь?!

Виктория. Если хотите, заходите ко мне. Что же вы на ногах стоять будете?

Баохин. Благодарю.

Виктория. Заходите, в самом деле. Сколько ждать, ведь неизвестно.

Баохин. Хм... Ну что ж, пожалуй, вы правы. Пожалуй, я воспользуюсь. В ногах правды нет.

Виктория. Проходите, проходите.

Баохин входит в комнату.

Вот... Присаживайтесь.

Б а о х и н. Благодарю вас. *(Садится.)* А ничего, я вам не помешаю? *(Внимательно осматривает комнату.)*

В и к т о р и я. Нет, нет. Я как раз отдыхаю. Вяжу себе кофту. Вот. *(Показывает кофту.)* Ничего? Как вы находите?

Б а о х и н. Хм... Вы, простите, вы у нас работаете? В пароходстве?

В и к т о р и я. Я? Нет, я на фабрике. На обувной.

Б а о х и н. Ага... А, простите, давно вы здесь живете, в этой комнате?

В и к т о р и я. Давно. Два года скоро. А что?

Баохин не отвечает.

Я с сестрой здесь жила. Со старшей. А она недавно замуж вышла и...

Б а о х и н *(поднимается)*. Вы разрешите мне взглянуть в окно?

В и к т о р и я. В окно?.. Пожалуйста. Сколько угодно.

Б а о х и н *(подходит к окну и некоторое время стоит перед ним молча)*. Хм... Все так же... Все на месте... Просто удивительно... *(Оборачивается.)* А вот комната как будто стала меньше.

В и к т о р и я. Вы что, бывали здесь раньше?

Б а о х и н. Я здесь жил.

В и к т о р и я. Серьезно?

Б а о х и н. Да. И между прочим, здесь прошла моя молодость... Я переехал отсюда тому назад тридцать... Э-э... тридцать четыре года.

В и к т о р и я. Ого!

Б а о х и н. Что, много?

В и к т о р и я. Да ничего себе, прилично.

Б а о х и н. А вот, представьте себе, за это время ничего тут не изменилось. *(Повернулся к окну.)* Вот и двор, и забор, и роща — все это сохранилось. Просто удивительно. Да... Разве только вороны... Тогда их было поменьше. А может, я не помню. Или внимания не обращал.

В и к т о р и я. Вы что, с тех пор здесь не бывали?

Б а о х и н. Представьте, не бывал.

В и к т о р и я. Ни разу?

Б а о х и н. Ни разу.

В и к т о р и я. А откуда вы сейчас приехали?

Б а о х и н. Приехал?.. Хм. Я не приехал. Я здесь живу. В этом городе.

В и к т о р и я *(удивилась)*. Здесь?

Б а о х и н. Да. А что тут удивительного?.. Просто все как-то... не доводилось... Не пришел Лохов, как вы думаете?

В и к т о р и я. Сейчас посмотрю. *(Выходит.)*

Баохин уселся на свой стул.

(Возвращается.) Не-е. Его нет.

Б а о х и н. Вот тот самый Юра, сосед ваш, вот с ним мы здесь и жили. В этой комнате. Вдвоем.

В и к т о р и я. С дядей Юрой?

Б а о х и н. Ну да, с Юрием Ивановичем, с ним самым. Большими друзьями были.

В и к т о р и я. А с ним вы тоже тридцать лет не виделись?

Б а о х и н. Почему же? Встречаемся, бывает. По службе встречаемся и так иногда, на улице...

В и к т о р и я. Постойте, но он ваш друг, вы говорите...

Б а о х и н. Друг?.. Хм. Ну да, конечно, друг, разумеется. Друг юности.

В и к т о р и я. И вы не были у него...

Б а о х и н *(перебивает)*. Вот я к нему и пришел. Пришел и, как видите, жду его терпеливо... А что это вы все удивляетесь?

В и к т о р и я. Да нет, я ничего. Так... Странно все-таки.

Б а о х и н. А что тут странного? Ничего странного тут нет. Все идет своим чередом, все течет, все меняется... Жили-были, трудились вместе, друг без друга никуда, были лучшими друзьями, а пришло время — и прости, товарищ. У каждого своя дорога. Он на службу, я — в институт. И пошло: он туда, я обратно. А там война. Он на Черном, а я на Белом. Дальше больше. Он шкипер, я капитан, меня в управление, его — на Дальнюю речку. Разные судьбы... И заботы разные. И интересы другие... А за последние годы, я знаю, его интересы весьма и весьма сузились. Я имею в виду пьянство... Я понимаю, в войну он семью потерял, но ведь в войну многие пострадали — нельзя же так... Другие, например, вернулись, отдали себя мирному труду, росли, продвигались, и ничего — пережили...

Пауза.

Виктория. А вы кем сейчас работаете, если не секрет?
Баохин. Кем работаю?.. Хм. Ну, кем вы думаете?.. Послушайте, нельзя ли открыть окно?
Виктория. Пожалуйста! *(Открывает окно.)*
Баохин. Благодарю, а то вроде бы как душно... Вам не душно?
Виктория. Не-е. А знаете, я вас, кажется, где-то видела.
Баохин. Ну что ж, это вполне возможно.
Виктория. А как ваша фамилия?
Баохин. Фамилия?.. Ну что ж. Баохин моя фамилия.
Виктория. А-а! Знаю! Вы начальник пароходства. Точно?
Баохин. Ну что ж. Не отпираюсь.

Небольшая пауза. Крик ворон.

Что это они так расшумелись?.. Готов спорить, что раньше ворон здесь было меньше. Раз в десять.
Виктория. Ну, значит, расплодились. Да еще, наверное, те живые, старики. Говорят, вороны живут по двести лет.
Баохин. По двести лет... Безобразие.
Виктория. Они, наверное, очень умные, как вы думаете?.. А вот, извините, конечно, товарищ Баохин, за любопытство, но интересно очень, сколько вы зарабатываете?
Баохин. Да так... довольно прилично.
Виктория. А! Боитесь сказать. Значит, много. Интересно, рублей пятьсот будет?
Баохин. Да... Что-то в этом роде.
Виктория. Что, даже сосчитать не можете?
Баохин. Хм... А вы бойкая девушка.
Виктория. Я — да, я — бойкая... А у вас есть сын?
Баохин. Есть.
Виктория. Вот где богатый жених скрывается. Он не женат?
Баохин. Не женат, насколько я... э... осведомлен.
Виктория. А где он работает?
Баохин. Он врач.
Виктория. Значит, на студентке женится или на учительнице... А жена у вас старая или молодая?

Б а о х и н. Молодая.

В и к т о р и я. А красивая?

Б а о х и н. Красивая. Еще вопросы будут?

В и к т о р и я. Пока нет.

Б а о х и н. Тогда будьте так любезны, взгляните, не пришел ли ваш сосед.

В и к т о р и я. Это мы сейчас. *(Выходит.)*

Крик вороньей стаи.

(Возвращается.) Не-е.

Б а о х и н. Не пришел?

В и к т о р и я. Нет еще.

Б а о х и н. Благодарю вас. И еще одна просьба. Дайте мне воды.

В и к т о р и я. Пожалуйста! *(Подходит к крану, оборачивается.)* Может, вам чаю согреть?

Б а о х и н. Нет, благодарю вас. Воды...

Виктория подает ему воды, он пьет, потом, слегка смочив свой платок, возвращает Виктории стакан.

Благодарю вас... *(Мокрый платок прикладывает к виску.)*

В и к т о р и я. Что с вами? Вам плохо?

Б а о х и н. Нет, ничего... Очевидно, я устал. Видите ли, прошелся пешком. Давно не ходил пешком, а тут — от самого центра. И вот... Что-то... давит вроде бы... Да ничего. Сердчишко, правда, у меня иногда пошаливает, но не так, чтобы... Словом, ничего особенного. Скоро пройдет.

В и к т о р и я. Может, мне в аптеку сбегать за лекарством?

Б а о х и н. Нет-нет, благодарю... А скажите, есть поблизости телефон?

В и к т о р и я. Есть. Автомат. Он здесь, внизу. А что?

Б а о х и н. Ничего. Вызову потом машину, чтобы обратно уехать...

Пауза. Крик ворон в отдалении.

В и к т о р и я. А можно вас еще спросить?

Б а о х и н. Что ж, спрашивайте. Что с вами поделаешь, если вы такая любопытная.

В и к т о р и я. Да нет, знаете, вы человек с большим

жизненным опытом, а я... Между прочим, меня Викторией зовут.

Б а о х и н. Очень приятно.

В и к т о р и я. Ну вот... Ну... Ну, допустим, я мечтаю о семейной жизни. Вам-то я могу в этом признаться. Могу?

Б а о х и н. А почему нет?

В и к т о р и я. Так вот... А в семейной жизни, говорят, редко кто бывает счастливым. Так или нет?

Б а о х и н. Хм...

В и к т о р и я. Ну вот вы? Вы — как?

Б а о х и н. Я?.. Я считаю, что вполне...

В и к т о р и я. А вы первый раз женаты или второй?

Б а о х и н. Второй. Второй раз.

В и к т о р и я. А первая жена, она сейчас... жива?

Б а о х и н. Да, она жива. И здорова... Насколько я осведомлен.

В и к т о р и я *(с разочарованием)*. А-а. Значит, первый раз у вас счастья не было...

Б а о х и н. Почему же?

В и к т о р и я. Было?.. И первый раз было и второй? Как же так? Разве...

Б а о х и н. Милая девушка. Вы очень наивны... А я вам так скажу: если человек доволен, значит, он счастлив. Счастье — это то, чем вы довольны, вот и все. *(Вдруг.)* Вы не против, если я приоткрою дверь? *(Поднимается, но неожиданно садится снова, стонет.)*

В и к т о р и я *(подбегает к нему)*. Что с вами?.. Что с вами? *(Трясет его.)* Товарищ Баохин!

Баохин стонет.

Что с вами? Что?

Б а о х и н *(стонет)*. Худо... Тяжело...

В и к т о р и я. Сейчас, сейчас... я вызову врача... Вам надо лечь. Ложитесь!

Она с трудом его поднимает и ведет к кровати. Он стонет. Она срывает с постели покрывало и укладывает его.

Вот так... Вот так... Лежите. Я бегу звонить... *(Хватает со стола свою сумочку, роется в ней.)*

Б а о х и н. Жене... позвоните жене... Сорок три одиннадцать. Пусть за мной приедет...

В и к т о р и я. Сейчас! Сейчас!.. Сорок три одиннадцать... *(Бормочет.)* Ноль два... Сорок три одиннадцать... *(Выбегает.)*

Баохин приподнимается, но стонет и ложится, как лежал.
Крик ворон в отдалении.
Виктория возвращается.

Виктория. Как вы?.. Я вызвала «Скорую помощь», сейчас они приедут... Вам очень плохо?

Баохин. Душно!..

Виктория. Открыть дверь? *(Открывает дверь.)* Дать вам воды? *(Дает ему воды, потом осторожно снимает с него ботинки.)* Лежите... лежите... *(Снимает с него пиджак, галстук, расстегивает ему рубаху.)* Ну как вы?

Баохин. Ничего. Сейчас будет врач... А жена?.. Она дома?

Виктория. Да. Она сейчас приедет. И врач приедет.

Баохин. Что вы ей сказали?

Виктория. Кому?

Баохин. Моей жене.

Виктория. Что вам очень плохо. Сказала, чтоб приезжала.

Баохин. Кажется, мне уже лучше...

Виктория. А что это у вас?

Баохин. Сердце. Но так еще никогда не было. Первый раз.

Небольшая пауза.

Виктория. Но сейчас вам лучше?

Баохин. Да... Да. Гораздо лучше.. Я полежу и встану. Сегодня у меня доклад.

Виктория. Какой уж вам доклад. Лежите... *(Накрывает его покрывалом, поправляет ему подушку.)* Вот приедет врач...

Баохин. Послушайте, Виктория. Закройте пожалуйста, окно... Они действуют мне на нервы.

Виктория. Кто?

Баохин. Вороны.

Виктория закрывает окно.

А вам они не мешают?

Виктория. Да нет. Я к ним привыкла... А что, в центре их разве не бывает?

Баохин. Нет, нет. Там они не появляются. Во всяком случае, не собираются в таком количестве.

Виктория. Вообще-то да. Они больше по окраинам. Они, наверное, любят чистый воздух.

Б а о х и н. Возможно. Но уже не помню, когда я их в последний раз видел.
В и к т о р и я. Ну как вам?
Б а о х и н. Лучше.

Стук в дверь.

В и к т о р и я. Войдите.

Появляется А н н а Т и м о ф е е в н а, красивая нарядная женщина лет тридцати двух.

А н н а Т и м о ф е е в н а *(в дверях)*. Квартира восемь?
В и к т о р и я. Да.
А н н а Т и м о ф е е в н а. Это вы мне звонили?.. Где он? *(Подходит к кровати.)* Семен! Что с тобой?.. Что случилось? Тебе плохо, да? Сердце, да?.. Сильно, нет?
Б а о х и н. Ничего, Аня. Мне уже лучше.
А н н а Т и м о ф е е в н а. Боже мой, я чуть не умерла со страху. Вызвали врача?
В и к т о р и я. Да. Сейчас приедут.
А н н а Т и м о ф е е в н а. Большое вам спасибо... Семен, как это случилось? Как ты сюда попал? *(Виктории.)* Это вы мне звонили?
В и к т о р и я. Я.
А н н а Т и м о ф е е в н а. Спасибо вам большое... А как это было? Сразу, неожиданно или...
Б а о х и н. Не сразу... Сначала было душно, давило, а потом вдруг...
А н н а Т и м о ф е е в н а. Это ужасно!
Б а о х и н. Да, такого со мной еще не было.
А н н а Т и м о ф е е в н а. А как ты сюда попал?
Б а о х и н. Я решил пройтись...
А н н а Т и м о ф е е в н а. В такую даль?! Ты с ума сошел! Разве можно с твоим здоровьем, нет, ты просто спятил. Пешком! Здесь такие ухабы, на машине и то еле выберешься, и закоулки какие-то, ни одного человека, пусто, как в деревне. Это ужасно. Упадешь и будешь лежать, тебя никто не поднимет. *(Виктории.)* Спасибо, что вы ему помогли... А где это было? Неужели на улице?
Б а о х и н. Да нет, Аня, успокойся...
В и к т о р и я. Это здесь случилось...
А н н а Т и м о ф е е в н а. Здесь? Да как ты сюда попал? Зачем?

Б а о х и н. Я пришел... навестить друга.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Какого друга? Ты что, не мог вызвать его к себе? *(На глаза ей попадается вязанье Виктории.)* Это вы рукодельничаете? *(Разглядывает кофту.)*

В и к т о р и я. Я. Вам нравится?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Ничего, славненькая... *(Разглядывает Викторию.)* Но вам больше реглан пойдет... *(Неожиданная мысль.)* Так это где было?.. Что, прямо здесь?

В и к т о р и я. Ну конечно, здесь.

А н н а Т и м о ф е е в н а. А почему — конечно?.. Чья это квартира?

В и к т о р и я. Моя.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Ваша?

В и к т о р и я. Ну конечно.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Интересно... Значит, вы здесь живете?

В и к т о р и я. Ну конечно!

А н н а Т и м о ф е е в н а. Интересно... И что... одна?

В и к т о р и я. Одна. А что?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Да ничего... Очень интересно...

Б а о х и н. Аня, что тебя волнует?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Волнует? Ну нет, не волнует, не будем преувеличивать, но... Интересно... *(Виктории.)* Простите... Не холодно вам в этом халатике?

В и к т о р и я. Мне?.. Нисколько.

А н н а Т и м о ф е е в н а. А тебе, Семен? Ты весь расстегнут — ничего, не мерзнешь?

Б а о х и н. Ну что ты, Анечка. Наоборот...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Наоборот... Что это значит? Я спрашиваю, что все это значит?.. Я вас спрашиваю. *(Взяла со стула галстук.)* Что это?

В и к т о р и я. Галстук.

А н н а Т и м о ф е е в н а *(нагибается, поднимает ботинки Баохина)*. А это? Как это называется?

Б а о х и н. Ботинки, Аня...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Это называется — ты решил пройтись, да?

Б а о х и н. Аня! Бог с тобой... Я пришел к Лохову, к ее соседу.

А н н а Т и м о ф е е в н а. К соседу? Почему в таком случае ты лежишь здесь, а не у соседа?

Б а о х и н. Но, Аня, его не оказалось дома...
А н н а Т и м о ф е е в н а. Кто такой Лохов? Кто это? Что-то я никогда о нем не слышала.
Б а о х и н. Аня, он друг, друг моей юности...
А н н а Т и м о ф е е в н а. А она? Она кто такая?
В и к т о р и я. Подождите, вы что думаете...
А н н а Т и м о ф е е в н а. Я? Что я думаю?
Б а о х и н. Аня...
А н н а Т и м о ф е е в н а. Что вы думаете, хотела бы я знать. Семен, сколько тебе лет?
Б а о х и н. Аня!
А н н а Т и м о ф е е в н а. А ей? Ей сколько лет?
Б а о х и н. Аня!
А н н а Т и м о ф е е в н а *(Виктории)*. Сколько тебе лет?
В и к т о р и я. Не ваше дело.
А н н а Т и м о ф е е в н а. Боже, что же это делается? Ей наверняка и восемнадцати-то нет. Решил пройтись. Прошелся. Ничего себе прогулочка...
Б а о х и н. Аня, ты просто... Это же глупо, Аня!
А н н а Т и м о ф е е в н а. Нет, это у меня в голове не укладывается. Семен! Да ведь ты меня в два раза старше, ты что, об этом забыл? В два раза! Ведь ты старик, Семен. Подумать только! Я живу со стариком, отдаю ему свои лучшие годы, и что же?
Б а о х и н *(со стоном)*. Аня!
В и к т о р и я. Вы что говорите, соображаете? Вашему мужу плохо, а вы что? Он тут почти без сознания был...
А н н а Т и м о ф е е в н а. Без сознания? Ну еще бы!
В и к т о р и я. Вы что, не верите?
А н н а Т и м о ф е е в н а. Нет, почему же?! Я верю, охотно верю, он и умереть здесь мог, но меня удивляет, как ты можешь мне об этом распространяться.
Б а о х и н *(стонет)*. Аня...
В и к т о р и я. Слушайте! Чего вы тут наговариваете?
А н н а Т и м о ф е е в н а. Да еще вызвала меня сюда — не постеснялась.
В и к т о р и я. Я не хочу вас слушать! Забирайте отсюда своего мужа и...
Б а о х и н. Аня! Успокойся наконец... У меня был приступ, мне показалось, что я... Словом, я сам попросил тебе позвонить. Сам!
А н н а Т и м о ф е е в н а. Очень мило с твоей стороны. Спасибо тебе. Как на прогулку, так с девочками, а как нянчиться, так — жене. Ну нет, Семен, ты об этом пожа-

леешь. *(Виктории.)* А тебе, раз ты путаешься со стариками, надо быть посамостоятельнее...

Виктория *(Баохину)*. Вы меня извините, но почему она у вас такая дура?

Анна Тимофеевна. Что? Что ты сказала? Повтори!

Виктория. Пожалуйста. Я сказала, что вы дура.

Баохин стонет

Анна Тимофеевна. Семен! Что она себе позволяет?

Виктория. А вы что позволяете?

Анна Тимофеевна. Замолчи, негодяйка!

Виктория. От негодяйки слышу.

Анна Тимофеевна. Мерзавка!

Виктория. Сама ты мерзавка.

Анна Тимофеевна *(плаксиво)*. Семен! Что ты ей позволяешь?

Баохин стонет.

(Виктории.) Извинись! Сейчас же извинись!.. Извинись или...

Виктория. Что?

Анна Тимофеевна. Или...

Виктория. Ну?

Анна Тимофеевна *(Баохину)*. Заставь ее передо мной извиниться! Слышишь? Если она сейчас же передо мной не извинится, то... то... Семен, ты об этом пожалеешь...

Баохин. Анечка, успокойся, прошу тебя... Не сердись, пожалуйста, но в данном случае она... права.

Анна Тимофеевна. Она права?.. Даже так?.. Она меня оскорбляет, а ты... Выходит, ты уже с ней заодно? Вот, значит, как? Ну, Семен, пеняй теперь на себя. Я тебя предупреждала. *(Подходит к окну, открывает его, кричит.)* Олег!.. Оле-ег!..

В окно снова доносится отдаленный крик ворон.

Баохин. Аня! *(Попробовал подняться, но безуспешно.)*

Анна Тимофеевна *(обернулась)*. Лежи теперь спокойно, жди врача. *(В окно.)* Олег! Зайди сюда.

Баохин *(с мольбой в голосе)*. Анечка! Какой Олег?.. Неужели снова тот...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Да, он самый. Тот, которого ты уволил. А за что, никто до сих пор не может понять.

Б а о х и н. Но, Аня, мы ведь договорились... Ты уверяла меня...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Ничего. Ты меня тоже кое в чем уверял. А теперь после того, что я тут увидела, он снова будет ходить к нам домой. Так и знай.

Б а о х и н. Но, Аня...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Ничего. Он настоящий друг, а я, если хочешь знать, между мужчиной и женщиной больше всего ценю дружбу. Не то что некоторые. Кроме того, я не могу сейчас сидеть за рулем, на днях у меня отняли права. Не ходить же мне пешком, сам подумай. Проходи, Олег.

Деликатный стук в дверь. Появляется К а м а е в, молодой человек лет двадцати пяти. От него веет здоровьем, галантностью и самонадеянностью. Он щегольски одет, коротко подстрижен, в руках у него темные очки.

К а м а е в. Добрый день. *(Легкий поклон.)* Семен Николаич... *(Поклон ниже.)* Что с вами, Семен Николаич?

А н н а Т и м о ф е е в н а *(саркастически)*. Ничего особенного. Просто он немного переутомился.

Б а о х и н. Аня, я прошу тебя...

А н н а Т и м о ф е е в н а. А вот, обрати внимание... Хозяйка этой квартиры.

К а м а е в *(поклон)*. Мне очень приятно. Камаев Олег Никитич... Шофер первого класса «А».

В и к т о р и я. Да уж вижу.

К а м а е в. А почему девушка такая сердитая?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Ты что, еще ничего не понял?

К а м а е в. А что такое? Что я, собственно, должен понять?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Олег, ты просто святой.

Б а о х и н. Аня, прекрати это... Я тебя очень прошу...

А н н а Т и м о ф е е в н а *(Камаеву)*. Ты еще не понял, где мы находимся?

К а м а е в *(правда, не сразу)*. Ну что вы! Не может этого быть.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Нет, ты просто ребенок. А спрашивается, что тут еще могло быть?

К а м а е в. Простите, вы имеете в виду... э... адюльтер?

А н н а Т и м о ф е е в н а. У меня нет никаких сомнений.

Б а о х и н. Аня, прошу тебя! Ты все выдумала!
А н н а Т и м о ф е е в н а. Выдумала? Ну так докажи мне, если я выдумала. Ну! Чем ты мне докажешь?

Баохин стонет.

К а м а е в. Так, так... Положение серьезное...
В и к т о р и я. Ну и люди. Вместо того чтобы успокоить человека...
А н н а Т и м о ф е е в н а. Что же ты его сама не успокаивала?
К а м а е в. Анна Тимофеевна, а может, действительно, все это только блеф вашей фантазии?.. Нет?
А н н а Т и м о ф е е в н а. Может, и ты меня за дуру принимаешь?
К а м а е в. Никогда в жизни. Мне только интересно знать, кто же в таком случает позвонил по телефону?
А н н а Т и м о ф е е в н а. Она. Он потерял сознание...
К а м а е в. Потерял сознание? *(Внимательный взгляд на Викторию.)* Что вы говорите? *(Баохину.)* Семен Николаевич, разве вам можно так рисковать?
А н н а Т и м о ф е е в н а. Он лежал без сознания, а она в это время позвонила. С перепугу. Это же совершенно ясно.
В и к т о р и я. К черту! С меня хватит! Товарищ Баохин, вы меня простите, но этого я больше терпеть не могу. Лучше я пока уйду.
К а м а е в. Стоп! *(Останавливает Викторию.)* Стоп... Сейчас главное не горячиться. Положение у нас сложилось серьезное. Давайте-ка спокойно все обдумаем... Значит, так. Первое. Кто-нибудь об этом знает?.. Кроме нас... Семен Николаич, еще кто-нибудь вас здесь видел?.. Нет? Отлично.
Б а о х и н. Послушай, Олег. Ничего подобного здесь не было. Не бы-ло! У меня был приступ, вот и все. Сейчас приедет врач и...
К а м а е в. Врач? Вы вызвали врача?.. Какая неосторожность! Что вы вызвали? «Скорую помощь»?..
В и к т о р и я. А что же еще?
К а м а е в. Ай-яй-яй! Ну разве так можно рисковать? Чего доброго, вот-вот прикатит.
А н н а Т и м о ф е е в н а. Олежек, кто прикатит?
К а м а е в. «Скорая помощь»! Это опасность номер один.
Б а о х и н. Опасность?
К а м а е в. Семен Николаич! Вы меня удивляете. Не-

ужели вы не понимаете всей серьезности положения? Кого-кого, а вас весь городской контингент, буквально каждая собака знает, и если хоть кто-нибудь увидит вас на этой, я прошу прощения, кровати,— все! Моментально пойдет по всему городу!

Анна Тимофеевна. Это ужасно! И как это сразу не пришло мне в голову!

Камаев. Хорошо еще, что тут все свои. Потому что главное сейчас — это глубокая конфиденциальность. *(Виктории.)* Правильно я рассуждаю?

Виктория. Нет, неправильно! Вот пойду сейчас и позову кого-нибудь. Назло.

Анна Тимофеевна. Что?.. Да ты с ума сошла!

Камаев. Сделаешь большую глупость, а потом долго будешь каяться.

Виктория. А мне плевать...

Камаев. Не торопись. Подумай сначала. А вдруг Семен Николаич не поправится и, чего доброго... долго не поправится...

Баохин стонет

Представляешь? Тебя могут судить.

Виктория. За что?

Камаев *(немного подумав)*. За растление. Срок могут дать.

Баохин. Я уверяю вас, клянусь! Даю вам честное слово: ничего здесь не было!

Анна Тимофеевна. Это вопрос решенный. Было.

Виктория *(вдруг бежит к двери, на пороге останавливается)*. Ну вот что. Если было, то я сейчас кого-нибудь позову, а если не было, то... Тогда еще посмотрим! Поняли?

Камаев. Слушай! Не делай глупостей. *(Хочет к ней подойти.)*

Виктория. Стой там!.. Ну так как? *(Анне Тимофеевне.)* Ты! *(Камаеву.)* И ты! Отвечайте. Было или не было?

Небольшая пауза.

Анна Тимофеевна. Но, милая...

Виктория. Было или не было?

Камаев. Могло быть... Могло и не быть...

Виктория. Ну!.. Последний раз спрашиваю.

Камаев. Скорее всего, что не было. По-моему, не было. *(Анне Тимофеевне, решительно.)* Не было.

Анна Тимофеевна. Хорошо, милая... Мы вам верим.

Виктория. А теперь возьмите назад все свои обвинения. Ну!

Анна Тимофеевна. Но, дорогая моя, нельзя же так... Ты пользуешься моментом...

Виктория. Вы берете свои слова обратно или нет?

Камаев. Я — всегда пожалуйста. Но, по-моему, лично я не сказал ничего лишнего. Я вообще всегда выбираю выражения.

Виктория. Извинись!

Камаев. Хорошо. Я извиняюсь.

Виктория *(Анне Тимофеевне)*. Ну!

Баохин. Аня, извинись, я тебя очень прошу.

Камаев *(внушительно)*. Извинитесь.

Анна Тимофеевна. Извините.

Виктория. Вот так. *(Проходит в комнату.)* И чтобы в своей квартире я не слыхала больше ни одного грубого слова.

Камаев. Было или не было...

Виктория. Что?

Камаев. Не было, не было! Но сейчас дело не в этом. Неужели вы не представляете себе, что будет, если хоть кто-нибудь что-нибудь узнает? Было или не было — об этом и разговору не будет, и никаких сомнений, уж будьте спокойны. *(Анне Тимофеевне.)* Подойдите, пожалуйста, к окну и присмотрите там за «Скорой помощью». *(Продолжает.)* Что будет! Ну! Такой скандал, что вы себе даже не воображаете. *(Виктории.)* Закрой, пожалуйста, дверь на ключ, вдруг кто зайдет. *(Продолжает.)* Вся область, да что область, сейчас — раз, раз, да еще, чего доброго, и на Запад попадет.

Анна Тимофеевна. Какой ужас!

Камаев. А там в газетах напишут и по радио передадут с острова Окинава. Они там такие дела ой как любят. Вы их хлебом не кормите, а дайте им что-нибудь такое, сексуальное. *(Виктории.)* Я прошу прощения. *(Баохину.)* Тогда уж вы на весь Союз загремите...

Баохин стонет

Я по опыту знаю. Я разных людей возил, маленьких и больших...

Баохин. Неужели...

Камаев. Ну а как же? Будь на вашем месте кто-нибудь другой, ну, допустим, тут другое дело. Никто бы и внимания не обратил. А вы все-таки человек авторитетный, известный в городе товарищ...

Анна Тимофеевна. Что же нам делать?

Камаев. Действовать. Мое мнение: Семен Николаича в машину — и домой моментально.

Анна Тимофеевна. Олег! Ты светлая голова. *(Баохину.)* И его-то ты уволил с работы!

Камаев. Анна Тимофеевна, взгляните-ка, никого там нет, на выходе?

Баохин. Но я... Я не могу подняться.

Камаев. Я вам помогу, Семен Николаич. *(Анне Тимофеевне.)* Никого нет?

Анна Тимофеевна. Есть. Расселись у самого подъезда.

Камаев *(подходит к окну)*. Пенсионеры. Козла забивают. *(Баохину.)* Они вас знают, как вы думаете?

Баохин. Знают. Они со мной поздоровались.

Анна Тимофеевна. Ну вот. Сначала он прошел, потом мы подъехали. Мы их уже заинтриговали. Сидят ждут, чем кончится.

Камаев. Так... Второй этаж. *(Выглядывает в окно.)* Высоковато.

Анна Тимофеевна. Что же делать?

Баохин. Послушайте, если пришел Лохов, тогда можно переместить меня к нему. Он не откажет.

Виктория. Сейчас посмотрю.

Камаев. Стоп! Кто такой Лохов?

Анна Тимофеевна. Кто он такой?

Виктория. Сосед.

Камаев. Риск. С соседей обычно все и начинается.

Баохин. Он мой старый друг...

Камаев. Это еще не гарантия.

Баохин. Он не выдаст.

Камаев. Вы уверены?.. *(Виктории.)* Посмотри, пожалуйста, дома он или нет.

Виктория выходит.

Анна Тимофеевна. А она не выдаст?

Камаев. Она — нет. Зачем ей капать на свою голову?

Анна Тимофеевна. Но ведь грозилась же она...

Камаев. Да нет, сдуру могла, а так не будет.

Виктория возвращается.

Виктория. Его нет.

Камаев. Так, так...

Анна Тимофеевна. Может, тебе, Олег, спуститься вниз и разогнать пенсионеров?

Камаев. Нет, что вы. Так мы еще больше заинтригуем.

Виктория. Зря вы все это, по-моему...

Анна Тимофеевна. Что?

Виктория. Да вот страхи ваши и вообще... Здесь врач нужен, а не...

Анна Тимофеевна. Милая, ты этого еще не понимаешь...

Виктория. Ну если уж вы так боитесь, то вы можете сказать, что товарищ Баохин мой дядя. Или дедушка.

Камаев. Глупо. Тем самым мы только подольем масла в общий ажиотаж.

Анна Тимофеевна. «Скорая помощь»!

Небольшая пауза. Баохин стонет.

Что делать?.. Может, не открывать, и все?

Камаев. Нет! Весь дом поднимут! Милицию вызовут! Нет! Выход один!

Анна Тимофеевна. Какой?

Камаев *(закрыл дверь на ключ)*. Семен Николаич! Надо прятаться.

Баохин. Но... где?

Анна Тимофеевна. Где?

Баохин. Куда здесь спрячешься?

Небольшая пауза.

Негде!

Анна Тимофеевна. Некуда!

Баохин. Прятаться нельзя...

Анна Тимофеевна. Нельзя...

Камаев. Эврика! Спрятаться можно!

Баохин. Где же?

Анна Тимофеевна. Где?

К а м а е в. Под кроватью.

А н н а Т и м о ф е е в н а. А!.. Гениально!

Баохин стонет.

К а м а е в. И просто. Как и все гениальное.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Полезай немедленно!

Б а о х и н. Но... Нельзя ли как-нибудь без этой крайности?

К а м а е в. Это единственный выход!

А н н а Т и м о ф е е в н а. Давай скорей! Олег, помоги ему!

Б а о х и н. А может... может, не надо?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Не валяй дурака! Полезай немедленно! Я тебе приказываю!

К а м а е в. Смелей, Семен Николаич! Учтите: на кровати вы рискуете своей репутацией, а под кроватью ничем не рискуете. Там вы в полной безопасности!

А н н а Т и м о ф е е в н а. Ты слышишь? Полезай немедленно! В конце концов это дело чести! Я не переживу такого позора, ты слышишь?

Стук в дверь.

Ну!

Б а о х и н. Лезу... лезу... Боже мой! *(Стонет.)*

Стук в дверь.

А н н а Т и м о ф е е в н а *(у двери, громко)*. Сейчас! Одну минуточку!

С помощью Камаева Баохин забирается под кровать. Камаев бросает под кровать его пиджак, плащ, галстук, ботинки и опускает покрывало до полу.

Виктория с трудом сдерживает смех.

Ну?.. Я открываю?

Б а о х и н *(вдруг выглядывает из-под покрывала, со стоном)*. Но они спросят: где больной?

Стук в дверь и недовольный мужской голос за дверью.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Да! Где больной?

К а м а е в. Больной?.. Здесь! *(Сбрасывает с себя пиджак, штиблеты, бросается на кровать.)* Открывайте!

Виктория громко смеется.

Анна Тимофеевна. Перестань смеяться!
Камаев. Заткнись!
Виктория *(сквозь смех)*. Я... я... не могу!
Камаев *(вскакивает)*. Кончай смеяться! Убью!

Виктория забивается в угол и смеется там себе в рукав. Камаев снова ложится на кровать.

Открывайте! Скажите, что она моя сестра, с ней истерика... Открывайте!

Анна Тимофеевна открывает дверь. Появляется Борис, молодой человек лет около тридцати. На его плечи накинут белый халат, в руках у него портфель.

Борис. В чем дело?
Анна Тимофеевна. Борис?..
Борис. Что это значит?
Анна Тимофеевна. Ты один? *(Она загородила ему дорогу.)*
Борис. Что такое?.. Что ты здесь делаешь?
Анна Тимофеевна. Я спрашиваю: ты один?
Борис. Что?.. Санитар в машине. В чем дело?
Анна Тимофеевна. Проходи. *(Закрывает за ним дверь.)* Нам повезло. Со «скорой» приехал Борис... Слава богу!
Камаев *(садится)*. Уф!.. Здравствуйте, Борис Семенович!
Борис. И ты здесь... Что же все это значит?

Борис останавливается перед Викторией, которая сейчас вытирает слезы.

Анна Тимофеевна. Ну вот. Вся семья в сборе.
Борис *(Виктории)*. Что с тобой?
Виктория. Не могу...
Борис. Что с ней?
Камаев. Она здорова. Не в ней дело.
Анна Тимофеевна. Семен, вылезай! Сын приехал.
Борис. Что же все это значит? Объясните или нет? Зачем вы вызвали врача?
Анна Тимофеевна. Семен!

Небольшая пауза.

(Громко.) Семен!

К а м а е в. Вылезайте, Семен Николаевич. Опасность миновала.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Семен! Ты что там, оглох?

Пауза.

Семен!.. Что с ним? *(Заглядывает под кровать.)*

Борис бросается к кровати, отодвигает ее. Камаев ему помогает.

К а м а е в. Осторожнее...

Вдвоем они убирают кровать в сторону. Баохин лежит на полу не шевелясь.

Б о р и с. Папа?.. *(Склоняется над Баохиным.)* Папа!.. Папа!

А н н а Т и м о ф е е в н а. Семен!.. Что с ним?

Б о р и с. Папа!.. *(Берет Баохина на руки, укладывает его на кровать.)* Вы что тут наделали, идиоты? *(Прослушивает Баохина.)*

А н н а Т и м о ф е е в н а. Мы?.. Мы сами недавно приехали... Как он?

Борис достает из портфеля лекарства и шприц. Все молчат. Борис делает Баохину уколы и снова его прослушивает.

Ну что?

Б о р и с. Кипяток! Быстро!.. Грелку к ногам!

Виктория бросается выполнять поручение Бориса.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Он был здесь, у нее в комнате... Понимаешь?.. Ему стало плохо. А она позвонила мне... Мы недавно приехали.

Б о р и с. Почему он был под кроватью?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Мы... мы его спрятали. А что было делать?

К а м а е в. Подумайте, если бы приехали не вы, а кто-нибудь посторонний...

Б о р и с. Идиоты!

А н н а Т и м о ф е е в н а. Но пойми, Борис! На карту была поставлена честь твоего отца...

Б о р и с. Дура! Ему нельзя шевелиться!

Небольшая пауза.

Анна Тимофеевна. Но ведь мы о нем заботились... Разве нет? Только о нем и думали...

Виктория. Плохо вы о нем думали.

Борис. Замолчите все.

Пауза. Борис снова слушает его пульс.

Анна Тимофеевна. Как он?.. Как?

Борис. Папа!.. Папа!.. Папа!

Пауза.

Анна Тимофеевна. Как?.. Ну что же ты молчишь?.. Ну!

Борис. Он умирает...

Анна Тимофеевна *(громко)*. Умирает?.. А!

Баохин стонет.

Семен!

Баохин *(вдруг)*. Что она сказала?.. Борис?.. Это ты сказал?

Борис. Папа!

Баохин. Я слышал. Она сказала, что я умираю... Это правда?

Борис. Папа... Нет, папа!

Баохин. Нет, это правда... Я и сам чувствую, что умираю... Все. Комедия окончена...

Борис. Папа!.. Все будет хорошо, но тебе нельзя разговаривать.

Баохин. Не надо меня обманывать. Я умираю.

Борис. Папа!

Баохин. Ты сам сказал, что я умираю.

Анна Тимофеевна. Семен, дорогой... *(Всхлипывает, утирается платком.)*

Баохин. Аня, не надо притворяться. Хватит. Комедия окончена.

Борис. Я запрещаю тебе говорить!

Анна Тимофеевна. Семен, молчи, тебе нельзя...

Баохин. Я сказал: хватит прикидываться. Всю жизнь прикидывалась, так хоть сейчас перестань!

Борис *(Анне Тимофеевне)*. Молчи! *(Баохину.)* Ты не должен волноваться, слышишь?

Баохин (Борису). Ты видел, как твой отец валялся под кроватью?

Б о р и с. Папа, я должен тебя послушать.

Б а о х и н. Нет. Не надо. Ничего уже мне не надо.

Б о р и с. Но, папа...

Б а о х и н. Некрасиво вышло... по-дурацки...

Б о р и с. Папа, если ты будешь волноваться...

Б а о х и н. Ну и что? Какое это сейчас имеет значение?

К а м а е в. Я прошу прощения, Семен Николаевич, но, может, в клинику позвонить, профессорам?

Б а о х и н. Что?

К а м а е в. Я говорю, может, в клинику...

Б а о х и н *(приподнялся на локтях)*. Как?.. Он еще здесь? Еще не убрался?.. Он еще находит возможным...

К а м а е в. Кто, Семен Николаич?

Б а о х и н *(вдруг сел на кровати)*. Ты!.. Ты еще здесь?

К а м а е в. Это вы мне?

Б а о х и н. Тебе! Именно тебе... Сутенер!

К а м а е в *(не сразу)*. То есть вы хотите сказать...

А н н а Т и м о ф е е в н а *(Камаеву)*. Помолчи...

К а м а е в. Не понимаю. Я всегда уважал Семена Николаича и...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Помолчи, тебе говорят...

Б а о х и н *(Анне Тимофеевне)*. А ты? Думаешь, ты лучше?

А н н а Т и м о ф е е в н а. Семен!

Б а о х и н. Чем ты лучше его?

Б о р и с. Папа...

Б а о х и н. Не мешай мне! Пусть эта подлая баба хоть раз услышит, что я о ней думаю.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Семен! Ты не можешь...

Б а о х и н. Нет, могу!.. Хватит! Я хочу взглянуть правде в глаза. Перед смертью...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Семен! Я не хочу, чтобы ты умирал...

Б а о х и н *(лег)*. Врешь... С самого начала... С тех пор как ты стала моей женой... все пять лет... каждый день и каждый час ты ждала этой минуты...

А н н а Т и м о ф е е в н а. Неправда, Семен...

Б а о х и н. Нет, правда... Тебе нужны мои деньги и мои вещи... *(Снова приподнялся на локтях.)* Так вот же! Все это я отдам кому угодно, только не тебе... Бумагу и ручку!.. Борис, ты получишь дачу, а деньги... деньги я оставлю *(указал на Викторию)* ей.

Виктория (*испуганно*). Мне не надо!

Баохин. Нет, я прошу вас, ради справедливости... примите...

За дверью раздается голос Лохова: «Раздалась команда: поднять якорь, свист боцманской дудки раздался...»

Это Лохов. Позовите его сюда.

Борис. Нет! Тебе нужен полный покой. В конце концов я врач и...

Баохин. Не мешай мне!

Анна Тимофеевна всхлипнула.

Не мешайте!.. Не давали мне житья, так дайте хоть помереть по-человечески!

Борис. Хорошо. Делай что хочешь, но только успокойся, прошу тебя.

Баохин (*лег*). Позовите его. Он мой друг... Я хочу с ним поговорить.

Виктория выходит. Пауза.

Виктория возвращается, за ней — Лохов. Он в прежнем виде, не брит и не подстрижен.

Лохов. Мое почтение... Кого я вижу! Сам Семен Николаевич! Так вот ты где, оказывается! А я тебя по всему городу ищу.

Баохин. Здравствуй, Юра. Проходи...

Лохов. Дарданеллы! Что ты тут делаешь?

Баохин. Помираю, Юра.

Лохов. Помираешь?.. Дарданеллы! Что это ты вздумал? От хорошей жизни да помирать! Не-ет, ты это, Семен, брось!

Баохин. Нет, Юра. Кончено. Собрался я... Все. Вот... имущество распределяю... Юра, я хочу тебе оставить... машину. Ты не против?

Лохов. Брось, Семен!

Баохин. Юра, ты когда-то мечтал о машине, я ведь помню...

Камаев. Простите, Семен Николаич. Хоть вы меня и третируете, но относительно...

Борис. Замолчи!

Камаев. Относительно вашей машины я не могу не высказаться.

Борис. Слушай! Тебе сейчас лучше помолчать, тебе не кажется?

Камаев. Не могу молчать. Семен Николаич...
Баохин. Говори, говори... Оба говорите.
Камаев. Я, конечно, не претендую, но хочу сказать, что такая классная машина должна попасть в квалифицированные руки.
Борис. Ну и нахал. *(Анне Тимофеевне.)* Слушай, уведи отсюда этого дебила.
Камаев. Что? Что вы сказали, Борис Семеныч?
Борис. Выйди!
Камаев. Как вы меня назвали?
Борис. Уходи!.. Неужели не понимаешь?
Баохин. А вы подеритесь... Ну что вам стоит! *(Лохову.)* Ты видишь, Юра. Они готовы подраться здесь. Из-за машины.
Борис. Папа, при чем здесь машина?
Баохин *(приподнялся на локтях)*. При том, что ты готов из-за нее подраться. Здесь! Сейчас!
Борис. Отец! Ну что ты говоришь!
Баохин. И это мой сын! Отец умирает, а сын готов подраться из-за его машины. Здесь! У этой постели!
Борис. Папа!
Баохин. Юра, полюбуйся на них! И это мои родные, мои родственники... Сын! Жена!
Лохов. Жена?
Баохин. Видишь, как она убивается...
Лохов. Дарданеллы! Да разве можно такую молодую вдовой оставлять! Да ты что? Нельзя, Семен, не имеешь права!
Баохин *(снова лег на подушку)*. Эх, Юра, Юра! Хороший ты человек... «Вдовой оставлять!» *(Приподнял голову.)* Да она — вот она! Она сюда своего хахаля привела! Прямо сюда! Вот он! Стоит здесь и требует своей доли... *(Кричит.)* Вон отсюда! Все трое! Вон!
Анна Тимофеевна. Семен...
Баохин *(Анне Тимофеевне)*. Вон!
Борис. Папа...
Баохин *(Борису)*. Вон!
Борис. Папа!
Баохин. Вон, я вам говорю! Я хочу умереть среди порядочных людей!.. Вон! Вон!
Лохов. Семен, Дарданеллы, что это ты?
Борис *(Анне Тимофеевне и Камаеву)*. Выходите, так будет лучше.
Камаев *(на пороге)*. Дебила я не знаю, но нахала, Борис Семеныч, я вам никогда не прощу.

Борис выводит Анну Тимофеевну и Камаева. Сам останавливается на пороге.

Б о р и с. Папа, я останусь. Как врач. Должен я наконец тебя послушать!

Б а о х и н. К черту! Не нуждаюсь! Я и сам себя слышу!

Б о р и с *(от каждого крика отца он испуганно вздрагивает)*. Хорошо, хорошо, только успокойся, я тебя умоляю...

Б а о х и н *(орет)*. Уходи!

Борис в отчаянии разводит руками, трясет головой и выходит.

(В изнеможении роняет голову на подушку.) Ну все... Кончено... Я слышу, как у меня разрывается сердце...

Л о х о в. Не вздумай, Семен, не вздумай...

В и к т о р и я. Конечно! Разве можно вам так волноваться?

Б а о х и н. Родственники!.. Всю жизнь мне испортили и помереть спокойно не дают... *(Приподнимается.)* Под кровать меня засунули!.. Уголовники... Не пускайте их сюда. Ни в коем случае! *(Уронил голову на подушку.)* Спасибо... Тебе, Юра... И тебе, милая, благородная девушка... Спасибо, что вы здесь, со мной... Вы мне родные, вы мне и близкие... Вы мне глаза и закроете...

Л о х о в. Близкие мы или далекие, а помереть мы тебе не дадим. Даже не рассчитывай! Что ты, помирать сюда пришел?

Б а о х и н. Нет... *(Улегся.)* Не помирать я сюда шел, другая у меня была цель...

Л о х о в. Нет, Семен, так дело не пойдет. В кои-то веки зашел и нá тебе — улегся. Да еще помирать собираешься.

Б а о х и н *(снова приподнялся)*. Перед тобой, Юра, виноват... я... прости...

Л о х о в. За что, Семен?

Б а о х и н. Забыл я тебя... Друга забыл. Стыдно сказать, в одном городе жили — тридцать с лишним лет носу не показывал... А пришел, знаешь, зачем?

Л о х о в. Дарданеллы! Что за разговор такой неинтересный? Ты лежишь, как бревно, а я торчу тут... Вставай, Семен! Помереть ты всегда успеешь. Давай-ка лучше выпьем! За встречу... Ну, Семен! Как бывало!.. Что? Плохо у нас бывало?

Б а о х и н. Хорошо бывало...

Виктория, стоя у дверей, время от времени пошептывает что-то в коридор.

Л о х о в. Эх, Дарданеллы! «На воде, в небесах и на суше...» Да и тут, Семен, в комнатке в этой, бывали чудеса, а, Семен?

Б а о х и н. Да... Хорошо жили...

Л о х о в. А что? Законно жили.

Б а о х и н. Помнишь, буксир был «Григорий Котовский»?..

Л о х о в. «Котовский»? Ну как же! На «Котовском» матросами ходили.

Б а о х и н. Матросами...

Л о х о в. За лесом ходили.

Б а о х и н. За лесом... А «Лейтенант Шмидт»? *(Плачет.)*

Л о х о в Ну как же!

Б а о х и н *(плачет)*. А «Иван Тургенев»?

Л о х о в. А помнишь ты, как гудели мы однажды в Зарецке? Крепко?

Б а о х и н *(сквозь слезы)*. Ну как не помню!.. На «Тургеневе» и было...

Л о х о в. Без нас так и отвалил пароход-то. Эх, Дарданеллы! Давай-ка, Семен, выпьем! *(Достает из-за пазухи бутылку.)* Ей-богу, это не повредит! Дай-ка нам, дочка, стаканчики!

В и к т о р и я. С ума сходите, дядя Юра! Умирает же человек, а вы...

Л о х о в. Давай, говорю, стакан. Да закройся-ка пока на ключ!

В и к т о р и я. Не дам. Вам можно, а ему...

Б а о х и н. А мне тем более. Мне сейчас все можно. Двадцать лет в рот не брал, врачи не рекомендовали. А сейчас... Какое это сейчас имеет значение! Дайте нам стаканы... В последний раз...

Виктория закрывает двери на ключ и подает стаканы. Лохов разливает вино. Баохин садится на постели.

Л о х о в. Ну, Семен, будь здоров!

Б а о х и н. Не шути, Юра. Грех так шутить... Выпьем за наши молодые годы... *(Плачет.)*

Л о х о в. Будь здоров, Семен.

Оба выпивают.

Б а о х и н. Что это?.. Портвейн?.. Врачи мне говорили, нет ничего хуже портвейна. Но сейчас это не имеет ни-

какого значения... Что-то я не припомню, Юра, был в те годы портвейн?

Л о х о в. Портвейн?.. Портвейн... Дарданеллы! Тоже не помню. Мадера, та была...

Б а о х и н. Мадера — да...

Л о х о в. «Сливянку» помню... «Спотыкач»...

Б а о х и н. Прости, друг... Ты искал меня предупредить, искал посоветоваться, а я сюда пришел — провести тебя захотел, задобрить... Прости, Юра...

Стук в дверь. Виктория приоткрыла дверь и информирует изгнанников.

Прости... *(Положил голову на подушку.)*

Л о х о в. Ладно, Семен... Ладно уж, Дарданеллы...

Б а о х и н. Нехорошо... Некрасиво... Друга хотел купить... Да что, Юра! Разное со мной бывало. И на службе бывало, и в личной жизни. Жену, помнишь ты ее, Клаву?.. Сам ее бросил. Сам, а устроил все так, что...

Л о х о в. Слышал я, Семен...

Б а о х и н. Выгнал ее, можно сказать. И сын с ней ушел. И правильно сделал.

Стук в дверь. Виктория открывает дверь, впускает Б о р и с а и снова запирается.

Б о р и с. Папа! Как ты?

Б а о х и н. Сядь, сынок. Не сердись на отца.

Б о р и с *(берет руку Баохина)*. Папа, позволь мне...

Б а о х и н *(высвобождает руку)*. Не надо, сынок. Со мной все ясно. Скоро конец... Скоро. Я чувствую, как у меня останавливается сердце. *(Предупреждает новую попытку Бориса.)* Не надо. Послушай лучше, как отец в своих грехах кается... Скажи мне, как мать? Здорова она?

Б о р и с. Ничего, папа, здорова.

Б а о х и н. Жаль, что я ее не увижу...

После длительного перерыва издалека снова доносится крик вороньей стаи.

А, вот и они...

Крик вороньей стаи.

Откуда их столько?

Л о х о в. Дарданеллы... Этого добра здесь всегда хватало.

Б а о х и н. Мне кажется... Сегодня все, сколько их есть, они собрались сюда...

Стук в дверь.

(Борису.) А что Аня?.. Как она там?

Б о р и с. Плачет.

Б а о х и н. Впустите ее... Она не виновата... Ведь я знал, что она меня не любит. И что обманывает, знал. Знал, а делал вид, что не знаю. Жил как поспокойнее. Лицемерил... А ей что? Она молодая, красивая, ей жить хочется... Выходит, сам я виноват... Пусть она войдет.

Виктория открывает дверь. Входит А н н а Т и м о ф е е в н а.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Семен! Как ты?

Б а о х и н. Аня, бог с тобой, прощаю я тебя... И ты меня прости... Не поминай лихом... Похороните меня, и выходи замуж. Ничего... Замуж выходи обязательно, ребенка тебе надо, пока не поздно... Да вот за него и выходи, за этого... Если вы друг друга любите.

Анна Тимофеевна заплакала.

Пусть-ка он сюда войдет.

Виктория впускает К а м а е в а.

Ну?.. Оба молодые, цветущие... Юра, что ты скажешь?

Л о х о в. Ну что? Хорошая пара, Дарданеллы...

Б а о х и н. Ну и бог с вами... Будьте счастливы.

А н н а Т и м о ф е е в н а *(сквозь громкий плач)*. Семен!.. Век тебя не забудем!..

К а м а е в. Какой человек, а?.. Какой человек!

Б а о х и н. Ладно... Борис, передай матери, винился, мол, и думал перед смертью о ней...

Б о р и с. Папа! *(Берет отца за руки.)*

Б а о х и н. Ну вот... Из-за имущества, надеюсь, не подеретесь... Борис, забирай себе машину, а вы — остальное... Есть у меня просьба: ходите за садом. Не бросайте его... Позовите садовника... Яблони привить. Сам их сажал... Живите дружно... За деньгами не гоняйтесь,

за чинами тоже... Главное, чтобы совесть была чиста... Если б я мог прожить еще одну жизнь, я жил бы совсем по-другому. Подумайте об этом, пока не поздно...

Крик ворон в отдалении.

Слышите?

Крик ворон ближе.

Слушайте, слушайте... Хотя бы иногда... Не думайте, что это вас не касается... Не думайте... *(Пауза.)*

Борис *(вдруг)*. Папа... Ты... У тебя... Пульс у тебя почти нормальный!

Пауза.

Папа! У тебя хороший пульс!

Баохин *(садится на постели)*. Что?.. Что ты сказал?

Борис. У тебя хороший пульс, клянусь тебе!.. Постой! Я измерю давление! *(Занимается своим делом.)*

Пауза.

Папа! *(Обнимает отца.)* Давление вполне приличное!

Баохин. Не может быть!

Борис. Я тебе говорю! Ты будешь жить!

Баохин. Но... Как же так?

Лохов. Ну! Дарданеллы! Что я говорил!

Баохин *(он потрясен)*. Это... это невероятно...

Борис. Ты мне не веришь?.. Было плохо, но теперь... Ты скоро сможешь подняться.

Лохов. Вставай, Семен! Это дело надо отметить!

Борис. Папа... Ты как будто не рад?.. Ты будешь жить, понимаешь? Это же прекрасно! Жить!

Баохин. Жить... Жить... Но как? Как мне теперь жить?

Небольшая пауза.

Борис. Что значит — как?.. Что за вопрос?

Лохов. Дарданеллы. Живи у меня!

Борис. Папа, я не понимаю... Ты только что говорил... Мама тебя простит... Так в чем же дело?

Б а о х и н. Но... А ты уверен, что она меня простит?

Б о р и с. Конечно!

Л о х о в. Оставайся здесь, Дарданеллы! Заживем, как бывало...

Б а о х и н. Но как же мы здесь вдвоем?.. И потом все так странно и... Просто удивительно!

К а м а е в. Семен Николаич, а может, вы хотите домой?

Б а о х и н. Да, но... Нет, нет! Теперь это невозможно!

Б о р и с. Папа!

Л о х о в *(перебивает)*. Семен!

К а м а е в. Семен Николаич, если хотите домой, не стесняйтесь! Пусть все будет по-старому, а? Анна Тимофеевна?.. У меня, например, никаких претензий.

А н н а Т и м о ф е е в н а. Нн... и... Сс... С... Семен! В конце концов, если... то, что же... Может, в самом деле?

Б а о х и н. Нет! Это просто невероятно... Это черт знает что такое!

Б о р и с. Папа! Неужели после всего, что здесь случилось, ты сможешь...

В и к т о р и я. Уж лучше оставайтесь здесь!

Б а о х и н. Но... Я не знаю, что и сказать... Просто не знаю!

Все говорят разом.

Б о р и с. Ты вернешься к нам!

Л о х о в. Оставайся здесь, Семен!

В и к т о р и я. Оставайтесь здесь!

А н н а Т и м о ф е е в н а. Раз так случилось...

К а м а е в. Возвращайтесь домой!

Л о х о в. Ну, Семен... Определяйся!

Пауза. Баохин встает с кровати и идет сначала в одну сторону, потом в другую и в нерешительности останавливается.

Неожиданно слышится крик вороньей стаи. Он нарастает и усиливается, как порыв ветра.

Б а о х и н. Боже мой... Что же мне делать?

Все говорят очень громко, как бы вопреки крику вороньей стаи, полностью заглушая его.

Б о р и с. Ты должен вернуться к нам, иначе я перестану тебя уважать.

Лохов. О чем думаешь, Дарданеллы! Оставайся здесь!

Виктория. Не поддавайтесь, товарищ Баохин! Оставайтесь здесь! Оставайтесь!

Анна Тимофеевна. Возвращайся, если хочешь. Что поделаешь...

Камаев. Возвращайтесь, Семен Николаич. По-моему, так даже лучше будет.

Небольшая пауза, во время которой царит полная тишина. Баохин садится на стул, стоящий посередине комнаты.

Баохин. Что делать, не знаю...

Занавес

НЕСРАВНЕННЫЙ НАКОНЕЧНИКОВ

Водевиль в двух действиях с прологом и эпилогом

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Картина первая

Старая парикмахерская в большом городе. Небольшая комната, часть которой занавешена портьерой. Три рабочих кресла, зеркала, у дверей вешалка, рядом столик для газет и два стула для ожидающих очереди клиентов.

Летний день, послеобеденный час. Дверь на улицу распахнута настежь. Где-то поблизости крутят монотонную эстрадную мелодию. В одном из кресел развалился простодушного вида молодой человек в белой куртке. Это мастер заведения Наконечников. Разморенный жарой и вынужденным бездельем, время от времени позевывая, он перелистывает тонкую книжицу с цветными картинками.

В эту минуту появляется Дутов, мужчина лет шестидесяти, тучный, лысеющий, вытирающий пот со лба и шеи.

Дутов. Добрый день.

Наконечников. А-а... Николаю Иванычу — привет.

Дутов. Жара какая, а?.. Градусов, думаю, под сорок.

Наконечников. Не меньше...

Дутов. Уф... *(Усаживается на стул.)* Листья на деревьях свернулись. Что делается, а?

Наконечников. Не говорите...

Небольшая пауза.

Будем бриться? *(Указывает на кресло.)* Прошу.

Дутов. Ой, погоди. Дай хоть отдышаться... Дальше так пойдет, и без грибов останемся.

Наконечников. Вполне возможно...

Пауза. Наконечников снова перелистывает книжку.

Дутов. Ну? Как живете?.. Новости какие?

Наконечников. Новости?.. Да ничего такого. Все по-старому...

Снова молчат. Потом Наконечников показывает Дутову одну из страниц своей книжки.

Гляньте. Лев поссорился с крокодилом.

Дутов. Ну?

Наконечников. Началась у них драка.

Дутов. Ну?

Наконечников. Кто из них победил, как вы считаете?

Дутов. Что? К чему ты?

Наконечников. Лев напал на крокодила. Началась у них битва.

Дутов. Ну и что?

Наконечников. Кто, по-вашему, победил? Лев или крокодил?

Дутов. Г-м... Ну лев.

Наконечников. Лев?

Дутов. Конечно, лев.

Наконечников *(тоном превосходства)*. Однако победил крокодил.

Дутов. Неужели?

Наконечников. Факт. *(Поднимается, бросает книжку, налаживает бритье.)*

Дутов *(пересаживается в кресло)*. А где твоя напарница?.. Где Раиса Петровна?

Наконечников. В гастроном ушла. За сосисками. *(Усаживает Дутова поудобней.)* Головку повыше... Вот так... *(Начинает бритье.)*

Дутов *(не сразу)*. Крокодил, говоришь?

Наконечников. Он, Николай Иваныч, крокодил.

Дутов. Скажи-ка... Но ведь лев посильнее будет. Среди зверей лев все-таки фигура.

Наконечников. Согласен, Николай Иваныч. Лев — царь зверей. Однако победил крокодил.

Дутов. Удивительно...

Наконечников. Но факт. Победил крокодил.

Пауза. Наконечников работает.

Компрессик, Николай Иваныч? Помогает от жары.

Д у т о в. Давай. Раз помогает.

Наконечников делает компресс.

Н а к о н е ч н и к о в. Чем освежить? «Шипром», как обычно?

Д у т о в. Давай.

Н а к о н е ч н и к о в. А вот «Полет». *(Показывает флакон.)* Новый. Помягче будет.

Д у т о в. Давай «Полет».

Наконечников прыскает одеколоном, орудует полотенцем. Закончил работу.

Н а к о н е ч н и к о в. Ну как?.. Полегче стало?

Д у т о в. Вроде бы да. Благодарю. *(Расплачивается.)* Уважил. Омолодил.

Н а к о н е ч н и к о в. Всегда к вашим услугам.

Д у т о в *(поднялся, заглянул в зеркало)*. Как же мне теперь молодому-то, куда ж пойти?

Н а к о н е ч н и к о в. Как куда? К дамам, Николай Иваныч. А то куда?

Д у т о в. К дамам, говоришь?.. А что? Можно и к дамам. Ничего еще. Не жара бы, так я бы... Кое-что я еще могу. А ты думал? И выпить могу. И спеть. И сплясать, как бывало... Резюме, правда, уже не подведу.

Н а к о н е ч н и к о в *(оживился)*. Прибедняетесь, Николай Иванович.

Д у т о в *(развел руками)*. Врать не люблю.

Оба смеются.

Но ты, слышь, Миша. Женщинам ты ни гугу. Ни одной. Раисе Петровне — тоже. Молчок. Военная тайна.

Н а к о н е ч н и к о в. Могила.

Д у т о в. Счастливо, Миша. *(Уходит, в дверях останавливается.)* А все-таки, стало быть, крокодил?

Н а к о н е ч н и к о в. Факт, Николай Иваныч. Победил крокодил.

Д у т о в. Чудеса, да и только. *(Уходит.)*

После его ухода Наконечников снова пытается читать, но клюет носом и вскоре погружается в сон. Музыка неожиданно усиливается, на улице послышались шум и голоса. Наконечников не реагирует ни на то, ни на другое. Шум и голоса приближаются, и в парикмахерскую вбегает Э д у а р д о в, длинноволосый молодой человек в клетчатом костюме. Он бросается к раковине, хватает стакан, набирает воды, жадно пьет, после чего устремляется к выходу, но на пороге останавливается, поворачивает обратно и скрывается за портьерой. Там он опрокидывает какую-то посудину — раздается грохот, и Наконечников просыпается.

В это мгновение в парикмахерской появляется Незнакомка — молодая женщина привлекательной наружности, одетая по последней моде. Ее появление неожиданно, неординарно, и сонный Наконечников смотрит на нее с изумлением. Она осматривается и в изнеможении опускается на стул — рядом с Наконечниковым.

Шум и голоса на улице, достигнув предела, теперь удаляются, затихают.

И музыка снова умолкла.

Незнакомка. Воды...

Наконечников не двигается и молчит, преодолевая барьер между сном и действительностью.

Дайте воды!

Наконечников не шевелится.

Вы глухой?

Наконечников в ответ что-то промычал.

Немой?.. Контуженный?

Наконечников *(наконец очнулся)*. Никак нет...

Незнакомка. Тогда дайте мне воды.

Наконечников осторожно, как бы боясь спугнуть гостью, поднимается и подает ей стакан с водой. Та пьет большими глотками.

Еще.

Наконечников *(повинуется)*. Сейчас...

Он окончательно проснулся.

Незнакомка. Еще.

Третий стакан с водой он подает ей уже не без галантности.

Кроме вас есть тут кто-нибудь еще?

Наконечников. Здесь?.. Как видите.

Незнакомка. Никого?

Наконечников. А в чем дело?

Незнакомка. Я спрашиваю: есть тут кто-нибудь кроме вас?

Наконечников. Никого... Абсолютно.

Незнакомка. Это правда?.. А там? *(Показывает на портьеру.)* Нет там никого?

Наконечников. Ни души!

Незнакомка. Вы уверены?

Наконечников *(приосанился)*. Не волнуйтесь. Я здесь один.

Небольшая пауза. Наконечников подходит к Незнакомке.

(Интимно.) Мы абсолютно одни.

Незнакомка *(усмехнулась)*. Что вы этим хотите сказать?

Наконечников *(не замечая ее усмешки, подмигивая)*. «В этом зале пустом мы танцуем вдвоем...»

Незнакомка *(холодно)*. Прекратите. *(Поднялась.)* Вы меня не так поняли. Я ищу совсем другого человека.

Наконечников *(растерянно)*. Да?.. *(Не сразу.)* Но я... мне показалось, что вы хотели со мной поговорить...

Незнакомка *(с пренебрежением)*. Я — с вами?.. Да ничего подобного!

Она выходит на улицу, но в это время за портьерой раздается тот же грохот. Эдуардов чертыхается. Незнакомка мигом возвращается в парикмахерскую и, отстранив рукой и без того униженного Наконечникова, подходит к портьере, приоткрывает ее и обнаруживает там Эдуардова с тазом в руках. При виде его Незнакомка преображается. Из надменной самоуверенной женщины она превращается в робкую неуклюжую просительницу.

Извините... Простите за беспокойство...

Эдуардов *(с досадой)*. Что вам угодно? *(Оставил таз и вышел из прикрытия.)*

Незнакомка. Простите, но разве вы меня не узнаете?

Эдуардов *(грубо)*. Первый раз вижу.

Незнакомка. Но как же... Мы ехали с вами в одном такси...

Эдуардов. Не помню.

Незнакомка *(краснея)*. Вместе шли по улице...

Эдуардов. Не знаю...

Незнакомка. Я проводила вас до гостиницы...

Эдуардов. Меня всегда кто-нибудь провожает.

Незнакомка. Вы меня поблагодарили...

Эдуардов. Я человек вежливый, но я вас не помню. Извините. *(Наконечникову.)* Шеф, можно у вас напиться?

Наконечников молчит. Он снова в изумлении. Эдуардов пьет.

Незнакомка *(жалобно)*. Вы подарили мне трамвайный билет. Вот он... *(Достает из сумки трамвайный билет.)*

Эдуардов. Могу подарить еще один. *(Полез в кармин, достал оттуда горсть трамвайных билетов.)* Сколько угодно. Я раздаю их пачками. Каждый день.

Н е з н а к о м к а. Вы сделали мне комплимент. Вы сказали, что я похожа на...

Э д у а р д о в *(устало)*. На Софи Лорен. Ладно. Я вас узнал.

Незнакомка просияла.

(Строго.) Узнал. Но с тех пор, как мы виделись, вы сильно изменились.

Н е з н а к о м к а. Как?.. Мы виделись с вами вчера!

Э д у а р д о в. Все равно. Вы очень изменились.

Незнакомка растерялась, съежилась, увяла.

Ладно, чего вы хотите?

Н е з н а к о м к а *(жалобно)*. Вы сами знаете...

Э д у а р д о в *(сухо)*. Когда?

Н е з н а к о м к а. Сегодня!

Э д у а р д о в. Невозможно.

Н е з н а к о м к а. Прошу вас!

Э д у а р д о в. Ничего не выйдет.

Н е з н а к о м к а. Завтра.

Э д у а р д о в. То же самое.

Н е з н а к о м к а. В четверг!

Э д у а р д о в. Навряд ли. Но вернее всего: нет.

Н е з н а к о м к а. А вдруг! Умоляю вас, возьмите мой телефон! *(Протягивает ему бумажку.)*

Э д у а р д о в *(жестом отвергает ее телефон)*. Я вам не позвоню. Забуду. *(Милостиво.)* Возьмите мой. *(Достает блокнот, пишет.)* Позвоните в среду. Но учтите, я ничего вам не обещаю. У меня люди на люстрах висят.

Н е з н а к о м к а. Я надоела вам, простите...

Эдуардов вырывает из блокнота листок, отдает его Незнакомке. Та принимает его с благоговением. Наконечников наблюдает за ними с раскрытым ртом.

Благодарю вас...

Э д у а р д о в *(сухо)*. До свидания. *(Наконечникову.)* Вы свободны, шеф?.. Я хотел бы побриться. *(Усаживается в кресло.)*

Н е з н а к о м к а. До свидания!.. Я буду надеяться... *(Удаляется почти счастливая.)*

Э д у а р д о в. Слава богу, отвязалась. *(Поднялся с кресла.)* Бриться я не собираюсь... Что такое, шеф? Почему вы так на меня смотрите?

Наконечников *(вышел из оцепенения)*. Слушай, парень... Ты в своем уме или нет?

Эдуардов. А что такое?

Наконечников. Нет, ты соображаешь, что ты делаешь?

Эдуардов. Да что такое?

Наконечников. «Что такое?» Такая женщина к тебе клеится, а ты что?

Эдуардов. А-а... *(Рассмеялся.)* Ну, шеф, вы преувеличиваете. Эта женщина обыкновенная.

Наконечников. Она? Обыкновенная?.. Ну даешь ты... Смотри, пробросаешься такими кусками.

Эдуардов *(махнул рукой)*. Надоели... Эта еще ничего, скромная. Ты других не видел. Такие, брат, попадаются экземпляры... Хищницы. *(Томно.)* Когда-нибудь они разорвут меня на части...

Эдуардов подходит к двери, выглядывает на улицу. Оттуда в это время снова доносятся голоса.

Наконечников. Слушай, парень... Ты кто такой?

Эдуардов. А ты не знаешь? *(Рассмеялся.)* Ну слава богу, встретил нормального человека. Будем знакомы.

Он протянул Наконечникову руку, тот ее пожал.

Эдуардов... Вадим.

Наконечников. Наконечников... Кто ты, серьезно?.. Космонавт ты, что ли?.. Нет?..

Эдуардов. Послушай! Ты хорошо сохранился — раз ты не знаешь Вадима Эдуардова.

Наконечников. Где ж ты работаешь?

Эдуардов. Везде... Госконцерт — слышал такую организацию?

Наконечников *(не сразу)*. Артист, что ли?

Эдуардов. В сообразительности тебе тоже не откажешь.

Наконечников. Артист, значит... А кого ты, допустим, изображаешь?

Эдуардов. Никого.

Наконечников. Тогда какой же ты артист?

Эдуардов. Я пою.

Наконечников. А-а... *(Не сразу.)* Арии поешь?

Эдуардов. Песни.

Наконечников. Песни?.. И все?

Эдуардов. Ну это, брат, у кого как получается.

Наконечников (*не сразу*). А как ты зарабатываешь?

Эдуардов. Неплохо.

Наконечников. Сотни три имеешь?

Эдуардов. Имею.

Наконечников. А может, четыре?

Эдуардов. Может, и четыре.

Наконечников. А может, и больше?

Эдуардов. А может, и больше.

Наконечников (*не сразу*). Долго учился?

Эдуардов. Чему учился?

Наконечников. Да вот — песни петь?

Эдуардов. Я не учился. Но я, брат, особый случай. Другие выходят из консерватории.

Наконечников. Х-м... А почему для тебя такое исключение?

Эдуардов. Да так. Талант, говорят.

С улицы снова раздаются голоса и гомон толпы. Эдуардов подходит к двери и выглядывает на улицу. Шум толпы приближается.

(С досадой.) Неужели эта дура сказала им, что я здесь!.. *(Наконечникову.)* Это поклонники. Черт бы их побрал!.. Если что, я опять спрячусь. А пока мы закроем дверь. Идет? *(Закрывает дверь.)* Думаешь, им нужны автографы? Как бы не так. Они требуют, чтобы я провел их на концерт. Бесплатно. Или — чтобы я пил с ними водку.

Наконечников. Гляжу, везет тебе... *(Не сразу.)* Слушай, а как его определяют, талант? Кто его определяет?

Эдуардов. Как «кто»? Специалисты определяют... Вот ты мне спой что-нибудь, а я тебе скажу, есть у тебя талант или нет.

Наконечников. У меня? *(Не сразу.)* Ты это серьезно?

Эдуардов (*усмехаясь незаметно*). А почему несерьезно? Ты сам сказал, что ты поешь. Вот и спой. А я послушаю.

Наконечников (*он не замечает, что над ним подсмеиваются*). А чего? Могу спеть... А ты определишь, точно?

Э д у а р д о в. Не пой, если не веришь. Мне-то что? *(Не сразу.)* Ну? Будешь петь?

Наконечников прокашлялся, молчит.

Ну что?

Н а к о н е ч н и к о в *(мается)*. Дак ведь это... Чудно как-то — ни с того ни с сего...

Э д у а р д о в *(подначивает)*. А ты как думал? Давай, давай. Пользуйся случаем. А вдруг у тебя талант.

Н а к о н е ч н и к о в *(не сразу)*. Чего спеть-то?

Э д у а р д о в. Это уж твое дело.

Н а к о н е ч н и к о в. Может, «Тройку»?

Э д у а р д о в. Как хочешь.

Н а к о н е ч н и к о в. Или «Рябину»?

Э д у а р д о в. Все равно. Но лучше что-нибудь поживей, потемпераментней.

Н а к о н е ч н и к о в *(молчит, потом вдруг начинает петь фальшиво и нелепо)*.

Бирюзовы да златы колечики,
Эх, да раскатились по лужку...

Эдуардов, с трудом подавляя смех, стучит по спинке стула, как по барабану.

Ты ушла, и твои плечики
Скрылися в ночную мглу!
Пой-звени, гитара семиструнная,
Разгони ты грусть-тоску-печаль,
Эх, ты, жизнь моя цыганская,
Ничего теперь не жаль.

Хватит?

Э д у а р д о в. Да. Вполне достаточно.

Н а к о н е ч н и к о в. Ну что?

Э д у а р д о в. Неплохо, но... как бы тебе сказать...

Н а к о н е ч н и к о в. Говори, как есть.

Э д у а р д о в. Хорошо. Будем откровенны. Голоса у тебя нет...

Н а к о н е ч н и к о в. Ясно.

Э д у а р д о в. Что «ясно»? Голоса у тебя нет, но на эстраде он и не всегда нужен.

Н а к о н е ч н и к о в. Да?

Э д у а р д о в. Держаться ты не умеешь, вкуса ника-

кого. Стоит тебе запеть на улице, и тебя обязательно заберут в милицию. Но и это не беда: твои манеры можно выдать за непосредственность... Пойдем дальше. Местами ты не поешь, а воешь, как голодный пес, и хрипишь, как будто бы тебя давят.

Наконечников. Ладно. Я тебя понял.

Эдуардов. Что ты понял? Как раз это, возможно, и есть твоя сильная сторона, твой, так сказать, шарм. Не знаю. Воешь ты, конечно, примитивно, но в твоем хрипе, по-моему, есть что-то своеобразное. Именно на него ты мог бы рассчитывать, если бы у тебя было бы хоть немного слуха.

Наконечников *(неожиданно)*. А без слуха нельзя?

Эдуардов. Нельзя, к сожалению. Сейчас сочиняют такие мелодии — запомнить их никакого слуха не хватает. Так что извини, но певца из тебя не выйдет. *(Открыл дверь и снова выглянул на улицу, вернулся.)* Но ты не грусти. Может, у тебя какой другой талант.

Наконечников. Думаешь?

Эдуардов. Ну кто тебя знает? *(Осматривает Наконечникова с головы до ног.)* Так... Парень ты видный... Не изболел... Шарниры в порядке?

Наконечников. Чего?

Эдуардов. Суставы, мышцы, ступни... Ноги целы?

Наконечников. Да в норме вроде бы... Не жалуюсь.

Эдуардов. Пляшешь?

Наконечников. Бывает...

Эдуардов. А ну сбацай.

Наконечников. А что, и такая есть профессия?

Эдуардов. А ты как думал? Ты же эстрада. Давай.

Наконечников. А что именно?

Эдуардов. Не знаю. Болеро, па-де-труа, вальс-чечетка — выбирай по своему вкусу.

Наконечников. Вальс-чечетка.

Эдуардов. Так. Вкус у тебя неиспорченный. Шуруй. *(Напевает ему, отстукивает такт.)* Ну! Не заставляй себя ждать!

Наконечников пляшет вальс-чечетку. По ходу сбрасывает куртку, затем руки держит строго по швам. Пляшет довольно долго.

Чаще!.. Чаще! *(Увеличивает темп.)* Дерзай!

Наконечников не выдерживает темпа, сбивается и останавливается.

Все?

Наконечников падает в кресло. Тяжело дышит.

Ну что ж... совсем неплохо. Своеобразно... Но для узкого круга. Боюсь, что широкая публика тебя не поймет.

Н а к о н е ч н и к о в. Воды... Воды подай...

Э д у а р д о в *(подает ему воды, с сочувствием)*. Устал?

Н а к о н е ч н и к о в. Запалился.

Э д у а р д о в. Тяжело, конечно, с непривычки... М-да... Пожалуй, это мы с тобой зря затеяли. Похоже, этим делом надо заниматься систематически, с самого детства. *(Не сразу.)* Тебе сколько лет?

Наконечников показывает на пальцах.

Так... Видишь, время, можно сказать, упущено... Давно ты в парикмахерской?

Наконечников показывает три пальца.

Три года... Надоело?

Н а к о н е ч н и к о в. Как сказать?.. Сначала ничего. Потом так-сяк... *(Тяжело дышит.)* Сейчас — не знаю... Короче: надоело... *(Не сразу.)* Что делать? Куда податься?

Э д у а р д о в. Женат?

Наконечников кивает.

Уже хуже... Давно женат?

Н а к о н е ч н и к о в. Три года... Осел здесь после армии.

Э д у а р д о в. А откуда родом?

Н а к о н е ч н и к о в. Родом деревенский.

Э д у а р д о в. Это заметно... Дети есть?

Н а к о н е ч н и к о в. Двое.

Э д у а р д о в. М-да... Чем тебе помочь — даже и не знаю. *(Не сразу.)* Спортивную карьеру ты, считай, тоже прозевал... Слушай, ты стихи писал?

Н а к о н е ч н и к о в. Было дело.

Э д у а р д о в. Прочти... Помнишь наизусть?

Н а к о н е ч н и к о в. Не-е... Да какие там стихи? Так что-то, один раз написал, к празднику...

Эдуардов. К празднику?.. Ну что ж. Направление у тебя здоровое... Может, тебе литературой заняться?

Наконечников. Да что ты. У меня всего семь классов...

Эдуардов. Это неважно. Даже наоборот: пойдешь от жизни... Ну, со стихами сейчас непросто, поэтов тьма, ты можешь не выдержать конкуренции. Так. Роман тебе не по зубам, прямо скажем... Что там у нас остается? Драматургия... А что? Пожалуй, это идея! Я в газете вчера читал: в театрах репертуарный голод, драматургия отстает, пьес никто не пишет. А? Что ты на это скажешь?

Наконечников. Что такое драматургия?

Эдуардов. Привет! Ты бывал хоть раз в театре?

Наконечников. Был.

Эдуардов. Что ты там видел?

Наконечников. Постановку... Какую — не помню...

Эдуардов. Что такое постановка?

Наконечников молчит.

Ну хорошо. На сцене ты видел актеров. Что они там делают?

Наконечников. Показывают...

Эдуардов. Что показывают?

Наконечников. Ходят, разговаривают... Один все молчал, а потом говорит: дальше, говорит, так жить нельзя, вы, говорит, не люди, а тушканчики, скучно, говорит. Я вас, говорит, в тюрьму пересажу и сам с вами сяду

Эдуардов. Так. Это драма.

Наконечников. А другую видел, так там все больше смехом. И мужик веселый. Жену, говорит, вы у меня, конечно, отбили, сына, конечно, тоже увели, есть у вас, говорит, и другие недостатки, но теперь, говорит, дело прошлое, и в целом, говорит, вы все же люди неплохие. Поэтому, говорит, давайте все вместе будем веселиться.

Эдуардов. А это комедия. И придумал все это и написал — автор, писатель, он же драматург — понятно тебе?

Наконечников *(вдруг)*. А чего тут не понять?

Эдуардов. Вот и попробуй. Вдруг — талант.

Наконечников. А как за это платят?

Эдуардов. Платят хорошо. Кроме того — слава, почет и уважение... Но предупреждаю: написать

это полдела, главное — пробиться. Тут, конечно, тебе не повредили бы связи, знакомства...

Н а к о н е ч н и к о в. Погоди, у меня есть знакомый. В театре.

Э д у а р д о в. Парикмахер?

Н а к о н е ч н и к о в. Директор.

Э д у а р д о в. Сам директор?

Н а к о н е ч н и к о в. Он у меня бреется. Уже третий год.

Э д у а р д о в. Да?.. Что ж, для начала это совсем неплохо. Ты подаешь надежды. *(Выглянув на улицу.)* Ушли... *(Подходит к Наконечникову.)* Давай прощаться, я пошел...

Н а к о н е ч н и к о в. Погоди... А как их писать — пьесы-то?

Э д у а р д о в. Здравствуйте, приехали! *(Смеется.)* Берешь бумагу, ручку, садишься, пишешь название. Дальше — действующие лица. Ну и пошел. Пишешь: «Катя». Ставишь точку. Потом — что эта Катя говорит. Потом «Петя». Снова точка и что этот Петя той Кате отвечает. Например. Катя: Петя, ты куда собрался? Петя: До свидания, дорогая Катя, я уезжаю. Катя: Как так, Петя? Ты уезжаешь, а как же я? Разве ты меня не любишь? Почему, отвечает Петя, я тебя люблю, но у меня уже билет в кармане. И так далее. И пошел, и пошел. *(Подает Наконечникову руку.)* Ну! Желаю тебе. Дерзай. Приеду в следующий раз — чтобы ты пригласил меня на свою премьеру.

Н а к о н е ч н и к о в. Что такое премьера?

Э д у а р д о в. Первое представление. Желаю тебе — еще раз. *(Идет к двери.)*

Н а к о н е ч н и к о в. Постой!

Эдуардов останавливается.

Про что мне писать?

Э д у а р д о в. А уж это тебе лучше знать. Возьми какой-нибудь случай интересный — может, из своей жизни, а нет, так что-нибудь придумай. Но смотри, ври, да знай меру. Чтоб на правду было похоже, понял?.. Все. Желаю успеха. *(Уходит.)*

Оставшись один, Наконечников погружается в глубокое размышление. Через некоторое время на улице раздается шум толпы, который приближается к самым дверям парикмахерской. Наконечников подходит к двери.

Н а к о н е ч н и к о в *(неожиданно, тоном Эдуардова)*. Что вам угодно?

Голос из толпы. Вы не видели Эдуардова?

Наконечников *(небрежно)*. Вадима?.. Он только что ушел. А что вам угодно? Если автограф, то пожалуйста, могу дать. Но предупреждаю, водку я с вами пить не буду.

Голос из толпы. А кто вы такой?

Наконечников. Михаил Наконечников. Драматург. Не знаете такого?

Из толпы доносятся смех и голоса: «Кто такой Наконечников?» «Такого мы не знаем». «Первый раз видим».

Голос из толпы. Первый раз слышим.

Наконечников. Ну ничего. Еще услышите.

Картина вторая

Квартира Наконечникова. Небольшая, сильно загроможденная комната. Посредине круглый стол, у окна — письменный, диван, две детские кровати, трюмо, один из углов отгорожен ширмой.

Капитолина, жена Наконечникова, молодая, не в меру полная женщина, гладит детские пеленки.

Из-за ширмы сначала послышался кашель, затем слабый голос тещи Наконечникова — Полины Матвеевны.

Полина Матвеевна. Капитолина... Капитолина!

Капитолина *(громко)*. Чего опять?

Полина Матвеевна. Капитолина!

Капитолина *(подходит к ширме, кричит)*. Чего тебе?

Полина Матвеевна. Кто к нам пришел?

Капитолина *(кричит)*. Никого! *(Исчезает за ширмой, кричит там.)* Никого, говорю, нет. *(Возвращается, продолжает работу.)*

Пауза.

Полина Матвеевна. Капитолина!.. *(Через некоторое время.)* Капитолина!

Капитолина *(прошла за ширму, кричит)*. Ну что? Что ты меня дергаешь поминутно? У меня голова болит кричать.

Полина Матвеевна. Что говоришь? Не слышу.

Капитолина *(кричит)*. Голова, говорю, болит! С тобой разговаривать — голова болит! И тебе нельзя. Спокойно тебе надо лежать! Слышишь, спокойно!

Полина Матвеевна. Капитолина! Что это Михаил по ночам свет жжет? Что это он делает?

К а п и т о л и н а *(вбегает за ширму, яростно)*. Какое твое дело, мама! Ты можешь помолчать или нет?

П о л и н а М а т в е е в н а. Вроде как за столом сидит. А что делает?

К а п и т о л и н а *(кричит)*. Пьесу пишет! Книгу ли! *(Негромко.)* Черт его знает, что он там пишет. *(Кричит.)* Напишет — ему за это деньги дадут! Понимаешь? *(Негромко.)* Дадут — держи карман шире.

П о л и н а М а т в е е в н а. Деньги?.. Батюшки мои! Неужто он деньги подделывает? В тюрьму попадет!

К а п и т о л и н а. Да нет! *(Смеется. Потом снова кричит.)* Не поняла ты! Книгу он пишет! Книгу! Сочиняет он! *(Негромко.)* Человек был как человек, и нá тебе. *(Кричит.)* Писателем, говорю, заделался! Сочинителем!

П о л и н а М а т в е е в н а *(неопределенно)*. А-а... Ну это ничего...

Входит Н а к о н е ч н и к о в.

К а п и т о л и н а. Явился.

Н а к о н е ч н и к о в. Чтоб она сгорела, эта парикмахерская... Ты подумай, сколько бы я мог написать за целый день.

К а п и т о л и н а. Может, ты работу бросишь? *(Берет с письменного стола увесистую папку, потрясает ею в воздухе.)* Мало ты бумаги извел?.. А кому это надо?

Н а к о н е ч н и к о в. Положь на место. Сколько я просил тебя не трогать рукопись руками? *(Взял папку.)* Здесь только начало. Главное впереди.

К а п и т о л и н а. Мать вон думает, что ты ночами деньги печатаешь.

Н а к о н е ч н и к о в. Невежество... Но в фигуральном смысле верно. Ты знаешь, сколько зашибают в драматургии, какие деньги?

К а п и т о л и н а. Кто зашибает? Ты писать-то грамотно не умеешь. Ну! А сколько книжек ты вообще прочитал? Две? Три?

Н а к о н е ч н и к о в. Это не имеет значения. Я иду от жизни.

К а п и т о л и н а. Куда ты идешь?.. Иди лучше в садик, за ребятишками. Помоги. Мне в магазин надо, в аптеку, в химчистку. Где же я успею?.. Сходи за ребятишками.

Н а к о н е ч н и к о в. Не могу. Сажусь писать. Посижу, пока их нет

Капитолина *(неожиданно ласково)*. Миша... *(Подходит к нему.)* Мишенька... Брось ты эту писанину, прошу тебя. Забудь, Миша, не твое это дело... *(Обнимает его.)* Опомнись. Ну зачем тебе эти бумажки?..

Наконечников поддался было на ее ласку, но лишь на мгновение.

Вспомни, как хорошо было нам без литературы...

Наконечников *(отстраняя жену от себя, решительно)*. Я должен писать.

Капитолина *(зло)*. Ненормальный! Псих! *(Хватает сумку, в дверях.)* Лучше бы ты водку пил! *(Уходит, громко хлопнув дверью.)*

Полина Матвеевна. Капитолина! Кто к нам пришел?.. Капитолина!

Наконечников *(прошел за ширму, кричит)*. Капитолина ушла! Я один! Я работаю! Прошу вас мне не мешать! *(Сел за стол, раскрыл папку. Поднялся, подвинул стол поближе к окну, сел этак, сел так. Задумался. Поднялся, принялся ходить по комнате. Остановился перед зеркалом, как следует себя осмотрел, затем приосанился, поклонился воображаемой публике. Дважды повторил поклон. Снова уселся за стол. Задумался.)*

Полина Матвеевна. Капитолина!.. Капитолина!

Наконечников *(вскочил, прошел за ширму)*. Что такое?

Полина Матвеевна. Какой сегодня день?

Наконечников *(кричит)*. Понедельник! Какая вам разница?

Полина Матвеевна. Пятница?.. А число какое?

Наконечников *(кричит)*. Какая вам, говорю, разница?

Полина Матвеевна. Пятница... Стало быть, девятое число... Стало быть, сегодня ровно полгода, как я не встаю с постели. *(Охает.)*

Наконечников *(появляясь, негромко, почти молитвенно)*. Если бы ты встала! Я в ту же минуту турнул бы тебя к родичам. *(Усаживается за стол, задумывается. Отмахивается от мухи. Сгоняет ее. Снова отмахивается, затем поднимается и преследует муху по всей комнате Увлекается, достает мухобойку, громко хлопает ею по стенам, бьет мух.)*

Полина Матвеевна. К нам кто-то пришел?

Наконечников *(с мухобойкой в руках забегает за ширму, орет)*. Никого!

Раздается звонок. Наконечников поспешно усаживается за стол и начинает неправдоподобно быстро писать. Звонок повторяется.

Войдите!

В дверях появляется страховой агент, женщина лет тридцати, веселая, общительная, внешне она напоминает Незнакомку, но эта постарше и попроще.

Женщина. Можно войти?

Наконечников. Да, прошу вас.

Женщина входит.

Присаживайтесь. *(Важно.)* Минуточку. Сейчас я поставлю точку. *(Пишет.)*

Женщина. Я подожду. *(Присаживается на стул.)*

Наконечников. Так. Я вас слушаю.

Женщина. Извините, если помешала.

Наконечников. Ничего... Я как раз собрался передохнуть.

Женщина *(улыбается)*. Видите, как удачно я подошла.

Наконечников. Да. Вы в самый раз.

Женщина. Я из Госстраха. *(Улыбается.)* Что вы на это скажете?

Наконечников. Что ж. Дело хорошее. Государственное. Я — за.

Женщина. Приятно слышать. А то, знаете, многие не понимают...

Наконечников. Невежество. От него все происходит.

Женщина. Совершенно с вами согласна.

Наконечников *(приближается к ней)*. По-моему, мы с вами договоримся.

Женщина *(улыбается)*. Я думаю, мы уже договорились. *(Открывает свою сумочку.)* Вы где работаете?

Наконечников. Я?.. Как вам сказать... Профессия у меня непростая... И нелегкая. Отчасти даже с риском...

Женщина. Вот как? Чем же вы занимаетесь?

Наконечников. Как бы вам объяснить... Вы ходите в театр?

Женщина. Еще бы. Я безумно люблю театр.

Наконечников. Да?.. Значит, вы меня поймете... Я — драматург.

Женщина. Вы?

Н а к о н е ч н и к о в. А что?.. Вы не верите?

Ж е н щ и н а. Нет, почему же! Просто я первый раз вижу живого драматурга.

Н а к о н е ч н и к о в. Да, наш брат драматург — явление редкое. Раз-два и обчелся. Выводятся драматурги. Скажу вам честно: труд тяжелый. Легче бревна ворочать.

Ж е н щ и н а. Но зато, наверное, как это интересно!

Н а к о н е ч н и к о в. Да, интересно... Но с другой стороны — все время один. Представьте себе, днями и ночами со своими героями. И никакого общества.

Ж е н щ и н а. Да-да, я вас понимаю...

П о л и н а М а т в е е в н а. Капитолина!.. Капитолина!

Н а к о н е ч н и к о в. Одну минутку. *(Проходит за ширму, громко.)* Ее нет!

П о л и н а М а т в е е в н а. Михаил... Где Капитолина?

Н а к о н е ч н и к о в *(кричит)*. Нету! И меня тут тоже нет! *(Появляется.)* Не обращайте внимания. Она глухая и вот уж полгода как не поднимается с постели. *(Лицемерно.)* Несчастная женщина.

Ж е н щ и н а. Ваша хозяйка? Да... Дальняя родственница... Так на чем мы остановились?.. Да! Труд тяжелый. Не всякий в наше время возьмется за такое дело.

Ж е н щ и н а. А как ваша фамилия? Может, что-нибудь ваше я уже видела?

Н а к о н е ч н и к о в. Вряд ли. Здесь меня еще не показывали. Но сейчас мне заказали... Вот *(кивнул в сторону стола)* работаю. Для здешнего театра... Премьера будет зимой. Не раньше.

Ж е н щ и н а. О! Но на премьеру наверное не попадешь.

Н а к о н е ч н и к о в. Почему? Для вас, раз вы это дело любите...

Ж е н щ и н а. Правда?

Н а к о н е ч н и к о в. Вам одно место? Два?

Ж е н щ и н а. Одно.

Н а к о н е ч н и к о в. Все. Договорились. Буду ждать вас в вестибюле... *(Приближается.)* Знаете что... Этот стул, он не совсем в порядке... Пересядьте, пожалуйста, сюда.

Ж е н щ и н а. Зачем? Мне кажется, стул вполне надежный.

Н а к о н е ч н и к о в. Нет-нет. Одна нога у него гни-

лая. *(Пересаживает ее на диван, усаживается рядом.)* Честное слово, этот стул давно пора выбросить.

Женщина *(шутливо)*. Не говорите так о вашем имуществе. Учтите, мы его еще не застраховали.

За ширмой слышится скрип кровати, кашель.

Наконечников. Какое имущество, у меня так... Временное. И квартира временная... Все это, можно сказать, временное явление.

Женщина. Понятно... Значит, для начала мы застрахуем вашу жизнь. *(Взялась было за свою сумочку, но Наконечников ее остановил.)*

Наконечников. Жизнь? А зачем так спешить? *(Придвинулся поближе.)* Поговорим... Вас как зовут?

Женщина. Эльвира...

КВАРТИРАНТ

Комедия в двух действиях

Действующие лица

Павел Афанасьевич Кардамонов — 35 лет.

Руслан Габидулин — 26 лет, слесарь (из депо).

Вадим Михалев — 22 года, слесарь, студент-заочник, сосед Колывановых.

Антонина Сергеевна Колыванова — 45 лет, завмаг, вдова военкоматского полковника.

Евгения — 19 лет, дочь Колывановой, студентка финансового (практического) института.

Варя — 22 года, жена Габидулина, парикмахерша.

Габидулин — высокий, крепкого сложения парень. Выражение его лица обычно сумрачное. Угрюм, ревнив и вспыльчив. Пострижен коротко. Скулы и подбородок у него довольно массивные. Брови обычно чуть нахмурены, взгляд прямой и решительный. Все вместе это делает его похожим на те лица, которые художники любят рисовать на плакатах, изображая спортсменов и воинов. Так, впрочем, оно и есть: Габидулин отслужил год назад, занимается спортом. Гиря, лежащая у флигеля на траве, принадлежит явно ему, да и одет он сейчас в дешевое темно-синее трико.

Михалев — ему 22 года, в армии служил писарем, слесарь, собирается поступать заочно на юридический. Человек впечатлительный, прямодушный и доверчивый, что обезоруживает не только его, но подчас и его противников. Среднего роста, физической силой не выделяется.

Колыванова — властная, энергичная женщина-реалист. В свое время отбила своего полковника у его жены. Насмешлива по-мужски — хозяйка. Внешне спокойная, достоинство власть имущего.

Евгения — живая, веселая (полковник избаловал), ждущая грубого вмешательства, жаждущая приключений, смешливая, капризная, сильно развит дух противоречия.

В а р я — жена Габидулина, ей 22 года. Яркая блондинка. Типичное дитя рабочего предместья. Ранняя самостоятельность сделала ее весьма агрессивной. Вспыльчивая, крикливая. В любых случаях жизни нападение предпочитает защите. В глубине души человек добрый и справедливый.

ДЕЙСТВИЕ ПЕРВОЕ

Двор Колывановой. Довольно просторный двор, в правом углу которого видна часть добротного одноэтажного каменного дома: крыльцо, открытая веранда, окно, входная дверь. В левом углу двора небольшой флигель стоит так, что видна лишь его стена с дверью и окном.

От дома к флигелю, замыкая усадьбу, тянется забор, а к забору прилепилось крохотное строение, которое можно было бы принять за дровяной сарай, если бы не застекленное окошечко и жестяная труба над черной подгнившей крышей, кое-где подлатанной свежими тесовыми обрезками. В сравнении с домом, крытым железом и его свежевыкрашенной верандой, с аккуратным флигелем, эта клетушка кажется помещением подсобным, убогим, нежилым.

Посредине двора растет раскидистый куст черемухи, под ним стоит большой грубый стол и скамейка, так же, как и стол, вкопанная в землю. Дальше, за усадьбой, там-сям виднеются тополя, сквозь них проглядывает красное кирпичное здание, а дальше, уже совсем далеко, торчит верхушка телевизионной вышки. Тополя чуть прихвачены увяданием, листва их местами поблекла. Над деревьями совершенно неподвижно висит серая дымка, тяжелая внизу, вверху — теряя очертания и растворяясь постепенно в нежно-розовом небе. Отдаленный шум машин почти непрерывен.

Все это говорит о том, что действие начинается в начале осени, в тихий предвечерний час, в большом современном городе.

Итак, под черемухой, сидя на скамейке и двух вынесенных из дома стульях, расположились Г а б и д у л и н, М и х а л е в, В а р я и Е в г е н и я. Видно, что они только что напились чаю, и теперь — чайник, стаканы, хлеб и все прочее для чаепития сдвинуты на край стола — заняты игрой в карты.

Суббота, суббота — хороший вечерок.
Песенка

Варя подбрасывает карты, Михалев отбивается.

Е в г е н и я *(Варе)*. Дай ему, дай!.. Так!.. Еще!
В а р я. Все.
М и х а л е в. Бито.
Е в г е н и я. Думаешь? Ошибаешься! *(Бросает карту.)*
М и х а л е в. Навалились. *(Кроет.)*

Е в г е н и я *(Варе)*. Есть?
В а р я. Нету. *(Зевает.)*
М и х а л е в. Бито.
Е в г е н и я. Думаешь? Ошибаешься! *(Бросает карту.)*
М и х а л е в. Жмут. *(Собирает карты.)*
Е в г е н и я. Так. *(Бросает карту Габидулину.)* А это тебе.
Г а б и д у л и н *(мрачно)*. Беру.
Е в г е н и я *(Варе)*. Давай!

Варя бросает Михалеву одну за другой две карты. Михалев отбивается.

Е в г е н и я. Бито.

Михалев бросает карту. Евгения кроет.

Бито. Так... *(Габидулину.)* А это тебе. *(Бросает еще карту.)*
Г а б и д у л и н. Беру.
Е в г е н и я *(Варе)*. Давай!
В а р я *(бросает карту)*. Все.

Михалев отбивается.

Е в г е н и я *(подбрасывает карты)*. Так... так... так... *(Торжественно.)* Дураки!
М и х а л е в. Задавили.
В а р я *(зевает)*. В который раз?
Е в г е н и я. Двенадцатый! Круглые дураки.
М и х а л е в. Счет шесть — двенадцать.
Г а б и д у л и н *(мрачно)*. Дюс наполовину.
Е в г е н и я. Сдавайте.
М и х а л е в. Хватит. *(Поднимает руки.)* Сдаюсь на милость победителей.
Г а б и д у л и н *(тасует карты)*. Отыграемся.
В а р я *(зевает)*. Вы-то?
Г а б и д у л и н *(упрямо)*. Отыграемся.
В а р я. Навряд ли.
Е в г е н и я. Сдавайте! Сдавай, Руслан.
М и х а л е в. Все. Я капитулирую.
Е в г е н и я. Схлюздили, дурачье несчастное.
М и х а л е в. Зато в любви нам везет. *(Обнимает Евгению.)* Верно, Руслан? *(Оглядывается и убирает руку.)*
В а р я. Смотрите. По-моему, Вадим, против тебя она опять что-то затевает.

Михалев. Варя! Не расстраивай меня. Плесни-ка мне лучше чайку.

Габидулин. Мы играть будем или нет?

Варя. Отдохнем. *(Наливает Михалеву чаю, Габидулину.)* Тебе налить?

Габидулин. Уже напился. Аж до тошноты... Пивка бы — другое дело.

Варя *(показывает ему кулак)*. Вот. А не пивка.

Михалев *(Варе)*. Почему? Это идея. По бутылке пива — это идея. Слушайте. Давайте сыграем на пиво? Один раз! *(Евгении.)* Ты не против?.. У меня трояк.

Варя *(возражает)*. Ну да!

Габидулин. Во!

Михалев. А то на интерес. Один кон на интерес. Дураки бегут за пивом. Согласны?

Евгения *(с азартом)*. Сдавайте!

Габидулин. Это разговор.

Варя. Обрадовался.

Евгения *(Варе)*. Они проиграют.

Габидулин. Сдаю. *(Начинает сдавать карты.)*

Варя *(останавливает Габидулина)*. Сиди. *(Евгении.)* Ты хочешь пива?

Евгения. Нет. Но увидишь, они проиграют.

Варя. Им только начать. *(Решительно.)* Нечего их поважать. *(Габидулину и Михалеву.)* Переживете.

Габидулин. Командуешь?

Варя. Никакого пива.

Михалев. Зажали инициативу.

Никто из них не заметил, как на веранде дома появилась Колыванова. Колывановой сорок пять лет. Она среднего роста, пышная женщина с круглыми плечами и двойным подбородком. Но тут необходимо заметить, что полнота ее не безобразна и вполне приличествует ее возрасту. Вполне еще способна привлечь к себе внимание нестрогого или специального вкуса. Волосы искусно накрашены и стянуты на затылке узлом, лицо и руки холеные. Одета она в розовый халат. Голос она имеет грудной. Интонации всегда почти спокойные, ровно-повелительные, что заставляет подозревать в этом человеке чувство собственного достоинства или излишнюю самонадеянность. Частенько так говорят и так держатся люди, имущие власть или не нуждающиеся в деньгах. Путь, пройденный этой женщиной от простой официантки до директора универмага (а она именно директор), не обделил ее жизненным опытом, проницательностью, крепкой практической сметкой. Итак, она появилась на веранде и позволила себе, не выдавая своего присутствия, послушать, о чем говорит молодежь.

Е в г е н и я *(капризно)*. А я хочу пива. *(Варе.)* Сейчас захотела.

Г а б и д у л и н *(Варе)*. Слыхала?

В а р я. Дело ваше, а он *(о Габидулине)* пить не будет. *(Габидулину.)* Кто вчера обещал? Кто божился?

Г а б и д у л и н *(угрюмо)*. Про пиво я ничего не говорил.

М и х а л е в. Варя! По бутылке на брата — о чем разговор?

Е в г е н и я. Хочу пива!

М и х а л е в. Я сбегаю. *(Поднимается.)*

К о л ы в а н о в а. Евгения!

Е в г е н и я *(поворачивается)*. Да?

К о л ы в а н о в а. Ты пьешь пиво?

Е в г е н и я. Я?.. Да вот что-то захотелось.

К о л ы в а н о в а. Больше тебе ничего не захотелось?

Е в г е н и я. Пока нет.

К о л ы в а н о в а *(Михалеву)*. Вадим, ты, кажется, куда-то собрался?

М и х а л е в. Я?.. Да нет будто бы...

К о л ы в а н о в а. Пивные еще открыты, а я тебя не задерживаю... *(Евгении.)* Евгения, а ты иди ужинать.

Е в г е н и я. Не хочу. Я чаю напилась.

К о л ы в а н о в а. Как хочешь. Будь дома, я скоро ухожу. *(Габидулину.)* А ты, Руслан, если у тебя завелись лишние деньги, расплатись лучше за квартиру. Пора платить.

В а р я. Завтра, Антонина Сергеевна. Завтра я получаю зарплату.

К о л ы в а н о в а *(перебивает)*. Варя, я тебя не трогаю, я обращаюсь к любителям пива.

М и х а л е в. Но, Антонина Сергеевна...

К о л ы в а н о в а *(перебивает)*. Все. Пьянствуйте сколько угодно, но без моей дочери и за пределами моего двора.

Е в г е н и я *(с раздражением)*. Может, хватит, а?

К о л ы в а н о в а. Да, пока все. Но с тобой мы еще поговорим.

Все некоторое время молчат.

Г а б и д у л и н *(все так же угрюмо)*. Какой у нас счет?

М и х а л е в. Шесть — двенадцать.

Г а б и д у л и н. Сдаю. *(Сдает карты.)*

Колыванова уходит в дом.

В а р я. Достукались?

М и х а л е в. Подслушала нас, между прочим. *(Евгении.)* Говорил тебе: идем в кино.

Е в г е н и я. Не хочу. И в карты не хочу. *(Бросает карты на стол.)*

М и х а л е в. Чего же ты хочешь?

Е в г е н и я. Пива хочу!

Михалев развел руками.

В а р я *(наливает чаю, чашку подвигает Евгении).* На, попей.

Евгения молча отодвигает чашку, при этом роняет со стола нож.

М и х а л е в. Нож упал. *(Поднимает нож.)* Придет мужчина.

В а р я. Ерунда.

М и х а л е в. Точно. Примета верная. Упала ложка — придет женщина, нож — мужчина.

В а р я *(зевает).* Ой, ерунда.

М и х а л е в. Не веришь?.. А у меня весной был случай. Иду утром на работу — кошка черная, как сажа, перебежала, подлая, дорогу. Так в тот день что? После работы я напился, потерял сорок рублей, а вечером Женька выгнала меня и неделю со мной не разговаривала. *(Евгении.)* Помнишь... Я в приметы верю.

Г а б и д у л и н. Мы будем играть или нет?

В а р я. Неохота. *(Зевает.)* Анекдот бы какой рассказали, что ли.

М и х а л е в. Анекдот?.. Можно. А какой? *(Думает, потом с горечью.)* Нет у меня на анекдоты памяти. Вот нет, и все.

Г а б и д у л и н *(вдруг хмыкнул).* Ребята вчера рассказали. *(Снова хмыкнул.)* Думаю, зараз Варьке расскажу.

М и х а л е в. Ну?

Г а б и д у л и н. А потом забыл.

М и х а л е в. Ну? А сейчас вспомнил?

Г а б и д у л и н. Вспомнил. *(Хмыкнул.)*

М и х а л е в. Ну так рассказывай.

Г а б и д у л и н. Не могу. При Женьке не могу.

Е в г е н и я. Рассказывай.

Г а б и д у л и н *(решительно).* Нет.

М и х а л е в. Тогда не надо. Я вспомнил один. Абстрактный... Плывет по Нилу крокодил, а навстречу ему

другой. *(Пояснил.)* Тоже крокодил. Ну и этот, другой, спрашивает у первого: «Слушай, друг, а далеко ли здесь до Саратова?» Ну что?

В а р я. Что-то не того...

М и х а л е в. Не смешно?

Е в г е н и я. Идиотизм какой-то.

М и х а л е в. Дак абстрактный. Тут подготовка нужна.

Е в г е н и я. Руслан, рассказывай свой.

Г а б и д у л и н. Тебе — нет. Варьке расскажу.

Е в г е н и я. Скучно с вами — сил нет.

Раздается легкий стук и мужской голос с улицы: «Можно войти?»

Да! Войдите.

М и х а л е в. А? Что я вам говорил? Пришел мужчина!

Появляется К а р д а м о н о в, мужчина лет тридцати пяти, в старой замшевой куртке, в джинсах и потрепанных, тоже замшевых башмаках и пестрой косынке на шее. В одной руке он несет небольшой серенький чемоданчик, в другой — пишущую машинку.

Кардамонов хорошего росту, плечист. Крупные, но нерезкие черты его лица высказываются в пользу широты и простодушия характера, а рано поседевшие, коротко остриженные волосы, равно как и мягкие, сдержанные жесты, прямо наводят на мысль об интеллигентности пришельца. Войдя во двор, он, наклонясь, поставил на траву свою ношу, с большим облегчением, продолжительно как-то распрямился. Не то чтобы он долго шел пешком и сильно устал, скорее тут промелькнула усталость какая-то общая, закоренелая. Но он сразу же взбодрился.

К а р д а м о н о в. Добрый вечер.

Компания с ним поздоровалась.

(Бодро.) А теперь сознавайтесь, кто из вас *(вынимает из кармана бумажку, читает)* Колыванова А. С.?

Е в г е н и я. Это моя мать.

К а р д а м о н о в. Она дома?

Е в г е н и я. Да. Придется ее позвать. *(Нехотя поднимается и уходит в дом.)*

Небольшая пауза.

М и х а л е в. Вы проходите.

К а р д а м о н о в. Спасибо.

М и х а л е в. Присаживайтесь... Между прочим, мы вас ждали.

К а р д а м о н о в *(усаживается)*. Неужели?

М и х а л е в. Упал нож, и я сказал, что придет мужчина.

К а р д а м о н о в. Вот как?

М и х а л е в *(Варе)*. Что я говорил?

К а р д а м о н о в. Это интересно...

В а р я. Случайность.

М и х а л е в. Всегда так. Примета железная.

К а р д а м о н о в *(Михалеву)*. Вы суеверны. Я тоже. *(Сентенциозно.)* Суеверие устойчивее веры. Веры давно уже нет, а суеверия — пожалуйста, они остались. Не так ли?

М и х а л е в *(фраза произвела на него впечатление)*. Точно...

Из дома возвращается Е в г е н и я.

Е в г е н и я. Она сейчас выйдет.

К а р д а м о н о в. Спасибо.

Из записных
книжек

Он чувствовал себя там, как дома, а дома он чувствовал себя скверно.

Он поминал чужих матерей чаще, чем их поминали сами чужие.

Из него не получится даже пьяницы.

Я хозяин своей жизни: хочу умру, хочу — нет.

Стройна как знак вопроса.

...и совершит убийство или глупость.

А он объявлен вне закона
И брошен в волны Ахерона[1].

В последнем припадке молодости... припадок гордости.

Он был горд и из боязни, что с ним не поздороваются, не здоровался сам.

Обладатель этих прелестей (ее муж) стоял рядом.

Действие в 1997 г. Ученый (кретин). В его руках жизнь планеты. Может взорвать атмосферу. Отсюда — абсурд: вся философия, культура и т. д. зависит от состояния (а оно ненормальное, испорченное алкоголем и совершенными в это время наркотиками) одного человека.

Она хотела, чтобы ее будущий муж пронес ее по жизни на руках.

---

[1] Ахерон — река печали из пятиречья преисподней.

Красивая женщина, выбрав некрасивого человека, сознает, что она делает ему снисхождение и всю жизнь напоминает ему об этом.

Обыватели накупили лотерейных билетов и ходили с загадочными лицами, в приятном заблуждении (до розыгрыша).

Я с тобой такие метаморфозы сделаю... Я тебя пенсионером сделаю.

Спасибо за то, что вы меня слушали. У меня ведь собеседников нет, у меня все приятели собутыльники.

Счастливый человек всегда в чем-нибудь виноват. Перед многими людьми он виноват уже в том, что он счастлив.

Луна теперь обыкновенный уличный фонарь.

Без нее мне было только грустно, она приехала и привезла с собой беспокойство, тревогу, ревность и т. д.

Была водка и все вытекающие из нее последствия.

Родители, которые могут сказать лишнее.

Мы для того и молоды, чтобы дерзать.

Обмануть ее, значит, обмануть свою молодость.

Разыгрывать перед ее родителями благородного, чуткого, непьющего человека — пошло, невыносимо.

Мне хочется завоевывать страны, открывать материки, драться с буйволами, летать на луну — я становлюсь ребенком (идиотом).

Девушка, собирающаяся стать артисткой: «Я могу, когда хотите, заплакать».

Кричат «вперед, вперед, скорей, скорей» — это же неискренне — кому хочется состариться.

Человек, который болезненно заботится о своем здоровье.

Луну можно выиграть по лотерейному билету... На нее нельзя больше вздыхать, нельзя ею любоваться. Ничего в ней больше нет прекрасного, таинственного.

Начало рассказа:

(Она ревнует.) Он: Ну можно ли так? Ты из пустяка черт знает что сделала и т. д. Или: Ты меня любишь? Любишь. А сильно любишь? А что, если бы я взломал сейф, обокрал нищего, убил человека, ты все равно бы меня любила? Любила бы? Любила. Хе-хе... (Гладит по голове.)

Композитор Генделев (Бахов).

Под впечатлением бессмертных строк «Ты богат, я очень беден, ты прозаик, я поэт» поэт срочно перекочевал на прозу.

В литературном кружке: «Пишите стихи. Попробуйте в единое слово слить свою грусть и печаль».

Информушечники.

Что бы там ни было (всякие неприятности),— думал он,— а я послезавтра буду с ней на премьере в театре и т. д.

Голый манекен смущенно (застенчиво) улыбался.

Погиб для божества, для вдохновенья, для слез, для жизни, для любви.

После дождя легче дышится и охотнее живется.

Извращения, разумеется, от пресыщения, а не от нежности.

Артист играет натурально. Прежде чем сказать: «Я — сволочь», он сделает два сальто и шпагат и только потом скажет: «Я — сволочь!», хотя надо сказать: «Как я еще резв».

На пиджаке крохотная лира, говорящая о том, что он каким-то образом причастен к искусствам.

Поэзия есть и остается только на земле.

В автобусе наступил на ногу. Татуировка «Гена» на руке:

— Гена, сойди с ноги.

...за шкодливое отношение к обществу.

Бетховен не повторится. Чем дальше от Бетховена, тем больше человек (в известном смысле) будет становиться животным, хоть и еще выше организованным. В будущем человек будет представлять из себя сытое, самодовольное животное, безобразного головастика, со сказочным удобством устроившегося на земле и размышляющего лишь о том, как бы устроиться еще удобнее. Время Пушкиных и Бетховенов будет рассматриваться как детство человечества. Головастик скажет: «Как ребячились люди! Занимались какой-то поэзией, как это?.. Музыкой. Что это такое? И зачем она им тогда понадобилась?»

Жизнь прекрасна и удивительна,— сказал поэт и... застрелился.

Жизнь коротка, и чем меньше мы будем вместе, тем больше упустим счастья.

— Вы не будете любить никого и никогда, замуж, однако же, выйдете довольно благополучно; мужа своего любить не будете, нахожу в этом, между прочим, романтику. Будете любить своих детей, но это инстинктивно.

Сжечь мосты и фотографии.

Его угнетает уже одно мое существование.

Скептик. Даже свои стихи он читал с пренебрежением.

В любви нет и не может быть логики.

Человека из зоологии выделяют эмоции.

Улыбка до ушей — будущее наших детей.

Из толпы раздался анонимный голос.

Простились со скрытой нежностью.

Душой я страстный, но тело у меня не энергичное.

«Не искушай» — неотразимый романс Глинки.

Вы имели неосторожность сказать при обсуждении моего рассказа, что он доставил вам удовольствие. Это развязывает мою нескромность и я...

В столовой он затеял получасовой диспут «В мясных котлетах все-таки должно быть мясо».

Сидеть на открытой бочке с порохом, курить и сбрасывать пепел от папиросы в сухой порох.

Вежливо: «Не скальте зубы, тем более это вам не идет».

Змеиная ненависть, чудовищное кокетство!

Недостаток ума заменял ей избыток хитрости.

Ты появляешься всюду, как будто бы разгуливаешь в нескольких экземплярах.

Молодой человек, заходя в редакцию: «Вам нужны Гоголи и Щедрины?»

Вина он не пил, потому что был скуп, а выдавал это за...

Содержит себя в художественном беспорядке.

Нехудожественный беспорядок.

Лицо помятое, как будто кто-то выспался на нем.

Афиша «Гипноз» с номерами: «наводнение на сцене, показ отсутствующих родственников» и пр.

Загубить молодость в очередях.

Любить — это говорить нежности и делать глупости, вот и все, а после...

Живость эту можно назвать пронырливостью.

Бродя за тобой, я износил свою душу.

Позировать приятно, если это не профессия.

Пошел на примерку в гробовую мастерскую.

Ресторан «Аскольдова могила».

Блондинки раньше отцветают.

Следы ушедшей зимы.

Любовь нельзя пачкать унижениями.

Вписал свою страницу в грамматику любви.

Для меня жизнь моя — черновик.

Услышав имя великого французского романиста, девицы краснеют и смущаются.

Пьяный молодой человек у кинотеатра разговаривает с толстой, изрядно подержанной особой: «Выходите за меня замуж. Вообще я не пью и получаю 1000 рублей. Я работаю на складе, где... не верите? Посмотрите» (показывает документы) и пр.

Сюжетец:
Действие на станции. С поезда снимают двух безбилетников. Старый железнодорожник стыдит их. Они раскаиваются. Все трое растроганы. Поезд трогается — они вскакивают на подножки.

Березовый рай.

Комфортабельная женщина.

Его можно было уважать только за преклонный возраст.

Скользкие умы.

Огорчила юность.

С ю ж е т е ц.

У юноши болит зуб. Он идет к молодому технику (она). Он ей нравится, она затягивает лечение. Она его любит, он ее возненавидел.

Меньше чувствовать — больше мыслить.

На именины — выпить и закусить.

Молодой человек был чист, как снег в 5 км от города.

Голова полна, сердце свободно — надо работать.

Если нет свежего, неожиданного эпитета — надо ставить точный эпитет.

Беспечный владелец бесценных сокровищ молодости, он еще не гонялся за счастьем сам, а наступал ему на пятки нечаянно.

Это уже литературный факт.

— За что я люблю тебя, стерву?

На кирпичном заводе плакат: «Встретим потребителя добротным кирпичом».

На бане: «Совместный помыв мужчин и женщин воспрещается».

Гонорарьев — мастер короткого газетного жанра.

Правила и техника поцелуев.

Счастье — в предчувствии счастья.

Мужчина средних лет в поношенном пиджаке. Гнется в пояснице, болезненно морщится. Подходит. Кротко и униженно просит 45 копеек. Ему дают. Он выпрямляется, подбрасывает монеты в руке и бодрым, энергичным, деловым тоном произносит: «Порядок!» Быстро уходит.

Наконец паровоз свистнул, и взошедшая над лесом луна запрыгала по черным силуэтам деревьев.

Закатывалось оранжевое, свободно позволяющее смотреть на себя нездоровое солнце.

Поезжайте в деревню. Ходите там в простом свободном платье, бегайте босиком по лугу. По вечерам читайте. Бегите от пижонов. Вам нужно общество хороших, умных людей.

Если вам нравится быть жестокой — вешайте собак.

Диалог:
— Не надо!
— Почему ты не хочешь меня поцеловать?
— Зачем это?
— Как «зачем»? Разве тебя не увлекает сам процесс?

Быть может, я стану сильным и гордым, но для тебя я раб последовательный, пожизненный.

Он мог простить все, но долга он простить не мог (Эти люди прощают все, кроме долгов.)

В этом Иркутске хлеба не на что купить.

Ушел создавать художественные ценности.

Он недавно проснулся и плохо соображал. Впрочем, его мозг находился в состоянии торможения всегда, а не только в сонном состоянии.

Он ударил N по лицу, и на этом все закончилось, потому что N в дуэлях мог быть только секундантом.

СЧАСТЬЕ

Середина июня. Я сижу в садике, где только что была любимая. Она оставила книги и стул. Я жду — она вернется. У меня для нее две веточки белой сирени и миллион нежных слов.

Счастлив ли я?— Праздный вопрос.

Неприлично глуп.

Старый симпатичный тополь.

Мысли тупые и прямолинейные, как телеграфный столб.

Мемориальная доска: «Здесь иногда бывал...».

Однако, как вы охамели.

Нервная погода.

Кровоизлияние в нос.

Несдержанные вопли.

На минуточку, я хочу сказать вам нечто... э... неопределенно-личное.

Анекдоты от того все почти пошлые и циничные, потому что большинство остроумных людей циники и пошляки.

Если не можете быть счастливыми, так будьте же хоть веселы, друзья.

Нагая идея — зрелище неприличное.

В его положении рискованно злоупотреблять одиночеством.

Депрессия души и тела.

Я умею хранить только тайны.

Назойлив как начинающий автор.

Даже Ромео познакомился с Джульеттой на танцах.

До такого состояния, которое не позволяет регулировать походку.

Дети у нее будут оптимистами.

С ю ж е т:
Женщина — писательница. Бросает детей — пишет.

Если женщина прожила жизнь, полную приключений, то это не значит еще, что вокруг нее должны увиваться беллетристы.

Цифры хорошо запоминают не умные, а жадные.

Настроение такое паршивое, как будто из кармана вынули 200 рублей.

Первое стихотворение начинающего автора, написанное им в день своего пятидесятилетия, начиналось: «О Муза, я у двери гроба».

Если я скажу, что люблю вас, вы все равно мне не поверите.

Как насчет брака? Совершим?

Любовь — добровольная зависимость.

Состояние такое, словно к виску приставлен пистолет.

— Кто там?
— Тень отца Гамлета.

Вы подумайте, как это пошло: «Утомленное солнце нежно с морем прощалось».

Что никогда не бывает лишним, так это деньги.

Вырулил из самых низов.

— За первую любовь без обмана (без последствий).

Ее приданое состояло из сундука, набитого любовными письмами.

— Там никаких волнений, тихо.
— Это что, вам знакомый покойник сказал?

Под забором лежит пьяный мужчина. Некоторые проходящие мимо женщины всматриваются, облегченно вздыхают.

КОЛДОВСКАЯ ЖЕНЩИНА

Ей 45 лет, и она нелегкомысленна. Наоборот — Варвара Петровна строга. Строга к себе и к людям. Она одинока. Месяц назад В. П. отпраздновала двухлетний юбилей с того дня, когда от нее ушел муж, оставив ей квартиру и легкую грусть по супружеской жизни. Муж бежал замученный ревностью и пионерским режимом. Впрочем, В. П. еще при муже сознавала, что семейные скандалы для такой женщины, как она, дело слишком мелкое.

— Ну и молодежь,— говорит она.— Девушки возвращаются домой в час ночи! Целуются в коридоре на весь дом! Ужас! Ужас! Что будет дальше? Где же нравственность? От нея теперь ничего не осталось. Должно заметить, В. П. говорила «нея» вместо «нее».

Когда к соседке, которая оставалась в своей квартире одна, дня на два приезжал родной брат, то В. П. предполагала и повсюду высказывала это предположение вслух, что к соседке приезжал вовсе не брат, и ужасалась прогрессирующей безнравственности.

Как-то вечером, открывши дверь на неожиданный стук, на вопрос: «Не здесь ли живет Макарова Лида?» — В. П. с гордостью отвечала: «Здесь живет порядочная женщина» (и оставила дверь слегка приоткрытой). Дверь своей квартиры В. П. имела обыкновение держать слегка приоткрытой. Ее боялись... Блюститель нравственности сам должен быть нравствен. В. П. это смутно сознавала.

— Вот — пушкинисты, гоголеведы — этот народ себя не уважает (и лишен всяких способностей творить). Как можно зачеркнуть себя вовсе и посвятить себя навсегда кому-то (хотя бы и художнику великому и любимейшему? Не понимаю). Если ты натура творческая — так напиши свою, хотя и плохую комедию.

Юмор — это убежище, в которое прячутся умные люди от мрачности и грязи.

Начало рассказа:
Если всего того, о чем здесь будет рассказано, на самом деле не было, то все равно это чистая правда...

Дом образного мышления — сумасшедший дом.

Я люблю жизнь. Это она устроила эту (приятную) встречу.

Если ты не приедешь на день моего рождения, то мне исполнится не 22 года, а 44...

Ты требуешь от меня качеств, каких у меня никогда не было и нет.

Осторожно, злая хозяйка.

Просил пропустить в ресторан на том основании, что он еще держится на ногах.

— Мне твоя личность нравится,— капризно (мрачно) сказал N.

— Приходите и вы, хмурые люди из комитета комсомола.

Я смеюсь над старостью, потому что я знаю — я старым не буду.

Пальто умерло.

Выпивоха:
Телецентр (вышка) — ориентир при ночных возвращениях: «...культура!»

— Одевайся, я пока смажу дверные пружины.

— Я не говорю уже о благородстве, но элементарная порядочность должна все же быть.

Весной даже от обувной фабрики пахнет конфетами.

Романтики теперь повывелись.

— Это не человек, а какая-то «Бедная Лиза». Откуда он?

— Продолжим этот вечер до бесконечности.

Время нужно только для того, чтобы разлюбить. Полюбить — времени не надо.

Отвык от нюансов, разучился понимать аллегории.

Хорошенькая плохо одетая девушка как дорогая конфета в плохой обертке.

Турист-ветеран (седой турист): «Я буду ходить до тех пор, пока это возможно».

Беспросветно влюблен.

Поклянешься в вечной любви и для приличия процитируешь что-нибудь из классиков.

Магазинер — седой турист: «Вы приехали не отдыхать, а закаляться».

Пожизненное увлечение туризмом.

«В толпе нахальной и голодной твои затеряны следы».

Разговор с С.:
— Ты веришь в верность?
— Спрашиваешь, я скажу — нет, но я хочу верить.

Студент-медик. Якобы умный, интересный, с идеалами:
— Если отправят куда-нибудь в дыру, то женюсь здесь и поеду уже с половиной.

Она требует верности. Это ее маленькая слабость.

В такой вечер и напиваться неприлично.

Немолодой, но чувствует себя молодым.

— Я смешон уже потому, что стар.

— Не могу переносить женских слез. Когда плачет, я готов на все, даже могу жениться.

Студент встречает девушку. Говорит о пренебрежении к деньгам, ведет себя богатым наследником. На самом деле нищ. Через некоторое время случайно нанимается колоть дрова у матери этой девушки. Девушка наблюдает за ним из окна влюбленными глазами.

— Счастьем ты меня не избаловала.

— Этого не вернуть. Я бы и рад снова побыть безумным и слепым, но люди, к сожалению, постепенно взрослеют, а не становятся моложе.

В поселке отменили сигналы машин, и слышится только пастушеский рожок да мычание коров.

Последнее время я заглядываю в глаза своей судьбе с беспокойством и жду от нее чего угодно.

— Что-то я последнее время подозрительно счастлив: ты любишь меня, и в остальном сбываются мечты, оправдываются надежды — не много ли сразу.

— Скучаю по тебе так, что неприлично так скучать.

Разбежался с женой.

Ни в коем случае нельзя быть с женщиной сентиментальным. Она сядет на тебя и поедет.

— Это я позволяю только самому любимому человеку.
— Кому же это?
— Самому себе, конечно. Отпадает проблема взаимности.

— Мне кажется, вы живете в пустом темном доме и боитесь войти туда одна — я готов.

— Какой вы нахал,— сказала она с уважением.

Стучась в девичье сердце: «Можно на минуточку?»

О тридцатилетнем мужчине:
— Сколько бы вы ему дали?
— Не меньше 10 лет.

Во мнениях сходятся только тогда, когда это удобно.

Это было так обыденно, что присутствующая при этом луна зевнула и укрылась большим и, наверное, очень теплым облаком. Конечно, ей, которая видела встречу и виде-

ла, как объяснялся в любви мрачный сотрудник бракоразводного отдела, ей было скучно.

Таким взглядом можно напугать ребенка или заморозить воду.

Каждой девушке положено месяц или два месяца в жизни побыть богиней.

— Я привык грустное выдавать за смешное. У меня такая жизнь.

Начала атаку — бровями, глазами, уголками губ.

Теперь нравятся молодые люди с собственными машинами, а не с собственным мнением.

Меланхолично пел: «Домино, домино... Вся получка ушла на вино».

Безграничная фантазия человека, которому нужны деньги.

Не знаю, как я кончу, но начал я плохо. По ночам мне снятся запутанные сюжеты.

Писатель:
Он, она, он — треугольник — и никуда мы не денемся от этой геометрии.

— Вдохновение бывает только у молодых.
— Молодость — сплошное вдохновение.

Девушки любят таких, которые гоняются за ними с ножами или валяются у них в ногах. Я же был человек тихий.

— У женщин постоянная температура 95 градусов... Насколько я женщин люблю, настолько я их опасаюсь.

Штраус нечто среднее между легкой и классической музыкой — удобно переходить.

Мимо жизни — это значит теперь — мимо стройки.

Ты умный, хороший, но ты иногда делаешь глупости — я тебя поправлю.

Надо уметь пользоваться правами и уклоняться от обязанностей.

Был со всеми нами вежлив и сердечен, однако никому не давал в долг.

Занимать деньги легче, чем отказывать, когда занимают у тебя.

С человеком, который в молодости грешил стихами, все может случиться. Но и в молодости он был врагом молодости.

— Но ты ведь любишь меня?
— Сегодня я этого не говорил.

Назавтра я приехал. Пассажиры, толкаясь и переругиваясь, бросились к выходу с перрона. Их лица мне показались враждебными, насмешливыми. Меня, конечно, никто не встречал. Голос из репродуктора манил умыться, постричься и поужинать в ресторане. Меня раздражал этот сонный, кокетливый женский голос. А тут еще дождь, мелкий, противный, бесконечный, как сама разлука. Дома мне дали адрес какого-то знакомого, где я мог переночевать, а может быть, поселиться. Я нашел этот домик на окраине, в начале небольшого переулка, в глубине двора, обсаженного со всех сторон черемухой и яблонями. Минут пять возился с хитроумной задвижкой садовой калитки, но так и не открыл ее. Вышел хозяин, невысокий, пожилой, с виду сердитый человек в калошах на босу ногу, с шарфом на шее. Взглянул на мой чемодан, прищурился, открыл калитку.

— Ага, студент прибыл. Проходи, проходи. Писали мне про тебя.

Спать меня устроили на веранде. В темноте я разглядел только густую завесу черной мокрой листвы и висящий на стене над моей раскладушкой велосипед без шин. Обода его слабо поблескивали. Пахло черемухой и керосином. Я быстро уснул.

Несчастные имеют более верное и точное представление о счастье.

Легкое платье, полуулыбка, жесты. «Вся тут», и действительно больше у нее ничего не было и т. д.

О н а:

Не обманываясь, скучно жить. Человеку необходимы иллюзии — для радостей, для восторгов, для наслаждений. Обманывайте меня, но так, чтоб я вам верила!

Он рисовал автопортрет. Она ворвалась в комнату, в клочки порвала копию и поцарапала оригинал.

Создают голодные — сытые разрушают.

Вот мы строим, лазаем в грязи, а построим город, положим асфальт, насадим тополей, и тогда приедут сюда они — с бабочками, в манжетах, будут разгуливать по главной улице, и стыдно нам будет ходить по ней в спецовках.

— С моей точки зрения, у тебя, дорогой, все преломляется через бутылку.

На стволах берез нежные блики заката.

Муза и домработница.

Если завтра будет то же самое — у меня начнет портиться характер.

Слова «любить», «люблю», «любовь» звучали в его устах страшно неестественно.

— Этот застенчивый юноша преследует музу и твердит ей: «Я обладать тобой хочу, Варвара». Между тем муза является ему лишь для того, чтобы просить оставить в покое.
— (Смеется.) Но почему Варвара?
— Ему все равно что Мельпомена, что Варвара.

Человек все-таки чем-нибудь должен заниматься. Иначе его существование становится бессмысленным и вредным.

Мысль, высказанная этим человеком нечаянно, есть самая искренняя мысль.

Болезнь суть предупреждение о том, что человек может умереть.

Идиоты не перевелись — они совершенствуются.

— У моего сына незаурядные способности. И он их обязательно проявит. Ему остается только выбрать поприще.

Молодой человек учился на первых курсах трех институтов. Не нашел «призвания». Последнее время занимается литературой.

— Влюбленный должен быть бледен и непричесан.
— Ну, бледность — дело наживное.

— Отчество? Не знаю. Я его не уважаю.

Счастьем вы меня не избаловали.

Тщеславие — двигатель всего.

Я мечтаю о блеске, о славе, об особом назначении, но главное — это твоя любовь. Без нее мне не надо ни славы, ни блеска, без нее мне не нужна моя жизнь.

— Все может быть, я ничему не удивляюсь и сам на все готов.

— Слишком она мне дорога, чтобы я ее сразу съел.

Человек должен ходить по земле гордо и легко.

Я живу среди людей и я страшно общителен.

Вы знаете эту девушку? Будьте бдительны. Она людоедка.

— Распространите на него часть своего обаяния.

— Я люблю тебя, но в то же время я готова к чему-нибудь новому.

— Как это скучно — любить за положительность.

Он скромен, потому что не уверен в себе.

Сказала, будто бы поцеловала в самую душу.

— Живите, если вам не скучно.

— Все они замечательно бездарные люди.

Клятвы и поцелуи, слава богу, не регистрируются.

Профессиональная болезнь — отвращение к книге.

Разгул слабоумия.

Каждая свинья имеет слабость побыть иногда человеком.

Я ее люблю, она мне сочувствует.

В возрасте героев Корнея Чуковского.

Он и она — это две параллельные линии, которые никогда не пересекутся.

Не будем ссориться — пусть нам завидуют.

Что такое, собственно, счастье? Для одних — душевное равновесие, для других — материальное благополучие. Для третьих то и другое неотделимо. Для молодого же человека с фантазией и эмоциями — это жить в шумном городе, где есть такой дворик и дом — вечером нажал кнопку — выбегает любимая девушка.

Старые друзья, которые могут скомпрометировать.

Львиный прыжок фантазии.

Женщине много думать вредно. От этого у нее портится характер.

Сюжет:
Два газетчика охотятся друг за другом как за типажем.

Если собираетесь кого-нибудь полюбить, научитесь сначала прощать.

Источник огорчений.

Поэт. Про него нельзя сказать «невольник чести». Он от чести свободен.

На какой бы улице ни открылась новая пивная — это праздник на нашей улице.

Ему нравились собственные брюки, галстук, улыбка...

Смешной злодей.

Ноябрь. Тепло, очень тепло. С крыш капает. Пахнет весной. Такая погода в ноябре бередит душу.

В такой вечер и пожилым людям, как молодым, в голову лезут разные глупости.

Певец. Взял фальшивую ноту, был... и сейчас поет без аккомпанемента.

Феодальные замашки: «Одень меня, дай закурить!»

Зачем у вас такие большие глаза?

Мальчонка извлекал из двухрядной гармоники жалкие, но верные звуки.

Ночная деревня. Без огней, в снегу, при луне — зимняя сказка.

Кричат: «Узнать жизнь, узнать жизнь!» Скорее, ее не надо узнавать для того, чтобы быть поэтом.

В таком возрасте, конечно, трудно вспоминать молодость без слез.

20-й век в искусстве только пародирует 19-й.

Ему желать удачи не надо — он держит ее в руках.

Человеческая жизнь начинается и кончается — слезами.

После пошлости смеялся счастливым детским смехом.

С ю ж е т:

Приезжает девушка в район из города. Там — паровое отопление, никогда не знала другого — а здесь печь, дрова, не умеет растопить, философствует.

Ничего нет страшнее духовного банкротства. Человек может быть гол, нищ, но если у него есть хоть какая-нибудь задрипанная идея, цель, надежда, мираж — все, начиная от намерения собрать лучший альбом марок и кончая грезами о бессмертии,— он еще человек и его существование имеет смысл. А вот так... Когда совсем пусто, совсем темно.

Она: За то, чтобы сбывались все мечты.

Он: А я предлагаю тост за мечты, которые никогда не сбываются. Мечтают все, а сбывается у некоторых. Самые прекрасные мечты всегда несбыточны.

— Эту улыбку я должен видеть весь год.

Газетчики — рабы тенденции.

Искусство существует для того, чтобы искажать действительность, потому оно и называется искусством.

Мы хорошие. Это я могу подтвердить даже на суде.

— Мы важные птицы — пора, брат, пора!

То, что он благороден, никто не знал. По крайней мере сам он этого ничем не выдавал.

Ветер с гриппом и ревматизмом.

Счастье — это быть довольным тем, что имеешь.

Портянки на луне.

Вперед, к гипертонии!

Тот, кто не имеет таланта, должен быть тружеником.

Если бы я не был свинья, я бы плакал в этом месте.

Про Байкал: Когда эта лужа успокоится?

Человек, который всю жизнь боялся кого-нибудь обидеть.

— Убирайся!
— Что? Что ты сказала?
— Она сказала, что она вас любит, но что вам пора расстаться.

Мельпомена превращается в судомойку.

Если речь идет о женщинах, то тут ни за что нельзя поручиться.

Неудачник (студент): Никогда не чувствую себя совершенным. Никогда не бывает все в порядке. Или болит голова, или жмет ботинок, или манжеты грязные, или еще что-нибудь — чисто плебейская доля.

Чем бы дитя ни тешилось, лишь бы водку не хлестало.

— Слезы были?
— Слез не было. Ограничились выпивкой.

Условия для самоубийства у тебя есть. Тебе не хватает только теоретической подготовки. Читай Шопенгауэра, Достоевского, Кафку...

Человек человеку — красная шапочка.

Чем больше друзей, знакомых женщин, тем отчетливее становится одиночество.

Студент — журналист:
Журн.: Витя, как вам не стыдно.
Студ.: Журналистов и нотариусов не стесняются.

Романтика — средство обольщения.

Собирать крохи со стола любви.

С таким рылом ему следует запретить неожиданно появляться из-за угла.

У дураков всегда больше принципов.

Мир тосклив и однообразен, и в нем невозможно прожить без любви.

— Веселитесь, но не забывайте, что вы на похоронах и т. д.

При всей своей тучности она стройна и напоминает римлянку и т. д.

Женщина захватанная, как дверная ручка.

Театр никогда не умрет: люди никогда не перестанут валять дурака.

— Еще что ты любишь?
— Летом хорошо.

— Надо уехать из города надолго, чтобы по нему соскучиться.
— Бесполезно.
— Что бесполезно?
— Не соскучишься.

Письмо:

«Дорогая редакция, для меня нет чести, как работать на совесть для будущих наших питомцев, каким был сам в детдоме, но сейчас стал вопрос другого рода.

Дорогая редакция, остается в тумане безнаказанное дело нашего сменного мастера тов. Чмуль...» «...и мне кажется, что пора пресечь нелегальные взятки кубатуры ради безутешной для себя славы. А раз взял вершину, то держи ее на высоком уровне честного труда.

Братск-3, Герасимов Б. В., рамщик и пилостав».

— Я забыла,— и смеется;— Здравствуйте,— и смеется;— Я больна,— и смеется.

— Лучше маленький Ташкент, чем большая Сибирь.

Улыбка сверкающая, как чайник.

— Это та с узелком?
— А что? Женщина с узелком всегда интереснее женщины без узелка.

— Сколько я уже ошибалась и все такая же дура.

«Уважайте себя и уборщицу».

Святки: Маня Соколова, работница детсада, нарядилась лошадью.

Привыкший к конторе — в сторожах. Некому рассказать анекдот.

— Ровесники, а он выглядывает куда моложе меня.

В гостинице. Пьяный деятель культуры, невежда и алкоголик, зашел в соседний номер, пристал к живущему там писателю:

— Какой ты писатель? Свинья ты, а не писатель... Сволочь... и т. д.

— Какой сейчас год?

Она воспламеняется как сухая щепка.

Трое и один:
Один: Какая улица?
Трое: Советская.
Один: Раздевайсь!

Всю ночь они таскали из комнаты в комнату этот грешный диван.

Разъяренная рубаха, или дистрофик на турнике.

Убийцы сидят в нас по наследственности (почувствовал, когда взял в руки карабин).

— Ты все оставила в этом заплеванном саду.

Маленький корреспондент приехал в маленький поселок на маленький завод.

Храп в гостинице. Ночью, в темной комнате богатырский, могучий храп. Утром оказывается, что храпел маленький и тщедушный человечек — инспектор по школам.

Не идет, а рассекает.

Собака по кличке «Волк».

Кабинет зам. директора, самый безвкусный, фарфор собственного производства. Лики незнакомых святых на стене, два телефона, красные, устрашающего размера счеты.

«Я — в железке. Семенов — Потапов» — это на заборе на огромном листе бумаги.

Все девушки, с которыми он встречался, «чисты и непорочны».

Петро — прижимистый мужичок: Такой период.

Он идеалист:
Все прекрасные люди, отличные люди. (Вокруг негодяи.)

Деловые люди любят общество босяков.

Требуется сторож-звездочет (или просто звездочет)... образование высшее, незаконченное высшее, среднее и неполное среднее.

— Что, разве у нас уже демократия?

— Вру я не больше, чем говорю правду.

Тот счастлив, кто никогда не лжет.

Получил образование поздно, с трудом, насилуя свою природу, и всю жизнь ни на минуту (во всем) не забывает, что он образован.

Про женщину:
С тех пор я катаю эту тачку.

После 11 к вокзалу подруливали алчные частники.

Достал себе аппарат. Знакомому: Вот аппарат, о котором ты мечтал.

Золотое, лунное ожерелье.

— Дай напиться.

— Возьми,— бросает ему графин с водой через комнату.

Директор-демократ, либерал. После газетной статьи, где его выпороли за бездушие, за пренебрежение к подчиненным, слиберальничал — переспал с машинисткой.

В глуши, за Киренском. Отец пил и, напившись, становился задумчивым. А задумавшись, говорил о смысле жизни. Иногда с собакой. Он сажал ее перед собой и спрашивал: «Скажи хоть ты, скажи мне — в чем смысл жизни?» Пес выл в ответ.

Она приехала в город, задумчивая, любопытная, умная, с жадными веселыми глазами. Идеалы пустые, таежные.

Вода закипела у меня под подошвами.

Шампанского — по бутылке на морду.

Коньяк с резьбой.

Пижон, у которого нет доброй квартиры, девице: «Родина задыхается от недостатка жилья».

Пижон-западник:
«Да, Европа отшлифовала женщину».

Янтарная волна Илима.

Молодость дается нам для эксперимента, а не для прозябания.

Пойди бродяжничать — обвинят в отрыве от коллектива, в хулиганстве, в космополитизме и т. д.

И тут он выпил последнюю трагическую рюмку.

Луна многоликая, похожая вдруг на бесстыдную девку, над городом, похожая на уличного приставалу, наглая, самодовольная.

— Затешусь там в толпу ваших поклонников.

Художник в деревне. Работа, аскетизм. И как из этого ничего не получается.

— Не ищите подлецов. Подлости совершают хорошие люди.

Шуты — люди темные.

Допился до того, что разговаривает трезвым голосом.

— Почему мужчины лысеют, а женщины нет?
— Я думаю, это попытка природы восстановить справедливость.

Глаза — два разбойника, которые действуют сообща.

Одни счастье высиживают, другие — выпрашивают, третьи — ждут его на большой дороге.

Он знал много разных слов и умел составлять из них предложения.

Попугай разорвал дятла.

— Деньги есть? — спрашивал он, сгорая от любопытства.

Из грозного соблазнителя он становился тихим, добрым сказочником. Он говорил ей: «Хочешь, ты будешь самой элегантной женщиной в городе».

— Чего ухмыляешься?
— Э, я дожил уже до того возраста, когда улыбка выглядит как ухмылка.

Если я окажусь духовный банкрут...

Любовь — это приятное заблуждение.

В ТЕАТРЕ (Пустяки)

О молодой женщине. Он ее называет: «Старушка». Она молода. Но она не понимала, не решалась, боялась

понять, что ей жаль своей оскорбленной и молодости. Он ее любит. Она — нет. В театре и после капризничает. Он огорчен. Смотрели трагедию. Отчего, думала она, отчего так грустно? Почему у меня весь вечер такое жуткое настроение? И она не находила в себе смелости признаться в том, что ей жаль свою молодость. Дорогой молчит, плачет.

— Ну вот, ты у меня ребенок, честное слово, маленький, глупенький ребенок.

Она взглянула на него. Ее глаза сделались маленькими и злыми.

— Уйди, пожалуйста,— сказала она и отвернулась к окну.

— Ну хорошо, хорошо,— сказал Порукин,— спи, спи. Но, честное слово, нельзя же быть такой впечатлительной. Я еще поработаю.

Он подошел к ней, нагнулся и хотел поцеловать ее, но она, не взглянув на него, загородилась рукой.

— Спи, спи,— пробормотал Порукин, еще больше огорчаясь, и (вдруг ссутулившись) вышел из комнаты. Тихо вздохнула дверь. «Отчего, отчего так грустно? Почему у меня весь вечер такое жуткое настроение?» — сонливо думала она. Она боялась понять то, что ей жаль свою молодость.

ПИСЬМО С ЛУНЫ

На днях редактор одной из городских газет, открыв утром свой кабинет и усевшись в кресло, обнаружил на своем столе голубой пакет с желтой печатью. Редактор хмыкнул, повернул пакет в руках и, не найдя на нем никаких надписей, с неудовольствием подумал: «Какая-то просьба». Но, распечатав пакет, он прочитал следующее:

Луна в радужном венчике.

На собрании. На общественном суде. Хороший человек:

— Я люблю свою жену. И Катю я очень люблю. Но больше всего я люблю ту женщину, которую встретил в Калуге на вокзале в 1959 г.

У стрекозы старушечье лицо (или собачья морда).

Под лодкой хрюкала волна.

Солнечные блики от воды — на деревьях.

Паук здесь уставил свои локаторы.

Мой зеленый кабинет.

Кузнечики, напуганные моей тенью, сыплются на дорогу.

Вдовьи вздохи.

Можно упиваться нищенством.

Пошлые деревенские приемы: 1) «женюсь» и 2) «убью».

Вода солнечного цвета.

Да, все правильно. Для таких, как я, любимые жены — большая роскошь.

Наш удел — шататься от порога к порогу.

Тонкая организация выходит боком, только боком.

На глазах выступили слезы: «Не обращайте внимания — это алкогольное. Для мужчин это, конечно, не довод».

Хотел говорить то, что думает, но вспомнил, что у него нет денег.

Трудно мальчикам, которые пишут сейчас свои первые рассказы. Лучшие, самые красивые, возвышенные слова сейчас до того скомпрометированы газетами и ремесленниками, столько от них пыли, плевков и ржавчины, что сколько надо думать и чувствовать, чтобы эти слова употреблять в их высшем назначении.

Графоман-рецидивист.

Звезды падают: «Дадут квартиру или не дадут?»

— Ты любишь пожрать, я люблю пожрать, но нельзя из этого делать истерики.

Встретились два гиганта-шизофреника.

Человек, который отказался от общества, великий мещанин. Все знает и ничего не может.

— Потом ты захочешь кенгуру.

Два искусства — писать и печатать.

У всех у них есть один недостаток: они — не ты.

— Думаешь, его не били?
— Били.
— Ну так он привык.
— К этому никогда нельзя привыкнуть.

40 лет. В прошлом занимался музыкой, хотел быть скрипачом. Скрипачом быть не смог, стал коллекционером (или цветоводом), надоел всем своей увлеченностью. Однажды ему сказали: «Все это чепуха. Вы неудачник». Это было так. Он запил.

Румяное лицо было искажено несвойственной ему задумчивостью.

Обыватель при упоминании крымских городов ухмыляется неприлично и мечтательно. В Ялте любой скромный доселе гражданин начинает говорить «мерси», «пардон» и развратничает. Пьет сухие вина, которых не может терпеть, старается увлечь на ночную прогулку каждую официантку.

— Когда ты мне так говоришь, я чувствую себя покойником.

Роман с собственной женой.

Пьяница:
«Я положительный, но я же живой человек».

Писатель:
Все знает, а выразить ничего не может, как собака. За него выражает редактор.

— А вы знаете, он сидел в тюрьме.

— Это не удивительно. Удивительно, как его оттуда выпустили.

Салон. Лакированное хамство.

Такси. Стук счетчика отдается в сердце у пассажира с рублем. (Вынужденная остановка.)

Лжет каждый, а любят тех, кто лжет лучше.

Прости. Лучше нам больше не встречаться. Проживу без подаяний. Будьте счастливы. Прости, что бил когда-то по щекам.

Безумно хочется получить двадцать рублей.

Скромный советский газетчик.

70 дедов-морозов.

А потом он прикинулся некрасивым.

Хорошую вещь люди браком не назовут.

Обычно разговорчивые, его собеседники делались молчаливыми. Он подавлял их своим интеллектом.

Добр и ласков как выздоравливающий больной.

Калека. Ходит по пивным, паясничает. Артист. Ходит не для того, чтобы напиться,— ему нужно общество. Без людей не может.

Хорошенькая двадцатилетняя девушка — философ. Парадокс.

В час ночи ему был подан трамвай.

Не хотел пить, но из вежливости и уважения к хозяину напился.

Вокзал — место ничего не значащих безнаказанных поцелуев.

На лице у него было написано, что он со временем горько и жестоко запьет.

Старость неизлечима.

Профессиональный пассажир.

— Вот вы будущий инженер человеческого организма, скажите, чем выражается анатомия скуки?

Сидел в позе больного художника.

От нее пахло утюгом.

Весна... радость... Впрочем, несчастным можно быть и весной.

Главные цвета — белый, зеленый, синий, черный — из них мир.

Он был поэтом, но, кроме огорчений, это слово ему ничего не приносило.

Прихотливая походка.

Рассказ ночного сторожа:
«Воруют днем. Ночью делать нечего. Совестно получать деньги...»

Настроение делало невкусным ужин, сигареты. Он плохо спал и скверно чувствовал себя утром.

Красивой девушке можно смотреть на все с легкой улыбкой.

Мы много говорим о том, что мы сделали, или о том, что мы собираемся делать. Делать надо, а не говорить.

В коридорах одного учебного заведения не было ни одного зеркала. Должно быть, у проректора по хозяйственной части было непривлекательное лицо.

По мере того как расширялся кругозор студентки Н., юбка ее суживалась.

Два студента, легко поссорившись и обменявшись ударами в челюсти, упали замертво. Оба питались в столовой университета.

Когда он говорил о любви начальника к подчиненным, то слегка конфузился.

Фамильярность вплоть до совместной выпивки.

Поэт принес в газету стихи.
— Переделайте так-то и так-то,— сказал редактор.
Переделал.
— Ну вот. Стихи взять не можем.

Женщина кокетничает. Мужчина играет.

Щекотал ей нервы своей ревностью.

Молодой детина черной масти.

— Я человек впечатлительный. Я жениться могу.

Каждый человек — государство, которым безраздельно управляет эгоизм.

Если в жизни все ищет противоположности, то его жена должна быть гением красоты, добра и т. д.

На станции на голландской печи нацарапано: «Пусть волны жизненного моря не смоют память обо мне».

Двое разговаривали о том, что важнее у женщины — лицо или ноги.

Терял хладнокровие и начинал говорить глупости.

Боевая подруга рецидивиста.

Ему хотелось ездить в скорых поездах, греться под крымским солнцем, целовать красивых женщин. Этого он не мог, и потому у него портился характер.

Воображение творческих работников занимал большой железный сейф с деньгами, который стоял в углу.

Мужчины созданы для того, чтобы рисковать.

Чрезвычайное происшествие. В 2 часа ночи по улице шел совершенно трезвый человек и пел. В этом было много хорошего.

Старик бороздил дорогу.

Это мнение обросло бородой.

Осень цвела своими яркими грустными цветами.

И вот я вырос из рубашки, в которой родился.

И бегает от жены как кот.

Бывает, что женщине много тепла не надо, бывает, она и дымком согревается.

Когда он говорил, он отчаянно жестикулировал, что свидетельствовало о бедности языка.

Позорная внешность.

«Едут новоселы,
Морды невеселы».

Поэзия всегда противоречила жизни.

Мечты, которые сбываются, не мечты, а планы.

Сколько бы ни старались литературоведы, они никогда не сделают Чехова сухим и скучным писателем.

— Она изменяет мужу?
— Его у нее нет. Она свободна и изменяет всему свету.

— Имейте дело с красивыми женщинами. Потому что если вы уходите от некрасивой, вы делаете ее несчастной, а красивая нигде не пропадет.

Старость закладывается в организме человека уже в первые годы жизни. (Из медицины.)

О непьющем:

«Не пьет? Это его до добра не доведет».

Водевиль в иркутской гостинице. Хулиганка Галка, мотив измены мужу: он мне изменил, надо отомстить. (Врет.)

35-летний:

«Женщины, которые любили нас в юности,— наши лучшие женщины. Они любили нас самих, а эти, сегодняшние, черт их знает, вечно сомневаешься в неискренности. Женщина, которая любит кочегара, на самом деле его любит, а вот уже дипломированного кочегара — уже неизвестно, уже сомнения».

Производил именно то впечатление, которое хотел произвести.

Люди не только говорят одно, а делают другое, но думают одно, а делают другое.

Она молодая учительница после педучилища. У нее любимый в городе. Она тоскует по нему, он идеал, следственно, все окружающие скучны и т. д. Он приезжает и начинает крыть деревню. Ей они были скучны (и то надуманно). Ему противны. Он разглагольствует, она его гонит. Остается. Глаза ее раскрылись, она почти счастлива.

Сюжет:

Тщеславный покойник. Разговор с кладбищенским сторожем.

— Устрою местечко. Рядом академик. Был непьющий, некурящий. Справа артист. Приятный был человек, известный. Иначе говоря, будете лежать в культурной компании, на виду.

Сторож серьезен и обыватель серьезен.

Беспомощно глуп. Так глуп, что даже не в состоянии это скрывать.

Девушка, сошедшая из жизни на обложку журнала.

24 февраля.— Все лучшие известные писатели знамениты тем, что говорили правду. Ни больше ни меньше —

только правду. В двадцатом веке этого достаточно для того, чтобы прославиться. Ложь стала естественной, как воздух. Правда сделалась исключительной, парадоксальной, остроумной, таинственной, поэтической, из ряда вон выходящей. Говорите правду, и вы будете оригинальны.

Поворот. Откуда-то сзади выскочила луна, пронеслась над черной щеткой сопки, ударила в черную стальную струну рельсы. От этого пошел тонкий тихий звон. Луна катилась по рельсе, разбрызгивая холодный, звездный свет.

Замысел должен быть гениальным, писать надо, ориентируясь на шедевр, тогда получится сносный рассказ.

Девственно невежествен.

Капитан — солдату во время демобилизации (тот уже в штатской одежде):

— Вы, Левошко, все три года меня нервничали.

— А вы меня тоже нервничали,— ответил веселый, нагловатый Левошко.

— Я хочу, чтобы я здесь (прикладывает руку к его сердцу) была одна.

— А тебе не будет там скучно?

Чувствовать себя совершенно свободно на сцене артисту позволяет только вдохновенье или цинизм.

Комедия. Время от времени в зале вдруг раздавался одиночный дурацкий смех. Казалось, это автор комедии неутомимо ходил по рядам и в тех местах, которые, по его мнению, были особенно смешны, щекотал зрителей сзади неожиданно под мышками.

— У меня в жизни не было ничего такого, что я желал бы повторить, вернуть.

Вместо того чтобы привлечь подчиненную к ответственности, директор привлек ее к себе.

9 марта. В моей голове, как нож бандита в темной тихой ночи, сверкнул первый седой волос. Пока один.

Но он недолго будет одиноким — жизнь об этом позаботится. Мне грустно, милая, когда я думаю о том, куда ведет эта серебряная ниточка.

Серебряный дождь.

Она (пишет в письме):

Я боюсь, что начнется война и мы никогда не увидимся.

Ответ:

Теплее одевайся, береги себя, войны не будет. По крайней мере до тех пор, пока мы не встретимся. Если хотят воевать — пусть потерпят.

— Хочу поработать инкассатором,— говорил он смущенно.

Уж гипнотизирует лягушку. Против воли она прыгает в его пасть. Так люди загипнотизированы своим будущим. «Как медленно,— говорят они,— идет время! Скорей бы весна! Скорей бы 19 лет! Скорей бы завтра! Скорей бы, скорей бы!» Куда? В ту же пасть.

11 марта. Юноша. Большое симпатичное бревно.

Разжиревший месяц.

Гравюра, как в музыке — фортепьяно; масло — как оркестр.

Ослепительный мартовский день — столкновение зимы и весны. Белый крепкий еще снег, но уже весеннее яростное солнце.

Меня удивил Бабель. Яростный, ослепительный стиль.

...тлеют, тлеют и вдруг зажглись ровным унылым электрическим светом.

Огромная медная дверь хлопнула, как гигантская мышеловка.

Передо мной прохладная уже улица шелестела машинами и людьми.

Огромная малиновая стена с рубиновыми окнами была на той стороне улицы, плоское небо, цвета зеленого, наивного, как на детских картинках. На углу Красноармейской и Большой я наткнулся на Мишку Золотарева, студента-геолога. Он был тих, как этот вечер. Под тонкой красной рубахой каменели тоскующие бицепсы.

— Я шляюсь здесь уже целый час,— сказал он,— такой погоды не было сто лет и еще сто лет не будет. Пойдем выпьем водки. Я сказал, что тороплюсь, мы похлопали друг друга по плечу.

Улица тонула в синем омуте апрельских сумерек. Потом над черными крышами стало появляться воспаленное веко луны — большое растерзанное облако, сделалось тихо... Глаз луны, красный от бессонницы, остановился над лесом, пристальный и жуткий.

Всходила луна. Лучи ее, как холодные ножи, скользнули по черным лужам.

Луна, засыпав дорогу золотыми брызгами, плюхнулась в грязную темную лужу.

Москва ежедневно съедает 12 500 коров.

«Никто» в «Современнике».

Бред изнывающего от скуки молодого человека и галлюцинации девицы, которой надо замуж. Ссоры — минуты прояснения.

Офицер сердито заскрипел портупеей.

Жара, пыль. В скверике томится бронзовый Ломоносов.

В зоопарке:
Бегемот — ожиревшая цистерна. Слоненок со старческими глазами.

Тигр ревет, по соседству антилопы. Баба (приезжая):
— Вот ему бы сейчас эту бы вот одну. Вот бы разговелся.

— Правда, где она в людях? В этой вот березе, в ее чистосердечной тяге к солнцу, в ее откровенной радости и т.д.

— Мельчим, мельчим. Стараемся все жить тихо, без врагов и недоразумений. Все друзья, все хорошие, со всеми ладим — запечная, тараканья философия.

Утюги, томагавки!

— В душе пусто, как в графине алкоголика. Все израсходовано глупо, запоем, раскидано, растеряно. Я слышу, как в груди, будто в печной трубе, воет ветер.

В Москве местожительство его было в Гавриковом переулке у маленькой церквушки. Две ее маковки тускло переливались скорлупой веков (облупленной).

Сколько чувственного в весеннем обнажении земли. Воздух, разомлевший снег и вот из-под него — первая проталина, как девичья коленка из-под платья.

Откровенная гитара.

Алчный жулик, жмот и шкурник разглагольствует:
— Терпеть не могу тех, которые трясутся над копейкой.

Кавказец:
— Жить и работать надо под лозунгом: даешь «Волгу» или хотя бы «Москвич».

— Скоро все полетит к черту, и я не хотел бы, чтобы вы были этому очевидцем.

— Спят, суетятся, потеют за обедом, считают деньги и снова спят.

...О том, что было... А было-то всего — весенний день, грязная дорога, две березы...

Считают деньги. Прислушайтесь: этим занят весь мир.

Грохот монет на земле.

Когда нам было по 16 лет, современная поэзия была

безобразной. И мы перестали верить, что живые поэты на что-либо способны. Мы сделались идолопоклонниками, фарисеями. Настоящие поэты для нас были — Пушкин, Лермонтов и Есенин.

Зачуханный день.

Служит в ресторане, срамит молодых посетителей:

— Вам не соломинку, а карандаш надо держать, учебник. Если бы у меня была такая дочь...

Под мостом, растерзанная, билась луна.

Луна разменялась на сто мелких монет.

Молодой человек лет 25 в кафе:

— Что я могу? Что я умею? Я умею выпить, красиво сесть, красиво встать, красиво носить шарф... И все. И это, выходит, главное, что я умею. А вот он сидит, пьет, шутит, заказывает еще. Он делает это не хуже меня. Но это у него не главное. Вот он спорит, горячится, у него есть дело, идея, наверное, какая-нибудь. То у него главное. А здесь он между прочим. Так вот получается, что моя жизнь, мое призвание — это «между прочим». Я весь состою из этого «между прочим»... Подайте, пожалуйста, бутылочку нарзана (четвертый номер).

Две маковки (слева) Василия Блаженного похожи на чалмы. Когда едешь на машине, Василий Блаженный кивает своими маковками-чалмами.

От нее запах разлуки и ветра.

Виноватыми всегда бывают нелюбимые.

Преступление из-за любви уже не преступление. Только из-за любви можно украсть, обмануть, может быть, зарезать.

Он хотел достичь всего через материальное могущество. Это такая грубая, такая общая ошибка — он ничего не достиг.

Любимые не бывают виноватыми и подлецами.

Жизнь в основном проиграна.

По утрам, когда он пробуждался, ему приходила в голову сладкая мысль — не подниматься.

— В такой международной обстановке детей рожать не хочется — право слово.

Московские театры. Пиво и бутерброды в антрактах. Конфеты и знаменитый актер у выхода.

Закат бросил вдогонку своих рыжих собак.

В Минске тоже есть каштаны, но чувствуют они себя здесь примерно так же, как я...

Она была маленькая, белобрысая, с испуганными от грубостей жизни глазами. В дождь ночью я стоял у ее окна и был счастлив. Она выбежала ко мне. Поцелуи. Это и была любовь. Все остальное всегда было только подражанием тому. И чем дальше — тем хуже (тем бездарнее). И докатился я вот до чего.

Киев. Утро 29 апреля. Бульвар Шевченко. В Киев надо приезжать рано утром и бродить по нему до темноты. На бульваре я принял парад киевских тополей. Храм. Пасха. Я иду по бульвару, солнце встает за моей спиной (изумруд росы на акациях), я иду, как воскресший Исус Христос. Впереди меня скачет бронзовый Щорс.

На бульваре против храма старушки лупят крашеные яйца:
— Христос воскрес,— говорю им я.
— Воистину воскрес,— рапортуют старушки.

— Забыть меня здесь, когда мы рядом,— это значит замуровать меня в толпу соглядатаев. Это невозможно. Из этой свинцовой стены будет торчать моя к тебе нежность, так же как если торчала бы из моей могилы моя рука. Ты этого не вынесешь.

— Старая, старая... Все мы в материке-земле ровесники. Мы все перед ней...

— В любви (в большой любви) нет материализма. Вся

она сплошной идеализм и с материализмом в вечном бессмертном противоречии. На этом противоречии вырастает поэзия.

— Вот он мой любимый идет.

Ночной спор в гостинице. О том, как надо бороться с ворами. 4 против 2 — рубить пальцы и руки.

Анкеты:

Марина, сварщик из Улан-Удэ, 19 лет. Крепкая по-мужски, голубоглазая, доверчивая. Летит из Сибири в Великие Луки к больному брату. В Москве была один раз, когда проезжала в Сибирь, сейчас — второй, чтобы через Москву проехать в Великие Луки. Мать умерла, отец, шофер, разбился три года назад. Хотела непременно стать шофером (в память об отце), да как-то не вышло. В Москве растерялась, не знала, с какого вокзала ехать в Великие Луки. Очень хвалила начальство, которое предоставило ей очередной отпуск (из-за болезни брата).

Витя Николаев — попутчик. Едет из Кольчугина в Ялту, где у него якобы девушка. Студент или рабочий, заочник ли — дело темное. В модной стеганой куртке, скуласт, с тонкими над всей верхней губой усиками. Рот большой, а зубы мелкие. Все вместе — усики, рот и зубы, когда он улыбается, а улыбается он беспрестанно, создают впечатление мелкотравчатости. Девчонкам строит глазки. Утверждает, что из напитков более всего предпочитает спирт, водку, пьет, однако же, некрасиво, через силу.

Ида в вагоне-ресторане. Муж ждет ее в Орле на перроне. Муж хормейстер. Разговор по этому поводу.

Купе. Грибы и две попутчицы. Тамара, студентка из Харькова, едет в Мелитополь к маме. Милиционер (мл. лейт.) Валя, лет тридцати, с мелкими (видимо, завивка) кудряшками, с простецким лицом. Две праведницы, хамки преклонного возраста. Скандал.

Из Симферополя в Ялту на троллейбусе. Галя и ее муж Женя.

— Заведу медведя, будет тебя сторожить, а я буду пьянствовать.

Десять дней на размышление (комедия).

Лариса. Вполне серьезное предложение:
— Посещай женщину, а встречайся со мной!

Шкловский:
Чистота жанра. Не поступок, а путь к поступку. Необходимость изображения обстоятельств и прочее — все не америки. Энергичный старик, очень театральный в манерах, в словах съедает последний слог, видимо, от старости. Сделать нечто значительное, значит, забыть о себе, отвлечься от себя. Ленин в театре, где его появление, так сказать, частного характера, встретили аплодисментами: — Какие невоспитанные люди.

Ялта днем и ночью. Посещение дома Чехова. Сергей Георгиевич Брагин, научный сотрудник. Ветка с деревьев, посаженных Чеховым. Магнолия, аукуба, японская айва, калина вечнозеленая, гималайский кедр, жасмин, розмарин — все это посажено Чеховым.

Квартира на Московской. (Портрет.) 37 лет, неглупа, разведенная жена. Муж был доктор, старше ее, по ее словам, сухой односторонний человек. Ее он любил и баловал. Любовник татарин, потом роман с московским переводчиком из «Интуриста» по фамилии Азаров. Этот ставил ей условия:
— Учись, дорасти до меня (она закончила кулинарную школу и немного медсестра).
Азаров не выговаривает букву «р» специально. Муж, когда они разводились, вошел в комнату, спросил: «Скажи откровенно, ты никогда мне не изменяла?»
Она:
«Никогда».
Он поцеловал ей руку и пошел. (Наверно, врет.) Развелись. Муж оставил ей квартиру, посещает ее по праздникам.
Она:
«Я люблю делать людям добро, если это мне недорого стоит... Я добрая, сердечная, очень переживаю, когда ссорюсь с любовниками, но вместо того, чтобы к нему вернуться, завожу нового». Анекдот «о среднем» в ее присутствии рассказала ей подруга, красавица. Она затаила месть и увела у нее обожателя (главного). Подруга любопытна:

— Когда ты бываешь счастлива? Только откровенно.
— Когда я хорошо высплюсь, надену красивое платье, словом, когда я хорошо выгляжу, утром войду в канцелярию, там несколько мужчин — все они уставятся на меня, и в эту минуту они забывают своих жен — я счастлива.

Алла о ней:
— Она раб своей красоты.
Муж однажды видел во сне (Аллу) голую с чужим мужчиной. Утром он отхлестал ее по щекам. Она думала, что он что-то узнал, на самом деле — сон. (Врет или где-нибудь прочитала.)
— Я Анна Каренина, определенно — я Анна Каренина.

Шкловский со своим тостом о втором успехе и строкой Тютчева о роковом времени.

Драматург из Балкарии:
«Как змэй!»

14 февраля. Три происшествия. Видел «8 $^1/_2$» Феллини, меня приняли в Союз писателей, Синявскому и Даниелю дали соответственно 7 и 5 лет.

Саша Лутовинов. Комсомольский работник из Липецка. Мастер спорта по парашюту. Рассказал историю о том, как выбирал между женой и любовницей.
— В наше время не найдешь человека, который бы не рисковал.

Коля Попов. Женитьба в Москве. Он студент, она продает ковры. Он в общежитии, у родителей одна комната. Он сирота. У ее матери — инфаркты. Не ночевала — инфаркт, решили жениться — инфаркт и проч. Папаша, рассудительный механик, ставит условие:
— Женитесь, но меняй фамилию, бери нашу, у нас остановился род. (У папаши четверо детей — все девки.)

Алкоголики и сладострастники.

Обычно после обеда в редакции работа не работа, а так, времяпровождение. Может быть, два-три человека делают что-нибудь срочное, но остальные заняты больше

всего посторонними разговорами — по телефонам, между собой и с посетителями, среди которых в этот час редко найдется человек, зашедший по делу. Сотрудники и посетители шатаются из комнаты в комнату, говорят о чем угодно, черт знает о чем и обязательно острят. Острят все, но в особенности посетители, которые считают, что в редакции непременно надо острить. Такое уж это, по их мнению, веселое место. Вот зайдет часа в три какой-нибудь студент из тех, что промышляют в газете информацией, рассядется на стуле, а если нет места, сядет и на стол, расскажет какую-нибудь глупость, а потом так и будет сидеть до самого конца, до пяти часов. Зайдет и второй, и третий, и еще какие-то разные, пишущие стихи, очерки, а некоторые ничего не пишущие, а пришедшие в редакцию рассказать анекдот. После обеда в редакции невозможно работать, но и в это время умудряются все-таки закончить статью или выправить заметку.

Работал в цирке цыганом.

Он, целуя ее:
«Это наша правда (или — это истина). Все остальное ложь и ложь».

Мы не уступали друг другу. За каждую обиду — ровно такая же обида. Это была не любовь (любовь — умение прощать), а игра, борьба. И, гуляя с ней по саду, в кино, в подъезде, целуясь, я вдруг чувствовал себя совершенно одиноким.

Мир с точки зрения невесты.

Первенство мира по конькам. 1 000 000 зрителей, снежки. (На футболе — беспрерывное мерцание спичек.) 999 999 чужих людей, одна любимая.

Октябрь 1961 г. В дым больной.

У негра улыбка, как месяц в темном небе.

Он много мечтал и потому мало имел.

Старики, спекулирующие своим прошлым.

Потом у нее был томный, выдающий себя за француза молдаванин.

Взращенные виноградным соком, изнеженные южным солнцем молдаване.

У них женская походка.

Он полез, казалось, не в карман, а в самую глубину своей души и вырвал из нее рубль.

...слова, теплые, как постель тридцатилетней вдовы.

В столице трудно родиться поэту. Москвичи с детства все знают. Задумчивых в Москве нет. Всех задумчивых в Москве давят машинами. Поэты родятся в провинции, в столице поэты умирают.

Он ел, хищно пригнувшись над тарелкой.

В 1961 году в Москве действует около 70 церквей. Артисты (московские) за выступление в хорах получили 13 млн. рублей за год.

Фальшивые деньги появились на третий день после реформы.

Доменная печь. Создана воспламенять воображение поэтов.

Вечерело. Романтики пошли выпить и закусить.

— Женился? Да он же дурак.
— Детей родить ума не надо, а дети, может быть, будут умными.

Пожилой москвич:
— Мы какими были? Черный костюм, ботинки щучкой, бабочка пестренькая... Я ничего еще: с девками пить, гулять буду, но не полностью. Резюме, так сказать, уже не подведу.

Трубная площадь. Осень. Сырой, судорожный ветер. Дома старые, как деревья. Все так и осталось с тех пор, как писалось: «В Москве на Трубной площади...»

Черемушки — каменный колхоз.

Красные ворота. Спросил, почему Красные ворота? Никто не знает.

Молодой жулик из Орликова переулка.

Могильная, черная темнота воды.

В Москве ежедневно миллион гостей. ГУМ продает $^{1}/_{200}$ всей товарной массы страны.

Чувствуется, как мост, белые дома на горе, сады — вся земля тихо скользит, удаляется от заката.

Был вечер. Посинели сугробы. Мутный свет матовых фонарей с черных чугунных столбов падал на лица прохожих. Их лица были задумчивы, до жалости серьезны, вечерняя тоска остановилась в их глазах. Красные вывески магазинов, реклама кинотеатров, два прекрасно одетых пижона, женский смех, беготня. Я нырнул в полуподвал «Гастронома», там почти никого не было. В серых половинках окна мелькали ноги прохожих. Я смотрел на них. Особенно бросилось в глаза удручающе согласованное движение проходящих пар. В них мне казалась извечная каменная поступь тоски.

Все люди кажутся иногда самыми отвратительными типами Достоевского.

Колонный зал. Концерт Шумана, Пятая симфония Бетховена. Дирижер немец, похожий на самого Бетховена (Рольф Клайперт). Дирижер Берлинского радио.

— В 25 лет еще рано оглядываться, но уже поздно нестись сломя голову.

— Чепуха!

Зрелость — рутина, и счастье — рутина, болото, тупик.

Тувинец Тай. В Москве в Охотном ряду в семь часов вечера его взяли за локти, вынесли из большой толпы прохожих, приволокли в глубину подъезда и потребовали кошелек. Он отдал три рубля, больше у него не было.

— Тогда снимай пальто.

Он забарахтался. Его ударили по голове, он побежал. Все это в десяти шагах от густющей толпы прохожих.

С похмелья. Развертывает утром газету:

— Взглянуть, что делается в трезвом мире.

18-летний парень, феноменально непосредственный и впечатлительный, из села приехал в город. На улице увидел девушку, влюбился, как будто был поражен молнией. Шел за ней, но потерял. Целый месяц ходил в этом месте, ни разу больше не видел. Тоска хуже болезни. Принес в редакцию искреннее, наивное письмо. «Как найти?» Газетчики. Спивающийся зубоскал. Трезвый деляга. Водопад цинизма парню на душу.

В этот вечер все девушки казались мне красивыми, как солдаты, впервые получившие увольнение.

Женщина:

— У него такая красивая фамилия и такая чудная шапка.

Дряхлый мартовский снег кряхтит под ногами.

Он подл, мелочен, злопамятен, но, к счастью, глуп, а потому не опасен.

— Хотелось зарыдать. Я не сделал этого, потому что врачи запретили мне рыдать.

— Женщине с такими ногами нет в этой жизни отрады, кроме шпионажа. Ее надо простить.

Любовь к искусству — это не для того, кто хочет быть счастливым.

Все порядочное — сгоряча, все обдуманное — подлость.

Каждый компромисс — скачок к старости и скотству.

— Он оригинален.

— Он дурак, но и в этом он не оригинален.

Вспомнил. В Канске на вокзале пацан лет 14—15 с каким-то пошлым хулиганом на скамейке. Пацан говорит:

— Я поживу еще лет десять, а потом лягу на рельсы. Точно!

Письмо. «Я хочу сидеть с тобой в Большом театре, слушать и видеть, как танцуют менуэт Моцарта. Наш прогулочно-зрелищный период прошел в провинции на последних рядах душных кинотеатров. После окончания сеанса (мы видели мордобитие) дорога по темным улочкам. Я ожидал, что вот-вот нападут хулиганы».

— Людей без мировоззрения надо сажать в тюрьму.

На наших стройках теряется каждый третий кирпич.

— Она занималась легким образом жизни.

На голове, на самом темени, у него появилось блестящее пятнышко. Там свила свое гнездышко рутина.

В мире за год машинами давят 100 000 человек.

Он:
На руках буду носить.
Она:
Знаю. Два раза в жизни: на постель и на кладбище.

— Ты знаешь, что меня в ней привлекает?
— Я догадываюсь.

1 января. Казанский вокзал. Поехал, потому что пьян и молод. 15 минут ходил по перрону, заглядывал в окна вагонов. Не нашел, не видел. Поезда с московских вокзалов уходят иезуитски бесшумно, плавно, спокойно. Машинист как опытный хирург: всадит нож незаметно ласково и отхватит руку. Вспоминалась зеленая юность. Кажется, за тем и приезжал, чтобы не видеть, не встретить. На вокзале обычный бордель — духота, толкучка, кофе в липких, пропитанных жиром бумажных стаканах.

Женщина накрашенная до невозможности. Высокая, томная. С ней — низкий плотный молодой человек, чуть

горбоносый, волосы ежиком, пальто «с начесом» — ловкий, нахальный живчик.

— Каждый нормальный человек знает, что сейчас ищут 102-й элемент в таблицу Менделеева.

Бледный от ревности.

Молодой человек взялся писать честный, беспощадный дневник. Понял, что почти невозможно, что это самоубийство, ужаснулся. Сжег и весело, радостно отправился соблазнять чужую жену.

Опус в сопоставлении — скажем — письмо любимой или другу — (и с другой стороны) — дневник. (Об одном и том же, но какая пропасть.)

ХОМУТ (рассказ)

Подъедет, подползет поезд дальнего следования, выйдет толстая, озабоченно разглядывающая сумочку жена, на весь перрон чмокнет в губы, скажет густым громким голосом: «Здравствуй, милок»,— сунет в руки черный, большой, как саркофаг, чемодан, толкнет в руки и другое барахло, скажет еще (не спросит, а скажет): «Ты здоров, не потеряй сетку...» И — конец.

Герой сидит на вокзале, в ресторане, вспоминает месяц вольной жизни.

Бывают временные категории. Дураки, умные, любимые, нелюбимые — категории вечные.

— Я по своему крестьянскому недоразумению.

— Если взять судьбу за горло.

Дисциплинированная клевета.

Слова, настоянные на спирту.

На земле все складывается так, как в плохом фантастическом романе: физика, война, конец мира.

Идеи мы отстоим, но у нас не будет детей. Для кого

тогда идеи? С человека, который знает, что у него не будет внуков, трудно спрашивать. Его ничем не удивишь. Общечеловеческая точка зрения. Аполитично, вредно. Хорошо, можно забыть тех, кто умер. Забудем, хотя некоторые из них забвения не заслуживают. Но как же забывать тех, которые будут — детей и внуков?

— Дайте женщину, из-за которой дерутся все.

— Я вспоминаю то одну из своих женщин, то другую. Таким образом, я все еще продолжаю им изменять.

Ноктюрн на водосточной трубе.

Удивительные вещи происходят на земле: лето сменяется осенью, за осенью — зима, а вслед за ней через ручьи по рыжим полянам идет весна. Пора бы к этому привыкнуть.

О н а:
Приходите ко мне после обеда.
О н:
Зачем? Вместе будем переваривать пищу?

Девица: Пойду лягу на своего Прокруста.

Клянусь очками Балакирева.

Фаталист: Я настолько безнравственный, что мне рядом с девушкой сидеть неудобно.

Целенаправленный (целеустремленный) идиот.

Январский закат. Холодные неподвижные березы. Сквозь них раскаленные добела окна. Вот уже они багровые, вот малиновые. Тлеют. Тлеют. Остался тусклый румянец... и окна засветились похабно ровным электрическим светом.

Как благородные — какое смелое сравнение.

— Хочу быть гордым и несчастным.

С ю ж е т для юмористического рассказа.
Алиментщику (пятидесятипроцентному) пришла счаст-

ливая мысль «умереть». Обстряпал это дело через знакомого нотариуса (или еще кого). Женам разослал письма (или документы). Женился, может быть, в третий раз. И так далее такая чепуха.

Женщина жалуется на то, что «ты меня не любишь», вместе с тем сама любила только две недели, пока он пренебрегал ею.

Опух от скуки.

Мир состоит из скучных малокультурных женихов и симпатичных обольстителей.

Он взял напрокат его пиджак и галстук, но, к сожалению, не прихватил с собой его изящных манер. (И его способности делать глупости.)

Талантливо — это когда так, как не должно быть, но когда это здорово.

Воинов после поражения утешали любимые женщины, поэтов после фиаско — тоже женщины...

Беллетристы тянутся к вокзалам, как мухи к меду.

Богатые и бедные — категория старая, но дураки и умные — категория бессмертная.

В этом мире без неприятностей живут только свиньи и идиоты.

У художника — стог сена — автопортрет. Стог только предлог для самовыражения.

— Я люблю людей, с которыми все может случиться.

От страданий (и болезней) интеллект проступает у людей на лице.

Конец рассказа. Листья под фонарем. Ветер собирал их (листья) в кучу, потом кружил, поднимал в воздух и вдруг бросал в темноту — к чертовой матери!

Шли солдаты, пели:

— Молодую вдову обнимать, целовать!

Чтобы сказать о таком человеке правду, надо дождаться, когда он умрет.

Гагарина за облака бросило почти 200 млн. лошадиных сил.

Сумасшедший на побывке.

Даже в позу не могу стать — показываются грязные манжеты.

Веселье, радость и тоска. Кому это обязательно? Нам? Только нам. А ведь веселья ровно столько, что и тоски, и то, что весело, в равной степени и грустно. И, может быть, правы те, кто живет не разбирая ни радости, ни тоски — просто, прямо, глупо (делают что надо). Может быть, они мудрецы! А мы — просто психи.

Человек без скорлупы.

— Знаете, что мне хочется? Мне хочется получить пощечину. (Обнимает.)

— Да нет. Обойдется без пощечины.

— Как? Вы даже в этом мне отказываете?

— Я не бью молодых людей. В особенности интеллигентных.

— Чем больше человек думает, тем он становится мягче.

26 января. Центральный Дом литераторов. Сатирики. Штук двадцать. Маститые — весь Олимп. Безыменский, Эмиль Кроткий, Арго, Масс, Бахнов, Костюковский, Привалов, Егоров. Самый молодой редактор отдела «Вопросы литературы». Я — мальчишка, провинциал, да еще забился в угол. Со стороны Привалова это было пижонством и бестактностью пригласить меня на эту секцию. Глупейшее знакомство с Безыменским. Еврей-редактор: «Вы пишете на русском языке?» — «А вы?» Он думал, я из Якутии. Писательские разговоры. Еще мрачнее мое посещение. Критика на мою книжку в журнале «Москва». Привалов, разочарованный моим видом и моим тихим

голосом: «Я вас там перехвалил. Ругать вас еще будут много». (Все натянуто и несерьезно.)

В тюрьме. В камере рецидивистов. Один поссорился с остальными, проткнул губы алюминиевой проволокой, замотал. Заставили размотать.

— Зачем замотал?

— А не желаю с вами, с суками, разговаривать.

Мариха — глухая, одинокая, несчастная старуха. В лесу на ягодах мы взрывали рядом с ней толовые шашки, украденные на складе в каменоломне. Хотели проверить — глухая ли она, не притворяется ли? Она была абсолютно глуха.

А́ксинья — женщина, вернувшаяся с войны. Глухая, носила солдатские штаны, не мылась, материлась и пила. Дралась, но никогда не плакала. Даже пьяная. Говорила мужским зычным голосом. Курила махорку, и было противно видеть гримасу, с которой она поминутно сплевывала себе под ноги. Работала за мужика. Только песни пела по-бабьи, высоким, вытягивающим душу голосом. Мелодия песни, которую пела пьяная Аксинья, сильно походила на тему первой части из Первой симфонии Чайковского.

Митька Широколобов — немтырь. И его двоюродный брат рыжий Сережа тоже немой. Обоим лет по сорок. Митька большой физической силы, злой. Бил жену и детей. Дети говорящие, тихие, казалось, с навеки испуганными глазами. Старшего Петьку Широколобова помню семилетним, неестественно большеголовым, рахитичным, постоянно вздрагивающим от недавних побоев. Недавно встретил его в трамвае. Не знаю, как мне удалось его узнать. Он — моряк, на побывке. Здоровый и, как мне показалось, нахальный парень.

— Как живешь?

— Ништяк!

— Отец дома? Как он?

— Помер,— весело говорит Пашка,— в пейсят пятом зимой простудился и помер. Ну я пошел. Счастливенько!

Степан Христофорович Шалашов — сторож, истопник, ассенизатор. Тогда ему было лет шестьдесят. Маленький, с походкой воробья.

Из детства. 1946 год. В июле на покосе стрелочник Говорухин поймал хорька. Принес домой и затеял жарить. Говорушиха изругала его и выгнала из избы. Он успел схватить сковородку и под бугром, за огородом, у речки сжарил-таки добычу. Говорушиха, пухлая, громадная и разгневанная, стояла на меже, материлась, грозилась изувечить.

— Сковородку, змей, испоганил!

— Иди, иди сюда,— кричал снизу Говорухин,— попробуй! Ты попробуй — за милу душу пошиташь! (посчитаешь).

— Поколение слабое, хилое, выросшее на «колосках» и на мерзлой картошке.

Моя первая любовь. О ней писать еще не настало время.

Я не говорил умных вещей, но я и не говорил глупостей. Я молчал.

Зубы ему выбили в студенческом кафе «Недотрога».

Гоняясь за вами, я износил свою душу.

Улыбчивый мракобес.

— Вы думаете, почему они здесь такие нарядны-ы-я? Много воруют. Мало едят и много воруют.

Я не знаю, как должны писать талантливые люди, но мне мои рассказы достаются трудом.

Он сидел в ресторане и был полон воспоминаний. Он заказал вино, которое пил в Минске, сигареты, которые курил в Москве, и цыпленка табака, которого он никогда не ел. Монолог в ресторане. Когда пьешь один — бутылка пустеет так медленно.

Я думал, что я напишу другу...

Я знаю, что перед твоим отъездом между нами пробежала черная кошка. Не черная и, может быть, не кошка, но мышь перед твоим отъездом перед нами пробежала (и проч. и проч.). Рассказ.

Ленинград. Ее любили деликатные ленинградские хулиганы.

Линия Маннергейма — железобетон в защиту европ. цивил. Казах в 1964 г.:

— Наши строили?

— Я содрогаюсь от собственного невежества.

Памятник Петру, залив и город, у памятника, не сходя с места, разжирел фотограф-любитель.

Акимов:

Если идея хороша и гуманна, все средства хороши. Формализма нет.

Старый клоун (режиссер):

— До чего ханжество дошло! Запретили в витринах выставлять табачные изделия. Это что такое? Объясните. (Светский разговор.)

— Подлец!

Он молчал, смотрел на стену, потом тихо сказал: «Мерси».

Прошло минуты две. Она все стояла у двери.

— Что же ты стоишь? Общество подлеца...

Она всхлипнула и бросилась к нему.

Чрезмерная святость, как и фанатизм, всегда ведут к изуверствам.

Он был неистощим в выдумывании ее достоинств, мелких очарований.

Любовь — творчество, у бездарных она — нудная драма с утюгом в валенке.

Переводчик с одного языка на другой — как паромщик, таскает с одного берега на другой.

Ялта, март 1963. 21 марта, дом Чехова. Про Чехова рассказывает экскурсовод, похожая на англичанку из «Дочери Альбиона». Рассказывает двум немцам. Немцы удивляются, как Чехов переписал на Сахалине все население — заполнил 10 тыс. карточек. Немец спрашивает: «Это у него от правительства было задание?»

— А муж у тебя есть?
— Нет.
— Как же быть. Кого же мы будем обманывать?

Сказки, рассказанные нам в детстве, забываются. Приходит время, когда остается лишь одна сказка — лунная ночь. Но придет время — не будет и ее или (навсегда останется сказка — лунная ночь).

Первая любовь — это не первая, не вторая и не последняя. Это та любовь, в которую мы больше всего вложили самих себя, душу, когда душа у нас еще была.

— Где здравый смысл?
— Если бы мир держался бы всегда здравого смысла, мы до сих пор ходили бы на четвереньках...

Воспоминания
друзей

ГЕННАДИЙ НИКОЛАЕВ

Довольно долго житейский Саня и драматург Александр Вампилов трудно соединялись у меня в одном человеке. Впервые мы встретились в номере гостиницы «Сибирь», в июне 1965 года, когда в Иркутске проездом был В. Ф. Тендряков; во второй раз — осенью того же года на берегу Ангары, у костра; и наконец — в Иркутском драматическом театре, на репетиции «Прощания в июне».

Скромный, молчаливый, даже, как показалось мне, слишком застенчивый — в гостиничном номере у Тендрякова; ребячливый, озорной, в доску свойский — на берегу Ангары; необычайно серьезный, педантичный и придирчиво-въедливый — на репетиции. Вампилов в трех лицах, тремя гранями своей сложной натуры. Однако по тому, что я заметил на репетиции: как мгновенно прекращали перепалку режиссер и актеры, едва он начинал говорить,— я многое понял о человеке, с которым недавно хлебал ушицу из одного ведра.

Можно подобрать сто эпитетов: талантливый, умный, добрый, насмешливый, гордый, веселый, напористый, азартный и так далее, в том числе и другие, соответствующие каким-то таким его качествам, которые нельзя назвать добровольными, но все эти эпитеты не раскроют его так, как он раскрыл себя сам в своих пьесах. Своим отношением к героям и выбором проблем, его волновавших, он создал и свой собственный образ — человека чуткого, мягкого, сочувствующего людям, достойным сочувствия, и строгого, порой жесткого со злыми и жестокими. Он и здесь, в пьесах, был двуедин: с персонажами, ему близкими, дорогими — Саня, а с персонажами, жизненную философию которых не принимал,— Александр. Он знал о своем редком даре драматурга и, когда его хвалили, усмехался, словно опытный ювелир,

по звуку понимающий, какой металл предлагают. Вообще он не любил монологов, чаще обходился словцом, замечанием, как правило, метким, беззлобным, не задевающим самолюбия, а лишь отмечающим нечто любопытное, забавное. Были у него любимые фразы, которые никогда не надоедали ему: «зато мы делаем ракеты», «жениться надо ездить на бульдозере», «ушел за пивом и в редакцию не вернулся». Повторяя их, он всякий раз испытывал удовольствие, видимо, от эффекта приложения избитого оборота к новой ситуации. Смеха это не вызывало, но улыбку — обязательно. В этом, в улыбке разных оттенков, и был его особый, вампиловский стиль.

Он жил подвижно, открыто, с азартом человека, не желающего отставать или быть кем-то обойденным в любом деле, за которое брался, будь то рыбалка, приготовление шашлыков или написание пьес. Спортивный дух был в нем силен, однако направлен был не вовне, а внутрь. Строгий Александр чутко следил за тем, чтобы бесшабашный Саня не взял верх в творческих делах. Он подавлял в себе импульсивность, поэтому иной раз казался чуточку угловатым. Но сдерживающее, контролирующее не всегда брало верх, и тогда его бурный темперамент раскрывался во всей полноте.

Не думаю, что в пору литературного отрочества Сане недоставало дружеской теплоты, искренней открытости, участия — о таком единодушном приятии, каким пользовался Саня, можно было только мечтать. Сложности в отношениях пришли несколько позднее, вместе с творческой и гражданской зрелостью...

В идеале жизнь каждого человека стоит того, чтобы ее подробно изучали, а уроки собирали бы в общечеловеческую книгу «Как жить». Тем более стоит этого жизнь художника. Художник — поэт, живописец, актер, музыкант — обладает особой восприимчивостью к миру, к его радостям и скорби, к его улыбке, смеху, к грусти, плачу. Очень непосредственной реакцией на окружающий мир обладал Александр Вампилов. Настоящего художника отличает еще и высокая ранимость. Вампилов был раним в квадрате: первого порядка ранимость давала внутренний импульс таланту художника, в результате чего появились на свет «Провинциальные анекдоты», «Старший сын», «Утиная охота», «Прошлым летом в Чулимске»; ранимость, так сказать, наведенная была результатом непонимания его художнической боли,

его искренности. Сначала не поняли «Утиную охоту», затем еще более не поняли «Прошлым летом в Чулимске»...

Рассказать о всех моих встречах с Вампиловым так же невозможно, как невозможно пересказать день за днем семь лет жизни. Память хранит даже самое, казалось бы, незначительное: встретились в Доме писателей, на улице, возле «Молодежки» (так мы называли газету «Советская молодежь»), перекинулись словом, вместе подъехали на машине, шумной компанией неутомимых спорщиков пировали на берегу Ангары. Поток жизни — цепочка встреч, которые были бы вполне заурядными, если бы не освещались тревожным светом будущей трагедии.

Знакомство, поначалу настороженность ко мне, к моей сдержанности, к моему инженерному практицизму, какие-то шероховатости, преодоление их, взаимная симпатия, начинающаяся дружба — движение по спирали и вверх — вот как представляются мне наши отношения с Вампиловым. Помню непрерывно растущий интерес к его личности, к его образу мыслей, к его человеческой сути и при этом — постоянное ощущение его таланта, обжигающей энергии, открытости, почти исповедальной искренности.

Вспоминаю лето 1967 года. Монтерский пункт на двадцать третьем километре по Байкальскому тракту. В двухстах шагах от асфальтированной дороги Иркутск — Листвянка, рядом с небольшой электрической подстанцией бревенчатый дом на две квартиры. В одной жил штатный монтер Иннокентий Андреевич Таборов, человек бывалый, очень своеобразный, со своей жизненной философией, о которой стоило бы как-нибудь рассказать особо; в другой — мы, четверо иркутских литераторов: А. Вампилов, Д. Сергеев, В. Шугаев и я, на все лето получившие благодаря исключительной доброте и расположению ко всем нам главного инженера Иркутскэнерго, ныне покойного Льва Ефремовича Небрата, великолепную, временно пустующую квартиру с видом на лесную просеку и высоковольтную линию. Две комнатки и кухня — о чем еще можно было мечтать! Таборов, страдавший туберкулезом, держал штук шесть-семь ульев, так что медом мы были обеспечены, за хлебом и молоком ходили дружной ватагой вдоль крутого берега одного из многочисленных заливов Иркутского моря. Воду для питья брали из холодного чистого ключа, до

которого надо было идти по тропе сквозь густой лес, усыпанный в ту пору клещами. Маленький рыженький собачонок Бобка, прибившийся к нашей компании, ежедневно набирал по десять-пятнадцать впившихся в морду клещей, и мы по очереди врачевали беднягу. Нас клещи почему-то не трогали, видимо, их отпугивал наш рьяный творческий дух.

Вампилов в то время работал над «Утиной охотой». Он сидел перед окном за самодельным столом, сколоченным из грубых досок и накрытым газетами. За окном неназойливо гудели трансформаторы, на проводах чернели какие-то задумчивые птицы, названий которых никто из нас не знал, но они были нам симпатичны, потому что хотя и видели все вокруг, но всегда помалкивали. Вампилов часто выходил на крыльцо, подолгу стоял, глядя на лес, на просеку, убегавшую в синюю даль к Байкалу. «А нет ли чего-нибудь такого на берегу Байкала? — спрашивал он, обводя широким жестом подстанцию, ЛЭП, монтерский пункт.— Вот там бы окопаться!» Многие годы он вынашивал мечту купить на берегу Байкала домишко, какую-нибудь развалюху, чтобы можно было хоть летом приезжать и жить там месяц-другой. И только через пять лет, за месяц до гибели, мечта его почти осуществилась: «домишко» был присмотрен в порту Байкал, где уже обзавелись «дачами» многие иркутские литераторы. Назначали время переезда — весна будущего года, но... жить ему в этом доме не пришлось.

Пьеса продвигалась медленно. Помню, поначалу я сильно удивлялся тому, что за день работы у Вампилова на листочке прибавлялась всего одна-две реплики. Судя по тому, как часто вставал он из-за стола и надолго исчезал в лесу или на просеке, можно было заключить, что пьесу он сначала «проигрывал» в уме и по мере продумывания записывал на бумаге. О том, что именно так и работал Вампилов, свидетельствует и первая картина водевиля «Несравненный Наконечников» — то, что осталось на столе в порту Байкал...

Как-то без меня (я был в городе, в то время работал в Иркутском филиале ВАМИ) на подстанцию нагрянули гости — авторалли «Владивосток — Москва», три замызганные, в усмерть загнанные машины с жизнерадостным экипажем комсомольцев-путешественников.

К сожалению, в тот день я не смог вырваться из

города, приехал лишь на следующий вечер, когда пыль под колесами их машин уже осела. На просеке, на буром, обожженном солнцем бугорке сидел Вампилов, понуро опустив голову, с букетиком цветов.

— После автонабега землепроходцев,— невесело прокомментировал он свое состояние и с мучительной гримасой понюхал букетик.— Говорят, природа очищает... Ты привез молоко, хлеб, колбасу. В радиаторе у тебя вода, а в баке — бензин,— в полной безнадежности заключил он.

Я лишь развел руками. Откуда было знать? Ведь мы дружно объявили на подстанции сухой закон.

— Ты не обидишься, если я тебе кое-что скажу? — спросил он. Он был человек деликатный, и мне беспокоиться было нечего. Я, разумеется, готов был выслушать все, даже самые резкие слова, снисходя к его явно неблестящему самочувствию.

— Ты слишком много ездишь, старик, надо больше ходить пешком, или, на худой случай, сидеть, как я, или лежать, как они.— Он мотнул лохматой своей головой в сторону дома.— А то ты все ездишь, ездишь и оказываешься в выгодном положении, это не по-товарищески.

Шутливо оправдываясь, я сказал, что я за рулем, при технике, обеспечиваю надежную связь с «большой землей». Он по обыкновению помолчал, как бы взвешивая услышанное, и со вздохом сказал:

— Это тот самый случай, когда техника приносит двойной вред: когда не надо, она привозит, а когда надо, не привозит.— Юмор не покидал его никогда.

Дни нашей жизни на подстанции были безоблачны в прямом и в переносном смысле этого слова. Работали с утра до позднего вечера, хозяйственные обязанности исполняли весело, дружно, как добрые братья, которым нечего делить и не из-за чего ссориться. Это была поистине золотая пора, по крайней мере, мне она вспоминается со сладкой щемотой в сердце, как вспоминаются светлые дни юности, когда ты еще здоров, полон сил и все у тебя идет ладно. Густой смолистый запах леса, стрекот кузнечиков на просеке, гудение трансформаторов, вкус сотового меда, лукавые мудрствования Таборова по вечерам, лесная малина с куста, первые маслята, удивительно ласковая собачка, приволье, ветер, яркое солнце — все это осталось в сердце и живет неразрывно с памятью о Сане Вампилове.

Потом вдруг все разом развалилось. Шугаев повздорил с Таборовым и уехал первым. Таборов заболел, и его увезли в город. Зарядили нудные дожди, наползли сырые туманы, отключилось освещение на подстанции, стало холодно, промозгло — настроение работать пропало, и мы вернулись в Иркутск. Долгие годы меня подспудно мучило ощущение жестокой пронзительности перехода от безоблачного счастья к серой обыденности...

Вспоминаю второе июня 1972 года. С утра накрапывал дождь, и мы боялись, что книжный базар сорвется. Но к полудню вышло солнце, стало припекать, за книжными лотками без навесов было по-настоящему жарко. Улица Урицкого была запружена людьми. Гвоздь программы — альманах «Сибирь». Над улицей трепыхалось белое полотнище — «ДЕНЬ АЛЬМАНАХА «СИБИРЬ». За лотками вместо обычных продавцов — авторы альманаха: А. Вампилов, В. Жемчужников, С. Иоффе, В. Распутин, Б. Ротенфельд, Д. Сергеев, М. Сергеев и другие наши товарищи по перу. Торговля шла на удивление бойко. Тут же, прямо в толкотне и сутолоке, экспромтом даваемые интервью, стремительные диспуты, взаимный обмен шутками и мыслями всерьез. Из милицейской «Волги» через динамики разносился над толпой внушительный голос нашего критика Жени Раппопорта: «Альманах «Ангара» переименован в «Сибирь»! В этом тоже приметы времени. Покупайте наш альманах, в нем вы найдете произведения, о которых скоро заговорит весь мир!»

Успехом, насколько помню, пользовались все. И конечно, молодой смуглый человек с густой черной шевелюрой и веселыми искрящимися глазами, шутливо призывавший покупать его пьесы. Саня продавал четвертый номер «Ангары» за 1970 год, где была напечатана комедия «Двадцать минут с ангелом». Женя Раппопорт вещал истину, а казалось, что он слегка перегибает ради рекламы.

Когда все было закончено и мы помогли работникам книжного магазина убрать лотки и остатки непроданных книг, Саня прокомментировал это событие так, как мог это сделать только он: «Побольше бы таких собраний, говорили рабочие, расходясь по домам». Еще одна его любимая фраза, почерпнутая из бездонного газетного источника.

Мы шли по улице Ленина. Впереди, на углу, где поворачивали трамваи, громоздился мой дом. Нам надо

было серьезно поговорить о пьесе, и я пригласил Саню к себе.

Помню, дома никого не оказалось, и мы, засучив рукава, принялись за стряпню. Нашлось и вино — как-никак мы удачно поторговали и по древнему обычаю имели право осушить по стаканчику. За стол мы сели часа в четыре дня, а ушел Саня от меня в половине третьего ночи.

О чем мы говорили в тот долгий, незаметно промелькнувший вечер? Прежде всего — о его последней пьесе «Прошлым летом в Чулимске». Я был составителем и редактором альманаха «Сибирь», в котором эта пьеса, принятая редколлегией, была набрана для второго номера. Поговорить нам было о чем, если вспомнить, какие страсти разгорелись вокруг пьесы. На мой взгляд, это была отличная пьеса, светлая, добрая, написанная с вампиловской пронзительной силой. Всем нам, я имею в виду редколлегию альманаха, хотелось, чтобы пьеса увидела свет именно в нашем альманахе, ибо это стало уже традицией, которой мы гордились: все главные пьесы Вампилова начинали свою дорогу в шумную театральную жизнь со страниц альманаха. Да просто потому, наконец, что это была великолепная пьеса! Но, увы, на ее пути встали непредвиденные трудности, которые в то время казались непреодолимыми.

Вампилов сидел на тахте, опершись подбородком о стиснутый кулак. После долгого раздумья он сказал:

— Слушай, неужели неясно, о чем пьеса? Так обидно! И потом ведь я написал Товстоногову, что пьеса принята. Они уже разворачивают репетиции. Выходит, я трепач?

Утром, до книжного базара, мы с Марком Сергеевым были в обкоме партии и договорились с секретарем обкома Е. Н. Антипиным о проведении повторной, расширенной редколлегии по пьесе. Редколлегия была намечена на двадцать восьмое июня, ждать надо было еще двадцать пять дней, а пока... пока я мог только подарить Вампилову типографский оттиск пьесы, чтобы он послал его Товстоногову в знак того, что пьеса действительно принята редколлегией. Не знаю, послал он верстку Георгию Александровичу или нет. Во всяком случае, настроение у него улучшилось, и он стал рассказывать о своей работе над водевилем «Несравненный Наконечников». Судя по всему, Вампилов намеревался выразить в нем свое понимание искусства и в присущей его таланту

сатирической манере изобразить то фальшивое, плоское и пустое, что еще, увы, присутствует в мире искусства. Говорил он сдержанно, неторопливо, тщательно выбирая слова, как будто перешагивал с кочки на кочку по тряскому месту. «Развенчание через возвышение до абсурда»,— помнится, сказал он.

Потом он стал рассказывать о следующем своем замысле — о трагедии, в центре которой была бы женщина, в трудных условиях предвоенной и военной поры утратившая способность любить. «Боюсь,— сказал он задумчиво,— как бы не съехать на «Гадюку» Алексея Толстого». Я заметил, что опасность в близости первоосновы — в обоих случаях берется человеческая суть при воздействии на нее слишком больших сил извне. Размышляя, он возразил себе: впрочем, человеческая суть неисчерпаема, все зависит от конкретных исторических условий, в которых развивается драма. И тогда он поведал, как потрясла его судьба одной женщины, которую на многие годы разлучили с детьми и которая потом, после долгих лет вынужденного отсутствия, встретившись с ними, уже взрослыми людьми, ждавшими ее с благоговением, не испытала к ним ни малейшего материнского чувства. Помнится, именно тогда он сказал, что, по сути, никакой он не драматург, а журналист, ибо для него важнее всего жизненный факт. И так как в тоне его явно проскользнули нотки огорчения, я сказал, что в таком случае можно считать журналистами и Шекспира, и Бальзака, и Толстого, и Чехова. Он усмехнулся, отметив несоответствие себя ряду, который я выстроил, и с еле уловимой усмешкой, которую можно было бы определить как «поблескивание глаз», сказал: «Думаю, старик, что время от времени надо приземлять себя, иначе это сделают другие, а это, сам понимаешь, уже не то».

Тогда я был еще так наивен, что упорно делал попытки написать киносценарий — было множество сюжетов, заготовок, планов. Об одном из таких замыслов, кстати, комедийном, я и рассказал Сане. Он внимательно выслушал и, засунув руки в карманы, начал вышагивать вокруг стола, морщась от необходимости говорить неприятное хозяину дома. И в то же время по его лицу блуждала так хорошо знакомая мне полуулыбка, точнее, лишь отблеск той усмешки, что таилась где-то в глубине, от осознания им забавности ситуации: он приглашен в дом, накормлен, напоен и теперь, разумеется, должен хвалить то, что намеревался сочинить хозяин.

Возможно, полуулыбка была сигналом рождающейся юморески. Мне же в тот момент стало ясно, что замысел мой плох, очень плох, и я, не мудрствуя лукаво, сказал, что вдруг понял все сам, можно не высказываться. Он искренне обрадовался. А ведь и действительно случилось чудо: еще минуту назад мой замысел казался мне вполне приличным, но вот стоило только пересказать его и увидеть эту блуждающую улыбку Вампилова, как сразу, словно по волшебству, стала видна несостоятельность сюжета. Саня рассмеялся, сказал, что такое с ним тоже бывает. И вообще очень трудно отбиваться от пустых сюжетцев — «их много, а я один, приходится некоторым выдергивать ноги и выбрасывать в форточку, чтобы снова не прибежали. А то прут без зазрения совести, как нахальные людишки, между тем серьезные и глубокие скромно стоят в сторонке и ждут».

Еще раньше он как-то высказывался о первой моей повести, хвалил ее, а теперь заговорил о «Большом Дрозде», новой повести, которую недавно прочел в рукописи и от которой был далеко не в восторге. Особенно сетовал он на то обстоятельство, что слишком много там было болезней и смертей.

Я защищался, как мог, говорил об ответственности, о чувстве долга перед людьми и так далее. Саня терпеливо выслушал, подумал и сказал, упрямо склонив голову: «Все это материал для публицистики, а для повести нужно другое». Он взял рукопись, быстро отыскал то место в повести, где инженер-физик Катя Васильева в больнице рассказывает врачу Вирясову про астрономический коллапс, и прочел бесстрастным голосом, каким обычно читал свои пьесы: «Проходит вечность, мы видим свет той звезды, думаем, что она живет, а ее нет — она умерла... Мы умираем, но наша мысль, дух, как этот мерцающий свет, уходит вперед, в вечность, грядущим поколениям. Ах, как мне становится грустно!.. Я так хочу жить!»

— Вот о чем твоя повесть,— сказал он,— а не об авариях и облучениях.

Это было удивительно верно, и впоследствии я много работал над повестью, возвращался к ней даже после первого издания, памятуя об этом нашем ночном разговоре. Именно его толкование повести убедило меня в конце концов пойти на такую чрезвычайную перемену, как «оживление» героини в последнем варианте.

В начале июля, вскоре после расширенной редколлегии альманаха «Сибирь», я встретил Саню возле кинотеатра «Гигант», на том бойком месте, где чаще всего и можно было встретить иркутского литератора, мчавшегося в одном из трех направлений, как между вершинами треугольника: «Восточно-Сибирская правда», «Советская молодежь», Восточно-Сибирское книжное издательство. Вампилов недавно вернулся из Красноярска, где участвовал в репетициях «Прощания в июне». Он уже знал о заседании редколлегии, о долгом и трудном разговоре по его пьесе, о столь неожиданном для всех нас и странном выступлении В. Шугаева, которое, по сути, и решило исход спора не в пользу пьесы. Саня был удручен — и тем, что публикация пьесы откладывается на неопределенный срок, и тем, что администрация Иркутского ЦБТИ высказала в официальном порядке недовольство «Утиной охотой», решив, что пьеса нацелена против них, и страшной усталостью, и бессонницей, и, наконец, тем, что Сандро — Александр Товстоногов — не сможет приехать на Байкал...

Я сказал, что мы не отступимся, будем отстаивать свою точку зрения, напишем, если надо будет, в Москву, потребуем отзыв компетентного специалиста. Саня устало покачал головой — нет, ничего этого делать не надо, он собирается еще поработать над концом пьесы, ему кажется, что в самой последней картине есть некоторая угловатость в решении Шаманова выступить в суде. Он сказал, что хочет, в принципе ничего не меняя, сказать о том же самом, но в иных выражениях. Я с раздражением возразил, сказав, что это сущий пустяк, такую правку наверняка можно сделать и во время репетиции. Саня был непреклонен, лицо его как-то непривычно для меня затвердело, и мне показалось, что мы сейчас поссоримся. Однако он внезапно предложил сплавать с ним и с Пакуловым на лодке по Байкалу — дней на десять. Я был измотан заботами в альманахе и собственной своей литературной работой, к тому же соблазн проехаться по Байкалу на лодке был так велик, что я немедленно согласился.

Забавным был выезд наш из Иркутска. С половины шестого утра Саня, Ольга, их дочка Леночка и я два часа чинно сидели в порту возле Иркутской ГЭС, ждали теплохода. Наконец объявили об отмене всех утренних рейсов из-за тумана в верховьях Ангары. Мы с Саней стали делать отчаянные попытки раздобыть машину до

Листвянки, тщетно обзвонили всех знакомых, имеющих машины, обращались и в инстанции, наконец, на всякий случай, для очистки совести, решили позвонить в свой собственный Союз писателей и — внезапный успех: машину дали, катим в Листвянку! Прямо из машины бегом загрузились в стоящий у пристани теплоход, устроились на корме, вытащили бутылки свежего пива, но Саня, почувствовав что-то неладное, вдруг понесся куда-то по теплоходу, обратно прибежал с вытаращенными глазами: «Они в Иркутск!» Мы схватили вещи и полетели напролом, расталкивая пассажиров. Мы пронеслись по трапу под соответствующие возгласы и дружный хохот всего теплохода — ведь только что наша могучая группка точно таким же галопом загружалась на теплоход. Хороши бы мы были, не сообрази Саня узнать, куда направляется теплоход: только что проделали семьдесят пять километров на автомобиле, чтобы тотчас двинуть в обратный путь по Ангаре.

Не успели мы разобраться с вещами, пересчитать, не забыли ли что-нибудь на теплоходе, как Саня снова исчез. Через пять минут раздался его зов с конца пристани. Оказывается, он уже договорился с каким-то подвернувшимся лодочником насчет переправы.

Дул баргузин, море штормило. С северо-востока наискось к истоку Ангары гнало ветром волну с белыми барашками. Наш лихой лодочник небрежно закинул в лодку вещички, придержал ныряющую корму, пока мы рассаживались среди рюкзаков и канистр, и, оттолкнувшись, сразу, с прыжка врубил мотор на полные обороты. Мы потарахтели от Листвянки в порт Байкал по пенящимся барашкам волнующегося моря. Лодка черпала бортом, и в корму захлестывало все чаще. Ольга огромными своими серыми глазищами пугливо показывала Сане на такую близкую, черную, уже ангарскую воду, но Саня насмешливо кивал на лодочника, дескать, видишь же, человеку хоть бы хны, значит, все в норме. Леночка, сидевшая рядом с Ольгой, казалась невозмутимой.

Потом два дня мы гоняли чаи у Пакулова, ждали погоды, а дождь все не утихал. Я сомневался, надо ли выходить в дождь и в такой сильный ветер. К тому же тринадцатое число. Пакулов, у которого рыбалка была всегда удачной и здесь, в порту Байкал, тоже не очень-то рвался. Но Саня как мотор — его тянуло, гнало на просторы Байкала: не этот Байкал, который он видел отсюда, с берега, а тот, в синей дымке, необъятный,

далекий, неизведанный — вот какой Байкал манил его! И все те десять дней, что мы неутомимо, бросками, шли вдоль берега до северной оконечности острова Ольхон и обратно, Саня, казалось, ни на минуту не мог расслабиться, притормозить в себе этот мощно работающий маховик. Его гнала безостановочно какая-то неведомая сила, и ни одно место на побережье, где мы останавливались, как бы прекрасно оно ни было, не могло удержать его более чем несколько часов.

На обратном пути, уже где-то недалеко от Голоустного, нас прихватил шторм, причем двойной: с утра ударил баргузин, северо-восточный ветер, и мы спрятались в бухточке под скалами, а после обеда налетел култук — тоже сильный, только южный ветер. Бухта неплохо защитила нас от баргузина, но когда задул култук, мы полезли на скалы: сухой осталась узенькая полоска песка метра полтора шириной. Лодку пришлось вытягивать на камни и привязывать к валунам. Надо сказать, что ветры на Байкале весьма коварны, они дуют по переменке, и если ты вошел в бухту, которая хорошо защищает от баргузина, то это еще не значит, что ты укрылся, потому что едва утихнет баргузин, может тут же ударить култук или, не дай бог, сарма и тебя выбьет из этой бухты, как пробку из бутылки. Мы попали именно в такую бухту.

На берегу полно было сухих, выбеленных Байкалом, ветром и солнцем бревен. Они валялись среди глыб, хвороста и щепы, как кости огромных животных. И Пакулов, и Саня были большими мастаками разводить костры, и вскоре у самой кромки прибойного наката заполыхал великолепнейший костер из трех ловко уложенных друг возле друга бревен. У самых скал мы натянули брезентовый полог палатки, получился отражатель, который отбрасывал тепло костра на место ночлега.

Ночевали мы прямо на песке, укрывшись кожаным днищем палатки, как общим одеялом. Кешка (с нами плавала эта маленькая умнейшая собачка Пакулова) примостился у нас в ногах, поближе к огню. Сначала мы по очереди вставали, сдвигали прогоревшие бревна, но потом стало лень выбираться из-под теплого укрытия. Костер прогорел, над нами во всю ширь и яркость раскрылось ночное небо. Такая ясность бывает только вдали от города. Было полное безветрие. Байкал, раскаченный дневными ветрами, могуче ревел. На мысах

бухты ухали разбивающиеся в пыль валы, потрескивал костер, и время от времени местами звезды мутнели, затягивались вздымавшимся от бревен дымом.

В ту ночь мы говорили о звездах, вернее, обо всем на свете, но разговор наш освещался звездами, и мы невольно то и дело возвращались к ним как к исходной первооснове бытия.

Еще мы говорили о Достоевском. Саня знал его великолепно, хотя и любил, как он выразился, «холодной любовью». Ему был ближе Чехов, но Чехов был ему ясен, и, видимо, поэтому он говорил о нем меньше. В Достоевском он искал что-то свое, может быть, примеривался к чему-то. Помню, как-то в Доме писателей в Иркутске, на встрече с чилийскими коммунистами, он вдруг произнес целую речь о Достоевском. Никто, разумеется, не записывал наших выступлений, запомнилось лишь впечатление поиска, экспромта, своеобразной работы вампиловской мысли, напоминающей вязание сложного узора, узелок к узелку.

Звезды, Достоевский, бог — вот ход наших мыслей в ту яркую штормовую ночь на Байкале. Вампилов верил не в бога, он верил в человека, в разум, в доброту, в движение к свободе и чистоте. Он был против насилия. В трогательном упорстве обесчещенной Валентины открылся нам пронзительный оптимизм Александра Вампилова.

Расстался я с Саней на берегу Ангары в порту Байкал двадцать второго июля.

Восемнадцатого августа утром в Доме творчества в Дубултах я получил телеграмму: «17 августа трагически погиб Александр Вампилов». Подписана она была Распутиным и Д. Сергеевым. В тот же день я вылетел в Иркутск. Под Москвой горели торфяники, горькая мгла застилала землю. В Иркутске моросил дождь, было холодно, тускло, траурно.

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВ

Некто Смит, персонаж из рассказа Рея Брэдбери «Превращение», обрел способность летать, «устремляясь в космические дали». Внешне он был обычным человеком. Даже анализы крови не показывали никаких отклонений от нормы. Врач Рокуэл был разочарован: он верил, что со Смитом должно произойти нечто особенное, и ждал этого. О том, что пациент умеет летать, Рокуэл не подозревал.

Многие, близко знавшие Александра Вампилова, тоже хотели бы видеть внешне броские особенности поведения, привычек и пристрастий не просто человека, а драматурга, получившего мировое признание. Таких примет открыть не удалось: курил он те же сигареты, какие курят многие, одевался неброско, скорей скромно, обедал в столовых и ресторанах, куда дорога никому не заказана. Увлекался рыбалкой — так рыбачат тысячи других. А вот главного — полетов творческого воображения — не демонстрировал на людях. Они совершались в тишине и одиночестве — за письменным столом.

С Александром Вампиловым (с Саней, как называли его все близкие) я познакомился в 1959 году. В Иркутске проходила областная творческая конференция. На одном из рабочих заседаний обсуждались рассказы начинающего писателя, студента филфака. Рассказов было немного, и они были коротки, поэтому автору предложили прочитать их, чтобы не только руководители семинара, но и все мы, присутствующие, могли участвовать в обсуждении рукописи. Времени это отняло немного. Читал он неторопливо, негромко, не стараясь оттенять выигрышные места, эффектные реплики. Когда в зале невольно вспыхивал смех — рассказы были юмористические,— на лице автора не возникало даже тени улыбки. Он как бы

силился понять: чему же люди смеются, неужели это смешно? И что-то детское проглядывало в это время на его лице.

Эта особенность сохранилась у него до конца дней. Обретя зоркость и мудрость зрелого мужа, он сберег в себе простодушие и любознательность, свойственные детям. А именно эти качества — зрелая мудрость и детская открытость души — есть главные слагаемые всякого истинного художника...

Особых разногласий при обсуждении рассказов тогда не возникло. Выступающие сошлись во мнениях: молодой писатель способен, в его манере заметно влияние раннего Чехова, ему следует расширять тематику, искать в окружающей действительности не только чеховских персонажей, но увидеть героя современного, достойного нашей эпохи.

То была пора, когда в нашей литературе господствовал бронзовотелый, фальшиво-положительный герой производственного романа. Рядом с ним персонажи из рассказов Вампилова казались недостаточно героичными, и критики отвергали их безапелляционно. «Чему они могут научить читателя?» Пресловутый читатель в этих сентенциях выступал в роли инфантильного несмышленыша, который без показательного примера не в состоянии шагу ступить.

Как бы там ни было, спустя два года местное издательство напечатало небольшую книжку «Стечение обстоятельств», составленную из рассказов, которые обсуждались на конференции. То была первая книжка будущего драматурга. Не так их много вышло при его жизни...

Тогда же мы и познакомились. В перерыве я спросил у Сани, не родственник ли ему Михаил Вампилов, минералог из геологической экспедиции, где в ту пору мне довелось работать. Оказалось — брат. Мы разговорились.

Дневников я не вел, и сейчас мне невозможно восстановить в памяти хронологию наших встреч и разговоров. Да это и не столь важно. Постараюсь вспомнить лишь те беседы, в которых так или иначе проявилась творческая сторона натуры А. Вампилова.

В конце пятидесятых — начале шестидесятых годов наши знания о современной, да и не только современной литературе необычайно расширились. С творчеством многих писателей читатель знакомился как бы заново:

Бабель и Артем Веселый, Михаил Булгаков и Андрей Платонов... Заметно обогатились и представления о зарубежных авторах — к нам пришли Экзюпери, Кафка, Камю, Генрих Бёлль и еще многие. Я упоминаю только прозаиков, но то же самое происходило и в поэзии, и в драматургии, и в живописи, и в кино... Имена писателей, художников, режиссеров становились модными.

Текучесть моды начала захватывать не только предметы обихода — одежду, мебель, рисунок обоев и гардин, фасон люстр и карнизов, но стала оказывать влияние и на духовную сферу, возносить на гребень волны деятелей искусств. Моде стало подвластно все: Пикассо и древняя иконопись, импрессионисты и деревянное зодчество, Бах и Стравинский, Вивальди и Гершвин... Сколь ни покажется диким и кощунственным соединение слова «мода» с именем Баха и Вивальди, но, увы, это так. Немало нынешних «ценителей» живописи, музыки, поэзии подчиняются указке моды. В начале второй половины века это было еще заметней. Куда проще повторять готовые суждения, чем выработать и развить собственный вкус.

Все мы жадно накинулись на новизну. Само по себе это — благо. Однако изобилие духовной пищи требовало надежных ориентиров, чтобы не заблудиться. Вспоминая сейчас ту пору, невольно поражаюсь, насколько внутренне выношенным и устойчивым был вкус молодого Вампилова. Он, как и многие, набрасывался на все свежее, знал все новинки, но отбирал для себя не что попало, не то, что случайно сделалось модным, а лишь то, с чем ощущал духовное родство.

Тогда вспыхнула мода на Фрейда. С учением австрийского психолога знакомились наспех по запыленным книжкам и брошюрам. Естественно, что приобретенные знания были отрывочны и поверхностны. С той поры в наш обиход вошли понятия «самовыражение» и «комплекс» во фрейдистском значении. Раньше эти слова в разговорном лексиконе не бытовали.

Среди наших общих с Вампиловым знакомых был один литератор, особенно бойко оперировавший фрейдистскими формулами. Мог, например, заявить: «У такого-то такой-то комплекс неполноценности, стало быть, в его характере должна быть такая-то черта». Или напротив: «Такой-то при таких-то обстоятельствах ведет себя так-то, следовательно, у него комплекс...»

Помню, по этому поводу Саня сказал:

— Он как по логарифмической линейке вычисляет характеры. Очень подозрительный метод, если им так просто можно пользоваться.

Мы часто возвращались к этой теме.

— Художник,— размышлял Саня, понимая под этим словом всякого работника искусства, в том числе и писателя,— не может следовать ни одной теории, научно объясняющей поведение человека, характер, истоки духовности... Будь такая теория, художники стали бы не нужны. Какой поиск, какие «творческие муки», если поступки и характеры героев можно определить по формуле? Художник не вычисляет, а прозревает.

Он рассмеялся и спросил:

— Выспренне говорю? Я не нас разумею, а великих. Ну, хотя бы русских писателей: Пушкина, Толстого, Достоевского... Не вычисляли они характеров ни по чьей теории — угадывали, прозревали. Потому и великие. Иначе бы не их была заслуга, а той теории, которой они следовали.

Разговор этот состоялся вскоре после встречи с одним режиссером театра, гастролировавшего тогда в Иркутске. Он настолько уверовал во Фрейда, что даже поступки шекспировского Гамлета объяснял исключительно эдиповым комплексом. Саня держался иного мнения.

— Духовная сторона человеческого характера безгранична.— И пояснял: — По Достоевскому — безгранична в обе стороны.

Характеры героев своих пьес драматург не вычислял ни по какой теории, но и не списывал их готовыми, увиденными в жизни. Сейчас многие, знавшие окружение Вампилова, занимаются отысканием прототипов его героев, вспоминают различные жизненные случаи, которые могли подсказать ему сюжеты и коллизии. А кто не был близок с Саней, подчас измышляет, насколько тот или иной персонаж — сам автор. И бывает, совершают «удивительные» открытия! Подобное прочтение его пьес огорчало Саню. Он часто вспоминал строки из предисловия Лермонтова к «Герою нашего времени»: «Другие же очень тонко замечали, что сочинитель нарисовал свой портрет и портреты своих знакомых... Старая и жалкая шутка! Но видно... все... обновляется, кроме подобных нелепостей».

И Вампилов прибавлял:

— Пророческие слова. Нелепости повторяются, и, увы, не одними простодушными читателями, но и кри-

тиками — людьми, которые мнят себя толкователями художественного творчества!

В ту пору достигла своего пика слава Андрея Вознесенского. О его поэзии в литературных, и не только в литературных, кругах говорили все, даже и те, кто не читал и не знал его стихов. Сейчас невозможно представить себе накала тех споров — страсти давно улеглись.

Как-то летним днем на моей старой квартире близ вокзала собрались пятеро иркутских литераторов. Был и Саня. Неожиданно вспыхнул спор о Вознесенском. Мы с Саней остались в меньшинстве: для нас Вознесенский не был кумиром. Саня высказал свое мнение: он признает поэтический дар Вознесенского, но это — не его поэт, и поклонники слишком перестарались, вознеся своего кумира превыше собственной славы — ему еще предстоит оправдать ее. Поклонников Вознесенского в ту пору отличала крайняя агрессивность суждений: несогласных с ними они честили самыми нелестными эпитетами. Досталось и нам. Спор получился бестолковым, не из таких, в которых рождается истина: спорщики аргументировали свою позицию лишь повышением голоса до крика. Ссора принимала неприличный характер. Я вспомнил о роли хозяина и сказал, что пора прекращать свару. Разошлись мирно. Все трое наших «противников» жили на правом берегу Ангары. Мы проводили их до трамвая и остались вдвоем. Саня жил тогда на квартире своего брата Михаила, который летом, как все геологи, был в отъезде. В тот вечер мы долго бродили по глазковским улочкам. Вначале разговор вертелся вокруг недавнего спора. Но тут между нами разногласий не было, и разговор сам собою переключился на других поэтов. К этому времени мы уже хорошо знали друг друга. Санины вкусы и пристрастия мне были известны. И все же он удивил меня. То, что он хорошо знает драматургию (русскую и мировую, прошлых веков и современную), мне было известно и представлялось вполне естественным для человека, пишущего пьесы. Но столь обширного знания поэзии (особенно русской XIX века) я не ожидал. Более всего поразила меня любовь к Тютчеву. Проникновенная, негромкая поэзия Тютчева была модной недолго — к Тютчеву обращались лишь те, кому его стихи родственны по духу. Многие его стихотворения Саня знал наизусть, читал их негромко, задумчиво, как бы взвешивая в уме каждое слово.

В сердце человека, не познавшего горького опыта утрат и разочарований, эти стихи не оставят следа. Видимо, такой опыт у Сани в ту пору уже был, хотя выглядел он очень молодо, гораздо моложе своих лет.

Вампилов любил классическую музыку. Нередко заходил ко мне ее послушать — у меня хоть и небогатая была фонотека, но наиболее популярная классика имелась. Любимым композитором Сани был Моцарт. Какую бы пластинку ни проигрывали — Баха ли, Мусоргского ли,— он всегда напоследок просил поставить Моцарта. Несколько раз, заходя к нему, я заставал его слушающим арию Царицы ночи из «Волшебной флейты». Саня смущенно улыбался и оправдывался:

— Вот... Захотелось послушать.

Ничуть не удивило меня его особое пристрастие к Гоголю. Однажды Саня ехал из Москвы в Иркутск поездом. Чаще он летал, экономя время, а тут — поездом, четверо суток. Я спросил — не надоело, не скучал ли?

— Да я как-то и не заметил дороги. Встречал ты такого чудака, который в поезде читает «Мертвые души»? Навряд ли,— улыбнулся он.— Случайно попалась книга, взял полистать... Мы ведь, можно сказать, не читали Гоголя. Не так его нужно читать, как в школе и в вузе читают. Ты обязательно перечитай. Гоголя надо перечитывать.

Эта черта была ему свойственна: заражать своими увлечениями других.

— Ты сядь и напиши пьесу. Вот увидишь, получится. У тебя непременно получится,— убеждал он кого-нибудь из своих друзей-литераторов.

Или:

— Прочитай «Записки из подполья». А... читал, тогда перечитай. Достоевского нужно перечитывать.

Он рассказал, что «Записки из подполья» прочитал запоем дважды кряду: только закончил и тут же перечитал.

О Гоголе, и тоже по поводу «Мертвых душ», говорил:

— Кудесник! Пишет почти на грани пошлости и банальности. Чуть-чуть бы еще пережал — и полилась графомания, но он чувствует меру — ввернул одно-два слова, и все встало на место. В результате — гениально. Вот у кого надо учиться!

...Рядом с нашим домом на привокзальной улице был небольшой кинотеатр в старой церквушке, назывался «Заря». Когда построили «Чайку», «Зарю» ликвидиро-

вали, бывшая церковь пустует и разваливается. Но в начале шестидесятых годов там еще шли фильмы, обычно с запозданием на полтора-два месяца. В кино я хожу редко, лишь после чьего-нибудь настоятельного совета. Несколько фильмов смотрел по Саниной рекомендации. Ходили вместе с ним, обыкновенно на дневной сеанс, оставляя вечер для других дел.

Среди картин, рекомендованных Саней, запомнилась «Электра», греческий фильм по пьесе Еврипида. На редкость удивительная постановка — блистательное соединение сценичности действия и экранной достоверности. Не так уж много хороших фильмов поставлено по пьесам, даже прекрасным. Либо выпирает неуместная на экране сценичность событий и действия, либо все задавливает тяжеловесная реалистичность бытовых подробностей. Перед постановщиками такого фильма стоит почти невыполнимая задача: соблюсти правдоподобие, какого требует экран, и сохранить условность сцены. Постановщики «Электры» достигли этого.

На дневном сеансе было много подростков. А фильм не для них, его нельзя смотреть как боевики. А тут еще условность, понятная не всякому зрителю и вовсе недоступная подростковому восприятию. В зале было шумно, не к месту раздавался смех.

Когда фильм закончился и мы вышли на улицу, Саня сказал:

— Дети убивают маму — им это смешно. Очень смешная сцена.

О фильме Козинцева «Гамлет» Саня хотел написать рецензию в местную газету. Не знаю, написал ли. О сцене на кладбище он говорил:

— Одно дело, когда зритель видит череп в руках у актера на сцене и актер обращается к этому черепу: «Бедный Йорик». Для театрального зрителя, даже в первых рядах партера, это условный череп. А в фильме череп подлинный. Сцена коробит.

Мы уже подружились, знали друг о друге многое, но Саниных пьес я еще не читал, хотя от многих слышал о его первой большой вещи. Имел представление и об одноактной пьесе «Двадцать минут с ангелом» — ее мне еще в 1963 году пересказал наш прозаик Е. Суворов, с которым в тот летний сезон мы работали в одной геологической партии. Отзывы о Саниных сочинениях были восторженными.

Впервые с его драматургией я познакомился так.

Вампилов пришел ко мне в компании нашего общего знакомого.

— Вот, решил тебе пытку устроить,— сказал Саня. В руках у него была рукопись, свернутая в трубочку. То была пьеса «Прощание в июне». Возможно, тогда она называлась иначе. Было много правки, но разборчивой. Поля машинописных страниц пестрели карандашными пометками, которые оставили критически или восторженно настроенные читатели.

Признаюсь, к чтению я приступил с опаской. Боялся — вдруг пьеса не понравится и придется говорить об этом. Очень часто бывает так: если о книге или рукописи слышал много лестного, то читаешь с невольным внутренним сопротивлением, не желая поддаваться уже сложившемуся чуждому мнению. К счастью, мои опасения оказались напрасными, скоро я увлекся и не обращал внимания на пометки — хвалебные и язвительные — на полях рукописи.

Чтение пьесы требует большой сосредоточенности: нужно ведь не только узнать, о чем и что говорят действующие лица, а как бы услышать их голоса, увидеть жесты, выражение лиц, вообразить все картины в действии, мысленно проиграть их. Читал я долго, не менее полутора часов.

Не помню сейчас, чем были заняты мои гости. Скорей всего, вели негромкую беседу. Вначале я старался сохранять бесстрастность, не высказывать своих чувств, но это удавалось недолго. Когда я смеялся, Саня вздрагивал и заглядывал в рукопись, желая знать, какая сцена, какая реплика рассмешила меня. Таких мест было много.

Потом поговорили. Пьеса мне понравилась. Были, конечно, и замечания. Суть не в них. Навряд ли они могли что-нибудь дать автору. Я был благодарен Сане: мне не пришлось ради нашей дружбы произносить неискренние комплименты и похвалы. Я был убежден, что судьба свела меня с известным в будущем драматургом. Про это я и сказал тогда ему полушутливо-полусерьезно, как это было принято между нами. Не столь уж часто мы хвалили друг друга. Наверное, это правильно: частые похвалы не нужны, даже вредны. Но то был случай, когда Саня остро нуждался в признании, хотя бы в узком кругу близких ему литераторов. И именно это я смог дать ему тогда, еще не сознавая, насколько такая поддержка необходима ему. Только теперь мы

стали осознавать, как многое недодали ему при жизни...

Потом стали другие пьесы, которые приносил Саня, и я прочитывал их все на той же квартире, а он нетерпеливо, нервно ждал, как будто мой приговор и решал дальнейшую судьбу новой вещи. Но нужен ему был, очень нужен в ту пору доброжелательный и дружеский отзыв.

Лишь одну, последнюю его законченную пьесу я прочитал, будучи в Москве весной 1970 года. Мы читали ее вместе с Валентином Распутиным в гостиничном номере «России», передавая страницы друг другу.

К этому времени драматурга Александра Вампилова признали не только его друзья — две первые пьесы уже ставились в различных театрах страны. Его имя стало известно в театральных кругах Москвы. В Театре имени Ермоловой готовили постановку «Старшего сына». Не было у него еще той известности, которая пришла после смерти. Но была уже закончена и ждала своего часа «Утиная охота». Ей еще предстоял путь, вначале — в печать (напечатали лишь в конце того же 1970 года в последнем номере альманаха «Ангара»). Постановки этой пьесы в театре Вампилов не дождался. И предстояло еще добиться публикации новой пьесы «Прошлым летом в Чулимске». Ее Александр Вампилов так и не увидел напечатанной. Она вышла в альманахе «Сибирь» после его гибели в шестом номере за 1972 год.

Судьба не благоволила ему, не была щедрой: всемирная слава и признание пришли уже после смерти.

С осени 1965 до лета 1972 года мы с Саней нередко встречались в Москве. Устроиться в одной гостинице никогда не удавалось, жили в разных концах города: он — в гостинице «Минск», я — в Замоскворечье, в «Алтае». Это, однако, не мешало нам видеться и целые дни проводить вместе. Больше того, в Москве мы гораздо чаще подолгу бывали вдвоем. Друг к другу нас влекла сила землячества.

Об одном таком дне мне хочется рассказать.

Накануне по телефону условились — встречаемся в издательстве «Молодая гвардия». У меня были там дела, а Саня жил неподалеку от Новослободской. Весь день у нас был распланирован: из «Молодой гвардии» отправляемся в Министерство культуры — там будет худсовет,

на котором решится судьба «Старшего сына» (пьеса еще не была опубликована и нигде не ставилась). По пути в министерство — завтракаем где придется. Потом ненадолго — в издательство «Советская Россия». Закончив дела, обедаем в «Славянском базаре», а вечер проводим, сообразуясь с обстановкой.

Этот день мне особенно памятен. В Москве я был проездом — возвращался домой с южного курорта, никого из иркутян больше месяца не видел, новостей не знал.

Встретились в установленный час в подъезде издательства. Поднялись наверх. Вскоре Сане наскучили однообразные коридоры, он решил подождать меня в скверике близ метро. Я задержался еще на четверть часа.

День был осенний с типичной для Москвы погодой — ни ясно, ни пасмурно, то светит солнце, то сыплет снежная крупа. Когда я вышел на улицу, скупо проглянуло солнце. Саню я увидел издалека. Он одиноко сидел на скамейке в пустынном сквере. Курил. Хорошо помню поразившее меня тогда щемящее чувство: показалось, что я вижу одинокого человека. Как-то привычно было видеть его, окруженного друзьями, улыбающегося, готового острить и смеяться. Он редко бывал на людях пасмурен и подавлен. Возможно, иногда скрывал свои чувства. Мужская гордость, врожденная и воспитанная культура поведения не позволяли Сане огорчать близких ему людей своим пасмурным настроением. Он умел не показывать это состояние, если оно накатывало на него. Когда ему бывало лихо, он скрывал свои чувства за улыбкой, внезапной остроумной репликой. Я случайно застиг его безоружным: он еще не увидел меня посреди толпы, текущей взад и вперед близ станции метро. Потом заметил, и привычная, чуточку грустная и по-детски застенчивая улыбка мгновенно преобразила его лицо.

Я спросил:

— Ты чем-то расстроен, Саня?

— Ты угадал,— признался он.

Разговор получился откровенным. Мы не виделись больше месяца. Событий, происшедших в Иркутске, опечаливших и огорчивших его, я еще не знал. Незадолго перед Саниным отъездом в Москву у него была крупная и принципиальная стычка с собкором центральной газеты. Саня все еще находился под впечатлением той ссоры. Но не только это угнетало его тогда. Одна фраза, сказанная им, особенно врезалась в память:

— Нужно быть готовым к тому, что останешься один.

Речь шла не о том, что тебя покинут друзья, а о том, что будешь не понят в своем творчестве. Нужно быть готовым запастись мужеством отстаивать то, во что веришь, что исповедуешь, не делать уступок, не идти на компромисс.

То было время, когда пьесы «Прощание в июне» и «Старший брат» были закончены, задумана и начата «Утиная охота». Про эту еще не написанную вещь он говорил:

— Есть один странный замысел. Не знаю, что получится.

В Министерство культуры мы пришли, когда начал собираться худсовет. Саню угнетали недобрые предчувствия:

— Закрестят. Догадываюсь, что скажут.

Больше я не бывал в том здании, не знаю, на каком этаже происходило заседание. Мы устроились на подоконнике в торце длинного коридора. Массивная величественная дверь, за которой заседал худсовет, была неподалеку, но ни единого звука из-за нее к нам не долетало. Саня нервничал. Наконец, двери распахнулись, члены худсовета вышли на перекур. Кое-кто из них знал Вампилова, к нему подходили, здоровались. Дольше других возле Сани задержался невзрачный серый человек с неаккуратным пухлым портфелем. Кто он был, не помню, хотя Саня называл его.

Мы полусидели на подоконнике, человек с портфелем стал напротив Сани и начал увлеченно пересказывать то, что говорилось за массивной дверью по поводу «Старшего сына». Излагал обстоятельно, с подробностями, иногда апеллируя к Вампилову:

— Ну, ты догадываешься.

Или:

— Сам понимаешь. А что они еще могли сделать?

А высказывались о пьесе примерно так:

«Автор изображает задворки, провинциальный быт, его герои нетипичны для нашего времени. Кто они? Чем занимаются? Ничем. Разыгрывают фарс».

Санин знакомый не выпускал из рук своего портфеля, то держал его перед собой, то прятал за спину. Добровольный осведомитель говорил, как бы смакуя наиболее едкие и обидные замечания.

Вдруг он начал отводить взгляд в сторону. Я взгля-

нул на Саню: он неотрывно смотрел в лицо собеседника. Тот засуетился, объявил, что ему пора идти — перерыв кончается.

Саня заметил мое недоумение.

— Все, что он пересказывал сейчас, на худсовете говорили не только другие, но и он сам,— объяснил Саня.— Я его хорошо знаю.

Ждать окончания совета не стали. Дурное предчувствие не обмануло Саню: в этот раз его пьеса не прошла.

— На восьмом барьере застряла,— подытожил он.

Неистовая и бескорыстная любовь к театру владела Вампиловым беспредельно. Не будь этой любви, не выдержать бы ему всех невзгод, какие выпали на его долю. В последние годы многие слышали от него, что он не станет больше сочинять пьес — напишет роман. Наверное, написал бы и роман — и хороший,— но театр все равно не забросил бы. Театр он любил сильнее. У Сани было любимое слово, которым он оценивал произведения любого жанра.

— Здесь есть драматургия,— говорил он, когда хотел похвалить.

То была наивысшая похвала. Есть драматургия, стало быть, роман, пьеса или фильм, о которых шла речь,— хорошие. В это понятие он вкладывал многое, может быть, выходящее за рамки самого слова. Для него драматургия — это и сценичность действия, и блистательный сюжет, и точное слово, и верно изображенный характер, и безошибочный жест... Все это — драматургия. Он умел употребить любимое слово в разговоре так, что смысл делался понятен без пояснений.

Умение Вампилова не быть многословным, чаще ограничиваться короткой репликой подмечено многими. Искусство сжать мысль, свести ее в одну фразу, казалось, было у него врожденным. Иной раз после какого-нибудь шумного застолья литературной братии, где особенно рьяные говоруны умудрялись произносить чуть ли не речи, на другой день вспоминалась только Санина реплика, перечеркнувшая или, напротив, усилившая чью-то «речь». В этом проявлялась его деликатность — не говорить много, дать возможность высказаться другим. Вот почему, припоминая такие встречи, невозможно забыть Саню.

Помню такой случай. Собрались на семейное торжество к человеку не из пишущей братии — любителю

и ценителю, который благоволил литераторам. По обыкновению, поднялся шумный галдеж, про именинника вскоре забыли. За него поднимали тосты, но не столько ради него, сколько затем, чтобы проявить себя — высказать свою эрудицию и остроумие. Никто уж и не замечал, что хозяин сам давно порывается что-то сказать, да ему не дают слова вставить. Я сидел рядом с Вампиловым.

— Обрати внимание,— подтолкнул меня Саня,— разве наши острословы дадут ему сказать.

Он постучал вилкой по графину и, когда за столом, наконец, притихли, объявил:

— Слово имениннику.

А какой была Санина внешность? Каким он выглядел, каким воспринимался? Но мне даже и вымышленных героев не удается описать так, чтобы они стали зримы, а рассказывать о человеке, которого знал близко, куда сложней. Ни форма носа, ни разрез глаз, ни цвет волос, дотошно и подробно описанные, все равно не дадут о нем представления. Выручают фотографии: их много, и почти на всех Саня похож на себя. Это ведь тоже редкость. Обычно фотографу приходится ловить мгновение, когда человек бывает похож на самого себя — перед объективом каждый невольно рисуется. А вампиловская фотография, будь она любительской или сделанной профессионалом,— готовый портрет. Удачи фотографов объясняются просто: Саня никогда не позировал, поэтому не составляло труда схватить естественное выражение его лица и позу. Он в жизни всегда был естествен.

Вампилов был приметен в любой компании, вовсе не стремясь к этому. На него нельзя было не обратить внимания. Выделялась копна смолистых волос, казавшаяся поначалу неприбранной. Однако первое впечатление оказывалось обманчивым: волосы у него от природы были волнистыми, слегка кучерявыми и укладке не подчинялись. Непроницаемым или скрытым Саню нельзя назвать: его лицо мгновенно отражало смену настроения. В одежде он был непритязателен — покупал то, что предлагали наши универмаги, не гоняясь за джинсами и замшевыми куртками, мода на которые началась еще при его жизни.

Если не ошибаюсь, летом 1971 года, будучи в Москве,

мы встретились с ним на Арбате в крохотном магазинчике, где смотрели пишущие машинки. Был жаркий июньский день, нас мучила жажда. Саня вспомнил, что неподалеку есть одно подходящее заведение.

— Ультрамодерн. Подделка под старину — не то средневековый трактир, не то монастырская трапезная. Будь зал небольшим, было бы неплохо и уютно, но строили с размахом, поэтому больше похоже на конюшню. Однако пиво подают хорошее.

Убранство бара соответствовало Саниной аттестации. Посетители — в большинстве молодые парни, реже — компании с девушками. Впрочем, разобрать кто есть кто было непросто: все одинаково длинноволосые, все в джинсах. Таких, как мы, одетых не по моде,— единицы.

Ничего примечательного в тот день с нами не случилось. Пивной бар на Калининском проспекте запомнился лишь по особому контрасту, замеченному мной тогда. Уединенных мест в зале сыскать было нельзя. Мы пристроились на краю огромного стола, за которым галдела молодежная компания, похоже, устроившаяся здесь надолго и не за тем лишь, чтобы утолить жажду. Замшевые куртки и длинные волосы делали их похожими на манекены из витрины универмага. Саня в окружении этих оживших манекенов выглядел чужаком — будто очутился вдруг среди инопланетян. На их фоне он выделялся не столько своей одеждой, сколько живым интересом, с каким воспринимал окружающую обстановку и людей, случайно оказавшихся рядом. Наверное, не было в этот час другого посетителя, кто бы пристально, так заинтересованно наблюдал обыденную, повседневную жизнь. Не знаю, бывало ли ему когда-нибудь скучно. Повседневность для него не была однообразной. Будучи истинным художником, он и за внешней безликостью умел видеть многообразие жизни и характеров. Эта способность питала его творчество. Каждой своей самой маленькой находке он радовался радостью первооткрывателя.

Как у всякого художника, у Вампилова была своя тайна, в которую он не мог никого посвятить, если бы и захотел, потому что ее прежде всего было нужно разгадать ему самому. Тайна осталась неразгаданной...

Меньше всего мне хочется, чтобы у читателя сложилось представление о Вампилове как о некоем хрестоматийном образце беспорочного служителя искусства.

Я был его другом, и я любил его, во многом наши взгляды и вкусы сходились. Естественно, моя оценка его творчества и его личности не может быть беспристрастной. Да я и не хочу быть беспристрастным.

Снова смотрю на фотографии, на которых узнаю его улыбку, прищур его глаз, поворот головы... Да, ему не нужно было позировать — он жил по-детски открыто, не рисуясь, не изображая из себя выдуманного героя. Единственное, что он скрывал даже и от самых близких ему людей,— это свои страдания, свою душевную боль.

Но сколько бы ни было фотографий и каким бы узнаваемым ни был он на них, подлинное представление о его личности может дать только книга, оставленная им в наследство всем людям.

ВЛАДИМИР ЖЕМЧУЖНИКОВ

В летнюю пору к концу рабочего дня набилась в редакционный кабинет молодая разговорчивая компания. Журналисты, нештатные авторы и просто читатели — всего человек пятнадцать. Возникла идея махнуть куда-нибудь к воде, и испытанным способом складчины организовался пикничок на берегу Иркутского моря.

Пили сухое вино, дурачились, валялись на траве посреди молодого веселого березняка.

К ранним сумеркам затеяли «показательный» заплыв. Возбужденные присутствием девушек, ринулись парни в расплавленный закатом залив.

Поплыл и я. Вода казалась парной, ласковой. Однако метров через пятьдесят друзья-соперники один за другим стали поворачивать назад. «Ладно,— думаю,— дотяну в одиночку до того берега. Что-то неважно плавают парни».

Вдруг слышу — кто-то дышит за моей спиной, кто-то меня догоняет. Оглядываюсь — Вампилов подгребает «по-флотски».

— Вовка, плывем назад, что мы потеряли на том берегу?

— Ты прав, Саня, давай поворачивать.

На нашей стоянке уже засветился костер, который зазывно помаргивал нам в сумерках, как маячок...

Не из боязни отказался тогда Саня плыть на другую — пустынную — сторону залива. Нет, нет, ничего подобного. Просто — его всегда сильнее всего тянуло в сторону людей. И если, бывало, он предпочитал поезд самолету, так это ради общения с вагонными попутчиками, а не из соображений предосторожности. Кто-кто, а он-то бесстрашен был — и в жизни, и в творчестве.

После трагедии на Байкале, у истоков Ангары, те, кому не посчастливилось знать Вампилова близко, вы-

спрашивали о подробностях: «А плавать-то он умел?» — «Да, умел, и неплохо»,— отвечали мы, Санины друзья и товарищи. «Может, сердце было не в порядке?» — «И сердце было в порядке».— «Значит, выпала такая судьба...»

Года за два до того последнего августовского вечера на Байкале какая-то привязчивая цыганка, от гадания которой Саня со смешком уклонился, злобно предсказала ему скорую смерть. Сбылось. Но не верю, не верю я в эту чепуховину-мистику — будто бы на роду ему было написано уйти так рано. Иное предназначала судьба ему, жизнелюбу,— жить среди людей, радовать их своим человеческим и писательским талантом. У него-то самого никогда не было в мыслях уйти до срока.

Берусь утверждать это со всей уверенностью, какую дает мне десятилетняя дружба с Вампиловым, горевшая ровно, надежно, как охотничий очаг в зимовье.

...Фешенебельность студенческой секции в высотном здании МГУ помаленьку начинала забываться. Шел второй год моего жительства в Иркутске — без своего угла, без родственников, у которых можно было бы перехватить деньжат до аванса. К осени 62-го года я уже точно решил, что на телевидении не тем занимаются, чем бы мне хотелось, и перевелся на работу в редакцию областной газеты «Советская молодежь». Назначили меня сотрудником отдела комсомольской жизни, которым заведовал Саша Вампилов. До сих пор считаю: более счастливого стечения обстоятельств не выпадало мне в жизни. Кроме Вампилова сотрудничали тогда в «Молодежке» будущие прозаики Альберт Гурулев и Евгений Суворов, будущий поэт Сергей Иоффе. Никому из нас не хотелось добывать информации — всем хотелось писать рассказы, стихи или, на худой конец, очерки.

Будоражливая творческая атмосфера тех лет породила ТОМ — творческое объединение молодых. Его литературным штабом стала редакция комсомольской газеты. Встречи и «заседания» начинающих авторов длились иногда до той поры, когда уже не было смысла разъезжаться по домам. Да, не раз и не два оставались мы ночевать там, на редакционных дерматиновых диванах.

Давненько отшумела «томовская» круговерть. Как память о ней осталась на полке книжка «Ветер странствий», коллективный сборник рассказов. На обложке среди других автографы бывших сотрудников «Молодежки» — А. Вампилов, Е. Суворов, В. Жемчужников.

Помнится, вскоре после знакомства Саня зазвал меня, бездомного, к себе в гости на чай. Жил он тогда в предместье Глазково у брата геолога вместе с матерью Анастасией Прокопьевной и бабушкой — впятером ютились в двух комнатушках. Мы разговаривали негромко, чтобы не потревожить больную бабушку, лежавшую за ширмой.

Я расспрашивал Саню, что он написал, попросил показать газетные вырезки. Мне тогда не было известно, что у него уже вышел сборник юмористических рассказов «Стечение обстоятельств», а он почему-то умолчал о нем, ни словом не обмолвился. У кого из начинающих писателей хватило бы выдержки не похвалиться своей первой книгой?

Позднее мне удалось где-то раздобыть эту книжку. Прочитал рассказы залпом, был покорен блистательным вампиловским юмором. Саня принял мою похвалу спокойно, точно для него те рассказы — прошедший этап. Наверно, так и было в действительности: Вампилов становился Вампиловым, начались поездки на семинары драматургов, то в Ялту, то в Дубулты. И как его ждали друзья-иркутяне, как желали ему победных премьер, как встречали после долгих отлучек!..

Видеться приходилось теперь все реже — Саня ушел из редакции на вольные хлеба. Потом и я расстался с газетой, и мне случалось надолго уезжать из Иркутска, только не в дальние западные города, а в ближнюю прибайкальскую тайгу. Однажды встречаемся после такого моего отсутствия.

— Вовка, привет. Ты где пропадал?

— В лесу, с охотоведами.

— А я тут названивал тебе, парней разыскивал, все где-то в бегах. Мне тут помощь нужна была.

— А в чем дело, Саня?

— Бабушка умерла. Ты помнишь ее? Короче, некому было выносить гроб, а родственникам, оказывается, нельзя, не принято. Вот и заметался я, где бы кого найти...

Когда настал страшный день последнего прощания с Вампиловым, мне вовремя вспомнился и этот разговор, и старый похоронный обычай. При выносе тела покойного из квартиры кроме родных были только четверо друзей — необходимый минимум (не успели ребята собраться после бессонной прощальной ночи). Это потом уж, после гражданской панихиды, когда несли Вампило-

ва на руках от Дома писателей до драмтеатра, добровольные помошники толпились, оттесняя друг друга...

Впрочем, и при жизни возле него немало всякого народа трудилось, редко когда можно было увидеть его идущим по городу в одиночестве. Любили его многие — за талант, принципиальность, остроумие, широту коренного сибиряка. Так уж водится среди людей: глубокая, сильная, добрая натура — будто костер, который многих притягивает и объединяет.

Если вспомнить так называемую стенку молодых иркутских литераторов, держалась она в основном на Сане Вампилове. Это же он нет-нет да повторял: «Держитесь, парни, как пальцы в кулаке!» А когда в кругу собратьев по перу начиналось выяснение отношений по поводу «кто у нас ведущий», он говорил примерно так: «Не торопите события, пускай нас раскладывают по полочкам потом, после нас».

Помню, одно дружеское застолье кончилось руготней и ссорой: кто-то кого-то схватил за грудки, кто-то кого-то даже спустил с лестницы, правда, благополучно, без увечья. В общем, что называется, расплевались. И разошлись.

А на другое утро, не сговариваясь, участники нервозной вечеринки сбежались у меня на квартире. Неловко, виновато чувствовал себя каждый из нас — погорячились.

Саня Вампилов (он тоже вчера погорячился) сказал негромко:

— Ведем себя, как мальчишки, а ведь мы уже пожилые люди.

Все расхохотались. В самом деле, какого черта? — каждому уже за тридцать.

Потом стали кружком, голова к голове, и обнялись. Так хоккеисты перед началом матча дают клятву биться до конца.

Минута была святая.

— Ну что, мужики, выпьем мировую.

— За братство!

— За нашу стенку!

— За любовь без обмана...

Нет, все-таки сложны законы притяжения и отталкивания, действующие в среде людской. С иным человеком мило общаешься многие годы, но душевной близости так и не устанавливается. К другому, наоборот, с первых же встреч испытываешь расположение, доверие,

родственность даже. Или — чем объяснить, что одни только и умеют что наживать себе врагов, а другие — без всяких на то усилий — обрастают друзьями-приятелями. Все дело, скорее всего, в доброте. Или — в отсутствии таковой.

Что касается моих отношений с Саней, тут, кажется, все было ясно, понятно. Нас многое объединяло. Начать хотя бы с элементарной «биографической совместимости»: поселковое детство, трагическое отсутствие отца, трое детей на руках одной матери в военное время. Мы родились в один год — 1937-й, Саня был старше меня всего на три дня. Оба, за неимением иных развлечений, гоняли в школьную пору в футбол, ходили в музыкальный кружок. Близость к природе с юных лет у обоих сказалась в более поздние городские годы неусмиримой тягой к воде и лесу, которая в конце концов обернулась для него так трагически, так непоправимо.

Надеюсь, никто из дружеского окружения Сани не заподозрит меня в стремлении выставиться в ранге самого близкого друга. Отнюдь не для того пишу. А первым другом, наверное, был у Вампилова все-таки театр, хотя отношения у них долго оставались сложными...

Возвращалась как-то вечером, после очередной писательской «среды», компания молодых во главе с Вампиловым: человек десять нас было. Вдруг он придержал меня за локоть:

— Вовка, слушай, я хочу почитать новую пьесу. Как говорится, в узком кругу. У тебя можно собраться?

— Какой разговор, Саня! Пошли, конечно.

Обрадовались друзья, когда Вампилов всех пригласил на первую читку своей драмы «Утиная охота».

— Стоп, ребята, зайдем-ка сначала сюда,— сказал он, едва мы поравнялись с магазином «Фрукты-овощи», что напротив моего дома.

Нам повезло — на полках красовались бутылки «Алиготэ».

И вот мы разместились в моей большой (и единственной) комнате. Саню усадили на диван, пододвинули к нему журнальный столик, поставили лампу с козырьком и пепельницу. Началась читка, распахнулись двери в театр Вампилова, причудливый и яркий, «прекрасный и яростный».

— «Ведем себя, как мальчишки, а ведь мы уже пожилые люди.

Зилов (*по телефону*). Ты что, меня не узнал?..

Умер?.. Кто умер?.. Я?!. Да вроде бы нет... Живой вроде бы... Этого еще только не хватало — чтоб я умер перед самой охотой!..»

Читал он спокойно, без всякого наигрыша. Да, казалось, никаких интонационных красок и не нужно добавлять — столько ярости, сочности и остроты заключалось в написанных им диалогах. И по мере того, как развивалось действие, все более крепло ощущение, что знакомит нас Саня со своим лучшим драматическим сочинением.

Сидя за столом с карандашом и листком бумаги, я черкнул по ходу читки три-четыре замечаньица. Это не ускользнуло от Саниного внимания.

Наконец прозвучало финальное слово — «занавес». Мы вскочили со стульев и кресел, возбужденно обступили друга драматурга. Впечатление у каждого было до того сильным, что вначале, кроме слов восторга и тостов в честь автора, ничего и не приходило в голову.

Жена моя Неля, которую за терпимость к нашим шумным кухонным «мальчишникам» пишущие собратья шутливо величали сестрой, обняла Вампилова по-сестрински и сказала ему свое простое пожелание:

— Саня, ты только живи долго-долго.

Он покачал головой, дескать, согласен, постараюсь, и тут же сделал этакий отвлекающий маневр:

— Володя, ты там заметки какие-то писал. Что усек?

— Да так, мелочи, в основном по охотничьей линии.

— Выкладывай, чего там.

Я сказал ему, «что усек». Он затянулся молча сигаретой и, видимо, с чем-то согласившись, сделал в рукописи короткую пометку.

Кто-то уже оттеснял меня плечом, чтобы еще раз пожать руку Сане:

— Старик! Спасибо тебе за твою смелость. От души!

Нет, мы не рассуждали в тот вечер на тему гражданского мужества писателя, однако каждого «Утиная охота» настроила на серьезное раздумье: «Талант трусливым не бывает. Не может, не должен быть!»

Сама ситуация долгих сборов на охоту была хорошо знакома в кругу друзей Вампилова — мы точно так собирались каждую зиму на подледный лов рыбы. По-моему, так и не съездили ни разу. Зато летом выбирались на рыбалку не единожды, и случались не только ближние вылазки, но и дальние путешествия.

В начале лета 69-го года одним из первых рейсов теплохода «Комсомолец» отправились мы на северный Байкал. Малый рыбацкий десант составили трое — Саша Вампилов, Гена Машкин и я. На четвертые сутки добрались, наконец, до озера Фролиха — цели нашего пути.

Фролиха — словно дитя батюшки Байкала, великолепная его копия, уменьшенная приблизительно в сотню раз, но сохранившая ту же чистоту и красоту. Кто сроду не слыхивал о Фролихе, может вызвать в воображении знаменитую кавказскую Рицу. Только надо представить Рицу, не захваченную туристами и курортниками, автобусами и прогулочными катерами. И — без единой общепитовской точки!

На берегах озера жили всего-навсего восемь человек. Неподалеку от нашей палатки стоял лагерь ученых-ихтиологов, их было пятеро. Да и мы старались не бередить тишину, что выстаивалась в озерной котловине не иначе, как с ледникового периода.

В нашем распоряжении появился плот, связанный из четырех сосновых бревен. На нем-то и пускались мы в ежедневные плавания. Сперва добычей становились только окуни, здоровенные колючие «лапти» попадались на крючок, но мы им не радовались. Не ради банальных окуней совершили бросок за полтыщи верст! Мы мечтали о красной рыбе — диковинном даватчане, который живет на Фролихе, в некоторых других озерах на севере, а на Байкале почти не встречается.

Мы долго стегали спиннингами воду в разных местах озера, но безуспешно. Лосось-даватчан не давался в руки, пока Гена Машкин случайно не открыл простой и легкий способ лова. Нет, не стану раскрывать рыбацкий секрет.

За яркий наряд, в котором выделялись красные и розоватые тона, мы прозвали даватчанов генералами. Так вот, жили на озере три мужика и кормились «генералами»...

Каждый день плавали мы на середину Фролихи, к маленькому островку, возле которого лучше всего клевало. Лесистый островок казался необитаемым, однако вскоре мы обнаружили там крякву и травяное гнездо с яйцами. После первого знакомства больше ее не тревожили. А к нашим репликам, от которых не было сил удержаться, когда верткий даватчан выскальзывал из рук, утка быстро привыкла.

Нисколько не преувеличу, если замечу, что Саня был самым упорным среди нас рыболовом. Мог легко подниматься на утренней зорьке, мог сидеть на плоту в ожидании клева до самых сумерек, мог идти ради нескольких хариусов по такому буреломному берегу, где сам черт ногу сломит. Жить — так жить, рыбачить — так рыбачить! Да, он ничего не умел делать походя, вполчувства, вполнакала.

В нашей артели прибыло, добрались до Фролихи еще двое: иркутский писатель Глеб Пакулов и свердловский — Юрий Яровой. В своем давнем очерке «На Фролихе» Пакулов так описал встречу: «Мы заметили у островка темную черточку плотика и на нем две фигурки столбиками. Начинаю орать. (Кричал он: «Са-нек! Са-не-о-ок!» — *В. Ж.*) Загребая шестами, как веслами, ко мне приближаются обросшие, в закатанных выше колен штанах робинзоны. С трудом узнаю в одном драматурга Александра Вампилова, другой, как ни странно, Володя Жемчужников, прозаик. Четверых нас плот еле держит. Осторожно гребемся к островку».

Вскоре подошло время расставаться с Фролихой. Туристов за эти дни заметно подвалило. Зазвенели топоры, загремели выстрелы, по вечерам от дальних костров неслись крики, песни и гогот.

— М-да, не дадут нашей крякве утят высидеть,— хмурился Вампилов.

На другой год в том же малом составе — Вампилов, Машкин и я — была предпринята ближняя рыбацкая вылазка. Ездили мы на устье Белой, одного из крупных притоков Ангары. Рыбы там не наловили вовсе никакой, но не этим памятна поездка.

Когда не задалась рыбалка на левом берегу Белой, решили перебраться на правый — всегда ведь кажется, что у другого берега лучше клюет. В поисках какого-нибудь владельца лодки мы подошли к запани и там, среди завалов сплавного леса, наткнулись на плоскодонку, которую вынесло сюда во время половодья. Оглядели, опробовали ее. Лодчонка показалась не такой уж утлой. Протекала, разумеется, но — не тонула. Рискнем, ребята!

Уселись и поплыли. Машкин изо всех сил загребал половинкой весла, мы с Саней беспрерывно вычерпывали воду, которая все прибывала. Под нагрузкой посудина оказалась не ахти какой надежной. А вода стояла в Белой большая, напористая, мутная. А до тверди

правобережной — не так чтобы пара гребков. Не скрою: лично мне страшновато было.

Все-таки мы дотянули, доскреблись, доцарапались до того берега. Только мне и до сих пор думается — не безопасной была тогдашняя переправа. Как говорится, бог миловал. В тот раз.

Позднее произошел другой случай, который мог кончиться печально. Вампилов путешествовал тогда по Байкалу с другими спутниками, у них была своя лодка с добрым мотором «Вихрь». Однажды они стояли в каком-то заливе Малого моря, варили на приволье ушицу. И вдруг заметили, что лодку оторвало от берега, стало сносить ветром. Вампилов, расшвыряв на бегу одежду, кинулся в воду и поплыл вдогонку.

Потом он сам рассказывал мне: «Плыву и чувствую, если не догоню лодку, то вернуться, пожалуй, не хватит сил». А он никогда не преувеличивал, не присочинял, рассказывая о себе. В том заплыве ему хватило сил, таки «настиг подлую».

Надеюсь, у читателя не составится впечатление, будто Вампилов только и делал, что путешествовал да рыбачил, а в неподходящее для этих занятий время пьесы пописывал. Во-первых, писатель работает не только когда за столом сидит. А во-вторых, не сама по себе «муза странствий» интересовала Вампилова, а прежде всего — общение с людьми.

Случалось, и у таежного костра, и даже посреди застолья он вдруг как бы уходил в себя, сосредоточивался на чем-то своем, очень личном. И эти минуты (не отрешенности, нет, а самоуглубления) выдавали упорный ход творческой мысли, невидимые миру поиски. Сколько труда он положил на многочисленные варианты своей первой большой пьесы «Прощание в июне»! Сколько времени отдал репетициям «Старшего сына» на сцене Иркутского драмтеатра! Сколько крови стоила ему «Утиная охота»... Блажен, кто думает, что путь талантливого драматурга усеян одними премьерами.

Наверное, не мне одному говорили почитатели редкостного драматического дара Вампилова: «Посчастливилось вам общаться с таким человеком. Но как же вы не сберегли его?..» И молчишь, и не знаешь, что ответить на этот тяжелый вопрос. Начинаешь рассуждать «в общем и целом»: многих не сберегли, у многих талантливейших жизнь оборвалась рано и трагически. Да, так нередко бывает: кому многое дано — тому мало отпущено

жить. Что за жестокая закономерность? Быть может, причина в смелости — творческой и человеческой? Настоящий талант — это же всегда рискованный человек. И в искусстве, и в жизни. Так-то оно так, и все же...

Наши совместные вылазки на природу, разговоры о новых дальних маршрутах продолжались вплоть до последнего лета, лета 72-го года. Не случайно на своей книжке «Мужчина в доме», подаренной Сане в то время, я написал пожелание-заклинание — «Да будет клев!» Конечно же, имелись в виду не только байкальские хариусы и ленки, но и столичные премьеры, что «наклевывались» тогда у Вампилова.

В последнее лето он жил и писал новую пьесу «Несравненный Наконечников» на даче Пакулова, в тихом портовом поселке Байкал, стоящем у истока Ангары. Там у нас образовалась небольшая колония писателей, с начала мая, едва освобождалось море ото льда, мы наезжали туда работать. Сане тоже приглянулось это место — тишина, покой, как в деревне, лес рядом и рыбалка под рукой. Да и сам по себе уголок природы уникальный — могуч пейзаж, великолепно зрелище вырывающейся из Байкала Ангары. Словом, Вампилову тоже захотелось там поселиться. Он досадовал, что в городе писать становится все трудней, невозможней. О желании своем высказывался четко: если уж обзаводиться недвижимостью, так ни в каком ином месте, кроме как у воды, непременно у воды.

В конце июля мы с ним вдвоем отправились в Щелку, узкую падь на окраине поселка, там один дом намечался к продаже. Обстоятельно побеседовали с хозяйкой, одинокой пенсионеркой. Долго, внимательно осматривали дом и усадьбу на косогоре, по ходу планируя, где какие кусты и деревья желательно посадить. Саня сразу наметил под рабочий кабинет угловую комнатушку, из окошка которой виднелся синий-синий лоскут Байкала. Особенно обрадовало его, что можно будет свой колодец выкопать на огороде. Там раньше ручей бежал, как пояснила хозяйка, да отчего-то ушел под землю, но вот соседи все-таки докопались до воды.

Сам-то дом с его горбатой крышей выглядел довольно-таки одряхлевшим, но я подбодрил Саню, дескать, пьес на двадцать еще хватит. Саня промолчал. Должно быть, подумал про себя, мало или много я ему отпустил. Надеюсь, он все же остался доволен моей прикидкой.

Он готов был оформлять купчую немедленно. К не-

счастью, хозяйка собиралась уезжать на Кубань не раньше сентября, когда картошку выкопает. Нет бы ей, несговорчивой, поторопиться с отъездом! Взялся бы тогда Саня копать свой колодец, засел бы вплотную за водевиль — глядишь, «Несравненный Наконечников» и не отпустил бы его на ту, последнюю, рыбалку...

В один из первых августовских дней (время было под вечер) пришли в мой байкальский домишко гости из Молчановской пади — Вампиловы всей семьей и Пакулов с женой Тамарой. Долго сидели за столом, чаевничали, угощались свежими вареньями, разговаривали о том о сем. Потом пошли покурить во двор. Отправилась с нами Леночка, шестилетняя дочка Вампиловых,— нюхать ночную фиалку «маттиолу» и звезды смотреть.

К тому часу вызвездило. Все небо горело, лучилось, мерцало.

Саня, принагнувшись к дочери и вытянув правую руку, показывал ей, где Большая Медведица и где Малая.

Вдруг ребенок задал вопрос:

— Папа, а у тебя есть своя звезда?

И он ответил так, как мог ответить только он:

— Не располагаю, доча.

Ближайший среди старших друзей Вампилова — поэт Петр Реутский напишет потом стихи:

Не покидайте, люди, землю,
Не отыскав своей звезды...

16 августа (все там же, в порту Байкал) Саня заглянул к нам ненадолго, чтобы пригласить на свой день рождения. Выкурили по сигаретке. Уходя, еще раз напомнил, крикнув из-за калитки:

— Вовка, приходите обязательно!

Три дня оставалось до его тридцатипятилетия.

Как там в начале написал я о всяких предвестиях, предсказаниях, предчувствиях? Чепуховина-мистика?.. Чем же тогда объяснить, что вечером 17 августа какая-то странная сила понесла, погнала меня в Молчановскую падь? Не было же никакой серьезной надобности тащиться на ночь глядя, по лесной тропе, через гору. Просто потянуло неудержимо к ребятам, и все тут.

В густеющих сумерках подошел к большому пакуловскому дому. Он стоял тихий и темный, как нежилой. Дверь на веранду, которая обычно держалась нараспашку, была прикрыта. Я решил, что все ушли на Ангару и

еще не вернулись. Присел на скамью у крыльца, покурил. Минут пятнадцать сидел, ждал. Было тепло, тихо. Только кузнечики наяривали вовсю. На темнеющем небе проклюнулся острый, только что народившийся месяц.

Неожиданно открывается дверь, выходят жены Вампилова и Пакулова, смотрят недоуменно на меня, дескать, почему не заходишь, у нас не заперто. Оказывается, они сидели в доме, сумерничали, не слышали, что гость у крыльца топчется.

— А мужики уехали рыбачить на тот берег,— сказала Тамара.— Мы собрались их встречать.

Было примерно полдевятого. У того берега уже все произошло. Уже остановились Санины часы, обыкновенные, водопроницаемые, не защищенные противоударным механизмом.

На этом берегу узнали о беде только назавтра.

Лодка на полном ходу натолкнулась на невидимое под водой бревно-топляк, сразу перевернулась, стала тонуть. Вампилов поплыл к берегу, до которого было не так далеко. Но слишком студеной — около пяти градусов — оказалась вода, поднятая недавним штормом с байкальских глубин. Слишком тяжелой стала теплая куртка, когда намокла. Саша не доплыл до каменистого берегового откоса несколько метров.

В ночь на 18 августа ударил первый заморозок. И началась преждевременная осень. Задождило, похолодало.

...Писать воспоминания мне еще не доводилось. Впервые взялся за этот печальный труд. И очень может быть, чего-то ждал другого и не дождался от меня взыскательный читатель. Предвижу главный вопрос: ну, а как же работал Вампилов, как он сочинял свои пьесы? К сожалению, об этом едва ли кто-нибудь что-нибудь может вспомнить. При всей своей общительности и душевной открытости он редко с кем делился замыслами, не обговаривал новый сюжет, никогда не показывал неоконченное.

Любимые авторы? Гоголь, Чехов, Сухово-Кобылин, Найденов, Булгаков — таков был круг русских драматургов, почитаемых Вампиловым. Он постоянно обращался к их драматургии, читал и перечитывал и... нередко потчевал своих друзей блистательными репликами из классических пьес. Похоже, он обладал врожденным вкусом к острому, точному, емкому слову.

Знаю одно: как всякий честный художник Вампилов

работал трудно. Писал он ночами. Иногда в кругу друзей-писателей говорил:

— Если не пишется — и не надо, не тяни себя за язык.

Призывом к писательской совести, творческим заветом звучат сегодня его слова:

— Писать надо о том, от чего не спится по ночам.

Как-то завели беседу о... кровожадности некоторых авторов, о тех, кто не в меру пользуется сильнодействующим средством умерщвления своих героев.

— А вот я никого не убил из своих героев,— негромко заявил Вампилов, явно довольный этим обстоятельством.

«Александр Вампилов близок зрителю своей гуманностью,— говорил известный советский драматург Виктор Розов,— потому что любовь к человеку — это все-таки самое великое дело».

Да, писать надо о том, от чего не спится...

ВЯЧЕСЛАВ ШУГАЕВ

В июльский вечер 1962 года у кирпичных старинных стен Иркутской музыкальной комедии протянул мне руку черно-кудрявый, с азиатским разлетом бровей человек.

— Саша, Вампилов.— Он стоял против солнца и чуть щурил темно-медовые глаза с какою-то донной, зеленоватой подсветкой.— Да, теперь вот и очно.

Он учился в Центральной комсомольской школе, когда я приехал в Иркутск. Но до этой встречи мы кое-что слышали друг о друге от общих знакомых. Теперь он, отучившись, вернулся в «Молодежку» ответственным секретарем.

Лето нашего знакомства было солнечным, с тихими долгими закатами, тонущими в напористом прозрачном холоде Ангары. Саню всегда тянуло к воде: «Может, пройдемся по набережной?»; «Что-то очень уж людно и пыльно стало. Давайте отправимся на залив. У костра посидим, молодость вспомним». Те летние дни наплывают сейчас, как некое беспрерывное праздничное кружение по островам, заливам, по тенистым и сонным протокам. Всплески костров над сырой прибрежной травой, пылкие ночные споры, навсегда забытые возле этих костров. Сколько же, однако, времени успели мы отдать застольям, дурачествам и ссорам, вряд ли нужным кому-то еще, кроме нас, спорам, которых не передашь на бумаге, тем не менее они живы, осели на сердце, так сказать, неизреченною и неизъяснимою прелестью.

И странно, что наша последняя встреча с Саней, наш последний разговор тоже пришлись на ясный июльский вечер 1972 года — товариществу нашему было отпущено ровно десять лет. Мы говорили о пьесе «Прошлым летом в Чулимске», только что написанной им. Саня курил и, часто затягиваясь, скашивал глаза на

сигарету, выпуская дым, как-то зло и толсто напрягал верхнюю сизую губу. Провожал синие завитки сощуренными, посветлевшими до желудевой желтизны глазами. Он был недоволен моими словами, более того, был чрезвычайно раздражен ими. Я же говорил, что Валентина — героиня «Чулимска» — не обладает каким-либо определенным характером, каким-то ярко выраженным нравом, норовом, она просто юна, а юность, говорил я, является лишь возрастным признаком, но, увы, никак не отличительной индивидуальной чертой того или иного характера. Впрочем, добавил я, может быть, подобный обобщенно юный образ позволит различным актрисам по-своему истолковать и показать героиню и, может быть, такая свободно очерченная роль и есть уже драматургическое мастерство.

Саня отмахнул сигарету, посмотрел наконец в глаза:

— А сам-то, сам что написал?!

В то же, начальное, лето нашего знакомства все его пьесы были впереди, а пока он написал несколько комических сценок, напечатанных в местных газетах, и выпустил книжечку юмористических рассказов «Стечение обстоятельств» под псевдонимом А. Санин. Рассказ, давший название книжечке, начинался словами: «Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека». Мысль эту он в той или иной мере разовьет в своих пьесах и в полной мере подтвердит своей гибелью.

Через год после нашего знакомства, близко или, как встарь писали, душевно сойдясь, мы надолго отправились с Саней на север области. Прилетели в Нижне-Илимск, старинное просторное село, с тротуарами из лиственничных плах, с широкими чистыми улицами, с густой акацией и старыми тополями возле школы. Село стояло на берегу Илима, теплой и мутновато-желтой речки, пролегшей меж вольных лугов и знаменитых илимских пашен. Сейчас на этом месте, как принято говорить, плещутся волны Усть-Илимского водохранилища.

Многие дни мы ходили мимо высоких осанистых домов Нижне-Илимска, по его лугам и берегам, с какою-то вдруг пробудившеюся жадной пристальностью запоминая, как вьючат лошадей охотники, собравшиеся в тайгу, к Илимской конторе, как полощут бабы белье с длинных, добела выгоревших мостков, называемых здесь лайницами, как пробиваются, выглядывают из песка зеленые кочанчики — будущие сосны.

Зашли и на почту — командировочные утекали, как илимская вода. В пустой гулкой комнате жужжали мухи и две дремнораспаренные девицы грызли семечки. Саня спросил:

— Девушки, как вы посоветуете? Откуда быстрее деньги придут: из бухгалтерии или из дома?

Девицы оставили семечки.

— С вашим опытом уже романы надо писать. А как лучше телеграмму начать: срочно шлите или нетерпением жду?

У него уже был черновик «Двадцати минут с ангелом». И Саня соотносил его, так сказать, с беловиком — всегда беловиком! — реальности. Добиваясь естественности звучания и событийной естественности, Саня всегда проговаривал написанные или задуманные сцены: «ставил» для нас, товарищей, реплики, монологи, порой втягивал и нас в участники неких обусловленных им сцен. Мы жили на одной улице, через дом друг от друга. Я бывал у него, он приходил: «Ты как, не очень занят? Хочу посоветоваться». Или: «Давай поразмышляем. Кто есть кто и что из этого выйдет»,— и размышляли мы до едкой рези в глазах от табачного дыма. Саня долго колебался, выбирая профессию Шаманову — герою «Прошлым летом в Чулимске». Хотел вывести его журналистом. Мы размышляли: журналист слишком привычен в роли мучимого совестью человека, штатная фигура во всех представлениях, изображающих борьбу за справедливость. «Вот и хорошо,— говорил Саня,— пусть очищается от привычного»,— но в конце концов написал Шаманова следователем, значительно, на мой взгляд, углубив этим выбором тему раскаяния.

Изустные, предварительные испытания пьес на прочность, должно быть, помогали Сане и ладно кроить, и крепко шить, добиваясь при этом чрезвычайной, если можно так выразиться, плотности, густоты остроумия. Почти каждая, даже отдельно взятая реплика остроумна, а в сцеплении, соединении они порой оборачиваются чересчур крепким настоем. Его бы чуть разбавить той живой, пленительной сумбурностью, той речевой волшебной невнятицей, которую находим мы в пьесах Гоголя и Островского. Я говорил об этом Сане.

— Не жидко, и то слава богу,— отвечал он.

В Нижне-Илимске же мы услышали историю дома, принадлежавшего когда-то купцу Якову Андреевичу Черных. Купец был суеверен. Ему однажды сказали,

что жить он будет до тех пор, пока строится дом. Черных перестраивал его всю жизнь, добавляя балкончики, башенки, крытые переходы. Саня перенесет этот дом в «Прошлое лето...», устами Мечеткина помянет купца Якова Андреевича, а суеверное упорство, с которым он перестраивал дом, превратится в пьесе в символ неустанно возрождающейся человеческой чистоты: хлопоты юной Валентины с калиткой и палисадником, оберегающей цветы от ног равнодушных прохожих.

Улетели из Нижне-Илимска в Кеуль, деревушку на Ангаре, ниже створа Усть-Илимской ГЭС верст на сто. Темная, несущаяся ширь Ангары, темные, неказистые избушки вдоль левого берега, сети на пряслах, туманный холодный быстрый закат — вроде из последних сил он добрался до этой забытой деревушки. И вновь ненасытная пристальность, до странности сильное желание ничего не упустить, все запомнить и сохранить: глухую, согнутую старуху, пустившую нас на ночлег, с неожиданно ясными, младенчески голубыми глазами; чугунное лицо и чугунные плечи здешнего представителя рыбнадзора, обстоятельно объяснявшего: «У меня не купите, никто не продаст. А что это значит? Не евши спать ляжете, и уж сон не сон, а одни сновидения»,— мы торговали у него таймешонка; и переменчивую рябь,— от темно-малахитовой до салатной — на траве деревенского выгона. Мы становились как бы совладельцами и этого выгона, и этого заката, и вечерней неоглядно пустынной реки — так соединены мы тогда были, такое было полное, жаркое единодушие, что, пожалуй, те дни можно отнести к лучшим дням жизни.

Днем мы ходили в сельскую библиотеку. Пришли — замок, вернулись через час — замок. Разыскали библиотекаршу. «Молодую, но не в меру полную женщину»— так характеризовал Саня одну из своих героинь — с мордастенькими голосистыми двойняшками на руках. Подержали их, пока она снимала с лоснисто-полной шеи ключ от библиотеки, а потом несколько часов пробыли в маленькой, похожей на баню, избушке с большим и прекрасным подбором сочинений русских классиков в сытинском и саблинском изданиях. Саня с темно-зеленым томиком в щедром тиснении, напечатанным, конечно же, на веленевой бумаге, отошел к окну. Полистал, уселся на лавку:

— Вот тебе и Кеуль. Можем здесь осесть, вступить в колхоз, стать образцовыми книгоношами. Послушай-ка...

Темно-зеленый томик оказался «Выбранными местами из переписки с друзьями». «Театр ничуть не безделица и вовсе не пустая вещь, если примешь в соображенье то, что в нем может поместиться вдруг толпа из пяти-шести тысяч человек и что вся эта толпа, ни в чем не сходная между собою, разбирая по единицам, может вдруг потрястись одним потрясеньем, зарыдать одними слезами и засмеяться одним всеобщим смехом. Это такая кафедра, с которой можно много сказать миру добра». Меняясь, долго читали вслух.

— Хоть Белинский и разругал эти «Места», а слог у них все равно отменный,— говорил Саня, когда мы закрывали библиотеку.

Отнесли ключ, пошли вдоль ручья, остановились у тальниковой, полуразобранной запруды перед впадением ручья в Ангару, и все говорили о «Переписке». Сейчас я с некоторым отстраненным удивлением вижу нас тогдашних, у ручья, слышу наши неутомимо-восторженные голоса; глушь, где-то в кустах чисто и редко взбренькивает коровий колокольчик, посвистывает лозина под напором ручья, инспектор рыбнадзора тащит в гору очередного тайменя, а мы говорим о Гоголе — есть некая причудливость в этой картине, но тогда мы — разбуди нас ночью — охотно ввязались бы в любое разговорно-литературное бдение.

На моторке поднялись в Усть-Илим. Он только начинался: несколько палаток у Тонкого мыса окружали наспех сделанную волейбольную площадку, а угрюмую, дикую еще громаду Толстого мыса оживляло лишь знамя, поставленное первым десантом.

Мы поселились в двадцатиместной палатке вместе с лесорубами из бригады Валентина Мальцева. В палатке висела старенькая гитара, и Саня в первый же вечер потянулся к ней. Он потихоньку, не мешая намаявшимся за день лесорубам, наигрывал любимую свою мелодию яковлевского романса на слова Дельвига: «Когда еще я не пил слез...»— и, должно быть, парил где-то далеко над этой палаткой, над этим усталым, пропахшим мокрой полынью вечером.

Воскресенья в ту пору на Усть-Илиме все проводили на берегу. Пошли и мы с бульдозеристом Мишей Филипповым, героем нескольких Саниных очерков. Развели костерок, улеглись вокруг и размякали в густом июльском тепле. Вдруг Миша Филиппов быстро, бесшумно вскочил, склонился над речным обрывчиком. Пома-

хал нам: подвигайтесь, мол. К самому берегу подошла стерлядка и розовым кругленьким ртом хватала мошку. Миша шутливо перекрестился и с маху, прямо в робе прыгнул на стерлядку — то ли при падении он оглушил ее, то ли она растерялась, незнакомая еще с человеческим азартом, но Миша ее поймал воистину голыми руками.

Вполне возможно, что стерлядку поманила счастливая рыбацкая звезда Сани — рыба чуть ли не сама шла ему в руки. Удачлив он был и в охоте: ты целый день пробегаешь, даже верещания кедровки не услышишь — пустая тайга, а вернешься к табору, Саня уже сидит, покуривает, и два-три рябчика лежат у ног. Видимо, бесы или ангелы, где-то там, в высях отсчитывающие наши дни, уже определили Санин срок и, смутившись своею поспешностью, щедро вознаграждали его водными и лесными радостями.

Целый день хлебали стерляжью уху.

— Что делается, а?— с какою-то счастливой сокрушенностью вздыхал Саня.— Прямо-таки и сравнить не с чем. Ты смотри, какая рыба!— застывшая к вечеру юшка была уже так плотна и студениста, что ложка торчком стояла.

Саня всегда ел с видимым и завидным наслаждением, с тою восточною медлительностью, которая одна только и уместна за столом. Он даже на аэрофлотские завтраки распространял ее, ухитрялся растягивать их от Иркутска до Омска, так что однажды при посадке поднос с чаем и курицей улетел от толчка к пилотской кабине, и уже от Омска до Москвы Саня ходил по рядам, облитым чаем, с извинениями.

Усть-илимские его очерки спокойны, порой усмешливы, совершенно свободны от тех умильно-экзотических завихрений, которыми изобиловали тогдашние некоторые книги, песни и поэмы о сибирских стройках. Саня рассказывал, к примеру, как женился бульдозерист Миша Филиппов, в весеннюю распутицу вызволивший невесту из родительского дома на бульдозере; о плотнике Мише Ковче, получившем от любимой девушки письмо: «Между нами все кончено, я выхожу замуж»; о плотнике Павле Ступаке, к которому приехала жена, и как они зажили в отгороженном простыней углу двадцатиместной палатки — во всех историях этих уже просвечивало, проблескивало Санино хлесткое, остроумное слово. Вот он пишет о затоплении старого села Наратай:

«В новейшей истории Наратаю отводилась роль Помпеи, разумеется, без жертв и неожиданностей. Заговорили о Братске, о невиданной стройке, что вот-вот должна грянуть у Падуна. Из Заярска приехал продавец и рассказал, что на Ангаре появились уполномоченные... При упоминании об уполномоченных, которых здесь никто не видел с сорок первого года, старые наратайские браконьеры тонко усмехались».

А вот сцена из первых дней Усть-Илима:

«Громко ахнула дверь, в сумерках к нам подошел топограф Федя Аскеров. После работы Федя успел скатать в Невон, в магазин.

Он подошел к нам, капризный и мечтательный.

— Я шатун,— сказал Федя,— я пашу с утра до вечера... по тайге, в снегу вот по это место. Я шатун.

— Пройди,— сказал Толя,— пройди.

— Ты бурундук,— сказал Федя,— ты ничего не понимаешь. Я хочу чаю».

Из описания женитьбы Миши Филиппова:

«В Макарово ехали засветло. Третьим ехал сват бульдозерист Михаил Шустов, хромой, гоношливый, в леспромхозе — первый звонарь. В предвкушении выпивки он был невероятно оживлен, врал и острил напропалую.

— Жениться,— говорил он,— надо ездить на бульдозере. Уважения больше, и задний ход хороший».

Тяготение к будничности, таящей и прячущей раны души, Саня выразил в своих пьесах с должной искренностью. Кстати, писатели-сибиряки, добившиеся читательского признания в последние годы, добились его именно рассказами о будничной жизни Сибири, но никак не сочинениями о ее романтически-праздничном покорении.

А нашими общими закатами, лугами, илимскими тропами и встречами на них мы и распорядились сообща: написали путевые заметки, пожалуй переполненные пейзажами и этакой печальной созерцательностью, озаглавив их под стать тогдашнему нашему настроению — «Голубые тени облаков». Оказывается, когда мы печатали их, в Иркутск прилетал на день или два О. П. Табаков. Прочитал наши заметки, запомнил и зимой 1965 года встретил Саню, принесшего в «Современник» «Старшего сына», вернее, вариант пьесы под названием «Нравоучение с гитарой», словами:

— Что, опять голубые тени облаков?

— Да нет,— сказал Саня,— теперь просто тени...

«Провинциальные анекдоты» Саня предварил гоголевскими словами: «Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают». Сам он не только верил в случай, редкое происшествие, стечение обстоятельств, но и охотно шел им навстречу.

Мы жили в Красной Пахре. Февральским вечером ждал я Саню из Москвы и поеживался от резких внезапных стуков в окно — рвалась, чуть ли не высаживая рамы, метель. Она так нажгла ему щеки, что они темно, припухшие, рдели.

— Ну, чудеса, доложу я тебе, творятся! Нет, при чем тут метель, я и не заметил, как пробежал. В Москве настоящие чудеса в решете. Захожу днем на телеграф,— мы получали почту на Центральном телеграфе,— денег нет, зато взамен несколько писем, стою в углу, читаю и, как писали в прежних романах, дав глазам необходимый отдых, кого, ты думаешь, я увидел?

— Иркутского заимодавца.

— Нет. Арбузова, совершенно не подозревавшего, что у меня при себе, за пазухой, похрустывает рукопись пьесы. Поднимается он по ступенькам, без шапки, в немыслимой куртке, на плече блестит заграничным лаком футляр, то ли с фотоаппаратом, то ли с транзистором. Я к нему: «Здравствуйте, Алексей Николаевич». Он отпрянул — то ли думал, взаймы буду просить, то ли пальто моего испугался.— Саниному черному драповому пальто, которому износу не было.— Вы, говорю, меня не помните, я был на семинаре одноактовиков, не могли бы вы прочесть мою новую пьесу? Спрашивает: большая? Пять листов, говорю.— Первоначально «Прощание в июне» была именно такого размера.— Вздохнул — большая. Посмотрел на меня, посмотрел — я тоже без шапки. Возможно, это и решило дело. Давайте, говорит.— В автобусе, метро, магазине, вот и на почте Саня немедленно снимал шапку — видимо, его жесткие черные кудри, как бы продутые однажды, освеженные ветрами бурятских степей, не выносили зимнюю жаркую неволю.— Сказал позвонить, как кончится чемпионат мира.

— Какой чемпионат?— удивился я.

— По хоккею. Учти, драматурги любят зрелища,— Саня перепутал дни и позвонил Арбузову в завершающий день чемпионата. Арбузов тем не менее уже прочел «Прощание в июне», пригласил Саню к себе, вместе они посмотрели хоккей, а потом Саня выслушал одобрительные слова, столь важные для него в ту начальную московскую зиму.

Первый театр, куда он принес «Прощание в июне» и «Старшего сына», был театр имени М. Н. Ермоловой, и выбрал его Саня лишь потому, что стоял театр и стоит рядом с Центральным телеграфом,— вышел, востребовав почту, и никуда больше добираться не надо, вот он, театр, в двух шагах. Зашел Саня к ермоловцам, и встретила его заведующая литературной частью Елена Леонидовна Якушкина, чей живой и насмешливый ум, чья сердечность, чье знание московской театральной жизни, не только, так сказать, ее восьмой, надводной части, но и остальной, подводной, таинственно-громадной, так помогли Сане впоследствии.

— Саша, вы выбрали рискованное занятие,— говорила в ту пору Елена Леонидовна.— Я видела многих людей, сочинявших пьесы. Но где эти пьесы?— И влажно блестели ее черные, какие-то ночные глаза с удлиненным и чуть приопущенным вниз разрезом век.

— Должно быть, на вашем столе,— кивал Саня на гору рукописей, как правило, роскошно переплетенных.

Осенью 1965 года мы были в Чите на семинаре молодых писателей. Семинар был наделен правом рекомендовать в члены СП СССР, минуя приемную комиссию. Мы тогда с излишней нервностью относились к этому обстоятельству. Ночью, накануне оглашения списка рекомендованных, мы узнали, что Саня в него не попал: тогдашний руководитель Иркутской писательской организации М. Д. Сергеев в семинарских хлопотах и напряжении, видимо, забыл, что у Сани выходила книжка рассказов — непременное условие для рекомендации.

— Глухая ночь,— говорил Саня,— никому ничего не докажешь.— Мы сидели у него в номере, курили.— Может, в коридор выйти, авось что-нибудь...

В коридоре мы встретили Б. А. Костюковского и, предводительствуемые им, в третьем часу ночи стучали в номер Л. С. Соболева. Он открыл. С серебряными взъерошенными висками, на щеках красные рубцы от подушки, он тем не менее улыбался.

— Что за тревога? Что за аврал?

Выслушал, сказал: «Обнародуем»,— взял с подоконника большой, так и охота сказать — ведерный термос.

— Садитесь, чаю попьем.— И отпустил нас на рассвете, расспросив и выспросив нас с дотошностью, какую и днем не часто встретишь.

В сухие, безлиственные уже октябрьские дни 1965 года мы поехали с Саней в Бурятию, в Баргузинскую до-

лину,— Иркутская студия кинохроники предложила нам написать о долине документальный сценарий. Мы легкомысленно согласились, предвкушая золотисто-фиолетовые, гулко-прозрачные дали и вовсе не представляя, сколь капризны, необъяснимо прихотливы требования нашей кинохроники (недавно я перечитал тот непошедший сценарий, и, как мне опять показалось, он не нарушает каких-либо литературных и изобразительных законов).

По дороге из Улан-Удэ к Байкалу наш автобус забуксовал, завис над краем длинного крутого обрыва, а вернее, над краем маленькой пропасти. Пассажиры, завороженно онемев и привстав, заглядывали в нее. Когда автобус справился, выполз на надежную колею, я спросил у Сани:

— Что ты думал?

— Вот случай, который может не повториться.

Вот и август 1972 года. Я вернулся в Иркутск из поездки, вечером увидел темные Санины окна и вспомнил, что он собирался на Байкал. 17 августа ближе к полуночи телефон зазвонил длинно и громко, как обычно звонят с междугородной.

— Старик, это Глеб. Саня утонул. Я из больницы звоню. Лодка перевернулась. Меня вот спасли, а его нет.— Звонил из Листвянки Глеб Пакулов, иркутский литератор, владелец этой проклятой лодки, которую когда-то мы помогали ему перевозить на Байкал.

Минуту спустя я позвонил главному врачу Листвянской больницы.

— Да, есть у нас утопленник. Да, вроде бы Вампилов.

Приговаривая это «вроде бы», ни на миг не отпуская его от себя, позвонил Распутину — он вернулся в этот день из деревни. Распутин позвонил М. Д. Сергееву, и через полчаса таксист мчал нас по затихшему до утра Байкальскому тракту. С горы на гору, через мосты и мостики — свет фар завидно обгонял нас, и вдалеке взблескивали по падям первой желтизной лиственницы.

Громко, возбужденно говорили о пустяках, как бы условившись не говорить о главном, пока не доедем. В Листвянке со свистом и пылью кружил ветер. И пока мы искали больницу, налетал на нас из-за каждого закоулка и угла. Нянечка или сестра повела нас в чулан. Перед дверью зажгла свечку, сказав:

— Там у нас света нет...

Водоросли в Саниных кудрях, водоросли на руках — никаких «вроде бы» больше не было.

Саню нам не отдали. Мы походили по набережной, постучали в несколько домов, прося перевезти на ту сторону, в порт Байкал, где была Ольга, Санина жена, еще ничего не знавшая.

Хозяева домов отвечали:

— Да вы что, мужики! Не видите, что делается?!— Байкал ревел без передыха, и видно было, как высоко над берегом разваливались, рушились тускло-белые гребни.

Вернулись в город. М. Д. Сергеев пошел писать некролог, а мы с Распутиным закружили черными вестниками. Заехали к Машкину, заехали к Саниному брату Михаилу, геологу, тоже только в этот день вернувшемуся из отпуска. Он вышел в майке, заспанный. От наших слов молча закружился на месте в холодном, плохо освещенном подъезде.

К шести утра, к первому пароходу в порт Байкал, мы вернулись с Распутиным в Листвянку. Холодный ветерок, чуть отдающий ночной пылью, серо-зеленая зыбь — шторм ушел к северу.

Мы еле передвигали ноги, заранее мучаясь тем, что нам предстояло сказать Ольге. Перед домом посидели на камнях. День начинался ясный, солнце в прозрачном байкальском воздухе поднималось по-особому чистое и теплое.

Ставни еще были закрыты. Мы постучали. Выглянула жена Пакулова, Тамара.

— А мужиков наших нет, где-то загуляли.

Ольга вышла на крыльцо, посмотрела на нас:

— Что? Все?

Мы бросились к ней...

В морге я не сразу узнал его — таким матерым, скульптурно-рельефным стало его тело. Обряжали его две женщины: маленькая худая старушка, не выпускавшая папиросы изо рта, и прелестная, юная, голубоглазая — видимо, студентка медицинского института, зарабатывавшая прибавку к стипендии столь печальным образом. Муза драмы и муза комедии,— сказал бы Саня. Старушка протянула мне перочинный нож, часы, просто и устало сказала:

— Там еще деньги были... Ну, спасибо, сынок.

Было пасмурно, но сухо и тихо, когда мы несли его

на руках до здания театра, где ждали машины. От оркестра мы отказались, помня Санину печальную усмешку, с которой он написал Сарафанова, музыканта из «Старшего сына», играющего на похоронах.

Должно быть, бесы или ангелы, провожавшие Саню вместе с нами, решили напомнить, что хоронят драматурга, комедиографа: мы забыли веревки, на которых опускают гроб и побежали к кладбищенскому сторожу, которого, конечно же, не было на месте...

Долго я еще, выходя из подъезда, взглядывал налево: вдруг да идет Саня, по обыкновению задумчиво свесив кудрявую голову. И мы пешком отправимся в город, толкуя по дороге о том, о сем. Как бывало когда-то.

Через год прилетел в Иркутск В. А. Андреев, ставивший тогда «Прошлым летом в Чулимске». Мы ходили с ним по утренним улицам, по набережной (Андреев удивлялся: «Почему у вас набережную назвали бульваром?»— не подозревая, что Саня тоже этому удивлялся, и этими же словами), по острову — там, где любил бывать Саня. Только-только разошелся туман. Был влажный холод и холодное ясное солнце. Андреев изредка спрашивал: «А здесь он бывал?» С особой, как бы отстраненной трезвостью я наконец понял: Сани нет и никогда не будет.

АЛЕКСЕЙ СИМУКОВ

Первый раз я встретился с Сашей Вампиловым на семинаре драматургов, пишущих для телевидения, зимой 1962 года в Малеевке под Москвой. Состав его участников был довольно пестрый: были здесь и профессионалы молодого тогда еще телевидения, и люди, совсем к нему непричастные, в том числе и я, хоть приглашен был на семинар одним из руководителей.

При распределении участников семинара Вампилов оказался в моей группе. Как сибиряк он вызвал у меня интерес некоего ожидания, так как все, связанное с Сибирью, настраивало меня на встречу с чем-то особенным, ярким, приманчивым.

Приехал он на семинар с одноактной пьесой. Названия ее я не помню, потому что сразу его забраковал, предложив другое, которое прочно закрепилось за ней. Я имею в виду пьесу, входящую ныне в дилогию «Провинциальные анекдоты» под названием «Двадцать минут с ангелом».

Пьеса мне сразу понравилась, хотя по сравнению с нынешней редакцией она сильно отличалась как размером, так и составом действующих лиц. Проще будет сказать, что в процессе дальнейшей работы она была начисто переписана Сашей, хотя основная ее мысль о том, что, оказывается, нелегко делать людям добро бескорыстно, просто по доброте души, уже тогда была ярко в ней заявлена.

Думаю, что решительной переделке пьесы в немалой степени способствовала моя попытка предложить ее журналу «Художественная самодеятельность», где я был членом редколлегии. Я потерпел тогда сокрушительное поражение, и ряд высказываний по поводу пьесы, имев-

ших характер почти анекдотический, несомненно, лег в основу нового варианта. Самое смешное, что наибольшей несообразностью пьесы моим товарищам по редколлегии показалось основное ее положение — возможность бескорыстного добра без всякого за него ответного возмещения, то есть именно то, ради чего она была написана. Товарищи выступали горячо, убежденно, обвиняя автора в незнании жизни, в неправдоподобии выбранного сюжета, не замечая, какую невеселую картину своих собственных убеждений они при этом рисуют.

Высказывания эти, конечно, повлияли на Сашу. На главный вопрос, ответа на который добивались члены редколлегии (почему так охотно откликнулся на просьбу двух совсем ему незнакомых людей случайно проходивший мимо агроном Лопатин), Саша решил ответить.

С точки зрения драматургической выдумки задачу свою он выполнил блестяще, найдя убедительную причину, почему теперь уже не Лопатину, а Хомутову так хотелось расстаться со своими деньгами, которые жгли ему руки. Однако история вины Хомутова, пусть отлично придуманная, заставляла несколько отойти в сторону великолепную обнаженность философской проблемы в прежней редакции пьесы. Совершенно случайно у меня сохранился первый ее вариант со следами авторской правки. Действующих лиц было всего четверо: два тунеядца — Несудимов и Белоштан, хороший человек Лопатин и Надежда Филипповна — квартирохозяйка. Финалом пьесы явилось мучительное раздумье двух дружков,— по-видимому, уже навсегда лишившее их покоя: что же все-таки имел в виду Лопатин, предлагая им деньги, если он не преследовал каких-то своих личных целей? Мысль эта, встревожившая ничем дотоле не омраченное миропонимание двух тунеядцев, должна была, очевидно, привести их к предположению, что за пределами уютного, обжитого ими мира, где происходит традиционный обмен ценностями — ты мне, я тебе,— существует иной мир — бескорыстных человеческих отношений. Поверят ли в него два дружка, станут ли они ему сопричастны — автор не уточнял, но сама проблема была выражена в пьесе с предельной силой, с обезоруживающей простотой ситуации.

Встреча с драматургом Вампиловым была для меня неким открытием, связанным с моим отношением к так

называемой философской пьесе. Мне казалось, что чем глубже философская суть драматического произведения, тем больше оно лишается своей театральной занимательности, переходя ближе к жанру драмы для чтения (исключение я делал только для Шекспира). Александр Вампилов предстал передо мною одним из очень немногих советских драматургов, легко, непринужденно, вполне для себя органично соединяя философскую глубину своих пьес с ослепительно яркой, чисто театральной формой, которой у нас принято почему-то слегка стыдиться (условность драмы как жанра и ее возможности в этом направлении у нас полностью далеко еще не раскрыты).

Думая об этом, я не перестаю жалеть, что не спросил у Саши экземпляра первого варианта пьесы для тех же «Провинциальных анекдотов», имея в виду их вторую часть, замененную впоследствии «Метранпажем», который мне кажется значительно слабее. Героем пьесы, о которой я до сих пор вспоминаю, был пожилой капитан речного буксира, остановившийся в той же гостинице, где происходит действие «Двенадцати минут с ангелом». Он попадает в водоворот совершенно непредвиденных событий, в их числе встреча с женщиной, которую он, в силу возникших обстоятельств, вынужден выдавать за свою жену, в то время как ее любовник выдает себя за ее брата... С таким завидным знанием жизни создавал драматург самые невероятные фарсовые ситуации для своего героя, бросая его из огня в полымя, заставляя нас в то же время влюбиться в него — такого смешного и одновременно трогательного... «Мольер!»— повторял я про себя, когда Саша читал мне эту пьесу. Где она, что с ней — не знаю...

Наши дружеские отношения с Сашей, начавшиеся на телевизионном семинаре, продолжались и упрочнялись за время пребывания Саши на Высших литературных курсах при Литинституте, где он был в моем семинаре. К этому времени относится, в сущности, наиболее активный период творческой деятельности Вампилова. Им были написаны три пьесы — «Прощание в июне», «Старший сын» и «Утиная охота». «Прощанию в июне» повезло поначалу больше остальных вампиловских пьес. Она была напечатана в специальном номере журнала «Театр» (1966, № 8), где были представлены пьесы нескольких молодых драматургов, и кое-где начала ставиться. Как дорогая память, хранится у меня оттиск пьесы с посвяще-

нием мне. Там говорится о «первом блине», появление которого он связывал с моей помощью, считая себя моим учеником — слова, для меня крайне лестные и сейчас неповторимо грустные...

Дни у каждого из нас шли тогда полные забот и всяческих препятствий, которые мы в меру сил преодолевали. Не обделила ими судьба и Сашу. Борьба эта воспринималась нами нормально, житейски, хотя нередко очень чувствительно била по карману. Но кто из русских писателей не плакался на денежные затруднения?

Недавно, роясь у себя в письменном столе в поисках какого-то гвоздя, я нашел в самом дальнем углу ящика полускомканный конверт с письмом, оказавшимся Сашиным посланием мне, связанным с нашими хлопотами по выпуску в свет пьесы «Предместье», которая потом стала называться «Старший сын». Мог ли я подумать, получив тогда письмо Саши и сунув его в стол, что через двадцать лет с благоговением, как живое свидетельство тех лет, будет рассматривать его молодая женщина из ГДР, театровед, специально приехавшая в Москву за материалами для диссертации о творчестве теперь уже всемирно известного советского драматурга Александра Вампилова?

Письмо было вызвано крайней его озабоченностью судьбой пьесы «Предместье».

Дело же обстояло так: с молодым драматургом, уже заявившим о себе в «Прощании в июне», Министерством культуры СССР был заключен договор на новую пьесу. Когда же она была написана (это было «Предместье»), дальнейшее ее продвижение нежданно застопорилось. Один из ответственных работников министерства, большой, добрый человек, мужественный воин в дни Великой Отечественной войны, был поражен жестокостью, как он выразился, основной ситуацией пьесы. На все мои попытки как-то смягчить его позицию он неизменно отвечал — как же Бусыгин говорит, что он сын Сарафанова, когда он на самом деле не его сын? В пылу защиты Сашиной пьесы мне казалось, что говорить подобное — верх непонимания пьесы. И лишь потом я понял, что даже в абсолютно неприемлемой для тебя критике нужно уметь найти зерно здравого смысла. Но об этом позже. Пока же я безуспешно сражался, чем и было вызвано Сашино письмо.

Вот что он написал: «Дорогой Алексей Дмитриевич!

Решился побеспокоить вас по случаю, который мне кажется чрезвычайным. После нашей работы, которая длилась почти полгода и почти беспрерывно, когда явился наконец утвержденный вами конец, я уверенный, что все позади, глубоко вздохнул и уехал в Иркутск, чтобы здесь без волнения, в тиши дождаться этих злополучных, необходимых мне денег».

Далее Саша пишет, что, позвонив в министерство, он узнал о затруднениях с пьесой. Пытаясь обосновать свою точку зрения, Саша через меня захотел воздействовать на вышеупомянутого товарища. «...Ему кажется сомнительной завязка пьесы — то, что Бусыгин выдает себя за сына Сарафанова... Кажется, этот поступок представляется ему жестоким. Почему? Ведь, во-первых, в самом начале (когда ему кажется, что Сарафанов отправился прелюбодействовать) он (Бусыгин) и не думает о встрече с ним, он уклоняется от этой встречи, а встретившись, не обманывает Сарафанова просто так, из злого хулиганства, а скорее поступает как моралист в некотором роде. Почему бы этому (отцу) слегка не пострадать за того (отца Бусыгина)? Во-вторых, обманув Сарафанова, он все время тяготится этим обманом, и не только потому, что — Нина, но и перед Сарафановым у него прямо-таки угрызения совести. Впоследствии, когда положение мнимого сына сменяется положением любимого брата — центральной ситуации пьесы, обман Бусыгина поворачивается против него, он приобретает новый смысл и, на мой взгляд, выглядит совсем уже безобидным, где же во всем этом жестокость? Алексей Дмитриевич! Вы нянчили обе пьесы, вы всегда были ко мне добры. Заступитесь!»

Я пытался сколько мог, воздействовать на своего строгого коллегу, но ни его, ни другого начальника, ведавшего театрами, мне не дано было убедить. Как мне говорили, окончательно дело погубила моя неосторожная фраза о тонкости вампиловской драматургии, которая доступна не каждому,— что делать, ошибся...

Да, так поначалу было — увы. Но бросить в них камнем за это сейчас вряд ли разумно. Что такое талант, если разобрать? Наверное — способность нести людям что-то принципиально новое, какой бы области это ни касалось. Естественный же драматизм положения состоит в том, что мы, как правило, не склонны сразу осваивать новое, мы просто не в силах это сделать — такова наша природа, к новому нам нужно привыкать,

иначе какая же это будет новизна? А пока идет процесс этого освоения, ничего не поделаешь — талант, страдай!

Допустим, в будущем наше коммунистическое общество сможет добиться предельного сжатия этих неизбежных сроков — пока же будем скромны и не станем себя выделять, ссылаясь на наш гуманистический, передовой строй. Такое положение с Вампиловым тогда существовало.

Приходя в министерство за новостями, Саша появлялся у нас на Неглинной обычно в сопровождении какого-нибудь товарища, державшегося всегда в почтительном отдалении, так как и на таком расстоянии чувствовалось легкое дуновение хлебного вина, которым не пренебрегал при случае и Саша,— это даже шло к нему, тем более что в любых своих проявлениях Саша был безукоризненно изящен и сдержан.

Желая упрочить связи Вампилова с руководством, я решил устроить встречу Саши со своим старшим товарищем, о котором я уже говорил. Я знал, как благосклонно тот относится к молодежи, и рассчитывал на огромное Сашино обаяние. Он охотно откликнулся на мою просьбу о встрече — ему самому интересно было взглянуть на молодого человека, о котором уже шли разговоры как об обещающем драматурге. «Введение во храм» состоялось во второй половине 1967 года. Саша в это время был на втором курсе Высших литературных курсов, заканчивал пьесу «Утиная охота». Я подвел Вампилова под «благословение» шефа. Высокий, как я уже говорил, добрый человек ласково встретил Сашу. С высоты своего немалого роста он с искренним доброжелательством взирал на невысокого юношу, представшего перед ним. Поскольку время было предпраздничное и вся страна готовилась к встрече общенародного праздника — пятидесятилетию Великой Октябрьской революции, вполне естествен был вопрос, с которым он обратился к Саше: каким творческим взносом готовится он отметить такую священную для каждого человека дату? Какую сторону нашей жизни он стремится увековечить, чтобы в общий фонд праздничных достижений вложить и свой подарок? Саша ответил на вопрос какой-то общей фразой. Потом наступила маленькая пауза, и я увидел на лице Саши столь знакомую мне полуулыбку, добрую, чуть насмешливую, одновременно подчеркнутую дымкой какой-то задумчивой грусти. И я понял, что в эту ми-

нуту из нас троих самым взрослым был он — по сравнению с нами, великовозрастными дядями, совсем еще мальчик! В выражении Сашиного лица, в его мудрой, всепонимающей улыбке было как бы снисхождение к нам, к нашим, в общем-то, близоруким расчетам, словно Саша хотел нам сказать — магии дат для искусства не существует, как бы значительны они ни были. Будто сквозь свой «магический кристалл» он видел время, когда «Утиная охота», как и прочие его творения, с трудом проникшие на наши сцены, пусть не к пятидесятой, так к шестидесятой и к семидесятой годовщине Великой Октябрьской социалистической революции наверняка будут подлинным праздничным подарком своему народу, станут нашей национальной гордостью...

Постепенно «Прощание в июне» и «Предместье» стали появляться на сценах областных центров. Театры получали разрешение на постановку в своих местных организациях, но ни Москва, ни Ленинград пока не откликнулись на появление на небосклоне отечественной драматургии новой звезды.

Первым нарушил молчание ленинградский режиссер Ефим Падве, поставивший у себя в областном театре «Старшего сына». Этому событию предшествовала поездка Саши в Калинин на спектакль «Сына». Вернулся он оттуда несколько растерянным. Его смутила нарочитая театральность постановки, чего он, по сути своей пьесы, никак не предполагал. Когда Падве сообщил Саше по телефону о желании поставить его пьесу, тот осторожно осведомился — не будет ли повторена эта, не принятая им, условность трактовки? На это Падве, по словам Саши, бодро заверил его: «Нет, нет, все будет, как в жизни,— и после секундной паузы добавил:— Вплоть до абсурда». Мы с Сашей немало посмеялись тогда над подобным заверением — абсурдизма нам не хватало ко всему прочему, но, когда Саша поехал в Ленинград, он убедился, что все в порядке, спектакль получился прекрасный, с полным пониманием авторской драматургии, то есть сложным соединением реализма с долей некоторой фантасмагоричности, что присутствует во всех пьесах Вампилова. Этот спектакль и открыл столичный счет вампиловских премьер.

А что же Москва? Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается.

Верные паладины творчества Вампилова в Москве, завлит Театра Ермоловой Елена Якушкина и ставший

там главным режиссером Владимир Андреев, стали «пробивать» «Старшего сына» в Московском управлении культуры. И снова тот же вопрос: на каком основании Бусыгин заявляет, что он сын Сарафанова, когда он не сын Сарафанова? Мы часто встречались с Сашей в это время, стараясь найти какую-то зацепку в пьесе, которая умилостивила бы наших начальников — столь строгих ревнителей логики в драме. В отчаянном желании раз и навсегда ликвидировать эту проблему в «Старшем сыне» я задумался над тем самым куском, где Бусыгин и Сильва встречаются с Васенькой и где Бусыгин достаточно нагло объявляет, что он сын Сарафанова. И тут мне показалось, что мой милый начальник министерского управления не так уж был не прав и что Сашины ссылки на «идейность» этого заявления не очень-то прочны. Я посоветовал Саше попробовать — не стоит ли сделать так, чтобы после выспренной фразы Бусыгина Васеньке о том, что человек человеку брат и что вот этот брат, голодный и холодный, стучится в дверь с надеждой, что его пригреют, примитивный Сильва, которому хочется поскорее выпить, переводит эту фразу на конкретный язык родственных отношений, к великому изумлению не только Васеньки, но и самого Бусыгина. Психологически это было бы оправданней и раз навсегда сняло бы роковой вопрос — почему сын, когда он не сын? Саша принял мое предложение, переделал кусок, включил в канонический текст, но... даже такой героический акт не произвел должного впечатления... Единственным удовлетворением для меня было то, что эта существенная поправка вошла во все последующие издания пьес Вампилова, во все спектакли, но для Саши неудача в то время была особенно горька...

Однако театр, если он чего-либо действительно хочет, в конце концов одолевает все преграды! Олегу Ефремову понадобилось шесть лет, вплоть до своего восшествия на престол главного режиссера МХАТа, чтобы поставить полюбившуюся ему пьесу Михаила Рощина «Старый Новый год». Добился своего и Театр Ермоловой — благодаря, как я уже сказал, упорству и настойчивости Якушкиной и Андреева, который сделал театр Вампилова своей художественной программой. Среди прочих спектаклей по пьесам Вампилова он великолепно поставил и «Прошлым летом в Чулимске»...

Раздумываешь — где секрет такого, теперь уже все-

мирного успеха вампиловского театра, в чем же содержится так называемая «загадка Вампилова», как модно теперь выражаться? Ведь в ряду поисков сверхсовременной театральной выразительности его пьесы, казалось бы, традиционны, в них все, как говорится, на месте, люди внешне понятны, приметы жизни — достоверны... Но не присутствует ли и здесь, в его творениях, все та же полуулыбка, всегда несколько отрешенная от того, что происходит ежеминутно, проникающая за пределы видимого нами, обнажая гораздо большее, чем нашим взорам доступно? Все, как в жизни, вплоть до абсурда... Нет, не вплоть, а через него — к высшим постижениям Человеческого... И не является ли эта вампиловская улыбка еще одним отражением легенды о «загадочной славянской душе», что так стойко продолжает бытовать в Европе, легенде, помноженной теперь на суеверное изумление феноменом советской жизни, с точки зрения европейского мещанина, насквозь дестабильной? Именно через эту внешнюю кажущуюся ему дестабильность всемирный обыватель не в силах проникнуть в великую суть нашего бытия, нацеленного на мировое Завтра, чтобы оценить постоянные, немалые жертвы, которые мы во имя этого Завтра, несущего миру мир, ежечасно приносим...

Я пытаюсь отбросить уже ставшие почти легендарными напластования, которые связаны с его именем, стараюсь представить Сашу таким, каким я его знал. Меня всегда поражал его взгляд, которым он как бы насквозь прошивал людей — все с той же полуулыбкой, чуть насмешливой, чуть стеснительной... Разные люди обсуждали его произведения, говорили ему умные слова, он вежливо слушал, помалкивал и все смотрел, смотрел... И те, кто был ему внутренне чужд, постепенно замолкали, терялись и расставались с Сашей, странно смятенные... Нередко мне приходилось в то время — Саша учился тогда. на Высших литературных курсах — слышать слова, произносимые даже с какой-то обидой: «Ваш Вампилов!» Видимо, что-то уж очень свое, самобытное, непреклонно отстаиваемое пробивалось сквозь его милую скромную внешность.

— О-о, этот Вампиров!— говорил Александр Трифонович Твардовский, захаживая к Саше на огонек в дачном писательском поселке на Пахре, где Саша зимовал на даче Бориса Костюковского. В сознательное изменение фамилии Саши Твардовский, по-видимому, вкладывал

какой-то особый, пронзающий смысл... Рассказывая о встречах с Твардовским в те зимние вечера, Саша восхищался глубиной поистине пророческих откровений этого огромного русского художника, которыми он делился с Сашей и его друзьями, говоря о великой гуманистической миссии русской литературы...

Дружилось нам с Сашей хорошо. Для меня и для всей моей семьи Саша был всегда желанным гостем. Хорошо нам было с ним и за лафитничком зелена вина в нашей тесной кухне, и когда Саша выходил на люди, брал гитару и играл... Играл он поразительно. Обычно он импровизировал что-то свое, но играл сказочно музыкально— такой игры я ни у кого не слышал... А как он пел — особенно «Утро туманное», да и другие хорошие песни...

Вспоминаю: Саша частенько предлагал: «Давайте напишем с вами одноактную пьесу!» Я смеялся — действительно, зачем обязательно вдвоем? Саша настаивал — и мне это было приятно. Я понимал, что таким несколько неожиданным способом драматург Вампилов, мой друг, выражает свою симпатию ко мне. Любая чрезмерность в проявлении чувств была Саше органически чужда. Он обладал редкой способностью снимать пафос с любой ситуации, никого не обижая при этом, всегда с неподражаемым вампиловским юмором. Одно уже это свойство обеспечивало ему непрерываемое лидерство в молодежных компаниях.

Помню, идем с ним как-то по Кузнецкому мосту. Я горячо убеждаю Сашу (я тогда был его педагогом), что человек всегда должен ставить перед собой пусть небольшую, но вполне конкретную цель. Для наглядности я в пылу доказательства даже показал двумя пальцами, какой может быть размер этой цели. Взглянув на Сашу, чтобы проверить, насколько дошел до него мой призыв, я изумился — в глазах Саши плясали бесенята. Он с нескрываемым удовольствием смотрел на меня — и тут только я оценил юмор ситуации: стремясь непроизвольным жестом подкрепить свою мысль, я не заметил, как мои два пальца, большой и указательный, намечая примерную величину цели, довольно точно определили уровень ста граммов в стакане с живительной влагой. Я захохотал, Саша ко мне присоединился. Мы тут же решили претворить мою мысль, выраженную столь наглядно, в конкретное действие, двинулись в ближайший ресторан и продолжили нашу беседу о

целях, которые нам предстояло достичь, закрепляя свои рассуждения традиционным, освещенным веками способом...

Весной семьдесят второго года, встретив Сашу на улице Горького и условившись с ним о встрече через месяц, мог ли я предположить, что больше никогда его не увижу...

Плачь, муза, плачь...

ПАРАДОКСЫ АЛЕКСАНДРА ВАМПИЛОВА

ПОСЛЕСЛОВИЕ

«Случай, пустяк, стечение обстоятельств иногда становятся самыми драматическими моментами в жизни человека»— мало кто, даже из любителей и поклонников творчества А. Вампилова знает, что именно с этих, пророческих и по отношению к нему самому, слов начался его путь в литературу. Теперь, уважаемый читатель, когда вы прочли воспоминания друзей Вампилова и знаете трагические обстоятельства его гибели, согласитесь, приведенные выше начальные слова его первого опубликованного рассказа обретают особое смысловое значение... Тем более если учесть, что тогда, в апреле 1958 года, их автору — студенту филологического факультета Иркутского государственного университета, в газете которого под псевдонимом «А. Санин» и был впервые опубликован рассказ «Стечение обстоятельств» (позднее давший название и его первому сборнику рассказов — Иркутск, 1961) — было всего 20 лет... Судьба отпустила ему до обидного мало — только одиннадцать лет литературной работы, за которые он параллельно с произведениями «малых жанров» (всего около 70 названий) успел создать четыре «большие» — «Прощание в июне» (1964), «Старший сын» (1965), «Утиная охота» (1968) и «Прошлым летом в Чулимске» (1971) — и три одноактные пьесы — «Дом окнами в поле» (1964), «Двадцать минут с ангелом» (1962) и «История с метранпажем» (1971). (позднее «...ангел» и «...метранпаж» были объединены под общим названием «Провинциальные анекдоты») плюс оставшиеся незавершенными «Насравненный Наконечников» и «Квартирант»... Однако этого небольшого по объему и, на первый взгляд, очень скромного перечня с лихвой хватило не только на то, чтобы «вписаться»

в современную ему драматургию, но и на то, чтобы, став вполне самостоятельным явлением, именуемым ныне как «театр Вампилова», качественно новым звеном продолжить золотую цепочку русского классического театра, еще раз упрочив его мировую славу. Этот «Несравненный» Вампилов не только в свое время оказал, но и продолжает всем своим творчеством оказывать весьма ощутимое влияние на развитие современного сценического искусства. И чем дальше отодвигает нас быстротечное время от страшной непоправимости вампиловской финишной точки, тем явственнее это влияние, и тем острее чувство невосполнимости от этой преждевременной утраты...

К сожалению, как это часто бывает с современниками, мы до обидного мало знаем биографию Вампилова. На вид она так же проста, как биографии тысяч и тысяч его сверстников: родился... учился... по окончании поступил... работал... — событийный ряд, на первый взгляд, и прост, и прям... Однако при заполнении многоточий после этих «родился» — в 1937 году, «учился» — в ИГУ, «кончил» — ВЛК... скромными анкетными данными Александра Вампилова явная предопределенность его писательской судьбы становится очевидной. Вглядимся повнимательнее в строки документов, ныне имеющих для нас, признавших наконец законы Генетических Тайн таковыми, совсем — ведь речь идет о Писателе теперь уже с мировым именем!— особое значение.

«...Дорогая Тася!.. Живем по-старому. Взяли прислугу. Порекомендовала Горохова. Девица 17 лет, из деревни... 35 рублей в месяц плюс кофта и юбка на всю зиму. Горохова очень рекомендует.

На всякий случай — не отказывайся совсем от сиделки, которая изъявила желание.

Работаю над докладом. Пурхаюсь, как обычно. Всегда поручают перед самым началом. Не могут заранее. Тема определенная, развернутая, но материалов нет. Высасываю, как всегда, из пальца.

Ну, как твои дела? Еще раз прошу тебя не нервничать, не беспокоиться.

Я уверен, все будет хорошо. И, вероятно, будет разбойник — сын, и боюсь, как бы он не был писателем, так как во сне я все вижу писателей.

Первый раз, когда мы с тобой собирались, в ночь

выезда, я во сне с самим Львом Николаевичем Толстым искал дроби, и нашли. Ему дали целый мешочек (10 кг), а мне полмешка. Второй раз в Черемхове, ночуя в доме знакомого татарина, я во сне пил водку с Максимом Горьким и целовал его в щетинистую щеку. Боюсь, как бы писатель не родился...

Сны бывают часто наоборот, скорее всего будет просто балбес, каких много на свете. Лишь бы был здоровый — мог бы чувствовать всю соль жизни под солнцем.

Пиши, как что. Если нужно — плюну на доклад и выеду. Сообщи, нужно ли на лошади заехать на квартиру свою, когда поеду за тобой.

Договорились предварительно насчет лошади до родилки».

И чуть позднее: «Дорогая Тася, не успел запечатать предыдущее письмо, как зашла старуха с телеграфа с телеграммой.

Молодец, Тася, все-таки родила сына. Мое предчувствие оправдалось... сын. Как бы не оправдал второе...

Очень рады, что все благополучно, нормальная температура и прочее.

Здоров ли мальчик? Не замухрышка ли? Интересно, какая из акушерок дежурила, обошлась ли без помощи врача? Не беспокойся ни о чем.

Валентин.

Не назвать ли его Львом или Алексеем? У меня, знаешь, вещие сны»[1].

Воистину, как сказал поэт: *«Бывают странны сны, но наяву чуднее...»* Перед нами бесценные документы прошлого — выдержки из писем отца Вампилова в родильный дом поселка Черемхово, где 19 августа 1937 года его жена Анастасия Прокопьевна Вампилова-Копылова родила их четвертого по счету ребенка... Тот, 37-й год вошел в историю еще и как год столетия со дня гибели Александра Сергеевича Пушкина, и именно в его честь родители назвали новорожденного Александром. Увы, его отцу — Валентину Никитичу Вампилову, выходцу из многодетной семьи бурятских крестьян, по воспоминаниям современников, личности яркой и незаурядной, было не суждено принять участие в воспитании млад-

---

[1] Письма В. Н. Вампилова, воспоминания А. П. Вампиловой-Копыловой и К. Н. Токтоновой//Лит. обозрение.— 1983.— № 8.

шего сына. Трагически рано ушедший из жизни в то, теперь уже всем известно об этом, особо трудное время, директор Кутуликской средней школы, человек большой эрудиции, до самозабвения влюбленный в литературу,— таким надолго запомнился он тем, кому довелось знать Валентина Никитича. Жители Кутулика до сих пор помнят вечер, посвященный величайшему поэту России, на котором скромный учитель литературы, отложив в сторону приготовленные им записи, наизусть читал стихи Пушкина... Но нет,— при всем нашем уважении к памяти Валентина Никитича — мы совсем не склонны мистифицировать смысл отдельных фраз из его писем, приписав ему особую прозорливость в отношении судьбы младшего сына. Совсем нет. Скорее, наоборот: мысль об отце, которого Александр был лишен с самого раннего детства, не могла не беспокоить его, и как результат размышлений о человеке, давшем ему жизнь, позаботившемся о том, чтобы у него, тогда еще только родившегося, было полное собрание сочинений великого Пушкина, в честь которого он получил и свое имя,— скорее, повторяем, наоборот, можно предполагать, что, зная содержание этих писем к матери, Александр Вампилов всю свою сознательную жизнь стремился отдать отцу Сыновний Долг: *приняв для себя за должное отцовские предсказания, он с честью выполнил их...* И, видимо, подобно тому, как воображение печально известного принца Гамлета настойчиво тревожила тень его убиенного отца, так и образ трагически рано ушедшего из жизни Валентина Никитича постоянно жил в душе его младшего сына: почти в каждой вампиловской пьесе нет-нет да и мелькнет тема безотцовского сиротства. И хотя чаще всего — как в «Старшем сыне», «Прощание в июне» или в «Прошлым летом в Чулимске»— диалог на эту тему, как, впрочем, почти всегда у Вампилова, звучит озорно, остроумно и весело, однако при большем внимании вдруг отчего-то пронзительно щемит сердце...

«...После гибели мужа я осталась работать преподавателем математики в той же школе поселка Кутулик, где мы вместе начинали учительствовать. Долгих двадцать два года прожила я с детьми в поселке, в бревенчатом доме барачного типа, где когда-то на пути в Александровский централ был пересыльный пункт

каторжан. Дом стоял на школьном дворе — там и вырос Саша. Кутулик по праву он считал своей родиной...»

Так скупо говорит о своей личной судьбе Анастасия Прокопьевна, скромная русская женщина, которой,— и это тоже пока еще малоизвестный для вампиловедов факт,— Валентин Григорьевич Распутин посвятил свой знаменитый на весь мир рассказ «Уроки французского», приурочив его публикацию к годовщине гибели друга. Отзывчивый и вместе с тем строгий характер Анастасии Прокопьевны, вне сомнений, оказал на формирование личности будущего писателя доминирующее влияние. *«Это была удивительная семья, по-настоящему интеллигентная, где благородство отношений ценилось превыше всего»* — так характеризует семью Вампиловых коллега Анастасии Прокопьевны, учительница Кутуликской средней школы Клавдия Николаевна Токтонова, которая была классным руководителем в классе, где учился Саша Вампилов. И здесь, прежде чем продолжить воспоминания Анастасии Прокопьевны, нам, думается, уместно предоставить слово Клавдии Николаевне, потому что в ее воспоминаниях есть то, о чем — по скромности — умалчивает Анастасия Прокопьевна и что для будущих биографов Александра Вампилова воистину бесценно — мы имеем в виду те детали и подробности быта, по которым можно судить об условиях жизни семьи будущего писателя.

«...Анастасия Прокопьевна работала многие годы завучем. И нас, молодых, она учила не только профессиональным навыкам и педагогическому мастерству, но и урокам жизни...

При мысли о Саше встает в памяти подросток с задумчивыми темными глазами и копной кудрявых волос.

В те далекие пятидесятые годы жили мы все материально плоховато. Особых развлечений не было, да и какие развлечения могли быть в маленьком бурятском поселке? Но мальчишки тех лет умели радоваться каждому дню, любили жизнь.

Верховая езда, тайга, катание на лодках, а зимой на лыжах, самостоятельные импровизированные вечера, долгие споры о литературе в потемневших классах при освещении пламенем топившейся печки, дрова для которой они запасали сами,— вот круг их занятий и интересов.

Но какая духовная жажда отличала то послевоенное поколение мальчишек и девчонок!

Саша не отличался буйным темпераментом, хотя ничто мальчишеское не было ему чуждо. Одет он был, как и многие, повседневно в спортивную форму — шаровары, тапочки; зимой — телогрейка, простая клетчатая рубашка, простиранная и чиненная не однажды матерью.

Таким он мне и запомнился.

Помню еще, какой радостью сияло лицо Саши, когда Анастасия Прокопьевна купила ему к выпускному вечеру первый в его жизни костюм!..»

А теперь слово самой Анастасии Прокопьевне:

«...Каким он был, каким рос?— часто теперь спрашивают меня и близкие и совсем незнакомые люди в письмах из многих городов страны. Пишут из Болгарии и Польши, Финляндии и Франции — из тех стран, где театры ставят его пьесы.

Проявился ли в детстве драматургический талант, выделялся ли он среди своих сверстников в отрочестве?

Драматургический, наверное, нет; человеческий — да, хотя мне трудно говорить о каких-то особенных чертах его характера и впечатлительной натуры.

Он не выделялся среди остальных моих детей — когда родился Саша, у меня росли Володя, Миша и Галя. Был спокойным и любознательным, любимцем братьев и сестры — младший ведь! Любил книги, особенно сказки, которые читала и рассказывала ему бабушка.

Мама моя, Александра Африкановна, нежно любила Саню, жалела, и он буквально вырос у нее на руках.

Мама умерла в девяносто два года, за три с половиной года до Саниной гибели.

В школе он ничем не выделялся среди своих товарищей, которых у него всегда было много. Получал пятерки по литературе и не ладил с немецким языком. Увлекался сразу и музыкой, и спортом, и драматическим кружком.

Уходил в туристские походы на несколько дней или просто уезжал на лодке или на велосипеде в соседнее село с драмкружком или футбольной командой. Я иногда очень беспокоилась за эти отлучки. Любовь к путешествиям по родной земле он сохранил до конца своей короткой жизни.

Собирал по округе бездомных собак и кормил их. Всегда у нас во дворе кто-нибудь жил — то Буска, то Пират, то Лайка. Когда Пират пропал, Саня бродил по лесу три дня и звал его — может, отзовется?

Хорошо играл на гитаре и немного пел. И гитара была у нас фамильная — прадедушкина. Позднее стал увлекаться классической музыкой — Бетховеном, Моцартом, Глинкой.

Много читал — библиотека осталась у нас от моих родителей: Пушкин, Лермонтов, Чехов, Есенин, Толстой.

Любимым писателем в школе был Гайдар. Его «Голубую чашку» он читал наизусть... Знали мы, что писал Саня в школьные годы стихи, но никогда никому не показывал. Скрывал.

Был бессменным членом редколлегии школьной газеты и хорошо рисовал.

Общительность, расположение к людям, доверчивость и открытость — черты его характера. Могу сказать, что людей и жизнь он любил всегда...

Рассказы он начал писать еще на первом курсе университета. Но когда, однажды приехав на каникулы, он доверительно поделился со мной, что задумал написать пьесу, я выразила сомнение, по силам ли ему это. Саша сказал: «Ты, мама, не веришь в меня»,— я ответила: «Матери всегда должны быть строги к своим детям и их способностям...»

Незадолго до гибели Саша, помню, по-хорошему попрекнул: «А ведь ты, мама, не верила в меня».

Подарив мне пьесу «Старший сын», изданную в Москве, он написал на обложке: «Дорогой маме от младшего сына». Я часто читаю и перечитываю эту надпись...

И действительно, мы, родные, долго не видели в Саше таланта. Он не любил говорить о себе, об успехах и о работе. Да и не так много было у него этих успехов — трудно ему приходилось...»

Действительно, подлинная Слава пришла к Вампилову, когда его уже не было в живых. Но, как это часто бывает с большими художниками — и примеров тому великое множество — у него было предвидение завершения собственной судьбы. *«Чтобы добиться признания, надо или уехать, или умереть»* — так, с юмором, сформулирует он сам Закон Большого Успеха в своей ранней пьесе «Дом окнами в поле». И при всей объективности воспо-

минаний Анастасии Прокопьевны, думается, в отношении успехов собственного сына она не совсем права. Успехи были — любая из «больших» пьес А. Вампилова, искрящаяся юмором, простая с виду, но очень тонкая по наблюдениям, открытиям тем и характеров, могла бы, подобно грибоедовскому «Горю от ума», сама по себе составить славу отечественному театру. Не успехов не было — не было того Признания, которого Вампилов как драматург был достоин.

Сопоставим, уважаемый читатель, *«Боюсь, как бы писатель не родился...»* — отца, и *«мы, родные, долго не видели в Саше таланта»* — матери... Не правда ли, есть от чего душе смутиться... Но, как говорится в таких случаях — *«большое видится на расстоянии...»*.

«Кутулик он по праву считал своей родиной...» Помнится, еще Александр Блок в разговоре с навестившим его совсем еще юным Сергеем Есениным говорил о том, что для поэта родина имеет особое значение. Смысл его размышлений,— и Блоку можно верить, ибо, потеряв особо дорогое для него Шахматово, он всем своим существом выстрадал это понимание,— сводился к тому, что без родины нет и не может быть настоящего художника. И для понимания истоков творчества Александра Вампилова, следует сказать несколько слов и о его родине — старинном сибирском селе Кутулик Аларского района Иркутской области. «Деревянный, пыльный, с огородами, со стадом частных коров, но с гостиницей, милицией и стадионом, Кутулик от деревни отстал и к городу не пристал. Словом, райцентр с головы до пят. Райцентр, похожий на все райцентры России, но на всю Россию все-таки один-единственный...— так впоследствии охарактеризует сам А. Вампилов свою малую родину.— ...Травы пахнут здесь сильней, чем где-либо, и нигде и никогда я не видел дороги заманчивей этой вот, что по дальней горе вьется среди берез и пашен. Кутулик в переводе с бурятского означает «яма», но, уважаемый читатель, взгляните попристальнее на этот очерк А. Вампилова, написанный, когда ему уже исполнилось 30 (1968 г.) и он уже поездил по России, окончил Иркутский университет и Высшие литературные курсы в Москве, вчитайтесь повнимательнее в простые строчки этого незатейливого по композиции очерка (прогулка первая,

прогулка вторая... прогулка последняя...) и вы, конечно же, почувствуете всю сыновью любовь Вампилова к стране своего детства и, вне сомнения, еще раз ощутите неповторимость и сложность его личного духовного мира.

«После школы, помню, уезжал я без сожаления, рвался в город, но все же, когда был студентом, приезжал сюда чаще — каждое лето. Затем друзей и знакомых я находил здесь все меньше и меньше, почти все мои сверстники давно разъехались по городам, иные, что постарше или помоложе, меня уже забыли, иные сами изменились до неузнаваемости, и вот уже поневоле я чувствую и сознаю здесь свое одиночество.

Но, отдаляясь, не чаще ли я стал возвращаться сюда в своих мыслях?»— Не правда ли, как просто? Но это и есть один из основных признаков таланта — писать просто о сложном и, не прячась за словами, не жонглируя ими, раскрывать самого себя, ибо в конечном итоге без такого личностного раскрытия невозможно стать Писателем. Вот почему в любом рассказе или очерке Александра Вампилова, наряду с их героями, вымышленными или действительно существовавшими, всегда ощутимо присутствие автора. Это может быть меткое наблюдение, точное сравнение, сжатая до афористичности мысль,— но и на малой площади «малого жанра» А. Вампилов не только сумел точно выразить свое время, но и предвосхитить многие проблемы будущего, а именно это качество отличает истинного Писателя от просто пишущего. Вот скромные на первый взгляд «Шорохи», в подзаголовке обозначенные как «Рассказ ночного сторожа»,— здесь есть предвосхищение «дневных» краж,— «воруют-то днем!»— и рядом совсем, как мы теперь понимаем, не смешная реплика о ставших ныне притчей во языцех очередях: «Я,— говорит,— стал продавцом потому, что не хочу загубить свою молодость в очередях»... Или совсем миниатюрная («трагическая», как определено в подзаголовке) сценка-монолог «Месяц в деревне, или Гибель одного лирика». Сквозь блестки вампиловского юмора прорывается на свет тема вынужденной неженственности женщины, когда она поставлена в соответствующие условия... Тема, над которой теперь бьются социологи, психологи, литературоведы, искусствоведы и прочие «...веды»: эмансипировав женщину, взвалив на нее двойную ношу работы, общественных нагрузок и семейных забот, мы почти лишили ее таких исконных качеств, как душевная и физическая нежность. И хотя мы не

можем сдержать улыбку при фразах: «...Она-то! Она! Сегодня я видел, как она грызла кость. Урчала и чавкала, как голодный динозавр. Это она, та, около которой я боялся дышать, чтобы не сдуть, как пушинку, с которой я говорил только рифмами, чтобы не оскорбить ее слуха. Родная сестра Лауры, Беатриче, Керн, она ворует дрова и ругается с кладовщиком, который вместо междометий употребляет самые последние ругательства. Вчера она заработала два трудодня и... сколько радости, какой восторг!.. Два трудодня — праздник души, именины сердца! Тьфу! Когда я читал ей самые красивые и самые нежные свои вещи, она не улыбалась так, как улыбалась на комплимент Яшки-механизатора насчет того, что она сама завела зернопогрузчик»,— согласитесь, уважаемый читатель, улыбка эта весьма грустная...

А рассказ «Успех»? Смешной, не правда ли? Жених наговаривает на себя, неся явную околесицу, что он-де и плут, и вор, и что по нему в конечном итоге тюрьма плачет, и вдруг, когда он ждет, что его сватовство расстроится и его выгонят из дома, совсем противоположный результат — он принят и обласкан будущей тещей... Это ли не предвидение темы шукшинских «Энергичных людей»— того, что теперь определено как бездуховность и приспособленчество...

А вот и «Старший сын»— тема брошенных матерью детей, которых воспитывает скромный Сарафанов. Сейчас наша пресса буквально криком кричит о страшных последствиях материнского «кукушества», а ведь «Старший сын»— как мы уже говорили выше, был написан Вампиловым в 1965 году!

Или «Прощание в июне» — при всем блеске вампиловского юмора, остроумии диалогов и парадоксальности многих ситуаций, при явном сочувствии к далеко не бездарному и не лишенному обаяния студенту Колесову вдруг возникает тема нравственного компромисса: поставленный в щекотливое положение Колесов только ценой отказа от брака с любимой девушкой (она дочь ректора института, в котором учится Колесов) может получить желанный диплом... Сколько упреков обрушила тогда критика в адрес молодого драматурга за очернительство действительности! А теперь — о гримасы жизни!— эта тема даже в самых официальных документах сводится к краткой формуле «ты — мне, я — тебе». И это не единственное открытие «Прощания в июне», пьесы, от которой — мы об этом еще скажем чуть ниже — Алек-

сандр Трифонович Твардовский, прочтя ее, пришел в восхищение...

А «Утиная охота»? Самая смешная и самая грустная пьеса А. Вампилова, по праву считающаяся вершиной его драматургии, горький опыт создания и «пробивания» которой способствовал рождению грустного наблюдения — «не ищите подлецов — подлости совершают хорошие люди...» Именно здесь, в «Утиной охоте», мы впервые встречаемся с казавшимися тогда неожиданными приметами скепсиса молодых с одной стороны — Зилов, и удивительного, доходящего до жестокости прагматизма другой части молодежи, полноправным представителем которых является официант Дима... Теперь обе эти темы, чутко уловленные в свое время А. Вампиловым и в яркой гротесково-реалистичной форме запечатленные в лучшей из его пьес, стали ныне предметом специальных социологических исследований и темой многих публицистических статей... И этот перечень Вампиловских мини-открытий можно продолжать, потому что и в любом его рассказе при всей малости их объема и кажущейся, в сравнении с иными эпохальными романами, мизерности их тем есть ростки того (увы, чаще всего негативного) нового, что, едва зародившись в то время, расцвело ныне до того ярко и бурно, что борьба с этими явлениями ведется уже на уровне правительственных постановлений и введения новых государственных законов...

Нет, он не стремился «изобретать велосипед» или «открывать Америку» в отношении формы и содержания своих произведений.

«Казалось бы, да,— говорит В. Распутин,— и в рассказах, и в пьесах (и даже в газетных очерках — когда Вампилов работал в газете) старые, знакомые истины. Он не пытался выдумывать новые, их нет, он ставил лишь их в нынешние условия, и они начинали звучать по-новому. Вечные, как день и ночь, нетускнеющие, нестареющие темы искусства, которые никогда не перестанут волновать человечество,— жизнь и смерть, любовь и ненависть, счастье и горе, совесть и долг. Каждое новое время приносит в эти понятия свои отличительные признаки, они-то и метят время, но сами эти понятия при всей их сложности и хрупкости остаются неизменными.

Кажется, главный вопрос, который постоянно задает Вампилов: останешься ли ты, человек, человеком? Сумеешь ли ты превозмочь все то лживое и недоброе,

что уготовано тебе во многих житейских испытаниях, где трудно стали различимы даже и противоположности — любовь и измена, страсть и равнодушие, искренность и фальшь, благо и порабощение...»

Прекрасно зная и любя отечественную литературу, А. Вампилов сознательно следовал ее традициям. Чеховское начало — реализм в пьесах и немногословная гротесковость рассказов, свойственная «Чехонте»,— вполне ощутимо в вампиловских произведениях. Чехова, как отмечают друзья Вампилова, он знал и очень любил, как знал и любил Гоголя и — особенно — Достоевского.

Но одно, далеко идущее лично для него, «открытие Америки» у Вампилова все же состоялось: влияние одного из интереснейших американских писателей на вампиловское творчество прослеживается очень четко. Мы, конечно же, имеем в виду блистательного О'Генри, сжатое по объему эссе о котором, на наш взгляд, содержит в себе и некоторые разгадки творческой тайны самого Александра Вампилова. Более того — осмелимся утверждать, что в этом эссе помимо вампиловского творческого кредо словно бы спроецировалась и его собственная Писательская Судьба.

«Враг лжи, несправедливости, тупости, в литературе он видел «средство добыть хотя бы крупицы правды». И он делал это как умел.

...Писать ему пришлось всего одиннадцать лет. За это время он создал 273 новеллы и один роман. Его рассказы — золотые россыпи юмористики. Пружина его рассказа — парадокс. Парадокс — повествование в диалоге, в действии. Парадокс — как точное средство мышления, как самое яркое и краткое выражение сущности нормального, обычного.

Но парадоксы не падают с неба. Их надо видеть на земле. И для этого у него был талант. В современном ему обществе истина была запрятана так глубоко и порой появлялась на поверхности таким неожиданным образом, что разглядеть ее дано было не каждому...

...Когда он стал мастером, он решил писать одну правду. Он задумал произведение, в котором хотел описать собственную жизнь так же, как у его героев,— полную превратностей судьбы.

Это сделать он не успел.

Избранные и переизданные у нас его книги сразу же стали популярными».

А чуть выше, в самом начале:

«Смешно и печально.

Таков юмор высшего сорта, юмор, наделенный чувством и мыслью...»

Именно такому юмору А. Вампилов отдавал предпочтение в своих произведениях. В любом его очерке, рассказе, и — особенно — в пьесах парадоксы разбросаны щедрой рукой. Он не отмерял и не «нормировал» их, наделяя ими и «проходные» газетные очерки, рассказы, пьесы и монологи — в одном только «Старшем сыне» их столько, что другому писателю хватило бы с лихвой на несколько произведений. Подобно горячо любимому им Антону Павловичу Чехову, Вампилов вел записные книжки, куда вносил запомнившиеся ему речевые обороты, «сюжеты для небольших рассказов», поразившие его мысли, которые затем так или иначе использовал в своих произведениях. Внимательный читатель легко проследит за этими реминисценциями. Вот, например: «...Сюжетец. Действие на станции. С поезда снимают двух безбилетников. Старый железнодорожник стыдит их. Они раскаиваются. Все трое растроганы. Поезд трогается — они вскакивают на подножки». Позднее этот сюжет он использовал в рассказе «Железнодорожная интермедия». Или: «Студент встречает девушку. Говорит о пренебрежении к деньгам, ведет себя богатым наследником. На самом деле нищ. Через некоторое время (случайно) нанимается колоть дрова у матери этой девушки. Девушка наблюдает за ним из окна влюбленными глазами» — это заготовка рассказа «Глупости»; или реплика — «как это скучно — любить за положительность»,— позднее в «Старшем сыне» эта мысль будет развита Вампиловым со всем блеском его таланта: чем больше безукоризненно «правильный» Кудимов будет доказывать любимой девушке, что он не может нарушить данное себе слово и просто так ни с того ни с сего опоздать в казарму, тем больше — о парадокс!— он будет падать в ее и наших глазах, ибо в его беспощадной правоте, в отличие от шалопутного «самозванца-сына» Бусыгина, не будет главного — сочувствия к ней и ее незадачливому отцу...

Или: «Сюжетец. У юноши болит зуб. Он идет к молодому технику (она). Он ей нравится, она затягивает лечение. Она его любит, он ее возненавидел» — будущий рассказ «Стоматологический роман». А вот — как в большинстве случаев, не без юмора — о любимом А. Че-

хове: «Сколько бы ни старались литературоведы, они никогда не сделают Чехова сухим и скучным писателем...» И вдруг — опять с пронзительной ясностью — о себе самом: *«...я смеюсь над старостью, потому что я знаю — я старым не буду...»*

К сожалению, малый объем этих заметок не позволяет нам далее углубиться в исследование творчества Александра Вампилова — это тема более подробного разговора, тема будущих исследователей. Наша задача гораздо скромнее: дать чуть более расширенное представление о жизненном пути Вампилова и тех его друзьях, которые, конечно же, не могли не оказать на него своего влияния, ибо давно известно, какое огромное значение для писателя имеет его окружение. Самый близлежащий пример — влияние современников Пушкина на его творческую и человеческую судьбу. А. Грибоедов и Н. Гоголь, М. Щепкин и Денис Давыдов, П. Вяземский и многие, многие другие — все они внесли свою лепту в пушкинскую копилку мыслей и чувств. Без единомышленников, как, впрочем, вероятно, и без антагонистов (*«Писать надо о том, от чего не спится по ночам»,*— говорил Вампилов), как и без Родины, видимо, потому, что и это есть ее частица, нет большого писателя. И в отношении друзей, как и в отношении драматургического таланта, Судьба была к Вампилову необычайно милостива и щедра. Виктор Розов, Афанасий Салынский, Георгий Товстоногов, Олег Ефремов и еще очень и очень многие — особенно театральные друзья и знакомые московского периода его жизни (в 1963—1965 гг. А. Вампилов — слушатель ВЛК при Литературном институте им. А. М. Горького),— их влияние на жизнь и мировоззрение Александра Вампилова еще предстоит подробно изучить и описать его будущим биографам. (Мы сознательно уходим здесь от театральной судьбы Вампилова, ибо все же основная цель этой книги — познакомить широкого читателя с его прозаическим наследием.) И Геннадий Машкин, Вячеслав Шугаев, Геннадий Николаев, Дмитрий Сергеев и еще многие другие, вошедшие в современную литературу под эгидой «иркутской школы»— таков далеко не полный перечень его друзей по Иркутску, ставшему для Вампилова его литературной Родиной. «— Есть много других городов, есть

много других женщин, улыбок, деревьев, фонарей. На свете есть много другого.

— Мне не надо другого. Мне нужен мой город, моя улица, моя женщина...»— с такого эпиграфа начинается вампиловский очерк «Билет на Усть-Илим». Таким особым, единственным для него городом и стал для Вампилова Иркутск, в котором ему,— за исключением двух лет, пока он учился в Москве,— довелось прожить основную часть сознательной жизни. Здесь, в Иркутске, он познал счастье любви и счастье отцовства, и именно здесь, в газете одного из стариннейших учебных заведений Сибири Иркутского государственного университета имени Жданова, он публиковал свои первые рассказы. И здесь же, в иркутской газете «Советская молодежь», куда с окладом в 500 руб. (по старому курсу) он был принят на должность стенографиста с месячным испытательным сроком,— где, кстати сказать, к тому времени немногим ранее уже работал в должности библиотекаря и Валентин Распутин,— он продолжал публиковать свои очерки (по заданию редакции) и рассказы. И здесь же — за что иркутянам огромное человеческое спасибо — впервые в альманахах «Ангара» и «Сибирь» увидели свет все его драматургические шедевры. Тема «Вампилов и Иркутск» огромна и неисчерпаема, и, как тема «Вампилов и Москва», она еще ждет своего часа... Но в перечне имен вампиловского круга друзей есть три имени, о которых в связи с ним необходимо сказать особо. Это — Валентин Распутин, Николай Рубцов и Александр Трифонович Твардовский.

«Саня Вампилов,— вспоминает прозаик Борис Костюковский,— обладал изумительным магнетизмом обаяния. К нему льнули люди. Невозможно даже объяснить, чем же он так притягивал к себе. Его редко можно было видеть одного, всегда вокруг него были друзья, товарищи.

Он притягивал к себе и людей воистину великих. Сто дней, целую зиму Саня прожил в Красной Пахре, в писательском поселке. И буквально с первых же дней он познакомился с Александром Трифоновичем Твардовским. И Александр Трифонович стал приходить на дачу каждый день. Его очень занимал Саня Вампилов. Александр Трифонович называл его «Саня Вампиров». «Ах, Вампиров,— говорил он,— до чего же хорошо». Он настоял, чтобы Саня прочел ему сцену, а потом Александр Трифонович в разгово-

ре со мной сказал: «А не можете ли вы сделать так, чтобы я прочел эту пьесу целиком?» И я дал эту пьесу ему.

Вот сейчас иногда говорят, что «Прощание в июне»— первая пьеса Вампилова — традиционна, а Твардовский просто поразился тогда. Он сказал: «Вот интересно, этого Золотуева он наблюдал в жизни или выдумал? Если наблюдал — прекрасно, если выдумал, еще более прекрасно. Что ж это за рыцарь наживы, что это за страсть! Это, видимо, человек талантливый, но только не туда был направлен».

Твардовский, прочитав пьесу, сказал: «Ох, Вампилов далеко пойдет... Очень далеко пойдет». Он испытывал к Сане истинную нежность».

К слову, о Золотуеве. Чуть выше, говоря об открытиях тем и характеров в тех или иных произведениях А. Вампилова, мы говорили и о «Прощании в июне». Но еще об одном открытии — увы, бесконечно печальном! — следует сказать именно здесь. Да, А. Т. Твардовский точно уловил золотуевскую страсть к деньгам, но это не просто стяжательство с целью наживы или обогащения — Золотуев копит деньги не просто так, а для дачи «сверх» высокой взятки, на которую, по его расчетам, «клюнет» честный следователь, с которым однажды столкнула его судьба. Студент Колесов, занятый собой и, казалось бы, беспечно внимающий речам доморощенного философа, на первый взгляд, бесконечно далек от всех этих золотуевских размышлений о том, что нет на свете неподкупных людей, дело только в цене... И вдруг, сам оказавшись в жизненной ловушке перед необходимостью выбора между любовью и возможностью закончить университет, платит за диплом необыкновенную дань: оказывается, отказ от любви тоже может быть данной кому-то взяткой... И в сравнении со всем ужасом поступка Колесова золотуевские деньги для следователя кажутся почти безобидной малостью. К такой, исключительно высокой ноте трагичности приводит А. Вампилов во многом по-настоящему смешную комедию о том, как прощаются в июне студенты, закончившие вуз...

Что же касается второй части свидетельства Б. Костюковского, то Александр Трифонович оказался прав: творчеству А. Вампилова было действительно суждено большое будущее...

...Законы композиции часто требуют того, чтобы произведение имело так называемую рамку, то есть чтобы начальная фраза, деталь или мысль произведения так или иначе возникали в его конце. Самый показательный пример в этом отношении — знаменитое гоголевское «К нам едет ревизор». Александр Вампилов как истинный мастер часто использовал этот прием литературы в своих рассказах и пьесах. («Старший сын» — опоздали на электричку; похоронный венок — в «Утиной охоте»; калитка, которую постоянно чинит Валентина в «...Чулимске»; хор — в «Доме окнами в поле» и т. д.) Воспользовавшись этим любимым Вампиловым «принципом рамки», мы, уважаемый читатель, еще раз предоставим слово ближайшему другу Александра Вампилова, с которым ему посчастливилось долгие годы идти по жизни,— Валентину Григорьевичу Распутину, ибо лучше его самого никто не расскажет об их отношениях. И ничего страшного, если какая-то мысль Валентина Григорьевича прозвучит дважды — объект и субъект разговора вполне достойны этого.

«Я думаю, что после смерти вологодского поэта Николая Рубцова не было у литературной России более непоправимой и нелепой потери, чем гибель Александра Вампилова. И тот и другой были молоды, талантливы, обладали удивительным даром чувствовать, понимать и уметь выразить самые тонкие и оттого неизвестные для многих движения и желания человеческой души. Они дружили меж собой, встречаясь в Москве, в общежитии Литературного института, пели под гитару одни песни и всегда относились друг к другу с нежным и внимательным участием. В таких случаях говорят: вместе пошли на свою судьбу.

Саша как раз и относился к тем людям, дружить с которыми ясно, хорошо и надежно. Я сошелся с ним в первые же наши университетские годы, вместе затем мы работали в газете, почти в одно время начали писать рассказы, вместе (в том числе Вячеслав Шугаев, Геннадий Машкин, Дмитрий Сергеев и Юрий Самсонов) обсуждались в 1965 году на Читинском семинаре молодых литераторов и были приняты в Союз писателей, а в последние годы довольно часто вместе оказывались в различных поездках. Случались у нас споры, к которым мы возвращались снова и сно-

ва, особенно когда дело касалось литературных привязанностей, случалось говорить друг другу не очень приятные слова, когда кто-то бывал не прав, но ни разу, сколько я теперь ни вспоминаю, не было в наших отношениях хитрости или какой-нибудь даже мало-мальской недосказанности. И благодарить за это прежде всего, конечно, нужно Сашу с его открытым, откровенным и честным характером, не выносившим никакой фальши. То же самое, я знаю, могут повторить о нем все те, кому довелось с ним дружить.

Мы звали его просто: Саня. Не ищите в этом имени оттенка небрежности или фамильярности, потому что любая форма человеческого имени прежде всего отражает его суть. Саня — это значит очень близкий, родной, но нерафинированный, неприглаженный, порой неожиданный в делах и чувствах своих человек. Такой он для нас и есть. Потом мы узнали, что точно так же с детских лет называла его мать Анастасия Прокопьевна, женщина удивительной доброты и чистоты, от которой Саня перенял многие самые лучшие свои качества, что так всегда звали его брат и сестра. Это было чуть позже, но как, каким образом то же звучание сразу, с первых дней знакомства с ним, передавалось нам,— непостижимо. Для этого надо быть человеком очень светлым. Я посмотрел сейчас в словаре: Александр в переводе с греческого — защитник людей. Так оно и было, именно такую роль ему судьба и готовила.

В последние годы ему приходилось читать много рукописей: и своих друзей и писателей совсем начинающих. Я знаю по себе, как трудно иной раз сказать правду, тем более правду неприятную, человеку, проведшему за письменным столом многие и многие бессонные месяцы. Саша ее говорил всегда. Говорил не грубо, не обидно, не отвлекаясь на спасительные мелочи, которыми при случае можно прикрыться, чтобы не сказать главное и не сделать автору больно,— говорил то, что видел. А литературный вкус у него, по-моему, был безупречный — глубокий и ясный. Потому и шли к нему на суд, зная, что Саша и лукавить не станет и, если понадобится, поддержит. Для каждого, кто мог сослаться на него, и не только, кстати, в делах литературных, но и просто житейских, это всегда значило немало.

Он был интеллигентным человеком в самом доб-

ром, уважаемом смысле этого слова. Умел слушать и умел сказать — точно, интересно и независимо ни от кого, что заставляло слушать его всех. Порой казалось, что у него какой-то особый строй мышления, потому что он подходил к сути разговора с той стороны, о которой отчего-то все забывали, он не удлинял, а расширял и углублял разговор, делал его как бы многомерным. У Саши прекрасно было развито и организовано то, что называют внутренним тактом, а в это понятие входят и вкус, и мера, и согласие — стройность, мягкость, смелость и музыкальность человеческой души. Это понятие я переношу и на его пьесы, оно проявляется в письме, в характерах героев, в построении материала.

Жаль, если у кого-то из нас ненароком создастся мнение, будто мы теперь хотим сделать из Саши ангела. Нет, в ангелы он, к счастью, не годится. Но как человек, живший среди нас и бывший нашим другом, он был редким человеком, лучшим из нас. Поэтому мы и говорим о нем сегодня, поэтому и вспоминаем его и будем помнить всегда. Любовь к человеку за его праздничным столом еще ничего не значит, она проверяется многим, в том числе временем и памятью. Мы все тянулись к нему, потому что видели в нем натуру не случайную, не заученную, а исключительно цельную и богатую, созданную чьим-то счастливым даром, видели в нем его естественность, если хотите, даже природность. Это качество в человеке переоценить нельзя. Саша ничего не умел делать походя — ни работать, ни дружить, ни любить, ни разговаривать, ни жить,— ко всему относился искренне, с полной душой. О многих ли из нас можно сказать то же самое?

Теперь вспоминается многое.

Вот он приходит, закуривает, начинает рассказывать. Слушать его и говорить с ним было так легко и свободно, словно тобой в это время управляли какие-то посторонние добрые силы. Становится страшно и кощунственно нехорошо, когда вдруг выскальзывает откуда-то трезвая предательская мысль, что этого никогда больше не будет.

Вот мы бродим по улицам, бродим долго и молча, лишь изредка говоря какие-то пустяковые слова, и молчание наше никого из нас не тяготит.

А вот мы в ангарской гостинице «Тайга», куда

уехали из Иркутска работать, чтобы не мешало одно, второе, пятое, десятое... Час назад Саша поставил последнюю точку в «Утиной охоте» и только что дочитал мне финальную сцену.

— Хорошо,— говорю я.— По-моему, очень хорошо.

Он долго молчит, мнет в руках сигарету и, наконец, отвечает:

— Мне тоже кажется, что пьеса удалась. Мне она пока нравится больше старых. Но хорошую пьесу трудно увидеть на сцене, поэтому ее надо делать еще лучше. Все равно, наверное, придется еще посидеть над ней.

Нынешней зимой в Москве при знакомстве с Василем Быковым, прекрасным белорусским прозаиком, я услышал от него:

— Везу домой «Утиную охоту» вашего Вампилова. Олег Ефремов мне прямо-таки всучил ее, чтобы я учился писать пьесы.

...Теперь осень. С ближних осин на пологом печальном холме осыпается лист, с левой стороны виден Иркутск, видна Ангара. Тихо, далеко в небе, как крестик, висит маленький самолетик, но и звук его не достает до земли. Рядом, через дорогу, пустое картофельное поле с кучками ненужной ботвы. Воздух чистый и резкий, как всегда в канун поздней осени. Тихо. Но звучит, звучит где-то рядом — и ничего нельзя с этим поделать!— голос нашего Сани, поющего песню своего хорошего товарища, вологодского поэта Николая Рубцова:

Ну так что же? Пускай
Рассыпаются листья!
Пусть на город нагрянет
Затаившийся снег!
На тревожной земле
В этом городе мглистом
Я по-прежнему добрый,
Неплохой человек.

Одно из объяснений страшного понятия человеческой смерти у Даля гласит: *«возвращение жизненных сил его в общий источник»*.

Да будет так!»

ВАЛЕРИЯ ПОПОВА

ПРИМЕЧАНИЯ

Целью настоящей книги было переиздание прозы Александра Вампилова, которая в отличие от его драматургии гораздо меньше известна широкому читателю (см. библиографию). Из всех предыдущих изданий наиболее полным, представляющим почти все из созданного А. Вампиловым, является сборник «Дом окнами в поле» (Восточно-Сибирское кн. изд-во, 1982), который мы и взяли за основу. В дополнение к издававшимся ранее произведениям из архива писателя добавлены пьеса «Квартирант» и развернутый вариант «Записных книжек», любезно предоставленных издательству вдовой писателя, Ольгой Михайловной Вампиловой.

Рассказы, Очерки, Статьи, Фельетоны

В большинстве своем эти произведения были созданы А. Вампиловым в период его работы в газете «Советская молодежь» (1959—1964). Однако и позднее, выполняя задание редакции, он продолжал писать очерки и фельетоны. В сборник вошли все известные по предыдущим книгам рассказы и фельетоны, которые даны в хронологической последовательности. Почти все они впервые были опубликованы под псевдонимом «А. Санин» в газетах «Иркутский университет», «Советская молодежь», «Ленинские заветы», а затем переиздавались в сборниках «Стечение обстоятельств» (Иркутск, 1961): «Белые города» (М.: Современник, 1979); «Дом окнами в поле» (Иркутск, 1982); «Избранное» (М.: Сов. писатель, 1984). Как правило, в перечисленных изданиях рассказы, как и очерки и фельетоны, относят к ранним страницам вампиловского творчества. И это вполне справедливо, ибо именно с них начался его путь в литературу. Однако они представляют собой интерес не только как ранний опыт будущего драматурга. Выше мы уже говорили о том, что внимательный читатель без труда обнаружит в них сюжетные ситуации, которые затем «перекочуют» и в пьесы А. Вампилова. Так, рассказ «Успех» затем целиком лег в основу одноименной пьесы; улавливаются мотивы сценки «Цветы и годы» в «Утиной охоте»,

так же как и реплика из рассказа «Глупости»— «об эдиках и аликах...». При всей простоте формы и содержания первых, конечно же, во многом наивных рассказов тех лет в них ощутимо то, что особенно ценится в искусстве — дух и правда времени, автором воссоздаваемого. Поэтому кажущаяся наивность вампиловских рассказов конца 50 — начала 60-х годов не есть личная наивность Вампилова,— таково было то время, время надежд и веры в то, что осталось искоренить лишь некоторые недостатки «некоторых отдельных людей» и наступит если и не райская жизнь, то во всяком случае светлая, чистая и бесконечно хорошая. Вера в скорое приближение этой новой жизни у поколения Вампилова было чрезвычайно сильна, и именно эту веру А. Вампилов очень четко уловил и не менее четко передал в своих рассказах. В этом их непреходящая ценность и значение. И ничего, что литературоведы легко обнаруживают следы ученичества в первых литературных опытах А. Вампилова: влияние любимых им А. Чехова и О'Генри в отдельных рассказах, как мы уже говорили выше, весьма ощутимо. Но без знания этих ранних рассказов А. Вампилова трудно представить себе его писательскую эволюцию, определенную еще А. Блоком как «чувство пути»: начав с наивности и легкой иронии своих ранних произведений малого жанра, всего за десятилетие он пришел к высочайшей трагедийности «Утиной охоты» и драматизму «Прошлого лета в Чулимске». И он, увы, опять проделал этот путь не один, а вместе со временем и с тем поколением, представителем и выразителем идей которого он в силу своей литературной миссии являлся...

На другой день — существует другой вариант рассказа под названием «Лужи в декабре». Был опубликован в газете «Иркутский университет» под псевдонимом «А. Санин» 27 декабря 1958 года.

Глупости — известен еще один вариант этого рассказа под названием «Однажды вечером».

Успех — существует вариант одноактной пьесы под этим же названием — см. альманах «Советская драматургия» № 1 за 1986 год.

Сугробы — впервые был опубликован в газете «Советская молодежь» 1 января 1961 года под названием «В сугробах».

Солнце в аистовом гнезде — в своих воспоминаниях мать А. Вампилова А. П. Вампилова-Копылова указывает, что в этом рассказе нашли отражение детские впечатления писателя.

Моя любовь — рассказ впервые был опубликован после смерти автора в книге «Дом окнами в поле» (Иркутск, 1982) по рукописи, хранящейся у В. Молчановой.

Листок из альбома и Последняя просьба — оба рассказа были написаны в 60-х годах; впервые опубликованы после смерти автора в еженедельнике «Литературная Россия» 14 марта 1976 года.

Очерки в отличие от рассказов и фельетонов даны нами с большим отбором. Это объясняется тем, что в большинстве своем они были

созданы А. Вампиловым, как теперь принято говорить, «по соцзаказу» редакции и по-газетному очень «привязаны» к конкретным фактам, событиям и людям. Время их создания и первой публикации приходится на те же годы работы А. Вампилова в газете «Сельская молодежь». Следует отметить, что, осуществляя отбор очерков, издательство поставило целью включить в настоящий сборник те из них, которые имеют более общий, проблемный характер или более полно раскрывают личность самого А. Вампилова. Именно поэтому мы сочли для себя необходимым включение в этот раздел и стоящей особняком в творчестве А. Вампилова его статьи об О'Генри, помогающей, как мы уже отмечали ранее, понять истоки и принципы и его собственного литературного мастерства.

Голубые тени облаков — очерк написан совместно с В. Шугаевым. Впервые опубликован в газете «Советская молодежь» за 7, 10, 14 и 31 июля 1963 года.

О'Генри — статья, посвященная 100-летию со дня рождения известного американского писателя. Впервые была опубликована в газете «Советская молодежь» 11 сентября 1962 года под псевдонимом «А. Санин».

Одноактные пьесы. Сценки. Монологи

К сожалению, не имея возможности включить в настоящий сборник «большие» пьесы А. Вампилова, издательство все же не сочло для себя возможным ограничиться только прозой писателя, наряду с созданием которой он, отдавая драматургии явное предпочтение, всю жизнь писал и небольшие по объему пьесы. Иногда они писались автором в виде монологов, как, например, «Месяц в деревне, или Гибель одного лирика» или «Исповедь начинающего», но чаще все же в виде одноактных пьесок. Интересно отметить, что и «Провинциальные анекдоты», часто воспринимающиеся как самостоятельная пьеса, были написаны А. Вампиловым раздельно, в «два приема»: «Двадцать минут с ангелом»— в 1962 году и опубликована в альманахе «Ангара» № 4 за 1970 г.; «История с метранпажем»— в 1971 году была опубликована в Москве в издательстве «Искусство». Впервые под названием «Два анекдота» обе пьесы были поставлены в Ленинградском Большом драматическом театре им. Горького, а затем, объединенные А. Вампиловым под общим названием «Провинциальные анекдоты», ставились во многих других городах Советского Союза и за рубежом — Англии, США, ФРГ, Финляндии, Югославии, Венгрии, Чехослова́кии, Болгарии и многих других странах мира.

Нам представляется здесь уместным дать выдержки из воспоминаний Дины Шварц — бессменного завлита Большого драматического театра в Ленинграде:

«В 1970 году при нашем театре была открыта Малая сцена, и «Анекдоты» были единодушно приняты к постановке. С автором был заключен договор. С этого момента началось наше содружество. Он уезжал, приезжал, мелькал, но не мельтешил, не суетился, всегда оставался сдержанным, чуть ироничным к своим частым перелетам. Однажды он привез альманах «Ангара», где была напечатана его уникальная «Утиная охота», при этом он стал говорить не об этой пьесе, на которую потратил много сил и времени, а о том, что в Иркутске он не одинок, что там много ребят, которые его понимают и к тому же хорошо пишут. «Запомните,— говорил он мне,— запомните это имя: Валентин Распутин. Хорошенько запомните...» Каждая встреча с Вампиловым все больше раскрывала его с человеческой стороны, он нам нравился, мы его хвалили, он молча усмехался или отделывался какой-нибудь шуткой.

«Провинциальные анекдоты» были приняты, начались репетиции. В этот период, зимой 1971—1972 годов, Саша особенно часто наведывался в театр, бывал на репетициях. В пьесе были заняты в основном молодые актеры. Очень скоро артисты перешли с Сашей на «ты», он стал для них своим парнем, споры и разговоры о жизни продолжались и после репетиций. Надо сказать, что никаких недоумений или вопросов по содержанию пьеса не вызвала. Напротив, актеры как-то сразу поняли и приняли замысел автора, хотя он был не таким и простым, как могло показаться с первого взгляда. Наверное, это был самый вампиловский спектакль, потому что, как мне кажется, были отринуты все театральные ассоциации, актеры работали как бы с самой жизнью, все более проникаясь чувством причастности к этой истории, где экспедитор и шофер встретились с «ангелом»— агрономом. Наконец, участие автора в репетициях, где были заняты артисты скромные, без званий, определило серьезный и непредвзятый подход к произведению. В те редкие моменты, когда эта серьезность нарушалась, Вампилов показывал свой характер.

Помню, на одной из репетиций актер, игравший Камаева, в «Случае с метранпажем» к своей реплике «Камаев» (так он представлялся незнакомым людям) добавил слово «проподаватель». Это было уместно и очень смешно, внесло новую краску в характеристику этого бездельника и альфонса. Смеялись исполнители, смеялся Вампилов. Чуть позднее с присущей ему деликатной щепетильностью Саша попросил разрешения у артиста внести удачное слово в пьесу. Другие артисты, заразившись духом импровизации, стали выкрикивать, перебивая друг друга, свои реплики-предложения. Саша тщательно, по порядку записал все предложения, раскрыл пьесу, углубился в текст, проверяя, подходят ли предложенные реплики его замыслу, потом поднял голову и сказал както очень спокойно, веско, с достоинством: «Реплик не будет». После

некоторого замешательства репетиция была продолжена. В своем «Сане» актеры вдруг увидели писателя Вампилова, строгого, требовательного, взвешивающего каждое слово мастера-драматурга. Позднее, в процессе репетиций Вампилов все-таки кое-что изменил, но изменения делал, следуя законам художественной правды, а не под минутным очарованием удачной импровизации. Вариант, созданный в БДТ, был впоследствии напечатан в сборнике издательства «Искусство».

Вампилов знал себе цену как писателю-драматургу, но никогда не важничал, избегал разговоров о собственной персоне. Я помню лишь один случай, когда мы заговорили на эту щепетильную для него тему. «Да, меня не ставят, но это пока,— сказал он и, помолчав, добавил, иронично улыбаясь:— Будут ставить, куда они денутся. Замыслов у меня много, я должен жить долго-долго...» В одном из писем Саша благодарил Г. А. Товстоногова за то, что Георгий Александрович написал о нем в «Литературной газете» (Г. А. Товстоногов писал о том, как редко среди людей, пишущих пьесы, встречаются подлинные драматурги, что это особый дар — писать действие, создавать мир в конфликтах видимых и невидимых, и назвал два имени — Володина и Вампилова). Благодарил в своей манере, облекая растроганность в шутливую форму: «Пусть теперь некоторые попробуют сказать, что нет такого сочинителя пьес. Им никто не поверит...»

А вот чрезвычайно любопытные воспоминания Иллирии Граковой, редактора издательства «Искусство»:

«Вспоминаю такой случай. У нас в издательстве шла его пьеса «История с метранпажем». Редактор, человек энергичный и напористый, горячо доказывал свою точку зрения, предлагая какие-то изменения. Саня слушал, помалкивал, и когда редактору казалось, что он уже убедил автора, тот поднимал глаза и негромко говорил:

— Хорошо. Но, знаешь... давай оставим, как было.

Я сама при этом разговоре не присутствовала, но, когда я позже пересказала это Сане, он засмеялся:

— Да, было такое. Но неужели это так выглядело со стороны?

Иногда в разговорах или в воспоминаниях о Вампилове слышишь: он твердо отстаивал свое мнение, если был в чем-то убежден, спорил. И создается иной раз впечатление, особенно у тех, кто его не знал, что Вампилов с пеной у рта доказывал свою правоту. Возможно, когда-то и так бывало, хотя я лично не очень-то представляю себе Вампилова в роли яростного спорщика. Мне кажется гораздо более вампиловским описанный мною эпизод. Саня, будучи человеком чрезвычайно деликатным, умел выслушивать чужое мнение и с уважением относиться к нему, даже если оно и не совпадало с его собственным. Но и переубедить его в чем-либо было непросто.

Его спокойное «давай оставим, как было» звучало так убежденно, что становилось ясно — это не каприз, не минутное настроение, это — вера в свою правоту.

Саня умел очень хорошо слушать собеседника — спокойно, не перебивая, чуть опустив голову. В какие-то мгновения он вскидывал глаза, и тогда они вдруг казались светлыми — от мелькавшего в них удивления или заинтересованности. Он вообще сохранил поразительную способность удивляться — людям, их поступкам, словам. В нем жила какая-то детская наивность — как люди могут так поступать, как они могут говорить такое, как могут они обманывать? Кто-то обещал прочитать пьесу — и не прочел, обещал передать ее в театр — и не передал, обещал позвонить — и не позвонил. Не так уж гладко, как известно, складывались его отношения с театрами. Всюду одно и то же — вроде бы «да», но вроде бы и «нет». Театры все еще приглядывались к Вампилову. Он вел переговоры с Театром им. Станиславского и Театром им. Маяковского, со МХАТом и с театром им. Горького, с «Современником» и с Театром им. Ермоловой. То есть фактически почти со всеми театрами, позже поставившими его пьесы.

Казалось, можно было потерять веру в людей, озлобиться, обидеться на весь мир, но Саня скорее удивлялся и пытался понять. Иногда лишь в его словах, реже в письмах, проскальзывала легкая горечь. Так, он писал мне в августе 1970 г. об одном из московских театров: «У меня впечатление, что завлит на меня махнула рукой и мои пьесы со стола переложила на окно, где у ней форменная братская могила неизвестных авторов».

Раздражение, злость, вероятно, вообще относились к категории чувств, для него неприемлемых. Как-то раз он сказал: «Надо быть добрее к людям», а ведь это был период, когда у него все так не складывалось в жизни...»

Воронья роща — это один из ранних вариантов первой пьесы «Провинциальных анекдотов». Вот любопытное свидетельство Елены Якушкиной, завлита Московского театра им. М. Н. Ермоловой:

«Живя в Москве, он каждый день приходил в Театр им. М. Н. Ермоловой, куда «мы с ним перешли» летом 1965 года.

Кабинет литчасти был довольно длинной, но очень узенькой комнатой с непомерно высоким потолком. Саша прозвал эту комнату «пеналом» и настойчиво предлагал устроить антресоли «для работы с авторами». «Там можно укрываться от графоманов, которые вас замучили»,— говорил он.

Часто он приходил с друзьями-иркутянами, молодыми писателями и драматургами. И тогда «пенал» превращался в «наше сибирское землячество» (я сама родилась в Томске), центром которого был Саша. У него было удивительно высокое понятие о

дружбе, о долге перед товарищами, о тех обязательствах, которые она налагает. Как всегда, он не декларировал это, а только действовал и поступал согласно своим убеждениям. Он всегда заботился о друзьях, стремился им помочь. Часто приносил рассказы и повести друзей и просил их прочитать. «Вы слишком строги,— говорил Саша,— он человек способный, только слишком рано почувствовал себя литератором». Или: «Рассказ неплох, вот увидите, как он следующий напишет», и редко ошибался. Но к себе он не знал снисхождения...

Требовательность к себе и стремление к точности рождали внутреннюю необходимость снова и снова возвращаться к написанному. Приведу только один пример. Это было в последний его приезд в Москву весной 1972 года. Мы сидели вдвоем в «пенале», я сказала ему: «Смотри, Саня, я нашла «Воронью рощу» (один из многочисленных вариантов первого провинциального анекдота) и протянула ему пьесу. Он взял ее и хотел разорвать пополам. Я выхватила у него рукопись. Мы даже поспорили, а потом он засмеялся и сказал: «Ладно, пусть лежит у вас в «архиве», только никому не показывайте».

«Архивом» он называл шкаф, где лежали разные варианты «Старшего сына», первый вариант «Валентины» и другие его пьесы.

Любопытно, что даже опубликованные свои пьесы он всегда тщательно правил перед тем, как подарить. Он садился к столу, чтобы надписать книжку или журнал (а надписи эти часто были прелестны своей шутливой вампиловской интонацией), и вдруг замолкал, листая страницы и что-то вписывая в текст.

В этих кратких заметках я не могу подробно останавливаться на том, как он работал над своими пьесами,— это тема специального исследования. Скажу только, что, выслушав какое-либо замечание или мнение, он всегда задумывался, а потом говорил: «Надо подумать», но всегда через какое-то время возвращался к этому разговору, каким бы незначительным ни было замечание. Для него в драматургии ничто не могло быть случайным или проходным. Каждое слово как бы имело свой вкус, вес и даже цвет, а главное — не могло быть заменено никаким другим.

Очень много времени и сил уходило в те годы на то, что мы называли «пробиванием» его пьес на сцены московских театров. Дело это было сложным, и «колотиться», как говорил Саша, приходилось много: «Вы там сильно не расстраивайтесь и не берите все на себя,— с обычной своей дружеской заботой и теплотой,— пусть (режиссеры) больше упираются...»

Сейчас, когда столько слов уже написано и сказано о его блестящем таланте, удивительной скромности, душевной щедрости, хочется вернуться к тем годам, к тому уже отдаленному от нас времени, когда он жил, писал свои удивительные пьесы, трудился

неустанно и упорно, иногда приходил в отчаяние и снова обретал надежду, что его пьесы будут поставлены и поняты его современниками.

Он был прирожденным драматургом, что означает особый и редкий дар «драматургического видения мира», острого и точного восприятия явлений, людей, событий в их сочетании, развитии, конфликтности, доходящей до кульминации, и неизбежной, иногда совершенно неожиданной развязки. Даже рассказывая о чем-нибудь, о каком-нибудь событии, происшествии или факте, он строил свой рассказ драматургически: активная экспозиция, точность развития описываемого события, кульминация и финальная точка, вызывающая у слушателей бурную реакцию своей неожиданностью, юмором, а иногда и драматизмом.

Он был молод, но удивительно хорошо знал людей и жизнь, которую наблюдал непрестанно, сосредоточенно и серьезно...»

Отношения А. Вампилова к Елене Леонидовне Якушкиной заслуживают особого разговора. «Ваш «приемный сын» черемховский подкидыш подает голос из города Иркутска» — так отрекомендовался А. Вампилов в одном из первых писем к ней. В воспоминаниях, написанных специально для книги «Дом окнами в поле», Е. Якушкина приводит выдержки из вампиловских писем. Теперь их многолетняя переписка, опубликованная полностью (к сожалению, когда и Елены Леонидовны уже нет в живых), дает нам возможность судить о том, сколько действительно сил, времени и нервов уходило у А. Вампилова на «пробивание» пьес, как нелегок и непрост был его не только творческий, но и житейский путь. Словом, по определению В. Распутина, *«надо и нам знать, каково было становиться Вампиловым»* (см. журнал «Новый мир», № 9, 1987).

Для того чтобы дать представление о характере этой переписки, приводим полностью два письма А. Вампилова.

Конец февраля 1969 г.

Дорогая Елена Леонидовна!

Ко многому я привык, но такого оборота все-таки не ожидал. Претензии, которые они предъявляют «Старшему сыну», надуманы специально, и, как видно, речь идет о заведомом и теперь уже планомерном отношении ко всем моим пьесам в целом. Судите сами.

«Герой начинает свою жизнь в пьесе с непорядочного поступка, спекулируя на лучших человеческих чувствах». Содержание этой претензии помимо чистосердечного непонимания того, что в жизни порядочно и что непорядочно, суть демагогия и нахальное невнимание к тексту. Ведь Бусыгин, подозревая (а почему бы и нет — подозрение мотивировано «исчезновением» его собственного отца), что Сарафанов направился к женщине (от семьи, заметьте), решил подшутить над

ним, а заодно хоть немного согреться. При сем Бусыгин вовсе не планирует встречу с Сарафановым — ему явно достаточно того, что Васенька после его ухода огорошит «неверного» папашу известием о визите его «внебрачного сына». Значит, в поступке Бусыгина есть даже большая мера морализаторства, желание проучить, а может, даже толкнуть престарелого «ловеласа» по пути добродетели. А если и есть в этом поступке доля недоброжелательства, то в том-то и дело, что Бусыгин впоследствии в нем раскаивается.

Далее. «Бусыгин мало человечески интересен». Это замечание еще раз утверждает меня в том мнении, что из современных Управление признает героев каких угодно, кроме живых людей с нормальными человеческими чувствами.

«Система случайностей, на которых строится сюжет, нарочита». Где система и где нарочитость? Случайность всего одна: появление Сарафанова во дворе как раз в то время, когда там находятся Бусыгин и Сильва. Больше случайностей в пьесе нет, все последующие события оправданы и закономерны. Во всяком случае, куда более закономерны, чем если бы, допустим, в один прекрасный день с какого-нибудь карниза отвалился бы кирпич как раз в то время, когда внизу проходил бы Закшевер, и этот большой кирпич угодил бы по его умной голове.

Кудимов, я надеюсь, вовсе не так «ограничен» и «туп», как это представляется утонченным критиком из Управления. У Кудимова прежде всего другой, чем у Сарафанова, взгляд на жизнь — деловой, трезвый, определенный. Не понимаю, как этими свойствами можно скомпрометировать солдата. По-своему Кудимов прав и несомненно правдив. Ну да, он недостаточно чуток, но спросите вы их, пожалуйста, могут ли в современной пьесе действовать разные характеры, или все они должны быть одинаковыми. Как там по Аристотелю?

В конце концов Кудимова можно сделать гражданским летчиком (училище ГВФ), это хотя и глупо, но, в сущности, ничего не меняет.

«Сарафанов фигура жалкая, семья его черства и неблагодарна». Возможно. Но, во-первых, в жизни такие фигуры и такие семьи имеют еще место, а во-вторых, давно ли запрещено у нас писать о том, как черствые, неблагодарные дети становятся детьми приличными и благодарными? И что зазорного в том, что в слабохарактерном человеке автор старается найти и подчеркнуть добрые качества? После перечисленных претензий чрезвычайно странным выглядит то обстоятельство, что рациональным зерном в Управлении признана «метаморфоза» героя, его попытка принять участие в делах семьи, его активное стремление к доброте. Этим суждением начисто перечеркивается предшествующая ему критика. В самом деле, разве была бы возможна «метаморфоза героя», если бы поступок его в начале пьесы был бы благородным, как того требует первое замечание товарищей из Управления? И надо ли принимать «участие в делах семьи», где все благополучно и вовсе нет ни «черствости», ни «неблагодарности»? Таким образом, Вы имеете все

основания сообщить Закшеверу и К°, что на этот раз автор поставлен в тупик неразрешимыми противоречиями суждений и требований Управления.

Итак, «суммированные замечания». Что именно Управление хочет от автора? Да сущие пустяки: 1. Чтобы пьеса ни с чего не начиналась. 2. Чтобы пьеса ничем не заканчивалась. Другими словами, никакой пьесы от автора не требуется.

Елена Леонидовна, дорогая! Выпустите из этого письма ругательства и хотя бы по телефону прочтите его Закшеверу. А лучше Родионову. Кстати, Вы не пишете, какую позицию занимает он. Нетрудно, конечно, об этом догадаться, но вдруг он хоть немного придержит на этот раз своих молодчиков. Скверно. Если так обстоит с этой пьесой, что же тогда «Анекдоты» и «Охота»? Анохин голоса не подает, видать, смирился. Здесь, в Иркутске, у меня вылетела из плана книжка, в «Театре» без Лита пьесу не напечатают, из ВУАПа[1] пошли сущие копейки. «Расцвет упадка». К тому же на улице ни зима, ни весна — черт знает что, погода каждый день меняется, мать болеет. Сижу дома, вожусь с дитем, обрастаю серым мхом добродетели. Немного сочиняю Гончарову, но настроение нерабочее.

То, что театр от меня не отступается и полон, как Вы пишете, решимости,— в этом сейчас единственная надежда. Не выйдет пьеса сейчас — не выйдет долго, а в этом случае в ближайшее время меня ожидает служба, контора и никаких сочинений.

Теперь, я думаю, театру надо пробовать Афанасьева, вероятно, его надо было ждать, а отдавать пьесу в Управление было, получается, ошибкой.

Елена Леонидовна! Если появится свободная минутка, распорядитесь, пожалуйста, «Анекдотами». Покажите их в Сатире или в «Современнике». Если возможно, то лучше там и там — поочередно.

Как Вы отдохнули? Давно Вам надо было отдохнуть и вообще устроиться как-нибудь с переводами да и бежать из театра. До хорошего он не доведет.

Как Ваши дела? Сдали вы «цыганскую пьесу»?[2] Напишите мне про себя. Я Вас люблю и скучаю по Вас.

Иногда думаю: не будь Вас в Москве, я был бы там круглый сирота.

Вы там сильно не расстраивайтесь и не берите все на себя. Пусть Комиссаржевский, Белоозеров и Косюков больше упираются.

Что Гена Косюков? Как он настроен? Передайте ему большой привет. Комиссаржевскому засвидетельствуйте почтение. Валентину Ивановичу — тоже. Гончарову при случае передайте, что подотчетный ему автор сильно замордован, но вовсе еще не пал духом и гнет потихоньку

---

[1] ВУАП — Всесоюзное управление авторских прав.

[2] Е. Л. Якушкина перевела пьесу Ронкорони «Мужчины в воскресенье», которая в это время репетировалась в театре «Ромэн».

свою линию. К новому сезону пьесу ему представлю. Называться она будет «Валентина»[1].

Ну вот. Я закругляюсь. Большой привет Вашим — Ирине Леонидовне и Лёне[2]. Вас с Ириной Леонидовной поздравляю с 8 Марта.

Жду Вашего письма, целую Вас.

Ваш *Вампилов.*

P. S. Если вдруг случится Вам достать какого-нибудь хорошего лекарства от сердца, давления и головокружения — пришлите, пожалуйста, очень прошу для матери.

Еще раз целую Вас, любящий Вас *«младший брат».*

21 мая 1969 г.

Дорогая Елена Леонидовна!

Письма Вашего нет, значит, ничего нового, хорошего нет. Написали бы о плохом. Все-таки. А то — ничего. Похоже на похороны. Знаю, Вам недосуг, но все же, все же.

Я вот нечаянно с Афанасьевым говорил (из Иркутского театра), он сообщил мне, что у Вас там был худсовет, на котором я со своей пьесой был употреблен (сколько можно!),— он мне сообщил, а Вы молчите. Печально. Кроме того, он мне сказал (об Ермоловском театре, в частности), что если театр хочет пьесу, он ее добивается, а если нет и т. д.— все, что происходит с моей пьесой в Вашем театре, т. е. ничего.

Ладно. Мне прислал письмо Пермский ТЮЗ, просят пьесу. Будьте так добры, отправьте им один экземпляр по адресу: г. Пермь, ул. К. Маркса, 65, ТЮЗ, главному режиссеру. Один экземпляр Вы мне обещали, очень прошу, пошлите его в Пермь.

Если «Старший сын» не пойдет сейчас хоть где-нибудь, хоть в Перми, хоть у черта на куличках, мне придется в ближайшее время самым решительным образом отказаться от сочинения пьес. Я не жалуюсь, я остервенел и просто-напросто брошу все это к чертовой матери! Вы только подумайте: хотел я 75% за «Сына» получить через Иркутский театр, читал им пьесу, они слушали, единогласно приняли, распределили роли — и вот же! Все стоит на месте, актеры выживают из театра главного режиссера (везде так, во всех театрах, по-моему), и моя пьеса становится жертвой этих интриг. Это вот на что похоже: шайка головорезов (актеры) с матерым рецидивистом, с вором в законе (режиссером) во главе проигрывают в карты несчастного прохожего (автора). А дальше? Если автор случайно остается жив, за углом его ждет местный Закшевер (и тут есть управление — честь по чести). А далее еще и еще. Скажите, ради бога, при чем здесь искусство, какая работа и чем Ваш Джанни Родари лучше местного, вернее, чем местный хуже Вашего Джанни Родари? Нет, все это беспросветно.

---

[1] Первоначальное название пьесы «Прошлым летом в Чулимске».
[2] Сестра и племянник Е. Л. Якушкиной.

А специалисты (я говорю о Вашем дорогом и любимом режиссере) тем временем разгуливают в белых перчатках и ждут пьес, в которых будут обнаружены их собственные добродетели.

Да ладно, ладно. Никто не заставляет меня писать пьесы, и, слава богу, не поздно еще на это дело плюнуть. Есть у меня такая возможность.

Елена Леонидовна! Я прошу Вас, напишите мне насчет Вашего театра точно и ясно, чтоб я не надеялся,— шутки шутками, но надо ведь как-то жить дальше. Извините, что начеркал, переписывать не буду. Так напишите же мне! И не забудьте про Пермь!

Жду письма, целую.

Ваш *Вампилов.*

Пьеса печатается по альманаху «Современная драматургия» № 1 за 1986 год.

Несравненный Наконечников — пьеса, оставшаяся не завершенной на рабочем столе А. Вампилова, 1-й акт которой впервые был опубликован в газете «Советская молодежь» за 23 сентября 1972 года; а затем в «Избранном» в 1984 году в издательстве «Искусство» было опубликовано продолжение — 2-й акт, по которому мы и даем эту пьесу. Любопытно, что в разговоре с уже упоминаемой Иллирией Граковой, редактором издательства «Искусство», где в 1971 году готовился к выходу сборник пьес А. Вампилова, он сказал:

> «Все, что я написал до сих пор,— это юность. Сейчас мне хочется писать по-другому и о другом. Я вот тут задумал комедию, почти водевиль, о парикмахере, который стал драматургом.
>
> Он не слишком-то подробно рассказывал мне о пьесе «Несравненный Наконечников», помню только в его изложении задуманный им финал.
>
> — Представляешь, герой после всех своих мытарств бежит из театра, он ничего этого уже не хочет, бежит через зрительный зал, а за ним бежит режиссер, который все же надумал ставить его пьесу...
>
> — Хочешь поделиться своим богатым опытом общения с театрами?— спросила я.
>
> — Да уж есть о чем порассказать,— засмеялся Саня.
>
> К сожалению, мы никогда не узнаем, о чем именно хотел он еще рассказать...»

Квартирант — неоконченная пьеса А. Вампилова, публикуется впервые, по рукописи, предоставленной О. М. Вампиловой.

Из записных книжек

Выдержки из записных книжек А. Вампилова, представляющих собой уникальные документы, по которым можно судить о его твор-

ческой лаборатории (о чем мы упоминали выше), уже публиковались в печати: альм. «Современная драматургия» (№ 1, 1986); «Литературная Россия» (№ 25, июнь 1986). По сравнению с предыдущими публикациями раздел записных книжек представлен нами значительно шире. Печатается с незначительными купюрами по рукописи, представленной О. М. Вампиловой.

Воспоминания друзей

В этот раздел вошли литературные воспоминания ближайших друзей писателя по Иркутску. Исключение составляет только статья Алексея Симукова, руководителя драматургического семинара, в котором А. Вампилов занимался, учась на ВЛК. Текст публикуется по книге «Дом окнами в поле» (Иркутск, 1982), для которой она специально была написана.

Статья В. Распутина, открывающая книгу, впервые была опубликована в сборнике пьес А. Вампилова «Старший сын» (Иркутск, 1977), а затем вошла в книгу «Дом окнами в поле» (Иркутск, 1982), по тексту которой и печатается; *воспоминания В. Распутина,* приведенные нами в «Послесловии», впервые были опубликованы в газете «Советская молодежь» 23 сентября 1972 г.— в номере, посвященном памяти А. Вампилова. Позднее были перепечатаны в журнале «Литературное обозрение» (№ 8, 1983), по тексту этой публикации и дается нами.

Тексты остальных статей взяты нами из перечисленных ниже изданий: *Г. Николаев* — «Дом окнами в поле» (Иркутск, 1982), впервые статья была опубликована в журн. «Звезда» № 6, 1980; *Дмитрий Сергеев* — журн. «Нева» № 7, 1984; *Владимир Жемчужников* — альм. «Сибирь» № 3, 1974; *Вячеслав Шугаев* — сб. «Белые города» (М.: Современник, 1979).

БИБЛИОГРАФИЯ

Стечение обстоятельств: Юмористические рассказы. Под псевдонимом А. Санин.— Иркутск, 1961.

Ветер странствий. Коллект. сб.— Иркутск, 1964.

Принцы уходят из сказок: Сб. очерков.— Иркутск, 1964.

Прощание в июне: Сб. пьес.— М.: ВУОАП, 1966; М.: ВУОАП, 1973; Иркутск, 1979; М.: Сов. писатель, 1977; М.: Сов. писатель, 1984.

Старший сын: Сб. пьес.— М.: Искусство, 1970; Иркутск, 1977.

Белые города. Рассказы, публицистика.— М.: Современник, 1979.

Билет на Усть-Илим. Публицистика.— М.: Сов. Россия, 1979.

Дом окнами в поле: Пьесы, очерки, статьи, фельетоны, рассказы и сцены.— Иркутск, 1982.

Избранное.— М.: Искусство, 1975.

Избранное.— М.: Искусство, 1984.

Александр Вампилов: Сб. произведений: В 2 т.— Иркутск, 1987—1988.

О Вампилове

Тендитник Н. С. А. Вампилов.— Новосибирск, 1979.

Рыбаков Ю. С. Театр сегодня.— М.: Знание, 1980.

Проверяется памятью. Александр Вампилов: художник и человек//Лит. обозрение.— 1983.—№ 8.

Вампилов А. Из литературного наследия//Современная драматургия.— 1986.— № 1.

«Ему было бы нынче пятьдесят...»//Новый мир.— 1987.— № 9.

Жемчужников В. Б. Нечаянный интерес: Повести, очерки.— М.: Современник, 1987.

СОДЕРЖАНИЕ

Вампилов А. В.

В16 Я с вами, люди: Рассказы, очерки, статьи, фельетоны; Одноактные пьесы, сценки, монологи; Из записных книжек; Воспоминания друзей/Сост., послесл. и примеч. В. Ю. Поповой; Вступ. ст. В. Распутина.— М.: Сов. Россия, 1988.— 448 с.— (Библ. сер.).

Имя Александра Вампилова (1937—1972) широко известно не только у нас в стране, но и далеко за ее пределами. Его пьесы «Утиная охота», «Старший сын», «Прощание в июне», «Прошлым летом в Чулимске» и «Провинциальные анекдоты» по праву вошли в золотой фонд отечественной драматургии. Значительно меньше известны его рассказы, очерки и фельетоны, написанные им в годы работы корреспондентом иркутской газеты «Советская молодежь» и составившие основу настоящего сборника. Сюда включены также не публиковавшиеся при жизни автора неоконченные пьесы «Несравненный Наконечников», «Квартирант» и «Воронья роща», а также выдержки из записных книжек, представляющие, на наш взгляд, несомненный интерес для исследователей и поклонников его творчества.

Включенные в состав сборника воспоминания ближайших друзей писателя помогут читателю полнее представить себе неповторимость личности А. Вампилова.

В $\frac{4702010200-240}{М-105(03)88}$ 108—88 **Р2**

ISBN 5—268—00560—x

Библиотечная серия

Александр Валентинович Вампилов

Редактор И. Н. Фомина
Художественный редактор Г. В. Шотина
Технический редактор Т. С. Маринина
Корректор Т. А. Лебедева

ИБ № 7105

Сдано в набор 18.11.87. Подписано в печать. 11.07.88. Формат $84 \times 108/_{32}$. Бум. типогр. № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. п. л. 23,52. Усл. кр.-отт. 23,52. Уч.-изд. л. 22,31. Тираж 100 000 экз. (II з-д 70 001—100 000 экз.). Заказ № 1259. Цена 1 р. 70 к. Изд. инд. ЛХ-228.

Ордена «Знак Почета» издательство «Советская Россия» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103012, Москва, проезд Сапунова, 13/15.

Книжная фабрнка № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 144003, г. Электросталь Московской области, ул. им. Тевосяна, 25.

«СОВЕТСКАЯ РОССИЯ»